95 коп. Индекс 73276

В 1990 году «НЕВА» планирует опубликовать:

Владимир Войнович. «Шапка», повесть

Алла Драбкина. «Грибники», повесть в новеллах

Владимир Дудинцев. «Между двумя романами». История жизни

Роберт Конквест. «Большой террор», перевод с английского

Курцио Малапарте. «Капут», роман. Перевод с итальянского

Юрий Слепухин. «Час мужества», роман

Виктор Соснора. «Николай», историческое повествование

Лидия Чуковская. «Прочерк»

Письма **Федора Абрамова,** «Воспамятование об отцах» **Георгия Гачева,** главы из воспоминаний **Клауса Манна**

Над новыми произведениями для «Невы» работают: **Сергей Андреев, Андрей Битов, Борис Васильев, Даниил Гранин, Яков Гордин, Анатолий Злобин, Фазиль Искандер, Виктор Конецкий, Аркадий и Борис Стругацкие, Юрий Рытхэу, Михаил Чулаки.**

«Нева» также планирует опубликовать историческое повествование выдающегося русского писателя, живущего за рубежом.

Подписка на журнал принимается без ограничений.



«Нева», 1989, № 7, 1—208

НЕВА 7 1989

7/1989 ISSN 0130—741X

А. ЗЛОБИН
Демонтаж
Роман

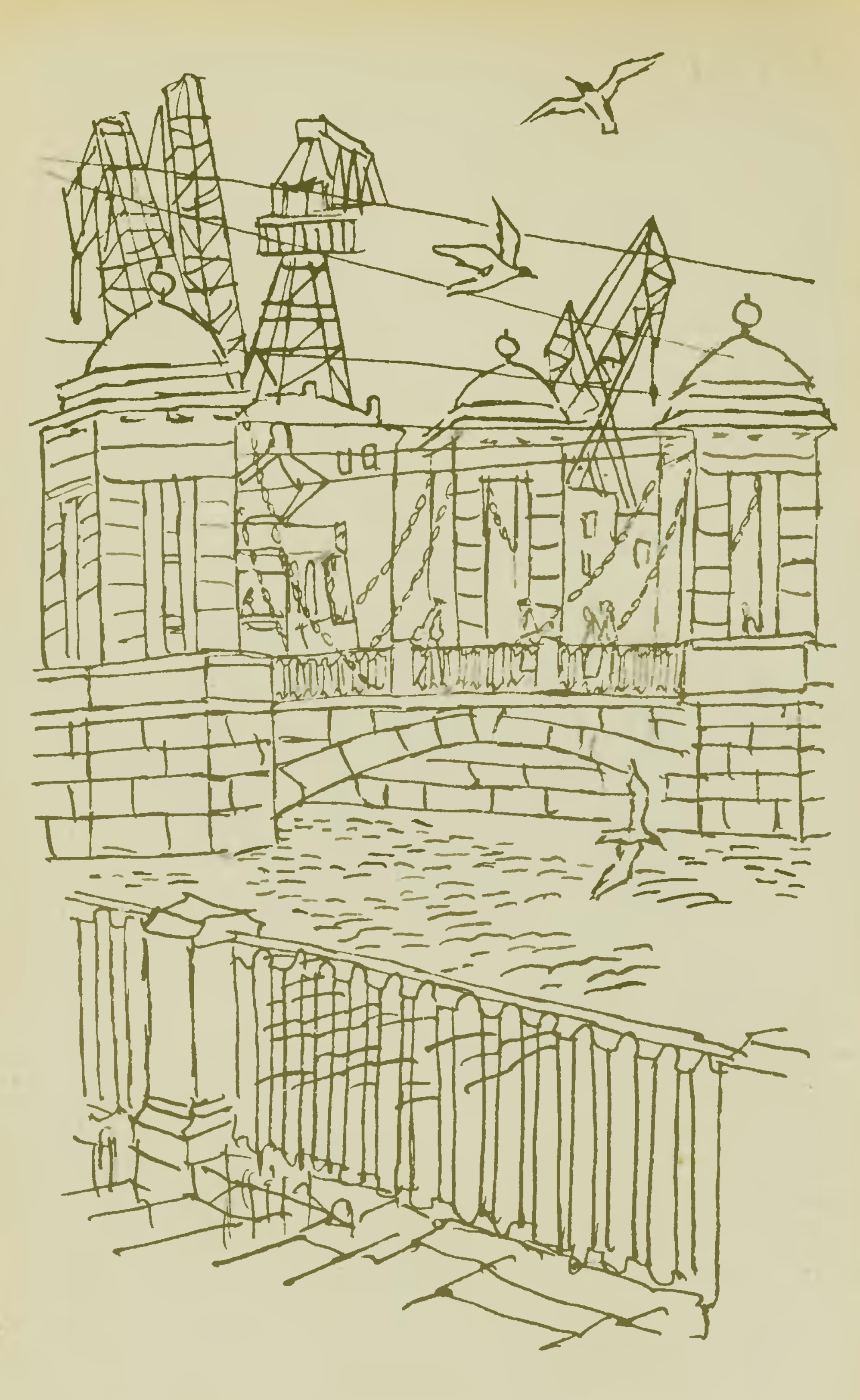
Л. ЧУКОВСКАЯ
Записки об Анне Ахматовой

Нева

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ «АЛЬТЕРНАТИВА»

Л. ГОЗМАН
А. ЭТКИНД
От культа власти к власти людей

Очерк из цикла «ПЕШКОМ ПО СТАРОМУ ПЕТЕРБУРГУ»



«Фонтанка. Калинкин мост»
Рис. Ю. Куликова

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический иллюстрированный журнал

Орган Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации

Нева

7/1989

Выходит с апреля 1955 года

СОДЕРЖАНИЕ

Ленинград
«Художественная литература».
Ленинградское отделение

В номере цветная вклейка:
«Художники Псковского края»

Главный редактор **Б. Н. НИКОЛЬСКИЙ**

Старший технический редактор **Г. В. Александрова**
Корректоры **А. Ю. Семина, О. Б. Смирнова**

Сергей
ДАВЫДОВ



На черный день

Из счастья отложить на черный день
нельзя никак.
Не спрячешь же полсмеха,
рассвет в горах, полуденную тень,
в копилку не протиснешь полуспеха.
Тем более в сберкассу, чтоб нарос
процент с одной поездки к морю, скажем,
или с того, как мы, обнявшись, ляжем,
иль с этих астр,
иль с майских первых гроз.
Да нет, куда!
Смешна об этом речь!
В копилку счастье...
Обернется прахом!
Я слышал, счастье можно уберечь.
Но отложить на черный день —
как сахар?

В мужской палате

Какие розы к нам плывут в палату,
в обычную мужскую — не по блату,
пропахшую
всем вместе
и микстурою,
и не проветрить — все с температурою!

Здесь разговоры только невеселые,
здесь все, как я, лежат одни тяжелые.
И вот сюда неслышными шагами
пришла сегодня женщина
с цветами,
каких не носит даже близкий родственник
и знатный —
от месткома — производственник!
Недаром санитарка наша ахнула:
— Получку на цветы, видать, бабахнула!
Вздымались розы алые крылато,
и мы очнулись — все —
от аромата!
А женщина все койки оглядела:
— Но где Крылов?..
Я, может, не успела?..
И с дальней койки, приподняться силясь:
— Ну, я Крылов... А вы кто?
Не ошиблись?
...Бессонница, как кошка —
до рассвета
играла мной.
Я дня привычно ждал.
Шло в темноту сиянье от букета...
Так женщину Крылов и не признал.
Она вздохнула,
вымолвив: «Конечно...»
Немного постояла и пошла.
Ушла, надежду потеряв навечно,
шепнув: «Прощай...»
Житейские дела!

Шло в темноту дыханье от букета,
сиянье отгоняло боль и тьму —
букет страдал.
И я подумал: «Это —
он предназначен вовсе не тому!..»
И я лежал, в уме перебирая
разлуки, встречи,
разные года —
ты так небрежна, молодость слепая.
Красивая, уже немолодая?
Ее я знаю... Где-то видел... Да!
Пожалуй, в Риге...
Или это было...
Ну да, она, не поднимая глаз,
всегда по нашей улице ходила
и вот решилась
только лишь сейчас!
Пришла сюда с прекрасными цветами
впервые в жизни
дав понять без слов...
Сестра включила свет, сказав:
— Что с вами?
Из всей палаты спит один Крылов!

Возвращение

Человек с котомкой за плечами
в эту грязь бредет на костылях.
А шинель в подпалинах местами,
а какие дыры в сапогах.
Вот он встал, вздохнул,
свернул закрутку,
подышал дымком одну минутку,
и пора, пора ему идти.
Матюгнул попавшуюся будку —
там плакат:
«Счастливого пути!».

Дом с керосином

Этот дом задыхался в горючих парах.
Этот дом до мышей
керосином пропах.
А еще тут в железном подвале
синий спирт
алкашам продавали.
Тут на каждом столбе
голый череп висел
и торчала стрела из глазницы,
чтоб не вздумал народ соблазниться,
утащить изолятор не смел!
А еще тут сидел попрошайка,
подпираясь кирпичным углом.
Ну, попробуй ему не подай-ка,
враз достанет вдогон костылем!
Этот дом мне казался дремучим.
Знай в «орлянку»
стучит ребятня...
Раз в неделю с сосудом гремучим
в этот дом посылали меня.
Мама, банку качнув, говорила:
— О, сын!
И какой же доход вам принес керосин?

Дочь моя, я тебе эти строки сложил:
век твой
стронций приносит с дождем!
Твой отец —
Только что
в керосиновом жил.
Ну, а дед:
тот почти при лучинном рожден!
Вот какая веселая штука...
Слушай, дочь,
придержала бы внука!



Смешная птица залетела в дом,
бесстрашная, запрыгала по полкам,
смотрела книги. Со стола хвостом
смахнула рюмку и цветным осколком
взлетела мигом на старинный шкаф,
заглядывая в зеркало оттуда,
вниманье незнакомке оказав,
что так хитра, вертлява, желтогруда.
Вот по тетради прыгает моей,
кусает буквы, крутится, лопочет...
— Эй, улетит, закрой окно скорей!
— О нет, не надо... пусть живет,
как хочет...

Анатолий
ЗЛОБИН



Рис. Г. Ковенчука

28. Возможны провокации. А что я дам в эфир

Наумов вышел из темного затхлого хлева на залитую светом аллею и остановился завороженный. Жизнь кипела на Главной площадке. Сновали машины и люди, готовясь совершить любой маневр.

Федоровский остановился рядом с Наумовым. Истукан был доставлен на землю и сам притом слегка прогнулся от удара. Он лежал то ли на спине, то ли на боку, не разбери поймешь, занимая некоторое промежуточное положение, но мы ведь первый раз рушим, тут все внове, сейчас подтянем, раз-два, двинули, лег ровнехонько, по ниточке, чтоб не разрушалась эстетика разрушения и как положено лежать в таких ситуациях почившему вечным сном, приказавшему долго жить, откинувшему копыта.

Лучи прожекторов, отражаясь в медной поверхности Старика, слепили глаза. Строчка пуговиц шла по кителю, носки ботинок задрались кверху, зияя вырванными подметками. Ноги были утоньшены, голова, наоборот, увеличена, объект был, как говорят, антиперспективен. Уродство это было задумано и со-

---

Журнальный вариант романа. Окончание. Начало см.: «Нева», 1989, № 5, 6.

здано по расчету скульптора, чтобы люди, смотря на монумент снизу, воспринимали увеличенную голову за нормальную. Таким образом, уродство реабилитировалось за счет размеров.

А сам-то: низкий гориллообразный лоб с убегающим наклоном кости, на котором мысли не задерживались и тотчас стекали на ковер, острые маленькие глазки, все примечающие, все ненавидящие, редкие, как у крысы, усики, короткие уродливые ноги, будто он на обрубках ходил, а руки, как у гориллы, до самого пола, до самого пупа земли, такими ручищами можно загребать все, что угодно: народы, страны, души. Какая природа могла произвести на свет подобное уродство, да еще отметив его сплошным посевом цедры. Бельмо на левом глазу, чирьи на щеках, ведь какой раскрасавец был, как мы его украшали, как расцвечивали тусклые его слова блеском своего красноречия, наводили румянец на щеки, сурьмили брови, глаза закапывали лаком. Для приукрашивания такой модели требовались сонмы штатных художников, фотографов, ретушеров, сладкопевцев во всех жанрах, начиная от басни и кончая монументальной эпопеей из листовой меди или из бумаги, заляпанной строчками букв, где все было ложью, даже грамматика. И тут уродство божества прикрывалось размерами его славы.

Нужно было сбросить его с пьедестала, чтобы уродство раскрылось людям.

Диспетчер дал команду. Танки в одной упряжке с тракторами потащили Старика прочь от постамента на разделочную площадку. Старик полз головой вперед, подцепленный тросами за шею и под мышками.

Голова с грохотом соскочила с клети, трещали разламываемые шпалы, щепная пыль все время кружилась в воздухе. На затылке Старика зияла глубокая вмятина, ноги сдвинулись в сторону, и вся туша тащилась по газону, бороздя землю, подминая клумбы.

— Чем вы объясните результаты падения? — строго спрашивал Наумов.

— Отрицательных результатов падения нет,— дерзко отвечал Глеб Романович.— Фигура выдержала динамический удар и легла в заданном направлении. Постамент не пострадал.

— Дом? Корова? — Наумов начинал сердиться.— Или вы хотите сделать из первого секретаря героя местных анекдотов, как было с Сидором Сидоровичем на поворотном круге? Отвечайте.

— Причина тут не во мне, товарищ первый секретарь,— сухо продолжал Федоровский.— Главная причина в прибытии танков. Слишком сильно дернули. Динамический удар получился выше расчетного.

— Пригласим вас на бюро, чтобы вы могли высказать свою точку зрения,— смягчился Наумов.— Я полностью доверяю вам, Глеб Романович, но я прошу вас не терять бдительности. У нас имеются сведения: сегодня ночью возможны провокации. Поэтому важно не допустить хотя бы незначительных инцидентов, подобных этой истории с Буренкой.

Мимо пола погон генералиссимуса, оставляя за собой глубокую борозду. След от погона был похож на ход сообщения.

Неподалеку от Наумова и Федоровского стоял Егор Телятников, мимо него сейчас как раз проползало левое бедро. А еще дальше, по ту сторону дома, стояли на аллее Аркадий Бурич и Лев Шкунаев, глядя, как мимо них, подминая и волоча за собой шпалы, проползает левая штанина с задранным носком ботинка.

Егор Телятников был на этой аллее пятым лишним. Он стоял, размышляя, к какой группе ему примкнуть и что может произойти в том или ином варианте. Мимо Егора проползала фуражка, поставленная торчком и прижатая к левому колену. Ход сообщения, продавленный погоном, тянулся до самого Наумова. Первый секретарь стоял, сердито размахивая руками, и Егор Телятников понял, что по ходу сообщения идти сейчас небезопасно. Ползущая на ребре фуражка оставляла след не такой глубокий, но козырек ее указывал явно на Бурича. Егор Телятников посмотрел по указанию козырька. Бурича и Шкунаева уже не было.

Телятников страдал почти физическим страданием, глядя на ползущий мимо него монумент. Сколько лишнего труда было положено на его создание и сколько уйдет теперь на его разрушение.

Егор Телятников вырос в трудовой семье и с самого детства познал цену труда, тем больше доставшегося на его долю, что он был сиротой и единственным сыном у матери, которая растила его не балуя.

Он оказался неблагодарным сыном. Едва ему исполнилось 15 лет, ушел из Зареченска, как выяснилось, навсегда. Он учился в художественном училище, пока его не призвали в армию. В канун войны он стоял под Городищами. Его молодые, натренированные на марше Энтузиастов уши оказались выносливыми и выдерживали звуковые перегрузки сорок первого года. Звуковое превосходство немцев постепенно сходило на нет. Вот уже с обеих сторон наблюдался одинаковый уровень шума. Потом уже на нашей стороне сделалось больше звуков, в том числе и могучее ура, снова переходящее в марш Энтузиастов. С чего начали, тем и завершили.

Он принял решение демобилизоваться и идти в Академию. Как фронтовик-орденоносец был зачислен без экзаменов, его лишь попросили нарисовать картину. Егор Телятников нарисовал беспомощные березки и был поглажен по головке за высокую патриотичность темы. Его учителями стали Козлов, Бурич, Домский, Содомский и прочие великие натуралисты той незабываемой эпохи, созданной для самовосхваления. Многоопытные учителя, прошедшие сквозь огонь, воду и медные трубы, сумели почти начисто вытравить из него индивидуальность, оставив на его долю свободу выбора размеров холста. Сначала он учился на живописном факультете, рисуя модные тогда шлюзы, экскаваторы и непереименованные тракторы. Но тут великая эпоха завершилась, породив смутные надежды на перемены, которые вскоре проросли до уровня тайных установлений в виде тонких красных книжиц, хранящихся в несгораемых сейфах и зачитываемых вслух на закрытых собраниях при плотно притворенных дверях и опущенных шторах. Так, бывало, детям прошлого века читали вслух Льва Толстого или Александра Пушкина в воскресных школах, впрочем, дверей-то не прикрывали. А после снова тощую книжицу в сейф. Как мы радовались тогда и этой малой рахитичной литературе, наивно веруя, что впоследствии из тех же слов произрастут новые всходы. Но разве не было так? Открылись шлюзы, хлынули вешние воды, обещая напоить родную землю. Уже и открытый голос раздался, а худосочную тайную брошюру стали продавать на всех углах за пятак.

И мы заговорили вслух, ненасытно, громко, не слушая друг друга.

В эту ломкую неокрепшую эпоху созревал Егор Телятников, пытаясь самолично докопаться до истоков.

Еще на последних курсах Телятников вылепил Строителя, который был замечен и отмечен. Скульптуре повезло — ее закупили для выставки. Правда, в окончательную экспозицию она не была включена, зато сразу угодила в запасник, дающий, как известно, гарантию вечности.

У Егора Телятникова вечная русская беда: он мучился от сознания собственной бесталанности. То ему казалось, что он может достичь всего, до высшего предела, то начинал истязать себя и бросал начатое: опять ничего не выходит. Отсюда все его жанровые шараханья, показной гонор, мнимая деловитость и прочие качества, о которых он, возможно, сам еще не подозревает. Оставшийся сиротой, не знавший отца, он еще добавочно страдал от тайны своего происхождения, которая весьма колоритно подсвечивала и без того усложненный рисунок его характера.

Погон прополз, проползла рука с фуражкой, поползло колено и уже подползал ботинок. Егор Телятников стоял и дивился, с какой тщательностью выделаны детали медного Старика: ногти на пальцах, разрез обшлага, строчка шинельного шва, ширинка на штанах, выточенная с особой нежностью до каждой малой подробности. А погон-то, погон! Вензеля, канты, золотое шитье канители, сплетающееся в сложнейший рисунок — а ведь за колючей проволокой плелось.

Теперь его опутали тросами и поволокли в переплавку. Задранный ботинок прополз, волоча под собой битую шпалу. Старик завершился худым ботинком, и это вырванные с корнем подошвы доставили Телятникову дополнительную мстительную радость, более того, показались символическими. Смутные соки бродили в душе Егора Телятникова. Он жаждал обновления.

Но свободен ли я? Когда я стал таким, зачем я, куда бреду, не зная, где споткнусь, не ведая, куда выбреду, а ночь темная и дорога щербатая, но при чем тут дорога, разве я не сам ее выбираю, или скорость не та, гоню, мчу, остановиться некогда, бреду, бреду...

— Егор Егорович, куда вы идете?

— В направлении свободы, Матвей.

— Один вопрос, Егор Егорович. Что вы можете сказать о сегодняшней Небывалой ночи?

— Пусть этой ночью случится то, что еще никогда не случалось,— изрек Егор Телятников, загадочно улыбаясь.

— Разве оно еще не случилось? — Румер сделал жест в сторону медной туши.

— Все впереди,— Телятников горделиво удалился.

Матвей Румер остался у левого башмака, всматриваясь в очертания ночи, вслушиваясь в ее звуки. Снова загудели моторы. Танки стали расходиться в стороны, таща за собой руки. Концы тросов были обвязаны вокруг запястий.

Со стоном затрещал разламываемый металл. Под мышками хрустко треснуло и разорвалось. Погон на левом плече неслышно переломился. Рука с фуражкой отделилась от туловища и тотчас движение ее ускорилось, словно руке сделалось легче. По ту сторону живота ползла вторая выдранная рука, их увозили в конец аллеи, чтобы не создавать тесноты на разделочной площадке.

Десятки сварщиков с обеих аллей враз подступили к монументу. Робко всколыхнулся первый голубой огонек на левом колене, голубые отсветы коснулись облетевших тополей, опалили постамент. Рядом с первым вспыхнул на бедре второй голубой светлячок, в ту же секунду на плече засверкал третий, и вот уже по всей медной туше зажглись огни, испуская густой сизый дым. Голубые сполохи призрачно скользили по земле. Голубой дождь моросил над головой. Голубые деревья выросли по бокам площадки. Старик едко запах паленым, сизый дым слоисто тянулся вдоль аллеи в сторону постамента, словно кисеей его накрывая.

Матвей Румер непрерывно щелкал аппаратом, все время избирая новую позицию и жалея о том, что не может найти такой точки, откуда бы вся картина охватилась единым взглядом. Старик был столь огромен, что не влезал в объектив.

Кончилась кассета. Румер остановился, оглядываясь по сторонам. Надо беречь кадры, подумал я, а то пленка кончится. Изобразительного материала было в избытке, я бедствовал в поисках материала словесного. Где моя магнитная пленка?

Пожилой сварщик в брезентовой робе погасил огонь, поднял маску на лице.

— Вот это да! — воскликнул сварщик, заглядывая в черную глубину бедра.— Он же внутри пустой.

— Пусто-ой! — крикнул он в отверстие.

— ...усто-о-ой,— гулко ответило бедро.

Матвей Румер записал на пленку диалог сварщика с левым бедром, привычно думая, что это не пройдет в эфир. В эту Небывалую ночь Румеру требовался жизнеутверждающий словесный материал.

Вдоль левой ноги семенила Троицкая. Румер бросился наперерез.

— Вера Васильевна, всего один вопрос.

— Я так тороплюсь. У меня солдаты на простое.

Румер выставил вперед грушу микрофона, Троицкая мгновенно зацепилась за нее.

— Что вы можете сказать о нынешней ночи?

— Это прекрасно. Это апофеоз. Я возрождаюсь и молодею. Когда я работала над своей первой диссертацией, то специально ездила в научную командировку в нашу столицу в зал подарков этому извергу. И там, среди прочих культовых экспонатов, которые мы сейчас с таким подъемом уничтожаем, шел поток приветствий, который, кажется, так и не был завершен, потому что не хватило стен для того, чтобы вывесить все приветствия. Теперь я предлагаю в качестве достойного финала этой великой ночи: пусть наши газеты начнут публиковать поток проклятий.

— Это не пойдет,— отрезал Румер, убирая грушу.

— Я что-нибудь не так сказала? — испугалась Вера Васильевна.— Почему не пойдет?

— Потому что вот здесь,— Матвей Румер поколотил грушей микрофона по своей груди,— сидит внутренний редактор, который лучше меня знает, что можно и что нельзя.

— Значит, потока проклятий не будет? — огорчилась Троицкая.— Уверяю вас, это недодумано. Это нам нужно. Это бы нас омолодило. Но где-то внутри себя я чувствую: вы правы.

— Спасибо, Вера Васильевна, я что-нибудь выкрою, начало у вас было прекрасное.— Румер заторопился.

Ближе к постаменту, неподалеку от террасы стояли Лев Шкунаев и Аркадий Бурич. Их явление возвещало, что друзья завершили очередной тост и приступили к началу операции «Большая голова».

Когда танки начали растаскивать в стороны руки, и Старик захрустел, Бурич судорожно сжал ладони в кулаки:

— Лев, ты видишь? Что они делают? Это же варварство, Лев.

— Это директива, Аркадий,— неумолимо отвечал Лев Шкунаев.

Бурич выхватил альбом и принялся лихорадочно рисовать, чтобы хоть на бумаге запечатлеть это надругательство над святыней.

Голубые светлячки резвились, скакали по всей туше, шипя и вздрагивая, но Бурич, казалось, не замечал этого.

— Твори, творец. Я утвержу: так и было.

— Эскизы, эскизы,— нашептывал Бурич как бы в трансе, а у него получалось: эскьюзы, эскьюзы.

— Посмотри, Аркадий, ты видишь? На что похоже?

— Я не вижу. Я же рисую,— шептал Бурич упоенно.

— Огней-то сколько. Как на монтаже,— Лев Шкунаев наконец-то добрался до кончика будоражащей его мысли.— Как тогда, в ангаре.

Бурич пошел по аллее мимо террасы и дальше, огибая левое плечо Старика.

— Момент! — слепой зрачок нацелился на Бурича.— Прекрасный кадр.— Румер подошел ближе.— Аркадий Евгеньевич, разрешите взять у вас интервью.

— Только в темпе,— бросил Бурич, доставая альбом.— У меня эскьюзы.

— Вопрос первый: над чем вы сейчас работаете?

— Над левым бедром девы-Воительницы.

— Что есть самое трудное в искусстве?

— Получить аванс.

— Главная цель вашей жизни?

— Добиться возможности вставать когда хочешь.

— Вам удалось?

— Да. Но лишь после того, как я заработал бессонницу.

— Будьте добры: что вы можете сказать о нынешней Небывалой ночи.

— Самое прекрасное, когда в такую ночь на твоей груди лежит любимая голова, она рыжая и страстная, я бы хотел упрятать ее от посторонних взоров. Только наедине, только наедине.

— Последний вопрос: как вы относитесь к этому монументу?

— Гораздо лучше, чем к вам.

— Благодарю за откровенность. Теперь скажите мне: а что я дам в эфир?

— Разве вы меня не записали?

— Я-то записал. Но вы не знаете моего шефа. Он же зверь, он все это вырубит, оставив лишь два слова: дева-Воительница. А мне необходим полновесный материал в духе момента.

— Когда запустите в эфир?

— Через три часа после получения. Наш эфир всегда к вашим услугам.

— Договорились,— Бурич извлек из бокового кармана пальто сложенные листки.

— Вот это оперативность,— воскликнул Румер.— Надеюсь, там есть про съезд?

— Кто тут недоволен нашей оперативностью? — за спиной Румера возник генеральский погон. Лев Поликарпович обогнул Румера, вежлино потянул ремешок фотоаппарата на пробу.— А-а, наши славные автоматчики гусиного пера. Смотри, Румер, сегодня ни-ни-ни! Ты меня понял? А то ведь сам знаешь: слово не воробей.

— Лев Поликарпович, как вам не стыдно. Румер дисциплину знает. Еще ни одного кадра не щелкнул. Запоминаю глазом.

Лев Шкунаев так и поверил.

— Имеются ко мне вопросы? — спросил он.

— Только один,— сказал Румер, выставляя вперед грушу микрофона.— Что вы можете сказать по поводу сегодняшней Небывалой ночи?

— Отвечаю из личного уважения к отечественному эфиру. Но только не для печати.

Румер испуганно замахал руками. Груша исчезла.

— Лев Поликарпович, само собой.

— У нас такой ночи не было и, надеюсь, больше никогда не будет.

— Лев, они уже голову режут,— сказал Бурич,— пошли скорее.

— Лев Поликарпович,— воскликнул Румер, пытаясь задержать Шкунаева,— вы сделали заявление не для печати. А теперь скажите мне для печати.

— Ни за что,— Шкунаев ответил грозно.

— Но почему такая немилость?

— То, что для печати, ты и без меня знаешь. Пиши, я потом подмахну.

Они ушли, я даже не смотрел им вслед, пусть топают, мне с ними не по дороге, ведь я верил, верил, верил, но разве я сейчас не верю, я верил раньше и буду верить всегда, а если иногда привру немножечко, так это исключительно ради веры моей, чтобы она не иссякла во мне самом, и если что получалось не так, так это исключительно от невезения, а не от неверия, война началась, а мне всего шестнадцать с половиной, вот это действительно крупно не повезло, потому что войну без меня кончат, надели на меня шинельку, винтовочку в зубы, шагай, парень, и дошагал по лесу до штаба дивизии, а дивизия не простая, артиллерийская, где же тут передок, ты у кого спрашиваешь, у тебя, девушка, она хохочет, а ты кто, мальчик, я не мальчик, я часовой на посту, только мне в лесу стоять никак не интересно, я хочу биться с врагом, но для этого мне требуется знать, где тут передок, а этого я тебе сказать не смею, это есть военная тайна, ой, меня майор зовет, и убежала, я дождался своей минуты, он выходит, садится в машину, как дохожу до этого места, так душа в пятки, потому что из дома опять выходит та самая деваха и ко мне, часовой, часовой, подойди ко мне поближе, я не смею, я же на посту, часовой, часовой, можно ли до тебя дотронуться, стой, нельзя, не подходи, фи, какой ты нехороший, войне конец, а до тебя даже дотронуться нельзя, у тебя же муж есть, говорит ей часовой Мотя, фи, какой он мне муж, он старик, у него двое детей, он мне не нужен, хоть и майор, зачем же ты с ним, да разве меня спрашивали, говорит она мне, а у самой слезы на глазах, это был боевой приказ, часовой, или ты не знаешь, как это делается, нет, говорю чистосердечно, не знаю, я врать не обучен, ты вообще ничего не знаешь, про что, ну про это, про это я знаю, в книжках читал, часовой, часовой, а ты с кем целовался, ни с кем, вот это да, значит ты не целованный, часовой, часовой, ну дай я до тебя дотронусь хоть пальчиком, ну вот сюда, до левой руки, ты такой пухленький, розовенький, а сама крутится вокруг меня, сапожки на ней ладные, крошечные, на талии ремень широкий, уж как хороша, стой, тебе говорят, не подходи, я на посту, ты когда сменишься, через три часа, ой, я три часа не выдержу, я сейчас хочу, пойдем со мной в дом, стой, вот дурачок, да кого же ты охраняешь, ты штаб охраняешь, а в штабе я сейчас одна, все остальные на совещании, майор будет еще пять часов совещаться, мы с тобой одни в лесу, значит, ты меня одну охраняешь, ну дай я тебя поглажу, стой, стрелять буду, а у самого ноги к земле приросли, вот дурачок, а еще часовой называется, и сама в дом ушла, я стою ни жив ни мертв, выйдет или не выйдет, уж лучше под пулю, чем такое терпеть, а в доме тихо и в лесу тихо, никого нет, прохаживаюсь возле двери и вдруг стон, помогите, скорей на помощь, люди добрые, я бегом в дом, влетаю в спальню, а она лежит в халатике трофейном, увидела меня и распахивает халатик, а под ним ничего чужого нет, все только наше, красноармейское, ну что же ты мне не помогаешь, дурачок, или не видишь, как я от тебя помираю, тут раздаются шаги командира, ой, ой, он пришел, хватаю автомат и в окно, снова я часовой, а майор прет на меня, как танк, почему пост покинул, я не покидал, товарищ майор, честное слово, почему стоишь на посту без штанов, я себя охлопал, а штанов и вправду нет, стою, глазами хлопаю, врать-то еще не приучен, тут она из дома выскакивает меня спасать, вот, товарищ майор, вот его штаны, это я виновата, я штаны стирала, так как они запачкались от копоти войны, а он руки в бок, интересно, юбка твоя тоже от копоти запачкалась, я смотрю на нее и мурашки по спине, она так спешила меня спасти, что юбку забыла надеть, тут уж он разошелся на всю катушку, на передовую, кричит, обоих, в штрафную роту, под трибунал, где это видано, чтобы часовой на посту без штанов стоял, это есть измена Родине, вы оба Родине изменили, взять их, нас схватили, связали одной цепью и шагом марш под трибунал, а она, часовой, часовой, знать пришла нам пора помирать, как тебя зовут, Даша, а тебя как, а я Мотя, я согласен с тобой умереть, Даша, а она головой крутит, я бы еще хотела пожить, хоть немножко, ну хотя бы с тобой еще один разик, а там и умереть согласна, идем, значит, по лесу и щебечем, а нас Вася ведет, теперь он наш часовой и конвоир, Вася кричит, прекратить разговоры, вы под конвоем, она к нему, часовой, часовой, ну что тебе стоит, ты такой хорошенький, добренький, ну перестань нас охранять хотя бы на три минутки, а сам отвернись, мы же не убежим, мы под кустиком, знаю я вас, вы опять за свое приметесь, ну и примемся, ну и что, разве нам нельзя перед смертью, мне-то что, отвечает Вася, разве я против, но при одном условии, чтобы я не отворачивался, а то вы от меня убежите, но и мы его уже не видим, как кинемся друг на друга, только цепями залязгали, и тут он бабахнет, двестисемимиллиметровый, откуда его к нам принесло, я ничего не разобрал, чувствую, что взлетел и парю в воздухе, а меня цепи не пускают, лежим рядом бездыханные, мне пятнадцать осколков в руки, ноги и так далее, Даше всего один кусочек, в висок, и насмерть, а Васе за «посмотреть» ни одной царапинки, но это все потом, так сказать, в постскриптуме, потому что я сейчас без сознания лежу в обнимку с мертвой Дашей, а Вася цепи разъединить не может, тащит нас обоих через лес к дороге, полгода мотался по госпиталям, потом вчистую, а Дашу так и похоронили под тем кустиком, ну чем она виноватее меня, хоть бы когда-нибудь понять и забыться, недавно получил письмо с того света, уважаемый товарищ, совет ветеранов энской артиллерийской дивизии приглашает вас на торжественную встречу ветеранов, которая состоится там-то и тогда-то, приезжай, дорогой товарищ, обнимемся, вспомним за дружеским столом наши ратные подвиги в суровые грозные годы, полковник запаса Барсуков, он самый.

29. Белые красных или красные белых? Кто кого больше

Сергей Леонидович Наумов диктовал Кате тезисы комплексной продовольственной программы и голос его с каждым новым параграфом делался все доверительнее. Катин карандаш неслышно скользил по бумаге, и Катины воздушные колени, выглядывающие из-под простенького платьица, казались Наумову столь беззащитными, что их невольно хотелось погладить рукой, чтобы защитить от всех прошлых и будущих напастей. Корешков умиротворенно заваривал свежий чай. Лопоухий телефонист положил голову на плечо и подремывал.

Рука Сергея Леонидовича сама собой помимо воли хозяина потянулась к Катиной коленке. Сейчас случится нечто непоправимое.

Положение спас Глеб Федоровский. Голова его непредусмотренно просунулась в дверь вагончика.

— Режем,— сказал он шепотом, дабы не вспугнуть секретарскую руку.

Сергей Наумов резко встал, оставляя за спиной минутную слабость. Аллея встретила Наумова голубым мерцанием. Глеб Федоровский шагал впереди, озабоченно поглядывая на часы.

Они направлялись к голове. За головой виднелись заломленные руки, которые были оторваны от Старика и лежали сами по себе. Как раз проходили мимо зияющего плеча с разломанным погоном.

Наумов не опоздал, хотя пришел не первым. Лев Поликарпович, сверкая лампасами, стоял в районе левого уха, на лице его было написано, что операция «Большая голова» началась, и он самолично руководит ею. Аркадий Бурич стоял рядом, всем своим видом показывая, что не имеет к данному событию ни малейшего отношения. Чуть поодаль уютно расположился Егор Телятников с тросточкой и гитарой, причем последняя была приведена в походное положение, будучи закинутой на цепочке за спину. Егор Егорович был углубленно занят расчесыванием усов и ожидал дальнейших событий. Иван Силин время от времени мелькал на периферии заломленных рук, зорко наблюдая правым вычищенным глазом, когда наступит его минута.

Самосвал медленно пятился по аллее, подруливая к голове. Павел Чугунов, высунувшись из кабины и глядя вывороченной шеей назад, ставил машину под погрузку.

В шее уже прорезано отверстие. Раскаленный металл стекал крупными вишневыми каплями на землю. Дзюба вел шов разреза изнутри, огненные судороги пробегали по шее. Сначала на коже возникала краснота, казавшаяся безобидным воспалением, но красный фонарь густел, наливался, напоминая о нездоровье, и вдруг прорывался наружу огненным всплеском.

Я сегодня устал, подумал я, а впереди еще масса дел, все главное впереди, я устал от Корешкова, все эти штучки с воздушными коленками шиты белыми нитками, они не спасут доносчика, его надо гнать, но мы же люди, на улицу не выбросишь, сначала надо Корешкова трудоустроить, тут и начинается загвоздка, куда его деть, директором школы рабочей молодежи, и он начнет разлагать подрастающее поколение, мастером-наставником на завод, так ведь он номенклатура, привык к чистой работе, на склад его бы директором, так там специалист нужен, а этот ничего не умеет, только чай заваривать, куда же его, заведующим чайной, не так все просто, в совхоз его, хотя бы замом по политчасти, так ведь без хлеба останемся, что бы ему такое придумать, безвредное и достойное, придется ему отдел давать, нет, не в обкоме партии, а в горсовете, скажем, отдел культуры, чтобы он всегда был в поле зрения и не мог напакостить ни делу, ни людям, но ведь отдел дать, это вроде как повышение, а потом могу уехать, а Корешков в председатели горсовета выйдет, станут говорить, что я его повысил за то, что он мне Катю достал, вот и получается, что ничего нельзя сделать с доносчиком, только повысить его, вот от таких пустых хлопот и устаешь, скоро отрежут голову, а как сейчас в Москве на Главной площади, о Москве думать куда приятнее, Москва сказала нам то, что мы давно ждали, я сидел в двенадцатом ряду, передо мной голова, позади голова, справа и слева по голове.

— Ты слышал, завтра скажут все.

— Разве еще не сказали? В чем же это все заключается?

— Все это все! Все надо будет начинать сначала.

— Не говори. Всего не скажут. И так сказали больше, чем следует. Тебе что ни скажи, все мало. Кровожаден на слово.

— Завтра назовут цифру — двадцать миллионов.

— Что делать, такова цена эксперимента.

— Но мы обязаны знать точную цифру. Сколько их было за колючей проволокой? Сколько осталось? Знаешь, как полководец. Если он не знает цифры потерь, он не сможет принять правильное решение: продвигаться ему вперед или надо задержаться, накопить резервы.

— Помнишь, в детстве играли в красных и белых, а потом спорили до посинения, кто кого убил: я тебя или ты меня?

— В самом деле, кто кого больше убил?

— Белые красных? Или красные белых?

— Это же вопрос вопросов.

— Лобовой подход. Ответ находится в иной плоскости. Красные убили красных больше, чем белые убили красных и красные убили белых и белые белых вместе взятые.

— Сам считал? Нужна постепенность. Важна не только абсолютная истина, но и метод ее постижения.

— Может, вообще стоило промолчать?

Но такого вопроса не возникало, а если он и возникал, то оставался невысказанным, и мы постепенно приближаемся к резолюции, взметываются вверху красные мандаты, красный лес вырос в зале, я не глядел по сторонам, но все равно видел, многие плакали, есть ли слово сильнее и горше, а что еще расскажут?

— Полундра! — раздался выкрик внутри Старика.

Сварщики отступили внутрь, прячась в шее. Медная голова косо замерла на мгновение, затем с грохотом перекатилась на левое ухо. Клюнула носом землю, качнулась несколько раз на ухе, избирая наиболее устойчивое положение, и затихла, уставив огромные медные глаза на окружающих. Правый глаз был вычищен до блеска, левый в пятнах помета, нашлепках птичьих гнезд. Дождь намочил глаза, и они были мокрыми. С ресниц капало. Внутри головы что-то загремело при падении, из отрезанной шеи вывалилось наружу пустое ведро со шваброй.

Сергей Леонидович почувствовал, что за его спиной кто-то стоит. Рассыпчатый бас нашептывал в правое ухо:

— Он все видит. Возьмешь и пожалеешь.

— Что я пожалею? — на всякий случай спросил Наумов.

— Что возьмешь, о том и пожалеешь.

— А как пожалею?

— Заплачешь солеными слезами радости.

Наумов обернулся. Рассыпчатая тень скользнула за борт самосвала. Лев Шкунаев и Аркадий Бурич стояли по-прежнему по ту сторону отрезанной головы.

Терентий Дзюба цеплял голову тросом за уши. Деловитой походкой перед головой явился Иван Силин, в одной руке ведро с водой, в другой — тряпка с мелом.

— Извини-подвинься, монтажник разлюбезный,— Силин поставил ведро и начал макать тряпку.

— Ты чего? — удивился Дзюба.

— Я тебе не мешал,— отрезал Силин.— И ты мне не мешай. Без тебя мешальников хватает.

— Что вы хотите? — спросил Глеб Романович, выступая вперед.

— Утром глаз недочистил, гражданин начальник. Вы же и помешали. Сам видишь, какая некрасивость выходит.

— Пусть каждый делает свою работу,— рассудил Лев Шкунаев.

Сергей Наумов сделал знак: оставьте, мол, его.

— Покойников и то обмывают,— гундосил Силин.— По городу, небось, повезут. И скажут люди: смотрите, Иван Силин недочистил. Я свою работу уважаю и должен ее во всех видах терпеть,— приговаривая таким макаром, Силин ловко драил левый глаз и вскоре он заблестел как на витрине. Силин отступил на шаг, любуясь своей работой.

— Но это же бессмысленно,— Глеб Романович пожал плечами.

— Ты думаешь, гражданин начальник, твоя работа смышленее моей? — протренькал Силин.— Хе-хе, как бы не так!

Отрезанная голова была безобразна. Голова была слепа, глуха. Голова была брошена. Голова была мертва, и ей уже не дано воскреснуть, возродиться, прийти к живым. Голова была огромна, мелкие люди копошились вокруг нее, чтобы до конца расправиться с нею. Дзюба на стремянке полез к правому уху, цепляя трос. Влас Королев помогал ему. Другие монтажники возились у шеи.

Голова была величественна даже в минуту агонии.

Аркадий Бурич любовался своей головой.

Валентин Корешков снова подкатил к Наумову: зовут к телефону. Сергей

Леонидович отмахнулся: знаем мы ваши штучки, на воздушных коленках меня не проведете.

— В самом деле, Сергей Леонидович, в самом деле,— с жаром нашептывал Корешков.— На дороге авария. Столкнулись две машины, обе специальные.

— Жертвы есть? — спросил Наумов, тут же почувствовав важность сообщения, и быстро зашагал к вагончику.

А Дзюба уже давал крановщику команду на подъем головы, другой рукой подзывая самосвал для погрузки.

— Эй, Павло, что же ты? — взывал Терентий Дзюба.— Отстаем от графика.

При слове «график» Павел Чугунов выпрыгнул из кабины.

— Почему не грузите? Сколько можно ждать? Давай стропи, едрена феня,— налетел на Бурича,— посторонись, папаша, не крутись под пролетарским сапогом. Я сегодня ночью с головой сражаться буду.

— Начинайте погрузку,— скомандовал Федоровский.

— Гражданин начальник, разреши в голову сходить? — Силин боязливо приблизился к Федоровскому.

— Что вы сказали? — удивился Глеб Романович.

— Голова-то моя,— твердил Силин, показывая на разорванную шею.— Я мигом. Шкатулочка там хранится. Маленькая такая. Кованая. Ключик-то от нее, вот он,— Силин протянул руку, раскрывая ладонь, там действительно лежал маленький ключик.

Федоровский дал знак. Автокран клюнул носом, но сила его оказалась крепче, и голова неохотно оторвалась от земли, перетягиваясь в воздухе носом вверх. Чугунов уже сидел в кабине, готовый принять ношу.

Бурич с тревогой следил за Шкунаевым. Сейчас голову увезут и тогда ищи-свищи ее по белу свету. Но Лев Поликарпович, скрестив руки на груди, безропотно наблюдал за погрузкой, не делая никаких попыток вмешаться.

Медная голова поднялась над кузовом. Дзюба чуть повертел ею, придавая заданное положение, и мягко, почти неслышно посадил в кузов самосвала, носом кверху, затылком назад.

Самосвал хрякнул и косо осел на заднее колесо. Послышалось вязкое шипение выходящего воздуха, слабеющее с каждой секундой. Голова недовольно звякнула.

— Что случилось?

Вопрошать было поздно, а главное, бессмысленно. Лев Шкунаев твердым шагом прошел к тому месту, где только что лежала голова и повернулся к Федоровскому.

— Допускаете к работе непроверенную технику,— с предельной вежливостью выразил он.— Это мы тоже зафиксируем в отчете? Или пропустим?

— Запаски есть? — растерянно спрашивал Глеб Романович, и тут же к Шкунаеву: — Это недоразумение, товарищ генерал, уверяю вас, мы не задержим.

— Прокол,— кричал Чугунов из-под колес.— Сразу два. У меня двух запасок нет.

Лев Поликарпович решительно повернулся:

— Алехин, живо!

На аллею, угадывая волю генерала, уже выкатывался из-за угла могучий грузовик цвета хаки с белой каймой девственника, весь с иголочки, еще нехоженый, нетоптанный, хранимый в недрах РГК для самой великой операции века и по мановению волшебной палочки перенесенный на монтажную площадку прямо с главного сборочного конвейера Генерального штаба. Чугунов пытался жалко вскрикивать: «А я, а я?» — куда там — голова приподнялась на тросах и будто сама перепорхнула в уготованное ложе, даже не скрипнувшее под своей ношей. Бурич заметил, что во время перегрузки медный правый глаз лихо подмигнул ему.

Переменилось лишь положение головы. Теперь она лежала затылком в кабине, шеей наружу.

Лев Поликарпович принял положение «смирно» и давай рубить воздух ладонью.

— Маршрут движения — маршрут номер один, впереди колонны идет бронетранспортер номер один, затем машины с черным и цветным металлом. Голова замыкает шествие. Старшим по следованию назначаю капитана Алехина. О прохождении контрольных пунктов сообщать по радио. На весь сданный металл должны быть получены накладные. У кого имеются специальные или гуманитарные вопросы?

Лев Поликарпович выдержал паузу. Вопросов не было.

— Капитан! Проверить голову!

— Есть проверить голову! — отвечал Алехин на подскоке.

Пролагая путь лучиком фонарика, капитан Алехин отважно ринулся в разверстую шею, прогремел в голове коваными сапогами. Из головы вылетела мертвая сова, упавшая на аллею к ногам Федоровского. А сапоги продолжали греметь внутри головы. Наконец Алехин появился в разрезе шеи, вытягивая из головы упирающегося Чугунова. Они спрыгнули на землю.

— Цель? — спрашивал Лев Поликарпович без всякой надежды на снисхождение.— Диверсия? Террор? Контрреволюция?

— Справедливость,— отвечал Чугунов с вызовом.

— Что вы там делали, Чугунов? — ошарашенно спрашивал Глеб Федоровский, еще не успевший прийти в себя от первого удара.

— Отойдите от головы на десять шагов, товарищ Чугунов,— приказал Лев Шкунаев.

Чугунов отошел за чужие спины.

— У кого еще вопросы? — любезно спрашивал Шкунаев, обводя глазами собравшихся.— Может быть, у вас, Аркадий Евгеньевич, как у творца данной головы?

— Мне все ясно, спасибо вам, генерал. Если вы не возражаете, у меня пожелание.

— Извольте, вам как творцу можно все.

— Я хотел бы сфотографироваться на фоне головы.

— Фотографирование на монтажной площадке запрещено,— объявил Лев Шкунаев.— Здесь только я могу фотографировать. Наведите мне на резкость. Я щелкну.

Бурич встал на фоне головы. Шкунаев кряхтя пригнулся и щелкнул.

— Мы отстаем от графика, Лев Поликарпович,— молвил Федоровский.

— Последняя просьба, товарищ генерал,— поклонился Бурич.

— Комиссия постановляет: уважать последнюю просьбу обезглавленного. Выкладывай, брат.

— Накрыть бы.

— Последняя просьба признается законной и своевременной. Алехин, какие подручные средства имеете в распоряжении?

— Только не черный креп,— поспешно перебил Бурич.

— Плащ-накидки, товарищ генерал,— доложил капитан Алехин.

— Не по сезону. Отставить.

Вперед выступил Егор Телятников, указывая гитарой в сторону желтого коттеджа.

— Имеется солома, Лев Поликарпович. Целый воз. Буренке она уже не потребуется.

— Ветром сдует,— заметил Бурич.

Валентин Корешков ладошками вперед вынырнул из толпы.

— Получена информация,— скромно доложил он.— В карете «скорой помощи» имеется марля в достаточном количестве.

— Именно то, что нам нужно,— воскликнул Бурич, не умеющий обрывать игру на полуслове.— Но где же сам врач? Нам требуется врач.

Дверцы кареты «скорой помощи» были по-прежнему раскрыты. Сногсшибательные ноги, пребывающие в той же позиции, что и днем, пришли в движение, над коленкой всплыла кисть руки с дымящейся сигаретой в пальцах, затем показалось пухленькое личико со вздернутым носиком. Женщина распрямилась, поправляя накинутое на плечи пальто, шагнула на аллею.

— Тамара Гавриловна,— обратился к ней Шкунаев,— вы тоже здесь? Дайте ваш диагноз.

Женщина остановилась перед головой.

— На шее рваная рана,— заключила она.— Требуется срочная реанимация, но она уже не поможет. Поэтому я рекомендую легкую повязку.

— Мы теряем время,— угрюмо заметил Глеб Федоровский.— Отстаем от графика уже на девять минут.

— А после там снова окажется искатель правды,— отрезал Лев Шкунаев.— За голову мы с вами отвечаем перед партией.

Тамара Гавриловна и Вера Васильевна заботливо перевязали рваную шею, накрыли листами марли лицо. Марля тут же намокла, прилипла к металлу, вспучиваясь пузырями, искажающими черты лица.

— По машинам! — гулко скомандовал генерал Шкунаев.

Колонна гуськом вытягивалась на шоссе.

30. Однажды темной ночью

Главная площадь страны в этот час казалась черной — ни зги. Все огни были выключены. Звезды на башнях — и те не горели в эту ночь, и надо было долго простоять с открытыми глазами, чтобы привыкнуть к темноте и хоть что-то различить в ней.

Сначала различались шумы, напористые, готовые в любую минуту обернуться воем и треском. От Манежа шло упорное гудение моторов, по всему пространству Главной площади угадывалось в темноте невольное шевеление невидимой человеческой массы.

Потом в средоточии площади на фоне чернеющей стены начинала проскальзывать полоска света, заботливо укутанная от посторонних взоров. Там стучали молотки, возвещая новую эру.

От Спасской башни шла длинная черная машина, светя себе карманным фонариком. Робкие кружочки света, заслоняемые человеческими телами, пятнали брусчатую мостовую.

Глаза постепенно притерпелись к темноте, я двинулся вперед, проникая сквозь разрывы оцепления, ибо и меня не было видно в этой кромешной тьме. Оказалось, что я в домашних тапочках, которые почти не шаркают — меня не стало слышно. Разве что перо порой необузданно поскрипывало по бумаге, но кто обратит внимание на такую малость среди танкового гуда?

Над мавзолеем сколочен шатер из листов фанеры. Устроенная в виде тамбура дверь изредка приоткрывалась, пропуская избранных. Рабочие, стоя на лесах, били по камню зубилами.

В центре толпы избранных, сверкая блистательно начищенными носками сапог, поигрывая лайковыми перчатками, снятыми с руки, прохаживался в шинели генерал Лев Шкунаев, наблюдая за присутствующими чутко и благожелательно, ибо тут были только свои.

Послышался шум подъехавшей машины. Люди под шатром примолкли. Уверенно шагнув в заранее распахнутую дверь, под шатром появился высокий мужчина с властным лицом опереточного красавца, издали похожим на сгусток металла.

Лев Шкунаев сделал под козырек.

— Товарищ Железношуриков, к демонтажу саркофага товарища Самина все готово.

— Не брать никого лишнего,— скупо бросил Железношуриков, оглядывая малознакомых людей вокруг себя.

— Товарищ Железношуриков,— вполголоса торопился Лев Поликарпович,— все прибыли по штатному расписанию: эти из института Сохранения — ИС, та группа от Комитета, это осветители из министерства энергетики. Там космики из ящика. Отвечают за герметизацию.

— Однако же,— усмехнулся Железношуриков.— Снова разбухаете штатами. Придется вас укоротить. Приглушите свет. Открывайте дверь.

Вытягивая на ходу связку ключей из кармана шинели, Лев Шкунаев кинулся в проем между застывшими часовыми.

Саша Железношуриков с детства любил и признавал реально существующим только одно — власть. Все остальное есть производное от нее. Когда-то, еще в первом классе, учительница спросила его: «А ты кем будешь, Шурик?» И Шурик ляпнул под смех класса: «Я буду вождем». С той поры он стал Железношуриковым.

Потом он понял, что о таких вещах лучше не вести разговоры с учительницами. Быть может, в глубокой старости, когда он сядет в кресло в окружении собственных монументов, доведется с улыбкой вспомнить о первоклассной мечте. Толпа не любит самозваных вождей. Она любит создавать их сама.

Саша Железношуриков шагал по ступенькам власти, пожирая их ненасытным честолюбием. В детстве он был просто хил. К тридцати годам просто вял, снедаемый бесконечной страстью, точившей его всегда и всюду, даже в постели с любимой женщиной, даже в дороге, даже во сне. Но стоило ему взойти на трибуну или ощутить под собой пружинистость председательского кресла, он преображался. Он говорил, загораясь от собственного голоса и еще больше от блеска глаз, обращенных к нему. Голос Железношурикова был на их лицах и возвращался к нему преображенным. Железношуриков, постепенно набирая энергию, начинал звенеть, кликушествовать, бросая в толпу объедки чужих мыслей. Так совершался процесс замыкания стадности, когда стадо и вождь выступают в качестве единого организма: вождь высасывал энергию из стада, до предела, до икоты насыщался ею сам, а получающиеся при этом в виде блевотины словесные отходы выбрасывал обратно в благодарное стадо, потому и благодарное, что оно получило обратно то, что само отдавало, причем благодарному стаду казалось, будто оно получило больше того, нежели отдало. В том и состоит великое таинство всякой власти, неразгаданное простыми смертными, ибо высасывание энергии из стада идет незримо, зато стадо явственно чувствует облегчение, освобождаясь от этих отходов, будто вытекающих через задний проход.

Железношуриков не смог бы объяснить, как совершается этот великий процесс, достаточно того, что он мог творить его.

Ступеньки власти выскальзывали из-под его ног, но тут же подставлялись новые, еще более высокие и крутые. К сорока годам он поднялся к вершинам и жадно выискивал момент, чтобы ступить еще на одну ступеньку, выше которой начиналось небо.

Сейчас он был назначен председателем комиссии по выносу саркофага. Железношуриков воспринял это не только как намек и предупреждение. Словно ему сказали:

— Пойди туда и посмотри, что бывает с теми, кто жаждет власти для себя одного.

От того, насколько добросовестно выполнит он это поручение, зависело многое в дальнейшей судьбе Железношурикова, но не выполнить его было невозможно. И это понимал не только сам Железношуриков, но и генерал Шкунаев, стрелявший в Лаврушу и готовый с таким же рвением стрельнуть в него, Железношурикова, как только прозвучит сигнал.

И свита понимала: Железношуриков назначен сюда со смыслом.

Тем непроницаемее было лицо Железношурикова, когда он вошел в раскрытую главную дверь, шагая вслед за Шкунаевым и слыша за спиной беззвучно-почтительное шарканье подошв.

Лестница покато вела вниз. Короткие проходы были освещены сумеречным светом.

— Усилить освещение! — приказал на ходу Железношуриков, словно забыв о том, что минуту назад он отдавал противоположную команду.— Скорее же!

По убеждению Железношурикова идеальной властью являлась та, команды которой осуществляются мгновенно. Когда он, Железношуриков, получит власть, он покажет, как это делается.

И свет тут же зажегся! Он был холодным, неживым, но ведь и помещение это предназначалось для неживого. Два стеклянных колпака тускло поблескивали на общем постаменте.

Вошедшие располагались вдоль стен, на ступеньках лестницы, наблюдая за происходящим. Трое космиков неслышно подступили к колпаку.

— Начинайте,— без передышки скомандовал Железношуриков.— Освободите постамент.

Мерно, укачивающе загудели инструменты. Скоро и мне надоело подпирать плечом стенку в этом зале, захотелось выйти на свежий воздух, затянуться Беломорканалом, Волгодоном, таежным дымком, Соловками. Но как подумаешь: опять продираться сквозь оцепление. Я был тут совершенно один, никого не представлял, кроме самого себя. Словом не с кем перекинуться.

— Ты видел, там объявление висело: санитарный день. Каково!

— Это, брат, великая санитария. Все равно как под душем постоять.

— За девять лет защитили восемь диссертаций. Вдруг теперь аннулируют?

— Хватил! Это же наука. Мы еще многим пригодимся. А вот штаты срежут. Слышал, он сказал: укоротить!

— Ничего. Наш институт Сохранения за эти годы вдвое расширился. Мы Его хорошо сработали. Лежит как живехонький.

— Возьмемся за передачу опыта. По другим странам ездить.

— Я не горюю. Специальность вечная. Был я начальником левой руки. Следил, чтобы левая рука все время лежала поверх правой. За девять лет Он ни разу руку не переменил. А кто? Я добился, Иван Силин. Разработал теорию неперемещения, защитил докторскую. Каждый квартал премию. Детишкам на молочишко.

Затарахтело, заухало, пол содрогнулся. Стоявший в стороне в полном одиночестве Железношуриков поднял голову.

— Не слишком ли тут шумно? — спросил он строго и внятно.

— Шум технологический, его не избежать.

— Так включите музыку,— раздраженно бросил Железношуриков.

Лев Шкунаев быстренько нажал кнопку. Поплыли рыдающие звуки реквиема. Железношуриков поморщился. Шкунаев чутко осознал: траур не к месту. Сейчас у нас не траур. И зазвенел в подземелье гитарный перебор.

Товарищ Самин, вы большой ученый,
В языкознанье знаете вы толк,
А я простой советский заключенный,
И мне товарищ серый брянский волк.

За что сижу, воистину не знаю,
Но прокуроры, видимо, правы:
Сижу я нынче в Заруханском крае,
Где при царях сидели в ссылке вы.

— Вы считаете? — спросил Железношуриков, подзывая пальчиком Льва Шкунаева.

— Так точно, с-считаю,— отчеканил Лев Поликарпович.

— Аккуратность. Чистота исполнения. Анализировано.

— Можете продолжать.

В чужих грехах мы с ходу сознавались,
Этапом шли навстречу злой судьбе.
Мы так вам верили, товарищ Самин,
Как, может быть, не верили себе.

Вы снитесь нам, когда в партийной кепке
И в кителе идете на парад,
Мы рубим лес по-самински, а щепки,
А щепки во все стороны летят.

Дымите тыщу лет, товарищ Самин.
И пусть в тайге придется сдохнуть мне.
Я верю, будет чугуна и стали
На душу населения вдвойне [1].

---

[1] Долгие годы эта песня воспринималась как фольклорная. Лишь недавно из периодической печати («Новый мир», 1988, № 12) стало известно, что автором этих стихов является поэт Юз Алишковский. (*Прим. автора.*)

Звякнул финальный аккорд на высокой многообещающей ноте, песня оборвалась.

— Да,— задумчиво молвил Железношуриков, оглядывая зал.— Наше социалистическое искусство всегда отличалось глубокой патриотичностью и высокой идейностью. Даже в те грозные годы.

— Да, да, да,— поплыло по залу, отдаваясь в самых глухих углах: а-а-а...

Пшикнуло, скрябнуло. Казалось, в зале стало меньше воздуха. Запахло паленым можжевельником — это сняли колпаки и произошла разгерметизация. Раскрылась мумия. От нее исходил тупой и обреченный запах.

— Заворачивайте,— сказал Железношуриков.

— Подать носилки,— скомандовал Лев Шкунаев, отвечающий за строгую последовательность операций.

Носилки тотчас оказались на коврике. Космики отошли в сторону. Их место заняли научные сотрудники института. Приподняли Старика, благо он сделался легким, высушенным и очищенным от всего лишнего. И отодрали Старика от постамента.



— Скорее же,— нервничал Железношуриков.

Обмотали белой стерильной простыней — и на носилки. Завернутый в простыню, Старик лежал покорно. Он был совсем легкий, без тяжести.

— Как будем выносить? — спросил один из сохранников.

— Какие предложения? — спросил в ответ Железношуриков.

— Вроде, полагается ногами вперед,— робко предложил сохранник.

— Все равно,— отрезал Железношуриков.— У нас не похороны. Несите головой.

— Пошли,— сказал второй сохранник, вставая в головах.

К ним тут же присоединились особые телоносители, отвечающие за вынос и доставку к конечному пункту.

Железношуриков пошел первым, все время оглядываясь: несут ли?

Прочие волоклись следом за носилками, всем хотелось на свежий воздух. Лев Шкунаев замыкал шествие — и тоже бдительно оглянулся. Но все было сработано чисто. Заметил осколок стекла на ковре, подобрал в карман шинели. Уходя, гасите свет. Генерал Шкунаев так и сделал.

Что стало со Стариком после того, как его вынесли из национальной святыни? Прошло двадцать лет с той Небывалой ночи, однако до сих пор не было сделано ни одного официального заявления по этому поводу. Но поскольку на другое утро у великой отечественной стены появилась свежая могилка с мраморной доской, на которой было высечено имя Старика, то общепринято считать, будто он там и похоронен.

Так ли это? И если так, то каким образом это было сделано? История стучится в двери современности. На этот счет существуют две версии, обе одинаково достоверные. Первая версия гласит: Старик был тут же увезен с Главной площади в небольшой черной машине, называемой воронком, и доставлен в Конской монастырь, где находится городской крематорий — и там сожжен под охраной пяти стрелковых бронетанковых дивизий, после чего урну с прахом закопали в землю в самом недоступном месте, неизвестно каком, чтобы пресечь все будущие попытки извлечь данный прах из земли и после такой эксгумации реанимировать оригинал. Впрочем, праха оказалось совсем немного, меньше одной горсти — гораздо меньше планируемого.

Другая версия, столь же достоверная, гласит: никакого воронка в помине не было. Черный воронок даже в сопровождении пяти бронетанковых дивизий не служил достаточной гарантией сохранности, так как предстояло ехать через весь город к Конскому монастырю и по дороге могли произойти отдельные неуправляемые явления. Поэтому с вынесенным разделались тут же. Его похоронили в обыкновенном тесовом гробу, который был заранее выставлен у свежевырытой могилы, ряды их тянутся вдоль великой стены. Струганый гроб был обтянут красным ситчиком с траурной оборкой. Родственники вынесенного допущены не были.

Обе версии одинаково достоверны, но обе остались неосуществленными в нашей быстротекущей действительности, за которой не поспевает даже марш Энтузиастов.

На самом же деле случилось вот что. Как только процессия с носилками вышла из Мавзолея и, покинув пределы фанерного шатра, окунулась в абсолютную темноту Главной площади, шедшие впереди начали спотыкаться. Они двигались вдоль великой стены под прикрытием голубых елей — и продолжали спотыкаться о темноту. Им бы постоять, привыкнуть глазами к окружающей темноте, но Железношуриков был нетерпелив и, видя близкий финал, подталкивал телоносителей словом: «Скорей же, скорей». А спотыкание продолжалось. Тут и возникла некоторая заваруха, вызванная другой непредвиденной командой. Вот именно: раздалась команда и члены процессии (теперь становится ясно, почему их было так много) повалили носилки и мигом набросились на Старика. Началось, как водится, с традиционного медосбора — с пуговиц, но тут же выяснилось, что пуговицы пришиты столь крепко, суровыми нитками, что их пришлось вырывать с мясом. А там уж и сукно затрещало... После этого то, что осталось от вынесенного, было наспех бросаемо в приготовленную могилу, засыпано землей и прикрыто заранее припасенной мраморной плиткой с датами.

Саша Железношуриков, шагающий впереди процессии и, так сказать, возглавляющий ее, начал спотыкаться первым. Услышав же непредвиденную команду, он подрастерялся. Сначала Железношуриков намеревался отменить команду, но оглянулся и увидел жадный ворох тел над вынесенным, тела живых шевелились и флюоресцировали в темноте, как гнилушки в лесу, и Железношуриков вовремя сообразил, что в случае отмены непредвиденной команды могут возникнуть еще более непредвиденные явления, как-то: крики, возгласы, столкновения — словом, произойдет инцидент вне регламента, и покатится народная молва, начнутся обсуждения, выяснения, согласования, проработки и проекты, в результате чего может родиться мнение, что товарищу Железношурикову было оказано высокое доверие, и он его не оправдал, допустив то-то и то-то. Все это было товарищем Железношуриковым мигом вычислено, к тому же он увидел, что все идет тяхо и дружно, вот почему он не только не отменил странной команды, но и сам отважно ринулся в свалку и тоже начал флюоресцировать. Пыхтя, отталкивая, пиная, матерясь и переламывая с хрустом, он отхватил свой кусок и отбежал с ним в сторону, чтобы никто не видел, что ему досталось.

Патриотизм нападавших получил быстрое насыщение — все было кончено столь же мгновенно и беззвучно. Каких-либо прочих нарушений сценарного плана и вовсе не последовало, то есть все сошло по замысленному, о чем и был впоследствии составлен обстоятельный доклад, подписанный двумя сторонами: Сашей Железношуриковым и Львом Шкунаевым, где оба излагали одинаковую версию происшедшего, переписанную из сценарного плана.

Правда, когда последний ком земли был брошен на разорванные останки Старика, над черной от продолжающейся ночи Главной площадью взвился ослепительный огненный столб, устремившийся в небо, подобно ракете с космодрома. Что сие означало? А просто прожектор внезапно вспыхнул по оплошности нерадивого прожекториста, тут же получившего по рукам и вскоре вообще списанного из армии по инвалидности. О такой мелочи и поминать в отчете не стоило.

Исполнив таким образом первую задачу, Железношуриков отдал свите следующую команду:

— Теперь проследуем на то священное место, где будет возведен монумент жертвам культа личности, и заложим там памятный камень.

Однако тьма не рассеивалась. Снова начались спотыкания: то ствол, то гусеница, то шлагбаум, а то и просто веревка в виде петли.

Требуемой точки на площади обнаружить не удалось, и Железношуриков распустил своих людей.

Площадь вмиг опустела. Стало тихо. Лишь плескался под ветром забытый лист фанеры.

У себя дома на четвертом этаже Железношуриков исследовал трофей. Им был указательный палец. Саша Железношуриков счел указательный палец счастливым предзнаменованием — сам Старик как бы указывал ему путь в грядущие светлые дали, и Железношуриков пойдет по этому пути, несмотря на происки недругов.

Пожелтевший, съежившийся, набальзамированный палец хранился у Железношурикова в ящике письменного стола, надежно упрятанный в футляре для градусника, и все шло прекрасно.

Придет срок — и указательный палец воскреснет.

Отчет Железношурикова о выносе был не только принят, но и одобрен, сам Железношуриков ловко и успешно начал концентрировать власть в своих руках, ставя всюду нужных людей, пока однажды утром по прошествии нескольких лет, открыв после бритья ящик письменного стола, Железношуриков не увидел, что пластмассовый футляр от градусника как-то странно промок. Странность состояла в том, что промокшие пятна появились сразу с двух сторон, сверху и снизу. Железношуриков открыл футляр и едва не задохнулся от запаха гнили. Указательный палец оказался плохо набальзамированным и, не выдержав проверки временем, начал гнить изнутри, с косточки. Вонь стояла такая, что страшно было вздохнуть. Железношуриков распахнул все окна в доме, но вонь не уходила. Зато голос во дворе во всеуслышание зачитывал по

программе «Маяка», что принято постановление, согласно которому товарищ Железношуриков снят со всех постов и переименован и что все это сделано по его просьбе. Вонь в квартире тотчас выдуло ветром. Саша Шуриков внезапно понял, что именно этого, не отдавая себе в том отчета, он хотел многие годы, может быть, всю жизнь, наконец-то мечта сбылась, теперь он будет ездить в обычном персональном автомобиле без охраны, питаться в обычном закрытом буфете, лечиться у обычных прикрепленных врачей, ездить куда хочется — какое счастье.

Так товарищ Железношуриков по его собственной просьбе был переименован в Саню Шурикова и благополучно исчез с отечественных горизонтов.

И все оттого, что бальзамные мази оказались недостаточно стойкими.

Льву же Шкунаеву, давшему команду, досталась в награду медная пуговица от кителя, что означало долгую и упорную жизнь.

Интересно все же, что скомандовал под вечноголубыми елями генерал армии Лев Шкунаев?

А вот что:

— Налетай, ребята!

Когда же перед смертью Льва Поликарповича спросили о причинах столь странной неуставной команды — не себя ли спасал? — генерал Шкунаев отвечал скромно и с достоинством:

— Чтоб не воскрес!

31. Веселая семейка

Глеб Романович Федоровский быстро шагал от постамента к отрезанной и уехавшей голове. Он был взбешен поведением Чугунова и теперь искал его, чтобы отчитать и наказать его со всей примерной строгостью. Поведение генерала Шкунаева, который умело воспользовался оплошностью соперника, Федоровский считал естественным, во всем виноват Чугунов, допустивший прокол.

Но Чугунова не было ни у правой ноги, ни у головы, которой тоже не было. Самосвал Чугунова непонятным образом передвинулся и стоял в кустах рядом с санитарной каретой, которая тоже казалась покинутой.

Это и понятно: все силы брошены на демонтаж. По медной туше сновали крохотные фигурки, голубые огни вспыхивали тут и там.

Забравшись по стремянке, Дзюба резал грудную клетку, рядом азартно сновал Влас Королев, вкручиваясь в прорезанную дыру и крича кому-то внутрь:

— Ты сюда не лезь, Петро. Не лезь, тебе русским языком говорят. Ты черное режь, исподнее. А тут тонкость нужна, тут работа с пониманием.

— Всю чистую работу себе забрал,— гудел голос из нутра.— И расценки себе чистые запишешь.

— Эй, Петро, Петро,— качал головой Влас,— нам с тобой нынче цена одна. Нынче мы сидим исключительно на энтузиазме.

Чуть дальше автокран тащил из бедра мокрую труху, а она все тянулась и никак не желала разрываться. Два монтажника волокли к ноге деревянную лестницу. Двое других рубили скобы на наковальне, для которой они приспособили правую кисть Старика, отрезанную и сжатую в кулак.

Высокий сутулый рабочий азартно бил по медной наковальне кувалдой, приговаривая:

— Жаль кулаков, да бьют же дураков. А наши дураки не глядят на кулаки,— когда он распрямлялся для замаха, то переставал быть сутулым, а при ударе сутулился вдвое.

Дзюба увидел Федоровского и оставил работу, спустившись вниз по складкам шинели.

— Терентий Семенович,— взволнованно заговорил Федоровский,— вам не кажется, что на площадке возникает некоторая разболтанность. По-моему, мы проводили специальный инструктаж, и вы давали подписку. Что это такое? — Глеб Романович указал на наковальню, где рубились скобы.

— Я помню ваш инструктаж, Глеб Романович,— веско отвечал Дзюба, выставив перед собой ладонь с расслабленными пальцами.— Никаких жестокостей, раз,— он загнул мизинец.— Великодушие к демонтажному объекту, два,— загнул безымянный палец.— Но за исключением технологической необходимости, так? — загнул средний палец.— Они режут скобы, Глеб Романович, это есть жестокая технологическая необходимость,— загнул указательный палец и посмотрел на свой кулак.— У меня все пальцы исчерпаны, Глеб Романович. А если я при исполнении технологической необходимости пну его раз-другой, так его от этого не убудет.

— Вы не видели Чугунова? Где он может быть?

— Он же к голове прикрепленный,— удивился Дзюба.

— Хорошо, я буду у себя.

Глеб Романович прошел в свой вагончик и первым взглядом увидел конверт, оставленный на столе. Час назад Глеб Федоровский обнаружил этот конверт под вахтенным журналом и до сих пор не мог опомниться. Сначала он пришел в ярость и тут же хотел уничтожить данный документ, а теперь начинал задумываться над ним и получалось, что не так-то все просто и, возможно, придется пересмотреть свое отношение к предмету, хотя все в Федоровском протестовало против этого.

Взяв конверт в руки, я снова извлек аккуратные листки и начал с первой страницы.

Тов. Федоровскому Г. Р.
Копия: тов. Наумову Л. С.— лично
От Корешкова В. П., проживающего по пр. тов. Самина, д. 8, кв. 36

ДОКУМЕНТ

Довожу до Вашего сведения о моей полной невиновности перед Вами, так как в свое время, а именно в мае 1948 года, был вынужден написать на Вас заявление, в силу которого Вы были приговорены к 15 (пятнадцати) годам содержания в ИТЛ, ибо суд сумел найти смягчающие обстоятельства, находящиеся в моем заявлении, которое трактовалось исключительно в виде единоличного терракта, что и было предпринято мною для опережения событий. Определяющая суть данных смягчающих обстоятельств состояла в том, что в марте 1948 года спущенный план по террактам был нашей областью недовыполнен, и мы весьма отставали в данном вопросе от передовых областей федерации, для чего к нам в апреле прибыла специальная комиссия из Центра, возглавляемая известным Вам генералом Л. П. Шкунаевым с особым заданием раскрыть тергруппу в количестве 125 человек, которая, как стало известно в Центре, действовала в нашей области, на что был кинут весь партийный актив и внутренние силы. Предстояло как можно скорее найти террористов и обезвредить, ибо они уже начали готовить очередное покушение на товарища Самина. Лично я был привлечен к чисто вспомогательной работе по составлению списков кандидатов в террористы, так как именно в это время ярые сионисты развили свою контрреволюционную деятельность, и мы должны были вовремя пресечь их, чтобы спасти товарища Самина. Я лично присутствовал на трех совещаниях, состоявшихся у первого секретаря Ивана Ивановича в присутствии генерала Л. П. Шкунаева, который требовал скорее составить списки террористов и срока давал всего две недели, иначе в Центре будут недовольны нашей областью. Будучи чутким и душевным человеком, организовавшим в нашем обкоме конспективный отдел, Иван Иванович сумел поправить генерала Л. П. Шкунаева, и группу террористов удалось сократить на 10 (десять) человек до общего количества 115 (сто пятнадцать) человек, главным образом коммунистов, незаконно пробравшихся в ряды партии. Были спущены разнарядки по райкомам города с тем, чтобы данная операция протекала наиболее безболезненно, не затрагивая руководящие кадры, но генерал Л. П. Шкунаев и тут внес коррективы, потребовав, чтобы руководящего состава было не менее 20 (двадцати) процентов, после чего началась тщательная работа по обсуждению каждой кандидатуры данного террориста, для каковой роли из соображений гуманности больше всего подходили бездетные работники или вовсе холостые, чтобы последствия от их террористической деятельности были не так ощутимы для нашей области. Что же касается Вашей жены Виктории Эммануиловны Федоровской-Румер, то генерал Л. П. Шкунаев прямо указал на нее как на ярую сионистку и, следовательно, прямую кандидатку в организаторы специального звена боевиков, однако на данный момент Федоровская-Румер В. Э. на работе не состояла, и внутрен-

ним силам было бы трудно установить ее связи, поэтому главное внимание было обращено на Вас, Федоровского Г. Р., как ее мужа и к тому же бездетного и относящегося к руководящему составу, то есть входящего в требуемые 20 (двадцать) процентов, после чего я решил экстренно вмешаться и попытаться предотвратить Вас от группового обвинения в заговоре с женой, с этой целью мною был подарен вам на праздник портрет товарища Самина и повешен на стене против Вашего места, а когда пробка от шампанского случайно попала в глаз товарищу Самину, но самого портрета не повредила, я проявил оперативность и смекалку, что именно сейчас могу спасти Вас и, вставши на стул для осмотра портрета товарища Самина, незаметно проколол глаз заранее приготовленной спичкой, с этой же целью мной было написано в соответствующие органы известное заявление про имевшийся случай с бутылкой и пробкой, пробившей глаз товарища Самина, так как в противном случае вы шли бы по групповому террору и имели бы в приговоре трибунала вышку, то есть смерть, или в лучшем случае 25 (двадцать пять) лет, то есть срок Ваш истекал бы только в 1973 году, так как террористам-боевикам тогда меньше не давали. Одновременно с Вами должна была сесть и Ваша жена Виктория Эммануиловна Федоровская-Румер, которой я всегда симпатизировал и потому решил использовать все свои возможности, дабы не допустить данного наказания. Учитывая вышесказанное, я резюмирую. Я был вынужден тогдашними обстоятельствами составить на Вас свое заявление о пробке в глаз товарища Самина, тем самым спасая не только Вас от более тяжкого наказания, что и удалось осуществить, так как вы получили срок только 15 (пятнадцать) лет, то есть до 1963 года, но также и Вашу жену Викторию Эммануиловну Федоровскую-Румер, которая вообще не была включена в окончательный список террористов и была оставлена на свободе, хотя все равно не сумела дождаться Вашего досрочного возвращения по амнистии. После чего дело 114 (ста четырнадцати) было благополучно закончено в генерал Л. П. Шкунаев отбыл в Центр с рапортом. Чтобы вы не сомневались в правдивости данного Документа, сообщаю дополнительно, что данный факт был обнародован на партийном городском активе лично первым секретарем Сидором Сидоровичем в марте 1958 года, как в нашей области благодаря бдительности чекистов была раскрыта террористическая группа, готовящаяся совершить покушение на товарища Самина в количестве 114 (ста четырнадцати) человек, а теперь теми же бдительными органами дополнительно раскрыто, что данные террористы не виновны, так как в заговоре против товарища Самина не состояли, хотя и осуждены были на длительные сроки заключения, как правило на 25 (двадцать пять) лет, однако ныне все их дела проверены и все работники нашей области реабилитированы посмертно, так как в живых из 114 (ста четырнадцати) человек осталось всего 3 (три) человека, которые теперь находятся на пенсии по инвалидности. Все это Сидор Сидорович лично зачитывал с трибуны, и у нас только тогда глаза открылись, о чем и довожу до Вашего сведения, так как моей вины перед Вами нету и прощения просить не намерен, а спасибо от Вас не дождешься.

К сему В. Корешков.

Глеб Романович обнаружил, что снова находится под дождем, огибая медную тушу со стороны левого плеча. Но теперь конверт был при нем, аккуратно заложенный во внутренний карман кожаного пальто. Федоровскому казалось, что ему не хватает некоторых деталей, надо прочитать более внимательно отдельные места, особенно про Вику, и тогда все его разрозненные и взбудораженные мысли сцепятся в единую систему. Но под дождем не начитаешься. Поэтому, обнаружив себя под дождем, Федоровский решил скорее закончить обход, обогнуть Старика и снова вернуться в вагончик для чтения.

У левой ноги, ближе к постаменту, потрескивал костер, и большеголовый, коротконогий монтажник с треухом на макушке то и дело подносил щепки от порушенной клети.

Монтажники сидели у костра с недвижными непроницаемыми лицами, выставив вперед ладони, обращенные к огню,— наиболее типичная поза для выражения славянского интеллектуализма.

Тут же сидел Влас Королев с вытянутыми руками, соблюдая верность славянской позе. Я хотел было сделать замечание Власу, почему он не работает, а греется, но, едва встав рядом с ним, тут же почувствовал, как руки мои сами собой тянутся к теплу и взгляд не в силах оторваться от шевеления огня и тех глубин, которые то раскрываются в нем, то смыкаются снова, оставляя на поверхности обжигающий покров тайны.

— Подать автокран к животу,— сказал голос на столбе.

— Кто же вами теперь командует? — спросил я.

— Нам-то что за забота,— отвечал Влас, энергично махнув рукой.— Кому велено, тот и командует.

— Зачем пришли? Откуда?

— Сидел я. На работу хочу устроиться.

— Хорошо. Приносите справку.

— Какую? Зачем?

— Ту самую. Где вы были.

Сдал им справку в окошко.

— Хорошо,— говорит,— видишь, какой он, все у него хорошо.

— Что хорошо,— спрашиваю.

— Проверим,— говорит.

— Что проверим? — отвык я от воли, ничего у них не понимаю.

— Справку проверим,— говорит.— Сидели вы или нет? Сейчас тут многие ходят, к вашему брату примазываются.

Глеб Романович с трудом оторвался от огня и пошел вдоль постамента.

Сергей Наумов спустился из вагончика и вышел на аллею.

Щеголеватой походкой, сверкая блистательно начищенными носками ботинок, поигрывая лайковыми перчатками, снятыми с руки, шагал генерал-майор Лев Поликарпович Шкунаев, за ним на привязи урчащий радист со словесным коктейлем в животе. В третьем эшелоне следовал Егор Телятников с гитарой, которую он держал над собой зонтиком.

Будто притягиваемые магнитом персонажи стремились к той точке, где была отрезана медная голова.

— Где Чугунов?

— Где голова?

— Чугунов в голове.

Лев Поликарпович похлопал перчатками по руке.

— Имею честь сообщить вам, что мы работаем два часа двадцать минут без перерыва.

— Перерыв у нас запланирован,— живо отозвался Федоровский,— но мы его перенесли.

— По просьбе трудящихся,— подхватил Наумов с несвойственной ему игривостью, которой сам от себя не ждал.— У вас имеются предложения?

— Музыкальный антракт.

— В чем же проблема?

— Существует проблема слова. Текст не утвержден, так как ранее нигде не исполнялся.

— Кто автор?

— Перед вами,— повинился Лев Шкунаев.— Иногда балуюсь на досуге, в духе соответствующих решений, однако слушателей лучше предохранить.

— Как же вы предохраните слушателей?

— О! Это несложно. Текст составлен по испытанному рецепту: в одно ухо влетает, в другое вылетает. А вот исполнителя придется обработать дополнительно.

— Конкретно?

— Во-первых, придется заткнуть исполнителю уши, чтобы он пел, но сам при этом не слышал, что поет.

— А глаза?

— На такой случай для глаз имеются специальные защитные очки.

— При этом вы еще душу мою законопатите, так? Я же не голосом — душой пою.

— Душа также продумана. Сто грамм для начала и хана! Душа прохудилась, песня вытекает.

— Дать ему! Вот записка на склад: двести пятьдесят грамм авансом и сто пятьдесят после исполнения.

— Вот стерильная вата для ушей.

— Защитные очки для глаз.

— А слова? Где слова? Я же не могу петь без слов.

— Держи слова. По исполнении сдать обратно в спецхран под расписку старшины.

Это было давно, еще жили с евреями в мире,
И Насер не закрыл для прохода Суэц.
А в Кремле в однокомнатной скромной квартире
Со Светланою в куклы играл самый лучший на свете отец.

И внезапно она, до усов дотянувшись ручонкой,
Тихо дернула их, и на коврик упали усы.
Даже трудно сказать, что творилось в душе у девчонки,
А папаня безусый был нелеп, как без стрелок часы.

И спросила Светлана, с большим удивлением глядя:
«Ты не папа, вредитель, шпион и фашист,
Ты чужой, нехороший». От страха трясущийся дядя,
Разрыдавшись, ответил: «Я секретный народный артист».

В тот же час в темной спальне, от ревности белый,
Лучший в мире отец демонстрировал нрав,
Из-за пазухи вынул он вороненый наган-парабеллум
И без всякого Якова маму Светы пиф-паф.
А умелец-парикмахер, из Малого театра гример,
Возле Голубянки утром попал под мотор.

В лагерях проводили мы детство счастливое наше,
Ну, а ихнего детства отродясь не бывало хужей.
Васька пил на троих с двойниками родного папаши,
А Светлана, она, как перчатки, меняла мужей.

Самин спит смертным сном, нет с могилкою рядом скамеечки.
Над останками стынет тоскливый туман.
Ну, скажу я вам, братцы, подобной семеечки,
Не имели ни Петр, ни Рюрик, ни тем более Грозный Иван.

Финальный аккорд был подхвачен звуковым столбом, произнесшим надтреснутым голосом:

— Срочная радиограмма для товарища Наумова.

По дорожке уже спешил, приседая, Валя Корешков с листком бумаги, надломленным на сгибе. Сергей Леонидович читал недолго, а затем хлопнул себя по карману:

— Так я и думал. Доложите, генерал, где сейчас полковник Тихомиров? Он на площадке?

— Послан мною в штаб с донесением,— отвечал Лев Шкунаев, не почувствовав подвоха.

— Вот-вот, доносить еще нечего, а гонец уже носится. На чем же он был послан?

— На бронетранспортере, товарищ первый секретарь,— кажется, Лев Шкунаев несколько насторожился, однако не настолько, чтобы быть готовым к дальнейшему.

— Завидую вашей оперативности, генерал. Обком партии бьется над разработкой комплексной продовольственной программы, мы принимаем экстренные, почти чрезвычайные меры, пытаясь найти выход из создавшегося положения. И вот налицо первый конкретный результат нашей программы: два часа назад автомашина, которую я с большим трудом выпросил у Глеба Романовича,— так я говорю, Глеб Романович? — так вот, эта автомашина принимает на борт колбасные изделия и берет курс на Главную площадку, где самоотверженно трудятся наши замечательные монтажники, и полчаса назад мне сообщают, что на грузовик с колбасными изделиями совершен наезд, а теперь я получаю подробности: это был бронетранспортер, в котором ехал с донесением полковник Тихомиров. Что вы скажете на это, генерал?

Лев Поликарпович прищелкнул начищенными каблуками, словно только и ждал этого радостного момента:

— Товарищ первый секретарь, разрешите доложить. Полковник Тихомиров за нарушение приказа от занимаемой должности отстранен, если он жив, разумеется. В противном случае его смерть будет признана героической, а сам он похоронен с воинскими почестями, как погибший на боевом посту.

— Жив он, жив,— отходчиво заявил Сергей Леонидович.— Пострадавших на месте происшествия нет. Пострадавшие — это мы с вами, так как остались без колбасы.

— Разрешите принять меры? — предложил было Федоровский, желая окончательно досадить генералу Шкунаеву, но уже подбегал с очередным сообщением гидростроевский радист с радиограммой. Глеб Романович взволнованно прочитал вслух: — Голова свернула с маршрута. Сообщение со второго контрольного пункта: самосвал с головой проехал по Горбатому мосту. Он следует один. Но они же не проедут под путепроводом.

— Где голова? Зачем она там, а не тут?

— Где Чугунов? Он там, где голова.

— Одну минуту, сейчас уточним,— Лев Шкунаев обернулся к своему радисту.— Живо! Одна нога здесь, другая там.— Лев Поликарпович благозвучно пошептался с вверенным ему эфиром и торжественно провозгласил.— Докладываю. Наша голова движется по нашему маршруту.

32. Будут ли деньги при коммунизме?

Ехать в голове было жестко и сыро. Голова вяло перекатывалась в кузове, всякий раз издавая глухой протяжный звон, от которого закладывало уши. Чугунов пробовал вылезть наружу, чтобы устроиться в кузове, но понял, что это невозможно: при первом же повороте перекатывающаяся голова придавит его как малого щенка.

В голове-то спокойнее всего, но уж больно тяжко стонет. И запах не атмосферный. Когда становилось невмоготу, Чугунов раздвигал разрезанные половинки марли и осторожно высовывал голову из шеи, набираясь свежего воздуха, а после нырял обратно в темень головы.

Как только Павел Чугунов подлез под свой самосвал и увидел спущенные баллоны, все стало на свои места. Баллоны были проколоты гвоздем, и злоумышленник сделал черное дело столь ловко, что Чугунов понял: за этим скрывается нечто большее. Они хотят не только вывести из строя машину, им нужна голова. Чугунов решил, что не допустит этого. Откатил пораненную машину в кусты, отошел за поворот аллеи и спрятался в засаде.

Колонна получилась внушительная. Впереди шел бронетранспортер с правым ботинком, за ним самосвалы с разрезанными частями Старика, из кузова торчали рваные обшлага, кусок погона, перебитая ладонь — семь или восемь машин. И вот голова в отдельном купе.

Павел Чугунов рассчитал правильно. Тут был поворот, и машины замедляли ход. Свет прожекторов сюда почти не доходил. Догнать грузовик и перебросить себя через задний борт Чугунову ничего не стоило. А уж марлю ножом разрезать — и подавно.

Голова снова перекатилась по кузову, издав глухой стон. Машина шла с натугой. Чугунов высунул нос из головы: так и есть, закатываемся на Горбатый мост. Значит, уже оторвались от колонны, так как по утвержденному маршруту объезд был на двадцать километров северо-западнее, у Варваровки. А здесь, вскоре за Горбатым мостом, дорогу пересекал низкий путепровод.

Чугунов успокоился. Тот капитан, который едет сейчас в кабине, ни о чем не догадывается. Перед ним на коленях лежит карта, а на карте все по-другому, чем в жизни.

Однажды внештатный летописец Гидростроя Матвей Румер спросил Чугунова:

— Паша, скажи мне, ты мог бы, как Александр Матросов, лечь грудью на амбразуру с пулеметом?

— Тебе для газеты ответить?

— Ответь мне. Лично.

— Тогда слушай. Единственная амбразура, которую я готов закрыть своей грудью, это окошечко кассы в день получки.

И правда, Павел Чугунов любил деньги. Мы строим прекрасное будущее, но денег еще никто не собирается отменять. Наоборот, все больше их печатают. Как-то инструктор областного комитета партии Валентин Корешков читал лекцию на Гидрострое про это самое светлое будущее. И поступил вопрос из зала:

— Будут ли деньги при коммунизме?

Валя Корешков подумал некоторое время, затем ответил с присущей ему величавостью:

— У кого будут, у кого нет.

Это уж точно. Павел Чугунов не сомневался. Поэтому надо гнать кубы и заколачивать деньгу́, чтобы скорей их прокутить, а после снова заколачивать. Это и есть круговорот моей судьбы.

Павел Чугунов своей судьбы не выбирал, родившись между серпом и молотом в тот год, когда была объявлена сплошная коллективизация и поголовная индустриализация. Был зачат в крестьянской избе, а родился в заводском бараке. Кто же он?

Барак стоял в ряду таких же унылых сооружений, заставивших из конца в конец проспект Ильича. Все бараки одинаково крашены грязной охрой, окна слепые, немытые. Здесь зачинали детей для последующих счастливых поколений, играли на гармошке, пили, сквернословили, устраивали шумные драки — барак на барак.

— Пустим автогигант досрочно! — под этим лозунгом Павел Чугунов родился и жил дальше.

После семилетки поступил в ремесленное училище. Но, видно, еще некрепко сидела в нем рабочая завязь. Стал строителем, бродягой и шатуном. Постиг экскаваторы. Родная земля, от которой он оторвался помимо своей воли, снова повлекла его к себе, на этот раз представая перед ним в виде выворотки котлованов, траншей и прочих выемок. Из крестьянского котла Чугунов угодил в пролетарский котлован, из которого обязано произрасти наше будущее.

Это была особая земля, вывороченная, бесплодная. Ее меряли на кубы. Ее можно приписать в наряде, для этого достаточно выставить бутылку прорабу. За эту́ землю Чугунову платили прямым рублем, не ожидая урожая.

Каким образом могли эти русские мужики, дети и внуки русских мужиков, всеми корнями привязанные к земле, не ведающие в мире ничего, кроме нее,— как могли они с такой быстротой отказаться от кровной земли и при этом не только выжить, но и освоить железное дело, ибо кругом прорастали и вспучивались на нежно-зеленом теле земли железобетонные волдыри?

Машина кормила Павла Чугунова, несла ему почести и привилегии, он берег машину, ему льстила его власть над нею, как над женщиной. И вдруг на машину совершено подлое нападение, в результате похищена голова, а он уже назначил встречу с Глашей.

Павлу Чугунову в момент обрушения Старика было 28 лет, и его отношения с женщинами до сей поры отличались крайней неразборчивостью. Когда ему исполнилось 17 лет, его привела к себе буфетчица Зоя, выставила бутылку, нарезала толстыми ломтями ливерную колбасу. Павел хлопнул стакан, за ним второй и никак не мог унять дрожь своих рук. Зоя поставила пластинку: «Саша, ты помнишь наши встречи», которую она напевала на свой лад, сообразуясь с обстановкой: «Паша, ты помнишь...» Но Павел уже ничего не помнил, преклонился к дивану и заснул. Среди ночи он проснулся под жарким ватным одеялом, окруженный теплотой подушек и мягкого женского тела, которое было податливым и упругим одновременно, засасывающим и отталкивающим, молчащим и задыхающимся. Чужое тело стало родным, а свое чужим, он переливался в чужое тело, которого вчера и знать не знал. Он бегал к Зое две недели, пока его на перекрестке, схватив за фалды, не подцепила эта, как ее? Катерина? русые косички? он же парень что надо, руки как молоты, сам литой, а время-то лихое, двадцать миллионов мужиков остались в земле сырой, рассыпавшись по всей Европе. Это же двадцать миллионов постелей осиротели, а ты жив, ты только взошел, ныряй под перины, из постели в постель, обслуживай осиротевшую, но оставшуюся столь же прекрасной половину рода человеческого, выбирай по вкусу, а кровати тогда в домах стояли железные, с белыми шарами, старые диваны были скрипучими, пыльными, в бараках выстроились в ряд узкие койки с железными углами, тут не разнежишься, раз-два, прилег, беги дальше, словом, постельная жизнь Павла Чугунова состояла из многих перемен, о серьезном он не задумывался, считая, что они сами виноваты во всем, тоже мне, прекрасная половина, ни одна из них не хочет заглянуть в его ищущую душу, им только тряпки да шоколадки. Он и сейчас крутил любовь сразу с двумя, Шурой и Глашей, составив график заездов и заходов, кажется, они уже начинали догадываться, что не столько живут, сколько сосуществуют, назревал скандал в благородном семействе.

Лет пять назад о Чугунове стали писать в газетах, и это было ему лестно. Тогда он получил новый экскаватор и установил небывалый рекорд на выемке, выдав за смену четыре тысячи кубов. Первым приехал брать интервью Матвей Румер из областной газеты. Павел мямлил и не знал, что отвечать на вопросы. Что он чувствовал, когда устанавливал рекорд? Как это было? А черт его знает, что он чувствовал, давай сбегаем за бутылкой, сядем посидим, обо всем побеседуем, разберемся, кто что чувствовал.

— Извини меня, Паша, нам с тобой посидеть нынче не удастся, я должен давать тебя в номер, так что я не только вопросы тебе задам, но и ответы твои отвечу. Собственно, у меня все уже продумано. Распишись вот здесь, на последней страничке — и ты свободен.

Наутро Чугунов читал газету и у него селезенка от удивления екала: как он здорово говорит, как лихо выражается — трудовой порыв, рабочая косточка, претворяя в жизнь решения съезда, и даже творческий почерк ковша, этот парень с перебитой рукой что надо, а через две недели пришел гонорар за статью, такой, что за него три дня надо вкалывать.

Словесная наука оказалась нисколько не сложной, во всяком случае не сложнее отношений с женщинами, ибо там и тут можно было обходиться готовым словесным набором по 120 слов в каждом. Молчальник Чугунов разговорился быстро. Его усаживали в президиум, он смело шагал к трибуне, литой, несокрушимый, а в руке готовый текст, заботливо подложенный секретарем парткома. Теперь у него и инженерши появились, так как за президиумом обычно бывала задняя комната, где можно было закусить и выпить, не прибегая к денежным знакам, в той особой комнате все на равных, и можно познакомиться с такой дамочкой, что небу жарко станет. Недавно из Москвы приезжала Лариса Ивановна, аж из министерства, сразу из комнатки поехали на отдельном катере на рыбалку, потом к ней в гостиницу, а там, в «люксе», кровати деревянные, первый раз видел такие, удобная штука, словом, не уронил рабочей доблести. Через три недели приезжает новая — срочная командировка по изучению передовых методов экскавации. Павел Сергеевич? Очень приятно познакомиться, Лариса Ивановна передает вам горячий привет, она мне рассказывала, что была в полном восторге, ей так понравилась рыбалка с вашим участием, надеюсь, вы меня тоже возьмете на рыбалку, Павел Сергеевич? Ну что ж, говорю, рыбы в реке для всех хватит. Через две недели телефонный звонок прямо в забой: Чугунова срочно в контору по вопросу рыбалки, катер на приколе, командированные ждут. Что же такое получается, я один должен обслуживать целое министерство, так дальше не пойдет, сам позавчера в газете читал статью о разбухании штатов. А самому интересно съездить посмотреть: какая она, третья. Однако выдержал марку. У меня не только доблесть рабочая, но и гордость пролетарская. И что же вы думали? Заработал от начальства выговор за проявление местнических настроений.

Самосвал с лязгом дернулся и стал. Наверху простонало. Чугунов едва успел схватиться за поперечную балку.

Так и есть: застряли под путепроводом. Прямо без примерки хотели проскочить, тоже мне вояки.

Послышались голоса, передвигающиеся вдоль машины.

— Носом цепляет, товарищ капитан. Смотрите, так и приплюснуло.

— Подожди, сейчас фонариком посвечу. Наверное, в этом месте балка низкая.

— Нет, не проходит, товарищ капитан. Путепровод есть путепровод, он выверен. А я думаю, что такое меня цепляет.

— Сдай назад.

— Как бы не заклинило, товарищ капитан. А то ведь как заклинит, ни ну ни тпру. Вершка не хватает, это точно.

Голоса смолкли, хлопнули вразнобой две дверцы. Мотор загудел с натугой. Значит, они не услышат. Павел Чугунов перекинул ногу через задний борт и неслышно прыгнул в темноту.

33. Русский ген

Капитан Геннадий Алехин сидел в теплой кабине рядом с водителем и колдовал над картой: что делать дальше? Ближайший объезд был в двадцати километрах у Варваровки, но пройдет ли там голова, неизвестно. Выходить на связь с генералом Шкупаевым нельзя, ибо пять минут назад тот сам запрашивал местонахождение головы и подтвердил правильность маршрута через Горбатый мост. Следовательно, Алехин должен всеми средствами пробиться сквозь путепровод и взять направление на Три холма, где он будет встречен майором и передаст ему груз для дальнейших процедур. Пропуск: Горох, отзыв: Гога.

Геннадий Алехин медлил. Ему было 28 лет, из них больше десяти он провел в казарме и по этой причине отвык от самостоятельных решений. Он жил, как мыслил, а мыслил он по каманде.

Гена Алехин вырос в интеллигентной семье, если можно считать интеллигентом работника среднего звена в аппарате областного исполнительного комитета, а именно заведующего отделом кадров. Когда он кончал школу (естественно, с золотой медалью), встал вопрос, что делать дальше с мальчиком? Папа вовремя вспомнил о своих связях, и Гена попал в закрытое военное училище, куда допускают лишь самых-самых, да и то по высшей протекции. Правда, произошли некоторые непредвиденные обстоятельства, как-то: смерть Вождя и Учителя, разоблачение и казнь Лавруши — так ведь и это, в конце концов, обернулось на пользу. В органах требовались люди с незапятнанной репутацией и чистыми руками. Новоиспеченный лейтенант Алехин, исправляя допущенные ошибки и стараясь не допускать новых, начал быстро набирать звездочки по службе, и уж если попал под начало генерала Шкунаева Льва Поликарповича, то лучшей школы вообще быть не может.

По насыпи накатывался пассажирский поезд с освещенными окнами. Ярко светились пустые полосы коридоров, пассажиры спали. Никто не видел машины с необычайным грузом, стоявшей на обочине.

Капитан Алехин наконец принял решение вызвать генерала Шкунаева, чтобы получить от него инструкцию.

— Я, Вега, сообщаю свое местонахождение...

Алехин надрывался, выстукивал, колотил по ящику — все было напрасно, его не слышали, рация была неисправна.

И тут испорченный ящик, спасая честь мундира, сказал:

— Вега, если ты меня слышишь, а сама сказать ничего не можешь, то слушай. Первый приказал следовать по заданному маршруту. Повторяю...

В армии часто бывает: отдается приказ, который не может быть выполнен. Но в армии не бывает невыполнимых приказов.

Капитан Алехин был полон решимости.

— Вперед,— приказал он водителю.— Будем пробиваться.

— Извини подвинься.

Снизу на Алехина смотрел молодой парень, показавшийся ему знакомым.

— Кто такой? — строго спросил Алехин.

— Зачем мою голову украл? — спросил парень и взгляд его из-под насупленных бровей не сулил ничего доброго.

— А ты зачем в нее спрятался? Твоя ли голова? — капитан Алехин продолжал хорохориться, ибо в этот момент высшим чутьем подчиненного понял, что парень должен спасти его и спасет. Надо только перехитрить парня.

Водитель молча полез из кабины со своей стороны, но Чугунов с насмешкой остановил его:

— Можешь не проверять, целы твои баллоны. Мы не из таких.

Алехин соскочил на землю. Они оказались вровень друг с другом, голова к голове, и им крайне необходимо было выяснить, кто крепче на земле стоит.

— Ты из каких?

— Так я тебе и сказал. Во всяком случае не из таких.

— Хорошо. Тогда я скажу тебе, из каких я. Я русский.

— Ну и сказанул. Эка невидаль. Что я, не русский, что ли?

— Не знаю. Чем ты докажешь?

— Да русский я. До двадцатого колена.

— И я русский. Колено двадцать пятое. Сам-то откуда?

— Моршанский я.

— А я моржанский.

— Вот чудеса. Земляка встретил темной ночью на пустынной дорожке. О чем же тогда разговор?

— О том и разговор, что оба русские, а тянем в разные стороны.

— Давай в одну тянуть. Я согласен, да нос цепляет.

— Перекурим это дело. Бери мои.

— А ты мои. Тебя как?

— Павлом. А тебя?

— Гена. Ну как?

— Твои, вроде, крепче. Так что же у тебя с головой приключилось?

— Цепляет носом и цепляет. Ни туда ни сюда.

— А смекалка на что?

— Какая смекалка?

— Наша, русская. У меня не зацепит.

— Так едем?

— Подожди, Гена. Сначала я должен знать, куда ты следуешь?

— По маршруту номер один.

— Так. Ясненько. А голову куда сдаешь?

— По назначению.

— Еще яснее. Видишь, на одном языке разговариваем, а понимания никакого. Оба вроде русские, а не люди.

— Почему же мы не люди?

— Нет, ты мне скажи, если ты русский: тебе царь нужен?

— А тебе?

— Зачем мне царь? Своя голова на плечах. Я же русский.

— И мне царь не нужен. Точно говорю. Мне нужен командир.

— Вот и сиди со своим носом.

— Подожди, не уходи, я тебе скажу, я должен доставить эту голову на Три холма. Боевой приказ, надеюсь, ты понимаешь?

— А я должен доставить эту голову на «Красный металлист» в переплавку. Надеюсь, понимаешь, это приказ партии.

— Твой приказ гражданский, мой приказ военный. Чей приказ главнее?

— Мой приказ всенародный.

— Пока у нас народ не командует.

— Лыко-мочало, начинай сначала. Ты русский или не русский?

— Паша, подожди, я же не из таких. Давай договоримся. Доставим нашу голову по двум адресам. Где ей больше понравится, там она и останется.

— Впереди развилка будет. «Красный металлист» направо, Три холма налево. Давай доедем до развилки, там и решим.

— По рукам.

Недаром Павел Чугунов в голове перекатывался, хватаясь за мокрые балки. Вступила в действие русская смекалка. Грузовик медленно тронулся к путепроводу, однако же вошел в него не прямо, а под углом, от чего нос не заклинило как вначале, а только за бок зацепило, голова качнулась, издав стон, при этом нос ушел на сторону и укоротился. Лишь ноздря пропахала по верхней балке, скрежеща и взванивая.

Тут и путепровод кончился. Освобожденный нос снова поднялся, голова

еще раз перекачнулась и заняла прежнее вертикальное положение. Водитель ловко вывернул грузовик на правильный курс.

Голова ехала по пустому городу. Скулы и лоб поблескивали под редкими уличными фонарями, перебитый нос сиротски уставился в небо. Голова едет мимо трибун стадиона, мимо пышного, а сейчас темного и мрачного фасада, где когда-то висели гигантские, на пять этажей Его портреты, стояли в парках и на площадях Его статуи.

Голова ехала по ночному городу, следуя за поворотами и изломами улиц, по этим улицам текли праздничные колонны, над колоннами транспаранты, люди радовались, видя Его изображение, они привыкли к Нему, как к собственному отражению в зеркале, со всех столбов звучало Его имя, на всех заборах висели Его указывающие слова, Его изречения, вырезанные метровыми буквами, во всех киосках продавались Его книги и портреты, до утра светилось Его окошко, когда Он один бессонно думал за всех, утверждая монументы и списки приговоренных к расстрелу. А сейчас темно и пустынно, асфальт блестит под дождем, люди потушили окна, спят или шепчутся, не слыхать за шумом дождя, сегодня такая ночь, что лучше не высовываться.

Голова ехала по немому городу.

— Стой! Куда мы едем! Как называется эта улица?

— Вот табличка на углу. Проспект имени товарища Сидорова. Черт возьми, кто такой Сидоров? Ты знаешь?

— В нашем городе такого проспекта не было, это точно.

— Откуда же он взялся? Это был Его проспект.

— Слушай, кому ты морочишь голову? Теперь никогда не узнаем, по какому проспекту едем.

— Почему? Мы едем по Сидоровскому проспекту. Дураку ясно.

— Куда же мы с тобой выедем?

— Да что мы с тобой не русские, что ли? Куда-нибудь да выедем.

— Холодно что-то. У тебя еще там не осталось?

— Лизни. Сначала ты, потом я. За здоровье товарища Сидорова. Чтобы он долго жил и процветал.

— А главное, чтобы его не переименовывали дальше.

— Баста! Сегодня ночью все переименуем и на этом кончим. А то ведь весь народ заблудится, как мы с тобой.

— Шпарь прямо. Вон зеленый огонек. Значит, туда можно.

Медная голова развернулась и помчалась на зеленый свет. На следующем перекрестке зеленая стрелка указывала налево. Голова сворачивала в незнакомые улочки, выезжала из переулков, пятилась из тупиков, крутилась по безымянным площадям вокруг опустевших переименованных скверов, где в этот час были отключены даже аттракционы и не работала комната смеха.

Голова неслась по городу, ища приюта, но все ворота были закрыты перед ней. Голова перекатывалась в кузове и глухо стонала, из перебитого носа сочились сопли.

Но вот медная голова обрела некоторую устойчивость, перестав шарахаться из стороны в сторону при каждом новом повороте. Похоже, грузовик выбрался на правильный путь, ход его ускорился, мотор загудел уверенно и мощно. Грузовик летел прямо, никуда не сворачивая.

Перед машиной зажегся красный свет, но медная голова и не думала замедлять хода. Голова стремилась вперед.

34. Полтора Гулливера

Связь с головой была потеряна окончательно. Аркадий Бурич негодовал. Лев Поликарпович Шкунаев лишь руками разводил. Сергей Наумов требовал объяснений.

Аркадий Бурич еще не догадывался о коварстве Шкунаева. Но ведь Лев Поликарпович и сам не понимал, что происходит. Составляя план операции «Большая голова», генерал Шкунаев решил традиционно сыграть нашим и вашим. Взрывчатый разговор с Наумовым, по сути, закончился нейтрально,

а то, что Наумов дал генералу прочесть письмо Ляли Городихиной, выглядело скорее добрым предзнаменованием. Льву Шкунаеву следовало укрепить свои позиции перед первым секретарем, а может, даже пойти навстречу в какой-то малости. И этой малостью стала для Шкунаева медная голова, которой он решил пожертвовать.

Таким образом операция «Большая голова» стала очередным блефом Льва Шкунаева; Глеб Федоровский будет повергнут и проучен, первый секретарь одобрит старания генерала, ну а Бурич, что же Бурич? Надо постараться сделать так, чтобы Бурич ни о чем не узнал.

Продумано четко, по-генеральски. Но вышла заминка.

Лев Поликарпович мужественно утешал друга:

— Я тебя когда-нибудь подводил? Да? Нет? За твою голову отвечаю своей головой. Голова следует по маршруту. Кто же знал, что рация откажет, это же наша русская техника, сам знаешь. Никуда твоя голова не денется. Да я ее со дна морского достану. Я ее из печи огненной вытащу. По секрету. У меня на печах свои люди. Скоро услышим о них.

— Пойду проветрюсь,— Аркадий Бурич уже начинал понимать, что оказался втянутым в эпицентр жалких провинциальных интрижек, и задумал самостоятельный план. Нынче такая ночь, что можно рассчитывать лишь на самого себя. Он поспешил в свою комнату и вскоре вышел оттуда через заднее крыльцо к хлеву. Дверь в хлев была приоткрыта, там слышалось влажное чавканье топора.

Краем парка Аркадий Бурич шагал к эстраде. На нем была мятая телогрейка, серая кепчонка модели а ля гегемон. Замаскировавшись под бравого монтажника, Аркадий Евгеньевич начал собственную операцию. В руках у него был топорик.

Перебежал дорогу, снова углубился в кусты, огибая эстраду с прожекторами. Никто его не видел.

Главная площадка шумела разноголосым монтажно-демонтажным шумом. Обогнув эстраду, Бурич осторожно раздвинул кусты. Рядом стояла машина с буфетом. Буфетчица Паня дремала на стуле, сложив руки на животе.

На дорожку вышел Егор Телятников.

— Вас ищут,— оповестил он.

— Кто?

— В том числе и я.

— На предмет?

— Весьма важный вопрос,— Егор Егорович остановился, пристально вглядываясь в лицо собеседника, на его лице свет боролся с тенью. И тогда Егор брякнул: — Только честно, Аркадий Евгеньевич, когда вы первый раз задумались о Гулливере? — Телятников сам опешил от неожиданности, задав такой вопрос.

Бурич рассмеялся:

— В точку, Егор, в маковку. Это была моя первая книжка. Знаете, тогда в издательстве «Польза» выходила детская золотая серия. И там был Гулливер с иллюстрациями Доре. Я зачитал его до дыр. Много лет спустя я понял, что все люди разномерны и потому идея равенства является величайшим историческим блефом. Ну, бывай...

Бурич поправил топорик за поясом и вышел на площадку. Монтажники уже во многих местах содрали обшивку. В огромном тулове сияли рваные раны, сквозь них видны внутренности: ржавые, осклизлые сплетения железа, черные кишки шлангов.

Вот лежит ладонь, неплохо бы положить ее в мастерской вместо медвежьей шкуры, но ладонь обезображена гусеницами танка, проехавшими прямо по пальцам. Кусок погона? Невыразительно, плоско.

Вот оно! У правого колена косо стояла бортовка шинели, а на ней бугром вздымались пуговицы с орнаментом на брюшке. Бурич подергал ее. Пуговица приварена намертво. Он вытащил топорик и шарахнул по ножке пуговицы. На шве не осталось и вмятины.

Мимо прополз автокран, волоча на крюке кусок башмака.

Передо мной лежал Гулливер, больше того, полтора Гулливера. Лилипуты

копошились в его чреве, растаскивая на части. А Он оставался таким же великим. До рези в глазах я затосковал по дому, по теплу опущенных до пола штор, зеркальной яркости банкетного зала, когда идешь по проходу бесконечного белого стола, а за спиной шелестит свита и низкосклоненные голоса приветствуют каждый шаг, а мы тогда еще не сознавали, что искусство перешло не только в новое качество, но в новое измерение, когда же это было, сейчас вспомню, да, да, на том же банкете в «Арагви», вошедшем в историю искусства под именем голубянского банкета, потому что много народа было оттуда, генералов и голубяночек, провозглашали тосты за самого великого и единственного, я вскочил, потребовал алаверды и заявил, что мы поставили самую большую фигуру в стране, на планете, но все равно она не отражает всего величия всех Его дел, дум и слов, и потому я, Аркадий Бурич-второй, золотой и серебряный, фараон всех фараонов, клянусь вам в этот вечер, что поставлю Ему фигуру еще более грандиозную и величественную, у меня уже есть в наметках замысел, поэтому мы пьем за нашего Вождя и Учителя, Прорицателя, Преобразователя и Вершителя, кричали ура, бросали в воздух фуражки, Стригунчик поймал меня в сортире, ну ты даешь, быть тебе президентом Академии, я придумал для тебя специальную единицу измерения, 1Г, один Г это есть один Гулливер, Он и есть Гулливер, а вы все лилипуты, крутитесь у подножия того, кого я создаю, я создал уже полтора Гулливера, потому что Гулливер из книжки издательства «Польза» был крупнее лилипутов в двенадцать раз, а Учитель и Прорицатель выше всех нас в восемнадцать раз, поэтому в нем полтора Гулливера, вот как он велик и как далеко шагнуло наше искусство, но я на этом не остановлюсь, я пойду дальше, я создам Его фигуру на пять Гулливеров, Ригги лезет ко мне лобызаться, если ты поднимешь Его на пять Г., ты будешь один раз Г, я запомню это для надгробного слова, современники должны знать, что они живут в одном веке с гением, заткнись, идиот, на небе не бывает двух солнц, ну пойдем, выпьем за нашего единственного на всех гения. Мне так хотелось видеть Стригунчика, что я даже закрыл глаза, вызывая его образ, вот кто нужен мне сейчас.

Бурич вылез из левой ноги и споткнулся, едва не грохнувшись наземь. Он присел и тут же вскочил как ужаленный. Где я сижу? Это же палец, Его указательный палец, ампутированный от руки посредством танка.

Вот что мне нужно.

Но в пальчике двести килограмм — не ухватишь. Зато у пальчика есть ноготок. Бурич провел своим пальцем по ноготку и тот сам собой послушно отшелушился от пальчика, отдаваясь в руки истинному властителю и творцу.

Ого! В ноготке не меньше пуда. Великий исторический ноготь, с помощью которого была выдавлена укаающая линия на эскизе и начертано слово «этот» — диалог любви и преданности, сотворенный ногтем Гулливера.

Бурич с трудом запихнул исторический ноготок в авоську, пересек аллею. Кто-то присел рядом с ним на скамье. Бурич не слышал, но чувствовал. Он не смел открыть глаза, лишь руку протянул, нащупав теплый и влажный ворс пальто.

— Ригги, это ты? — спросил он с нежностью.

— Это я,— ответил Стригунчик чужим голосом.

Бурич открыл глаза и увидел Егора Телятникова с топором в руках.

— Пришел по мою руку? — спросил он.

— Я мясо рубил,— отвечал Телятников.— Я ведь мужик и виноват перед вами.

— Не надо покаяний, Егор,— с чувством сказал Бурич.— Нынче такая ночь, светлая и очистительная.

— Нет, Аркадий Евгеньевич,— воскликнул в порыве восторга Егор Телятников,— вы ведь еще не знаете, что я хотел.

— Подумаешь, Егор, такая мелочь. Ну накапал ты первому секретарю, как мы голову хотели украсть со Шкунаевым. Что от этого изменилось? Суета сует. Мы должны быть выше этого.

— Так вы меня прощаете? — пылко продолжал Егор Телятников, хватая Бурича за руку.— Я вам ноготок поднесу.

— Так и быть, Егор, беру тебя на десять процентов.

— Зачем так много?

— Будешь моей совестью. За это надо платить отдельно.

— Аркадий Евгеньевич, по-моему, вы прекрасно справляетесь с проблемами своей совести. У вас, я слышал, имеется индульгенция от папы римского, это верно?

— По секрету, Егор. Индульгенция была дана на три года, срок ее действия кончился неделю назад. Признаюсь, это крайне меня тревожит. Я просто не знаю, как жить дальше.

— Аркадий Евгеньевич, я согласен каяться за вас, но только бесплатно.

— Увы, Егор, ты слишком молод. Бесплатные покаяния не доходят до цели. Или же следуют малой скоростью. Я привык ездить в курьерском поезде.

— Так что же ты выбираешь: покой или беспокойство?

Аркадий Бурич вскочил первым, опережая Егора Телятникова, потому что оба услышали новый звук, быстро надвигающийся и растущий по силе. Сначала у эстрады послышались возбужденные голоса и даже крики, заглушаемые шумом машин. И тут же возник новый звук, впитывающий в себя другие звуки и перекрывающий их.

Телятников подхватил авоську с ноготком, в другую руку гитару и поспешил вслед за Буричем.

Из-за поворота с рокотом выкатывался к эстраде курьерский мотоцикл с коляской. За рулем лейтенант в черных крагах. В коляске Стригунчик в очках и шлеме, в пальто с поднятым воротником, но тем не менее ненаглядный и сладкий Стригунчик, а позади верхом на заднем колесе сидела Лидия в умопомрачительном комбинезоне цвета фольги, тоже в шлеме и очках, с гордо вскинутой головой, хоть сейчас на пьедестал. Но Бурич в эту минуту меньше всего желал Лидию.

Мотоцикл остановился, взревев последний раз, дрогнул, проехал еще метр и оказался в самом центре собравшихся. Ближе всех к Стригунчику стояла буфетчица Паня в белом халате и потому он, снимая заляпанные дождем очки и еще не видя после быстрой езды, обратился прежде всего к ней:

— Скажите, пожалуйста, мадам, это и есть Главная площадка?

35. Полная конфискация души

Матвей Румер внезапно почувствовал, что за ним кто-то наблюдает. Он оглянулся; за спиной никого не было. Если за ним следят, то сделать это можно было лишь из тех кустов за вагончиком первого секретаря. На всякий случай Румер спрятал фотоаппарат под полой кожана и нырнул в правую ногу, рассчитывая перебежать внутри Старика на ту сторону площадки и замести следы.

Когда уезжала Медная голова, генерал Шкунаев конфисковал у него один аппарат, но он не догадывался о том, что настоящий репортер никогда не пойдет на работу с одним аппаратом. У Румера было три фотоаппарата. А ночь нынче такая, что материал сам в руки идет, нащелкал пять кассет, наговорил три ролика. Теперь его преследуют, но ведь и он парень не промах.

В правой ноге была тьма кромешная, и Румер продвигался почти наугад, цепляясь за мокрые балки. Левее показалась рваная полоска света, Румер повернул туда. Над головой со скрипом вспыхнул ослепительный огонь, искры водопадом просыпались на пути Румера. Он сдал назад и наскочил затылком на балку. Огонь газорезки потух, окатив его темнотою.

— Ну зачем же имущество портить? — мягко, почти вкрадчиво сказал голос перед ним, которого он не видел, хотя голос казался знакомым.— Зачем же мы балуемся? Мы же взрослые люди, школу давно закончили,— невидимые руки ухватили его, жадно и умело ощупывая бока и грудь.

— Кто это? Зачем вы? На помощь! — жалобно призывал Румер, но его никто не слышал. Он чувствовал, как руки наткнулись на фотоаппарат и потащили его прочь от Румера. Щелкнула крышка и пленка с покорным шорохом вытянулась из кассеты. Снова вспыхнул вселенский огонь, змеистые, мертвенно-желтые кольца пленки на глазах укорачивались в чужих руках.

— Говорили тебе, не шали, не прыгай,— голос скрылся за соседней балкой, и Румер остался один.

Он сел на поперечную балку, медленно приходя в себя. Где он находится? В каком чреве? Ощупал бока — покуда целы. А аппарат на месте, болтается на плече под калеченой рукой. На другом боку магнитофон, которого они вообще в темноте не заметили.

Румер лихорадочно соображал. Он только что зарядил новую кассету, снял Бурича с авоськой, монтажника Власа Королева с резаком. Эту пленку они и засветили. Простаки: засветили неснятое. А те две кассеты, которые полностью отсняты, у него в кармане. Румер испуганно похлопал себя по бокам: кассеты были на месте. Надо перепрятать их подальше, в задний карман. Все-таки они простаки, работать не умеют. Сейчас я пойду и выскажу им все, что думаю.

Он еще раз осмотрелся, пытаясь сообразить, где находится, и увидел неподалеку светящуюся дыру, сквозь которую виднелась желтая стена дома с просевшим углом. А еще левее сам генерал Лев Шкунаев собственноручно стоял на террасе, обозревая площадку. Левая нога Льва Поликарповича была небрежно выставлена вперед, там стоял на карачках Иван Силин, весь отдавшийся работе, и надраивал бархоткой генеральский ботинок.

— На каком основании? — дерзко начал Матвей Румер, почтительно надвигаясь на генерала.

Тот смерил его с высоты своего монументального роста мертвым взглядом, как умеют смотреть лишь монументы.

— Где голова? — спросил генерал Шкунаев, переставляя ногу, чтобы Силину было удобнее чистить.

У Румера от такого вопроса мурашки по спине забегали.

— Товарищ генерал, я хотел спросить насчет пленки. Какая голова? — лепетал он, отступая вдоль террасы.

Лев Поликарпович ласково поигрывал лайковыми перчатками.

— Не прикидывайтесь, Румер, мы знаем о вас все. У нас имеются сведения, что вы вступили в сговор с Павлом Чугуновым, прокололи баллоны на его машине, а затем организовали похищение головы на проспекте имени товарища Сидорова. Придется признаться, дорогой.

Матвей Румер оглянулся на поверженную фигуру Старика, и голова его взметнулась гордо.

— Слушайте, Лев Поликарпович, что я вам сейчас скажу. Ваше время кончилось и больше никогда не наступит, это я вам обещаю от имени всех коммунистов. Я не был вчера на бюро, но кое-что слышал и мне нетрудно представить себе, чем все кончится. Сейчас не те времена, и ваши вымогательства у бедной женщины теперь не пройдут. Так что я не буду жалеть вас, когда вы выйдете из наших рядов.

Генерал Лев Шкунаев сделал знак. По обе стороны от него выросли два задумчивых майора. Лев Поликарпович выступил на шаг вперед, проходя сквозь Силина, и задумчиво качнул головой.

— Ай, Матвей Львович, ай, Матвей Львович,— с укоризной выговаривал Лев Шкунаев, сохраняя притом отеческую ласку в голосе.— Вы же уважаемый человек в нашем славном городе Несаминграде, вы же проливали кровь за Родину, инвалид войны, вас знают радиослушатели, мы привыкли к вашему изображению на экранах наших телевизоров. Ай-ай! И вдруг такой примитивный шантаж! Хорошо, я понимаю, сейчас не время и не место для внутрипартийных дискуссий. О проколотых баллонах мы поговорим потом в более интимной обстановке, у нас не такие зубры раскалывались. Что это у вас под полой? О-ля-ля! Примерно так я и думал. Проверьте его, пожалуйста.

Первый майор подступил к Румеру и, ласково приговаривая, поднял вверх правую руку, под которой оказался портативный магнитофон в черном футляре. Майор отделил магнитофон от Румера и приблизил его к себе, рассматривая устройство.

— Ах так! — оскорбленно заявил Румер.— Я арестован и конфискован?! В таком случае я не скажу больше ни слова. Все. Я умолкаю. Сейчас не те времена.

И с грохотом сел на подставленный стул, изображавший камеру одиночку. На террасе тем временем появился небольшой квадратный стол на тонких ножках. На плоскости стола возникли вещественные доказательства: фотоаппарат № 1, фотоаппарат № 2, магнитофон и желтая засвеченная пленка, соединяющая по спирали конфискованные улики.

Лев Поликарпович, взяв магнитофон, нажимал кнопки для перемотки бобины. Румер сидел на одиночном стуле, демонстративно положив ногу на ногу и всем своим видом изображая предельное возмущение, независимость и презрение. Второй майор стоял у стола, держа наготове тетрадь для протокола. Силин собрал тряпки и тихо исчез в доме. Терраса была освещена светом прожекторов.

— ...удьте добры, что вы можете сказать о нынешней ночи?

— Это самая счастливая ночь в моей жизни. Как я радовалась, когда узнала, что мне доверено очищение постамента от грязи, да, мы очищаемся, это ночь, которая несет свет, а какие прекрасные у нас электростанции, какие светлые цели! Что я хочу сказать? Нами движет любовь, это великое святое чувство...

— Большое спасибо, этого вполне достаточно, именно то, что мне нужно. Даю паузу.

— Дорогие радиослушатели. Продолжаем репортаж с Главной монтажной площадки. Только что отрезана огромная голова медного истукана, вы слышите шум ее падения, шум дадим потом, он похож на удар барабана. Итак, отрезанную голову грузят в самосвал, который повезет лучший экскаваторщик Гидростроя Павел Чугунов, который завоевал эту честь за лучшие показатели в последнем квартале. Я вижу его лицо в кабине. Он волнуется. Вот медная голова повисла в воздухе, опускается в кузов, вы слышите шум работающего крана, его мы дадим потом. Но что это? Что-то непредвиденное. Чугунов явно расстроен. Его самосвал дал осечку, село колесо. Чтобы это значило? Ага! Уже подкатывает новый военный грузовик, еще более мощный и внушительный, значит, так было задумано, эстафету монтажников принимает наша доблестная армия, стоящая на страже Родины...

— Вы слышали это, товарищи? — сказал Лев Поликарпович, выключая бобину.— Вот они мутные волны эфира, специально для вражеских ушей. Маскируется ловко, но мы его поймали с поличным.

Румер сидел на стуле с таким страдальческим видом, будто был к нему прикован. Но тут он не выдержал, вскочил, аж ножкой притопнул.

— Это история,— воскликнул он в экстазе.— Это великие исторические перемены, они происходят, они произойдут.

— Какие перемены вы имеете в виду, товарищ Румер? Может, вы хотите переменить правительство? На когда это назначено?

— Вы меня не так поняли, я говорил об общих переменах.

— Ага, значит, вы желаете переменить страну. Теперь я вас правильно понял? Ну, что же, мы подумаем, Матвей Львович.

— Моя страна здесь, в России, мне менять нечего, пусть все останется как было. Только дайте мне возможность вести репортаж о том, что совершается. И тогда я пущу его в эфир.

— Когда? — нежно спросил Лев Поликарпович, подступая к Румеру.

— Что — когда? — удивился Румер.

— На когда назначены эти перемены и вы пускаете их в эфир? Хотелось бы знать заблаговременно.

— Наши внуки,— захлебывался Румер, пытаясь докричаться до внуков.— Через двадцать лет...

— Может, он хочет, товарищ генерал,— предположил первый майор,— чтобы мы для него эфир поменяли.

— Весьма сожалею, товарищ Румер,— сухо пояснил Лев Шкунаев,— но мы даже ради вас поменять эфир не в состоянии. Не волнуйтесь, пожалуйста, не ропщите, проверим эти пленки, ролики, вам все будет возвращено в чистом виде. Нам лично это не нужно. Мы такой истории не храним. А вам сейчас выпишем расписочку.

Под мерный шкунаевский говорок конфискованные предметы один за

другим исчезали в коричневом, поднесенном к столу портфеле, разъятый зев которого был похож на пасть крокодила по имени кожи, на него употребленной. Румер растерянно переводил глаза с террасы на монтажную площадку, ища поддержки и опоры. И впрямь, на центральной аллее показались Наумов и Федоровский. Они как раз выходили из-за правого плеча, уже разъятого и почти раскрытого. Куда они повернут? Если налево, к буфету, то за ними не угонишься. Если же направо, то окажутся у отрезанной головы, где стояли несколько часов назад, тогда они услышат, если я крикну погромче.

Матвей Румер видел, как Сергей Леонидович вышел к отрезанной голове и приостановился, словно поджидая кого-то.

Теперь или никогда?

Румер сорвался с места, с грохотом опрокинул стул, поднырнул под первого майора и выбежал прочь с террасы, слегка подволакивая при беге раненую ногу и загребая воздух руками. Он бежал по аллее к Наумову, как бегают во сне, отталкиваясь от пустоты, упругими воздушными прыжками, лишь полы кожана заплетались и мешали бежать. На аллею выворачивал самосвал, и Румер прибавил хода, чтобы опередить его.

Сергей Леонидович разговаривал с Глебом Федоровским, стоя на том же месте, и уже поворачивался в сторону набегающего Румера, видя его напряженный, неловкий, почти заплетающийся бег.

Расстояние между ними неумолимо сокращалось.

— Товарищ Наумов, помогите,— выкрикивал Румер, подбегая и задыхаясь.— Меня преследуют.

— Кто вас преследует, товарищ Румер? — удивился Наумов.

Румер оглянулся. Самосвал проехал. Аллея была чиста. Лев Поликарпович монументально сходил с террасы, но еще не определить было, в какую сторону пожелает он направить свои стопы.

— У меня конфисковали фотоаппараты, магнитофон,— лихорадочно торопился Румер.— Они не мои, государственные.

— Ну и что же? — невозмутимо отвечал Наумов.— Это делается в ваших же интересах, все будет вам возвращено.

Но Румера трудно было остановить. Его ничуть не смутило то обстоятельство, что аллея за его спиной была пуста. Наоборот, он почувствовал себя в безопасности и осмелел еще более.

— Товарищ первый секретарь областного комитета партии,— неудержимо начал он.— Я обращаюсь к вам официально. Почему мне не дают слова? От кого мы прячемся?

— Я полагаю, вы в курсе, товарищ Румер,— голос Наумова сделался сухим и невыразительным.— Бюро обкома вынесло решение не давать сообщений в печать или радио, тем более фотографировать. В чем дело? Мы принимаем закрытые решения только для того, чтобы объявить о них открыто. Как вообще вы проникли сюда?

— Сергей Леонидович,— пылко продолжал Румер, и ему казалось, что он летит на крыльях и голос его чист и звонок.— В пятьдесят втором я был здесь же, на монтаже этой фигуры. Тогда кругом была колючая проволока, но меня допустили, дали разрешение написать. И я написал очерк о монтаже, хотя его не напечатали, но мне оплатили пятьдесят процентов. И поместили фото готового монумента. А сейчас даже не пускают, конфискуют аппараты. Писать не дают. Почему? Разве я не имею права? Или демонтаж опаснее монтажа?

— Не надо подогревать страсти,— вяло отвечал Сергей Наумов, он уже устал от этой никчемной полемики, и верткий газетчик начинал раздражать его.— Вы же видите, работы идут полным ходом. И не надо путаться под ногами работающих. Какие еще могут быть вопросы?

— Тогда я вам скажу, почему... Потому что вы, вы...— Румер задыхался от избытка слов, переполнявших его, но все слова были вымученные, стертые как пятаки, а одного-единственного он не находил. Тут он и вовсе сбился, заглянув в черную дыру отрезанной головы, обернулся на генерала Шкунаева, продолжавшего приближаться с той же непринужденностью и неуклонностью, снова посмотрел на Сергея Наумова, одновременно набирая воздуха в грудь, потому что продолжающаяся пауза была пустотой, провалом и требовала

продолжения, завершающей точки, нет, уже не точки, но восклицательного знака для того, чтобы он, Матвей Румер, и дальше мог жить долго и честно, не краснея потом за содеянное. Он набрал в себя воздух до предела, готовясь прорваться сразу сквозь косноязычность всех придуманных на свете слов к одному-единственному знаку, которого он и сам не знал.

— Вы ведете демонтаж монтажом! — выкрикнул он на едином дыхании и тут же ослаб от собственного крика.— Вот вам! — сипло кончил он.

Как ни слаб был этот тоскующий голос, все же он был услышан в ближайших пределах отрезанной головы.

Вера Васильевна Троицкая живо хлопнула в ладоши:

— Как это волнует,— отозвалась она и замахала ручкой, завидев подходящего Бурича.— Аркадий Евгеньевич, скорей сюда.

— Так и должно его! — заключил Иван Силин.— Позор!

— Я тебе покажу монтажом, мигом демонтирую,— вскипел генерал Лев Поликарпович, вовремя подоспевший к месту действия и готовый внести лепту в общее дело.

Глеб Романович Федоровский подошел ближе к Румеру́.

— Опомнись, Матвей, что ты говоришь, это же технически нонсенс. Как можно вести демонтаж методом монтажа?

Иван Силин переместился в направлении отрезанной шеи и снова вынырнул из-за плеча Румера.

— Позор славе!

Наумов холодно посмотрел на обоих:

— Не жонглируйте словами. Эта ночь не для красивых слов. Мы делаем дело, товарищ Румер, а вы разжигаете страсти. Сегодня ночь дела. Слова придут потом.

— Наши внуки,— жалобно выкрикивал Румер, понимавший, что он не смеет уступать последнего слова.

— Не бейте нас нашими внуками,— отрубил Наумов.— Мы делаем это не ради внуков, а для самих себя. И внуки скажут нам спасибо. Они поймут, ради чего мы это делали, мели эту грязь. Вы этого не видите, мне вас жаль.

Тем временем Лев Поликарпович проделал последний шаг, отделявший его от Румера, и наложил лапу на его плечо.

— Сейчас мы его попросим, Сергей Леонидович,— пообещал он.— Пусть посидит до утра, подумает.

— Как это великодушно,— всплеснула ручками Вера Васильевна Троицкая.— Он устал, ему надо отдохнуть. Я дам вам таблетку амидопирина, Матвей Львович. Можно сделать компресс.

За спиной Наумова остановился автокран, еще дальше стоял самосвал с включенным двигателем. Глеб Федоровский решил, что он тоже должен заступиться за шурина, но сделал это по-своему.

— Товарищ генерал, вы мешаете работам. Давайте что-либо одно: митинг или демонтаж.

— Отпустите его,— решил Наумов.— Пусть он останется здесь, этот словесный мальчик. Потом мы позовем его и скажем, откуда можно вести репортаж. А если он напишет что-то, пусть принесет и покажет, что написал.

— Сергей Леонидович, я же всегда хожу к вам, советуюсь, вы же знаете,— радостно говорил Румер.— Разве я не понимаю.

Лев Шкунаев отпустил его на свободу, и Румер перешел в руки Федоровского, успев шепнуть ему на ходу:

— Спасибо, ты меня выручил от этого изверга. Все равно я обвел их вокруг пальца, один аппарат у меня еще в загашнике, он в твоем вагончике.

Сергей Наумов хотел отойти в сторону, пропуская автокран, но в это время раздался наплывающий треск мотоцикла, заглушивший прочие шумы на площадке. Наумов стоял и смотрел, как мотоцикл со своими диковинными пассажирами приближается к разрезанной шее, тормозя и чихая.

Румер цепко держал Глеба Федоровского за рукав.

— Они меня обыскали,— нашептывал он.— Какая мерзость, ты представляешь, этот шмон. Но они плохо работают. Они не знают Румера. Две кассеты у меня остались в заначке.

36. Предынфарктное состояние

Мотоцикл оглушительно взревел, как бы салютуя в честь собственного прибытия.

Стало тихо. Я сбросил газ. Руки мои затекли. Но не от пера, от руля. Стригунчик стаскивал очки и ничего не видел, но времени не терял и, стараясь соблюсти солидность, выбирался из коляски, чтобы размять затекшие ноги и одновременно избрать направление движения для них. Его поразила огромность повергнутого монумента, за который Стригунчик провозгласил не один тост, но которого ни разу не видел в глаза. На фоне туловища с отрезанной головой люди казались мелкими и немыми. Но тем не менее они замахнулись на этот гигантский монумент, они свалили Гулливера, и все это было серьезно.

Их было там пять или шесть человек, среди них две женщины, а справа подходили еще двое, один из них был Бурич. Стригунчик сделал ему знак рукой и зашагал на скованных ногах прямо к Наумову, которого безошибочно выделил за главного. Лидия опередила Стригунчика. На прыгучих ногах подлетела к опешившему Наумову, чмокнула его в щеку. На ней был ошеломительный комбинезон из серебряной ткани в обтяжку, так что каждый извив выглядывал.

— Поздравляю вас,— молвила она и скромно отступила в сторону, освобождая место для Стригунчика.

— Как долетели? — спросил Наумов в ответ на поцелуй и одновременно давая понять Стригунчику, что выбор его правилен и давай не будем корчить официальщину, а коль ты подослал вперед женщину, так ты не первый, сегодня я пользуюсь у них успехом.

Стригунчик умел мгновенно улавливать начальственные знаки, поэтому он первым выбросил свою руку, за правой рукой поспешала левая, прикрывая наумовскую руку и благодарно взвешивая ее в ласковых ладонях. Тут и Бурич подоспел. Лидия сделала книксен: Аркадий Евгеньевич, вы не сердитесь, что я прилетела? Глеб Федоровский был представлен в качестве главного демонтажника. Лев Поликарпович стянул лайковые перчатки, разрешая вплести себя в церемонию представления с неразберихой его звукового сопровождения, сутолокой тел и переглядыванием. Вера Васильевна Троицкая выскочила вперед: наконец-то, мы просто заждались.

— Она? — спросил Лев Поликарпович, рокоча от всяческих предвкушений.— Разрешите приложиться?

— Как здесь красиво. Мы мчались по вымершему городу. Вы титаны.

— Мы так вас ждали, так ждали. Вы привезли отмену, я знаю.

Наконец Стригунчик полез в карман пальто, долго вытаскивал руку обратно и не без труда извлек на свет божий длинный белый пакет, заляпанный сургучными печатями.

— Сергей Леонидович, это вам,— громко объявил он, чтобы привлечь внимание, и передал пакет Наумову.

— В самом деле.— Наумов разорвал пакет и вытянул из него другой конверт, попроще.— Но это кому-то еще,— сказал он, оставшись таким образом с пустым конвертом и вместе с тем получив полное удовлетворение: все-таки его имя стояло наверху, при главном пакете.

— Это мне,— заявил Стригунчик, забирая конверт обратно. После чего он оглянулся, увидел, что стоит между Наумовым и Буричем, и сделал шаг вперед, как бы утверждая себя перед прочими.— Итак, товарищи,— торжественно начал он.— Мы прибыли к вам с миссией дружбы и творчества. Как председатель жюри объявляю наше собрание открытым, хе-хе, на открытом воздухе. Учитывая всенародное значение монумента победы на Трех холмах, мы решили учредить три премии и объявить результаты конкурса прямо перед вами, так сказать, на месте действия. Итак, я распечатываю на ваших глазах конверт и читаю: протокол номер один от... простите, тут стало слегка накрапывать, а бумага гербовая, некоторым образом государственное имущество, я не имею права. Разумеется, мы потом продолжим в более торжественной обстановке, в закрытом помещении, поэтому дальше исключительно своими словами. Жюри в таком-то составе под председательством такого-то, то есть меня, рассмотрело 48 работ, представленных на конкурс, ну и так далее, согласно преамбуле. Я двигаюсь вперед. Жюри постановляет: присудить первую премию проекту монумента под условным названием «Воронка», девиз «Митрясов». 7 голосов — «за», 4 голоса — «против». Вторую премию присудить проекту монумента под условным названием «Дева-Воительница», девиз «Лидия». 5 голосов — «за», 6 голосов — «против». Далее идут остальные премии, для нас они несущественны. А сейчас я достаю опечатанные конверты с девизами, и мы с вами через тридцать секунд узнаем подлинные имена победителей.

Стригунчик торжественно извлек из себя еще один пакет. Сколько же их было в нем? Казалось, он весь состоит из одних государственных пакетов.

Он долго и красиво ломал сургучные печати, наконец запустил руку в конверт.

Сейчас мы узнаем подлинное имя того, кто... Даже Бурич небрежным взглядом покосился в сторону пакета. Вера Васильевна Троицкая пылала от возбуждения. Егор Телятников нервно подергивал правым веком.

Не теряя бодрости, Стригунчик продолжал шарить в конверте, носом туда глянул.

Что-то сломалось в разработанном сценарии, это ясно.

— Я почему-то не нахожу,— известил нас Стригунчик.

Все шумно сгрудились вокруг пакета. Как же так: летели сквозь ночь, мчались на мотоцикле — а привезли пустышку.

— Похищение девиза. Редкий случай в криминалистике,— определил Лев Шкунаев.— Возможно, это вообще первый случай в истории.

— Он выпал во время переклейки...

— Художник пожелал остаться анонимным...

— Как же мы теперь узнаем настоящее имя победителя?

— Спокойствие, товарищи. В Москве имеются дубликаты. Они будут вскрыты. Имя победителя напечатают газеты. Нам известно одно: победитель конкурса — местный скульптор. Он живет здесь, в Саминграде, простите, в Несаминграде. Поэтому мы и хотели. Однако наша церемония не отменяется, она лишь переносится.

Вера Васильевна Троицкая хлопнула в ладоши.

— Я знаю. Это Егор Егорович Телятников. Он наш.

Телятников сделал шаг вперед, чинно поклонился:

— Благодарю за доверие. Но лично я не приучен претендовать на чужие работы, даже если они анонимны. Предпочел бы убедиться, так сказать, документально. Подождем, когда выйдут газеты.

— Товарищи, пропустите автокран. Вы задерживаете демонтаж.

В самом деле, ритм работ как бы сам собой несколько замедлился. Монтажники, разбиравшие медного истукана, продолжали свое дело: резали огнем обшивку, крушили балки, цепляя конструкции к тракторам. Однако нет-нет, да и оглядывались в сторону митингующих, пытаясь угадать: что такое там происходит?

— Не смеем вам мешать,— Лидия Сомова подхватила Сергея Леонидовича Наумова и повлекла его в сторону террасы.

Бурич и Стригунчик двинулись следом. Позади щебетала Троицкая.

— Ригги, ты молодец,— растроганно говорил Бурич.— Я так рад, что ты прилетел.

— Садомский понял, что его проект не проходит. И он сделал все, чтобы не пропустить тебя. Как всегда, впереди оказалась серая лошадка. Я понял, что должен вмешаться. Да, чуть не забыл. Запомни: у тебя предынфарктное состояние.

— Я предпочел бы что-нибудь более оригинальное. Скажем, синдром Крузенштерна.

— Учти раз и навсегда,— пылко возразил Стригунчик.— Не мы выбираем наши болезни, а они — нас. Я лучше тебя знаю, чем ты болен. Предынфарктное состояние — именно так записано в истории болезни.

Бурич лишь посмеивался, слушая преданного друга. Это случилось вчера. Едва он, Бурич, уехал на аэродром, как прикатила карета «скорой помощи»,

присланная из споцполиклиники. В мастерской появилась медицинская сестра Валя-новенькая. Димка Захарчиков, следуя полученной от шефа инструкции, сказал, что он и есть Бурич и у него болит сердце. Сделали укол. Сердце не проходило. Спустя полчаса Захарчиков, он же Бурич, лежал в реанимации, обвешанный капельницами. Валя-новенькая дежурила у изголовья. К утру сообщение о болезни золотого и серебряного ушло в инстанции. Стригунчик лично доложил Большому помощнику о том, что Бурич мужественно преодолел недуг и вылетел в город Несаминград для проведения демонтажных работ. Такое мужество нуждается в компенсации. Срочно доложим Самому...

Бурич молча пожал протянутую руку.

— А как же Димка? Так и лежит в реанимации?

— Ты знаешь: удрал. Ведь ты не можешь находиться сразу в двух местах, там и тут. Его вывезли.

— Кто автор «Воронки»?

— Тихо. Он здесь. Его надо обработать. Привлеки Лидию.

— Я бы предпочел дустом.

Шагая вперед, Лидия говорила Наумову:

— Кажется, опять накрапывает. Чем бы прикрыть голову?

— Сейчас я дам команду. Как вам у нас нравится, Лидия Дмитриевна?

— Это величественно. Я летела сюда, чтобы наполниться. На деле же опустошена. Вы титаны. Вы сами не знаете, на что замахнулись. Ваши имена войдут в историю.

Сергей Леонидович видел и понимал всю нехитрую игру нежданных гостей. Стоило лететь из Москвы, чтобы привезти пустой конверт. Хотят вывести из дела нашего скульптора. И как грубо, как примитивно сработано. Шито белыми нитками. Но с другой стороны — и зацепиться не за что. Все просматривается насквозь, а в глаза не выскажешь. Выходит, не так уж примитивно. Интриганы всегда опасны, а эти, с центральными связями, знанием всех входов и выходов, номеров телефонов, которых не бывает в справочниках,— такие интриганы опасны втройне. Самое шаткое обвинение то, которое нельзя предъявить. Но все равно — погодите, мы вас выведем на чистую воду.

Так думал секретарь Наумов, не догадываясь о том, что счет времени, оставшегося в его распоряжении, идет уже на минуты. А там начнется такое, что станет не до Стригунчика.

Сергей Леонидович приостановился и, сделав рукой широкий жест, обратился к приехавшим:

— Гостей следует потчевать не разговорами, а чем-либо более существенным. Прошу дорогих гостей в мой вагончик, там и поговорим за чашкой чая. У меня тоже есть о чем сказать... Вот и Корешков уже спешит к нам с сообщением, что чай заварен. Он у нас крупный мастер заварки.

Валентин Корешков в самом деле поспешал к левому бедру, но лицо его выражало отнюдь не гостеприимство, а озабоченность, больше того — растерянность. Сергей Наумов хорошо знал своего помощника и потому насторожился. Корешков остановился в некотором отдалении, не решаясь подойти ближе. Однако Наумов еще не хотел верить, что случилось нечто нежелательное.

— Так что же, Валентин Петрович,— спрашивал он с надеждой,— готов ваш чай?

— На «Красном металлисте» ворота закрыты,— объявил Корешков.

Кажется, никто из присутствующих не понял смысла этого сообщения. Наумов покосился на Шкунаева, но тот будто ничего не слышал, увлеченно любезничая с Лидией.

Между тем известие, принесенное Корешковым, было почти ошеломляющим. Такого оборота Наумов не предвидел.

— Где Черноус? На проводе? — быстро спросил Наумов, оставляя гостей и подходя к Корешкову.

— На проводе секретарь парткома. А Черноус закрылся.

— Прошу дорогих гостей извинить меня,— твердо заявил Наумов, не теряя самообладания.— Срочный вызов. Меня зовут к телефону. Нужно уточнить две-три детали.

— Действуйте, Сергей Леонидович,— милостиво разрешил Бурич, мысленно снимая перед Наумовым охотничью шляпу с пером.— Мы гостей в обиду не дадим.— И ударил под дых, сам того не ведая.— Мы перед ними своих ворот не закроем.

Но Сергей Наумов уже быстро шагал через площадку к своему вагончику. Валентин Корешков семенил за ним.

Лев Поликарпович хмыкнул вслед.

— Дорогих гостей ждет архиерейская уха,— объявил он, увлекая за собой Лидию.

37. Кочаны, подсолнухи, морковь и прочее

— Зачем вы увели меня с улицы в этот казенный дом? Я летела и не верила: неужели я Его увижу? Покажите мне его, раскройте портьеру, а то Его разберут и останется один пшик. Я буду последняя дева-Воительница, которая видела Его. Какой он огромный, никогда не думала. Выпьем за то, что Он такой огромный. Неужто и я такая буду? Бурич говорит, что во мне будет пять Г. Он меня вычислил вдоль и поперек.

— Лидухин,— говорил Стригунчик,— ты будешь больше всех в мире, это я тебе обещаю. Пять Гулливеров! Я тебя боюсь.

— Это колоссально,— скривился Телятников.— Но пока что первое место присудили другому проекту, товарищ Коровин. Разве не так?

— В этом мире нет ничего невозможного,— стрекотал Стригунчик.— Завтра нас всех переименуют, монумент «Воронка» будет построен, а вы сядете в мое кресло, Егор Егорович.

— На вашем месте я не потерял бы конверта с девизом, уверяю вас.

— Так и я не терял,— живо отозвался Стригунчик.— Он был перепохищен. Впрочем, завтра проект будет опубликован во всех газетах. Двадцать миллионов экземпляров.

Телятников отвечал со свойственной ему многозначительностью.

— Художнику достаточно одного экземпляра. Но в натуре.

— Так и быть. Берите натуру. Попросим Лидию, пусть позирует вам.

— Изваять Лидию Дмитриевну великая честь. Вряд ли моя рука окажется достойной. Но лишь в натуральную величину.

— Хочу стоять в венке из облаков,— с вызовом отвечала Лидия, вскакивая с места.— Аркадий, где ты? Почему не идешь к нам?

В раскрытую дверь комнаты было видно, как Шкунаев и Бурич стояли на террасе, слушая булькающий ящик. По коридору прошел первый майор, за ним второй.

— Что случилось на «Красном металлисте»? — спрашивал Бурич у Шкунаева.

— Меня это не касается,— невозмутимо отвечал Шкунаев.— Но для него было бы гораздо лучше, если бы этого не случилось. Я так просто своих людей не отдаю.

— Ты о Тихомирове? — спросил Бурич.— Неужто в самом деле отдашь его на съедение?

— Я за всех обиженных и униженных, за всех оболганных и обделенных. Ну-ка, ребята, представьтесь моему другу и выполняйте его распоряжения, как мои собственные.

— Майор Тихов,— прищелкнул каблуками первый майор.

— Майор Миров,— прищелкнул второй.

— Я всегда верил в наши органы,— сказал растроганный Бурич.

— Подай запасные наушники,— обратился Лев Шкунаев к майору Тихову.

Аркадий Бурич брезгливо приложил наушники к уху, как бы не желая становиться соучастником эфира. Но постепенно лицо его делалось заинтересованным, Бурич прижал наушник плотнее, дабы не упустить в щель ни одного возникшего звука, толчком ноги прикрыл дверь в дом, дабы земные слова не мешались с небесными.

В этот глубокий ночной час эфир неумолчно скрипел, заклинал, вякал,

подмазывал, переливался и перехлестывал, громыхал, задыхался, матерился и честил, нанизывая слова на челнок звуковой волны, снующий над миром. Лев Шкунаев увидел, что Бурич прилип к наушнику, и дал знак радисту. Тот умело повел наушник по всему диапазону, чтобы ни один звук не сгинул в безвестность.

Пауз не было. Голос накладывался на голос, как кирпич на кирпич. Эфир работал с тройной перегрузкой. Страна бодрствовала. Звуковые осадки выпадали на землю.

— Давай-давай! — крикнул голос в самое ухо, он был так близко, что Бурич вздрогнул и оглянулся.

— Где машины? Отвечай, когда спрашивают. Почему от вас кочаны не поступают?

— Скорей. Отстаете от соседей. Они уже рапортовали о полном завершении, а вы все с вывеской возитесь. Что значит высоко? Вызови автокран. Пожарную машину.

— Докладываю: директор пансионата «Березка» не хочет статуй снимать. Говорит, был любимый.

— Сними его.

— Кого? Статуй?

— Директора сними, болван. Статуй мы и без него снимем.

— Разбаловались, я вас научу работать. Чего сидите?

— Мы не сидим. Копаем яму.

— Кончайте с ямой. Засыпать пора. Чтобы никаких следов.

— К утру подать полный отчет или сам полетишь.

— Внимание, передаем очередную сводку о выполнении сельскохозяйственных работ на два часа ноль-ноль,— бубнил эфир надтреснутым казенным голосом.— Наименование культуры: кочаны белокочанные; вид работ: разбивка; ноль часов — тридцать две штуки, один час ноль-ноль — пятьдесят пять, два часа ноль-ноль — шестьдесят две. Следующая позиция: морковь...

Во всю эфирную ширь поднималась и врастала в небо растянутая на пиках антенн отчетная таблица, сотканная из страстей и недомолвок. Карнавал взлетел под небеса.

	Культура (вид)	Наименование работ	Единица измерении	Количество времени				Остатон
				0.00	1.00	2.00	3.00	
1.	Кочаны	Разбивка	штуки	32	55	62	—	44
2.	Морковь	Корчевка	тонны	2	4	8	—	16
3.	Плющ	Сдирание	метры	100	180	360	—	нет
4.	Подсолнух	Перепахано	штуки	6	14	167	—	нет
5.	Семечки	Перещелкано	тыс. экз.	103	—	248	—	200 тыс.

— Почему кочанов мало? Нажимай на кочаны. И учти, на три ноль-ноль данные за тобой. Через полчаса доложишь. Как это не будет? А ты обгоняй его. Мы для того и созданы, чтобы обгонять время.

— Почему сводок не передаешь? Слышал, как у соседа дело поставлено. Жми-нажимай.

Бей его кувалдой! Хватай за ноги. Тащи через всю площадь на канате, чтобы он носом пропахал по асфальту. Разорвать на куски. Разрезать на части. Разбить в крошку. Стереть в порошок. Под пресс. Под молот. Сделай подножку. Клади на лопатки. Закопать. Утопить. В переплавку. Засыпать, сжечь, развеять по ветру, чтобы он никогда не поднялся. Сегодня все приемы дозволены. Содрать со стены, подпилить пилой, схватить за загривок — и наповал. Идет Небывалая ночь. Чтоб к утру все было кончено раз и навсегда.

— Один вопросик. Полвопросика. Тут у нас один подсолнух висел. Масло. Весьма художественное. В балансе записано: пятьдесят пять тысяч новыми. И там кочан на втором плане, на самом заднем. И вообще не Он сам, просто портрет кочана на стенке висит. Можно очки ему нарисовать. Или бороду.

— Никаких. Немедленно. Сжечь и развеять.

— Так вы бы утром лично осмотрели подсолнух и решили бы.

— Хватит. Я на него уже насмотрелся. Еще одно слово, и я тебя самого демонтирую.

— Хорошо, хорошо, я понял, мы сделаем.

— Гони.

— Докладываю: двести тонн черно-белых семечек собраны и отправлены в переварку.

— Заканчивайте. Закругляйтесь. Подчищайте.

— Даю пять минут срока. И никаких отсрочек.

Бурич устало содрал наушники с головы, словно с собственной кожей, чтобы скорей вернуться к привычным бессловесным звукам: урчанию моторов, шипению сварочных аппаратов, перебору гитарных струн.

На площадке продолжали вспыхивать сполохи огней. Автокран тащил в крюке изуродованный кусок меди. Глеб Федоровский что-то мерил деревянным аршином. Вера Троицкая прошелестела по дальней аллее. Все было по-прежнему.

— Слушай, Лев,— спросил Бурич.— Что происходит?

— Ничего особенного,— отвечал Шкунаев, приглушая звук.— Все правильно. У нас всегда так, посевная или уборочная: давай-давай. Сдаем агрегат на Гидрострое: давай-давай. Сеем кукурузу: давай-давай.

— Но это же не посевная, Лев?

— Кто их знает, то ли сеем, то ли жнем. У нас никогда полной ясности нет.

— Надо разобраться, Лев. Просто необходимо.

— Да нам-то с тобой что? Без нас разберутся.

— Мы исполнители, Лев. Мы несем государственную правду в народ или защищаем ее от народа. А что, если народ еще не готов к такой правде? Тогда и освобождаться нам надо постепенно, мелкими шажками. А тут смерч на Россию обрушился. От такой правды-то и окосеть можно.

— Что же ты предлагаешь, Аркадий? Войди с предложением в Верховный Совет, ведь ты депутат. Или прямо в ООН,— Лев Поликарпович хохотнул.

— Вот я и думаю, Лев. Готов ли мой народ к демонтажу?

— Так ведь не народ демонтируют, а Его.

— Это почти одно и то же. В каждом из нас должен совершиться демонтаж. Готовы ли мы сами?

Наушник прохрипел устало:

— Давай-давай!

— Куда они торопятся? — не унимался Бурич.— Как оголтелые. Отчего так спешат? Или опоздать боятся?

— Учти, я этого не говорил. Это ты сказал.

— Не все ли равно, Лев. Утром народ проснется — и словно в другой стране. Все переименовано. По всей стране пущены в обращение другие деньги, имеющие другую ценность.

— Какой с нас спрос, Аркадий. Мы солдаты. И у нас нынешней ночью все в ажуре. Я уже доложил в Москву товарищу Железношурикову.

На террасу вышел один из майоров, то ли Тихов, то ли Миров.

— Как «Красный металлист»? — спросил Лев Поликарпович.

— Без перемен, товарищ генерал. Связь устойчивая.

— Значит, скоро услышим новости,— многозначительно пообещал Лев Шкунаев.— Мой секретарь сегодня не соскучится.

Силин вышел из дома на террасу, держа в руках приборы для чистки и смазки.

— Товарищ генерал, разрешите приступить? — четко обратился он.

— Чего у тебя там? Валяй,— с ленцой отвечал Лев Поликарпович.

Иван Силин подступил ближе, снял генеральскую фуражку с головы Шкунаева, заерзал щеткой по сукну, приговаривая:

— Сукно-то доброе. А вот рантик слинял, поменять придется, значит, в мастерскую сдавать для скорости.

— Вот видишь, Иван,— заметил с одобрением Бурич,— ты уже вписался в окружающий мир. Я тебе завидую. Научи меня.

— Обязан быть при работе,— сухо ответил Иван Васильевич Силин, подавая Льву Шкунаеву свежевыглаженный платок для чистки носа.— Я завсегда присутствовал на этом свете для исполнения работы,— важно закончил он, не глядя на Бурича, которого вообще считал мелкой сошкой.

Иван Васильевич Силин вырос ни в селе, ни в городе. А вырос он на окраине Назаровской слободы, поставляющей городу людей второго эшелона, рабочих не рабочих, но и не бездельников, наоборот, людей работящих и старательных: проводников вагонов на железную дорогу, весовщиков на склады, дворников и домоуправов, сапожных мастеров, кладовщиков, шорников. Потому и наш Иван был определен отчимом в москательную лавку продавцом жидкостного товара, а именно керосина, которым и торговал Иван Силин от шестнадцати лет — и сам всегда с керосином, а у кого нос в керосине, тот и фрукт, потому что в те годы не только слобода, но и весь наш город жил на примусах и керосинках. Происхождение Ивана Силина долгие годы оставалось туманным, оно и до сего дня не прояснено. От детских лет Иван Васильевич помнил лишь черный омут со втягивающимися на глубину струями да гроб матери, уносимый на погост, а это мало что проясняет. И вот однажды Василий Силин подобрал на дороге оборванного мальчика, шагавшего с котомкой через слободу. Ничего вразумительного о себе малец рассказать не мог и был взят в семью.

Так Иван Силин подобно отцу-Продолжателю стал сыном сапожника, однако же сапоги тачать, на что весьма рассчитывал приемный отец, не выучился. Ну так будет керосинщиком, махнул рукой Василий Силин. В армию Иван был призван по сроку и попал, можно сказать, по гражданской специальности: охранял на гарнизонном складе цистерны с горючим, ибо уже надвигалась война моторов и без горючего не победить врага. Силин стоял на посту добросовестно и все сохранил до первого дня войны, когда силинские цистерны в одну минуту взлетели на воздух, а после этого догорали еще сто двадцать часов и вся земля на много километров вокруг пропиталась огнем так, что шагу по ней не ступить было. Вся энергия из цистерн перелилась в огонь, а танки стояли с пустыми баками. Хорошо, что Силин во время взрыва был в караулке на расстоянии двух тысяч метров — его слегка подбросило к потолку, и он вместе с другими пробежал двадцать километров без остановки, пока за спиной вырастали черные столбы. Поскольку объект охраны у Силина сгорел дотла, то и оставшийся не у дел Силин был причислен к охране полевого штаба, повышен соответственно в звании до младшего сержанта и поставлен у сверхсекретного объекта № 3, назначение которого Иван Силин так и не смог разгадать до конца войны. Иван отвечал головой за сохранность и транспортировку объекта № 3 и в случае его гибели должен был погибнуть вместе с ним, но не отдать врагу. Впрочем, все обошлось. Объект № 3 охраняли доблестно. Грузили его в кузов, перевозили на место новой дислокации политотдела и снова охраняли, меняясь через каждые два часа. Так Силин дошел до Эльбы, и последний снаряд второй мировой войны угодил в объект номер три, а вернее того, в самого Силина, то есть снаряд летел прямым направлением на Ивана Силина, влетел в раскрытое окно господского дома на втором этаже, но до Силина не долетел, так как между снарядом и Силиным оказался объект № 3, и снаряд угодил прямо в его подошву, отчего раздался оглушительный взрыв, но потолок не обвалился, а охраняемый объект опрокинулся на Силина, чем и спас его от верной смерти, потому все 780 осколков прошуршали мимо и ни один из них не задел часового, попавшего в так называемую мертвую зону. Быть бы Силину придавленным охраняемым объектом, но он поднатужился и принял его на спину, а когда осколки пропели свою песню и дым рассеялся, своевременно отскочил в сторону, оставляя охраняемый объект на волю судьбы. Несгораемый шкаф, продолжая дымить от взрыва, еще качался некоторое время и лишь затем шлепнулся набок. При этом дверца шкафа сама собой раскрылась от взрывной волны. Дело происходило на расcвете дня победы, в политотделе никого не было и до смены караула оставалось сорок минут. Иван Силин осознал чудо своего спасения и перекрестился. После этого он с опаской заглянул в нутро несгораемого шкафа, но внутри объекта № 3 в буквальном смысле слова ничего не было, лишь кучи пустых коробочек и опорожненные бутылки. Силин догадался, что он всю войну охранял ордена и медали, и начал судорожно рыться в коробочках, но все оказались пустые. Однако же старания Силина не пропали даром, на самом дне он нашел коробочку с медалью «За боевые заслуги» и тут же сунул ее в карман.

И вовремя! Оказалось, что последний снаряд войны разбудил начальника политотдела, и тот поспешил в штаб. Осмотрев место разрушения, начальник похвалил Силина за верную службу и проявленную при этом доблесть.

— Служу Советскому Союзу,— отчеканил наш Иван.

— Вот, видишь, как мы с тобой угадали, сержант,— заключил начальник.— Войне конец и наград у нас больше не осталось.

Силин протянул руку. На ладони лежала медаль «За боевые заслуги».

— Вот. Одна,— сказал он.

Начальник взял медаль и приколол ее к силинской гимнастерке.

— Носи,— сказал он.

В наградном листе было записано, что сержант И. В. Силин, находясь на боевом посту, героически спас важнейший государственный объект во время бомбежки, отважно прикрыв его своим хилым телом, тогда как все случилось наоборот: охраняемый государственный объект спас от смерти Ивана Силина, что и удостоверялось медалью.

После демобилизации Иван Васильевич вернулся в Назаровскую слободу, сметенную до основания войной, построил землянку и был принят на работу в областной комитет партии, где стоял у дверей, проверяя удостоверения и пропуска входящих и выходящих. Первый секретарь Иван Иванович построил новое здание обкома, но Силин не впускал первого секретаря в здание, а предварительно требовал его удостоверение в раскрытом виде, после чего долго ковырялся в нем взглядом и лишь затем говорил:

— Можно следовать.

Иван Иванович, почитатель конспектов, не менее почитал бдительность и потому ставил Ивана Силина в пример.

Петр Петрович сначала обиделся, когда Силин потребовал с него пропуск и пробовал проникнуть в здание без предъявления красной книжицы, но Силин стоял на своем. Петр Петрович затаил зуб на Силина, но тут произошел случай, поставивший все на свои места. В Москве шла сессия Верховного Совета, и Силин внимательно следил за работой сессии, так как любил газеты и уважал их. Центральные газеты на первых полосах давали фотографии всего президиума, заседавшего в Москве, вместо лиц получались булавочные головки, но силинский глаз был натренирован на самых плохих копиях. Эти панорамные фотографии Силин всегда рассматривал с особой дотошностью — все ли на месте? А то вдруг кто-то из них заболел и не вышел на службу, я уже не говорю о самом товарище Самине. Так вот, раскрывает однажды утром Иван газету и видит, как на трибуне произносит речь Лавруша и тот же Лавруша, поблескивая пенсне, сидит на своем месте в третьем ряду слева, чуть ниже товарища Самина. Иван Васильевич заметил это чрезвычайное явление дома, будучи в отгуле, но тут же помчался в областной комитет и сделал заявление чрезвычайной важности: пока наш дорогой товарищ Лавруша произносит речь на трибуне, кто-то, неведомый, пробрался на его место, по всей видимости, агент империализма — с какой целью? Дело дошло до самого Петра Петровича, когда тот вечером прилетел из Москвы после сессии. Петр Петрович объявил Силину благодарность за проявленную бдительность, одновременно вызвав его к себе и дав разъяснение, что такие фотографии составляются из трех отдельных клише, так как весь президиум с одного раза в объектив не лезет и приходится складывать его по частям, а части могут быть отсняты в разное время, что, видимо, и случилось в данном эпизоде, но он, Петр Петрович, в этот день и час лично находился в Москве на сессии и может лично подтвердить, что наш дорогой товарищ Лавруша был там один, без двойников. Петр Петрович сообщил также, что лично займется этим делом, позвонит

в Москву, чтобы там разобрались и наказали виновника, потому что таковой, вне всякого сомнения, существует, и просил Силина не распространять полученную информацию. Ночью Силин увидел сон: будто бы он рвет ту газету на части и произносит вслух, но только во сне:

— И тут обман.

Петр Петрович с нетерпением ждал случая, чтобы как можно более ловко расправиться со своим сверхбдительным часовым, а то глядишь, он и до банкетного зала доберется. Со своей стороны Иван Силин всегда верил, что все случившееся с ним в жизни всего-навсего присказка, а главная жизнь впереди. Так оно и вышло. Петр Петрович выдвинул Силина на повышение, назначив его хранителем монумента, который возводился как раз в это время, лишь бы подальше от обкомовских сфер. Силин же был горд безмерно, получив такое доверие, и мечтал дожить при левой ноге до глубокой старости.

— Давай-давай! — сипел эфир, не утрачивая энтузиазма.

— Не помешал?

Бурич обернулся, услышав знакомый голос. У входа на террасу стоял Наумов.

38. Демонтаж поневоле. Олухи царя небесного

— Лев Поликарпович, у вас есть связь с «Красным металлистом»? — спросил Сергей Леонидович, сгорая от стыда по той причине, что ему приходится в такую минуту обращаться к Шкунаеву, но положение было отчаянным, если не сказать больше: поворотный круг уже вздрагивал под ногами, он начал вращаться и набирал скорость. Случилось то, чего он опасался — и с самой неожиданной стороны.

— Не пробовал, Сергей Леонидович,— с готовностью отозвался Шкунаев.— Но в принципе должна быть. Позывные записаны.

— Что-нибудь серьезное, Сергей Леонидович? — с участием спросил Бурич, не подозревая, хотя бы намеком, каким будет ответ.

Стоя между ними, Наумов бухнул:

— Они не хотят демонтироваться.

— Там же Черноус! — неискренно воскликнул Шкунаев.

— Была плохая слышимость. Потом и вовсе прекратилось. Я должен немедленно с ними соединиться.

— Пойдемте в оперативную комнату,— Лев Поликарпович распахнул перед Наумовым дверь.

Из комнаты для гостей веяло теплотой и изменой, слышались радостные голоса. Я воздвигну ее на Трех холмах, подумал я с тоской, она тут же бросит меня.

— Но где же ты? Мы заждались. Я тоже,— томно выкликала Лидия.

Бурич просунул голову в дверь и, прикрыв рот ладонью, громко прошептал:

— Демонтаж крепчал.

Дева-Воительница возникла в дверном проеме, прижимаясь к Буричу левым бедром.

— Я сгораю.

Бурич вороватo выискивал взглядом угол потемнее, но Лидия первой схватила его в охапку и поволокла в спальню.

Аркадий Бурич долго, почти год искал Лидию, шатался по танцевальным ансамблям, киностудиям, ездил по чужим мастерским, заказывал на стороне. Ему присылали каких-то худышек, бесформенных и хлипких. Бурич выбраковывал одну за другой. Наконец, Димка Захарчиков, главарь холуев, приехал с Лидией. Бурич глянул на нее и тут же мысленно молвил: «ах!» — ему показалось будто дева-Воительница сама сошла с пьедестала и своим ходом в мастерскую.

— Как тебя звать?

— Лидия Сомова,— а сама тайком разглядывала его: ну и образина, троглодит, махина, в нем же сто двадцать килограммов, не меньше того, и он будет меня мять и давить из своей глины.

— Ты знаешь, зачем нужна мне? — Бурич еще раз обошел вокруг Лидии, ощупывая взглядом ее формы. Как это природа создает таких: все открыто, все доступно и вместе с тем все тайна, каждая жилка, каждый извив. Все на месте — и ничего лишнего. Великая гармония линий. Сопряжение ста сорока двух извивов.

— Знаю,— отвечала Лидия.— Какой-то монумент. Я еще никогда не была монументом.— Интересно, сколько ему лет? Вряд ли он способен на многое, а может, вообще уже вышел в тираж и ничего не может. Учти, девочка, нет таких мужчин, которые ничего не могут, а есть бестактные женщины. Уроки Татьяны Рогожинской, бывшей фрейлины, не прошли даром, но, боже, как трудно быть с ними тактичными, это же адское терпение надо иметь.

— Раздевайся,— приказал он.

Она проворно зашуршала за ширмой тканями.

— Становись на пьедестал.

Должен сказать, впечатление было не хуже. А ноги! Какие прыгучие ноги. А грудь! Ничего себе. Интересно, на чем она держится? На боге? Или на молодости. Если мне удастся повторить такое чудо в бетоне, я стану бессмертным. Я буду мучиться, страдать, надрываться, мять глину, сечь камень, а природа взяла да вылепила. Причем совершенно бесплатно.

Обнаженная Лидия была еще более таинственной, нежели одетая. Она была такая таинственная, что хотелось снять с нее еще что-нибудь. А больше нечего!

— Рожала? — отрубил Бурич. Пусть привыкает. Пусть знает, кто здесь хозяин.— Учти, мне девка не нужна. Мне нужна дева-Воительница.

— Пока я мать-одиночка,— скромно отвечала она.

— Не беда. Это мы устроим. Хочешь, бери в отцы Димку. Сделай так,— Бурич показал позу, в которой будет стоять дева-Воительница.— Оплата на уровне мировых стандартов.

Стоя на табуретке, Лидия повторила позу. Так и буду стоять? Он совсем на меня не реагирует. Он великий художник.

— Тут срежем, там прибавим — и шагом марш в вечность. Руку в кулак. Сильнее! Ну? — Он уже привыкал к ее формам и вписывался в них. Бурич видел, что поза, в которой стоит Лидия, лучше той, которая виделась ему ночами. Аркадий Бурич был готов заземлить деву-Воительницу. Лидия возвышала ее.

— Нелегко. Я буду тренироваться с эспандером.

— Учти, со мной будет вдвойне нелегко. Я ведь одержимый.— Лидия молчала, он продолжал: — Хорошо, крошка, я согласен взять тебя. Ты меня возбуждаешь творчески.

Холуй Димка стоял подле, протягивая руку за подаянием.

И они приступили к деве-Воительнице. Бурич работал как дьявол. Он задумал нечто необыкновенное — героический Ансамбль, состоящий из нескольких монументов, слитых единой идеей. Работа кипела. К ее удивлению, он даже не пытался затащить ее в свою постель. Тогда она поняла, что должна проявить инициативу. Нет, уроки бывшей фрейлины Рогожинской все-таки пошли впрок. Лидия оказалась если не в постели, то на древнеримской тахте, но это для начала. Она была терпеливой и сговорчивой, не пыталась пролезть в фаворитки, завела приятельские отношения с Ольгой Владимировной, исполняя ее мелкие просьбы и поручения. Бурич тотчас оценил эту скромную тонкость и подарил Лидии золотые часы. Лидия чуть ли не совсем поселилась в доме. Ей так хочется быть монументом, говорила она Ольге Владимировне, хозяйке постели. Кем она была до сих пор? В лучшем случае колхозницей со снопом в руках. Она была пловчихой с веслом, партизанкой с вилами. И все это из жалкого гипса для каких-то заштатных санаториев и домов культуры. Вершина ее творческого достижения — фигура метростроевки с отбойным молотком, установленная где-то под землей, где мимо снуют озабоченные усталые люди, погрязшие в заботах, им плевать на искусство. Там Лидия была хоть из бронзы, но все равно, кому это нужно. Зато теперь она вознесется на десятки метров над Тремя холмами. Ольга Владимировна, сама искусство-

ведка и кандидатка, отечески слушала эти излияния и всячески протежировала Лидии, надеясь с ее помощью не допустить появления действительно опасной фаворитки. Вскоре Лидия сделалась в доме незаменимой. К тому же она знала толкования снов, а у Ольги Владимировны ни одна ночь не проходила без сновидений.

Так они сообща творили деву-Воительницу. Лидия вполне довольствовалась древнеримской тахтой и, казалось, вовсе не стремилась перебираться в спальню из сандалового дерева. Как женщина она оказалась на высоте. Она не раскрывалась сразу, воспламеняя Бурича постепенно. Он почувствовал, что влюбляется в нее совсем по-молодому — а что? Всего пятьдесят два, мы еще ого-го! Однажды Лидия исчезла на неделю, и Бурич убедил себя в том, что страдает, поставил на ноги пол-Москвы, но все равно не нашел. Она явилась сама.

— Где ты была? — с гневом спросил Бурич.

— Были неотложные дела.

— Какие у тебя могут быть дела, кроме нашего монумента?

— Ты хочешь, чтобы я сказала?

— И немедленно.

— Хорошо. Я делала аборт.

— Даже не посоветовавшись со мной. Мне кажется, что я тоже имел право голоса в этом вопросе.

— Вряд ли, мой дорогой. Это было бы перебором. Мне хватит того, что ты от меня рожаешь.

Вот какая она необыкновенная женщина, с ней я сгораю и воскресаю, сейчас я вдохну в нее душу, думал я, торопясь, я ее леплю и я ей влеплю, какая нежная кожа, я передам эту нежность в бетоне, только одна баба нам верна, наша мать, наша глина. Она не предаст, не обманет, она зовет и пробуждает, она нежна, остра и бесконечна, что же ты молчишь, говори, что тебе хорошо со мной.

— Тебе хорошо? А как хорошо?

Что я могу сказать, какой он тяжелый и неловкий, уже пошла одышка, ничего не скажу, ничего не осталось кроме тяжести, зато я стану монументом и буду стоять века, да, да, мне хорошо, это одышка страсти, боже, за что мне эти грехи, я же не глина, только я одна знаю, сколько во мне силы и страсти, но для этого мне нужен молодой и сильный, он разбудит глину, о мой дорогой, как бы хорошо, если бы это был ты.

— Эй ты, о чем гремишь?

И впрямь, шума было порядочно, а громче всех лязгали зубные протезы в медном тазу. Силинский нос уставился из-под кровати на Бурича.

— Пошел ты, знаешь куда...— вяло отругнулся Бурич, не пора ли подавать в отставку, мадам, я всегда утверждал, нельзя любить молча, а теперь добавлю, не считайте тахту за некоторую промежуточную инстанцию, в постель попадают сразу или никогда.

— Иван, прибери постель.

Аркадий Бурич деловито поспешил вслед за сюжетом, боясь явиться к шапочному разбору. Он не опоздал. В шкунаевском штабе бесшумно хозяйничал спаренный майор Тихов-Миров. Загадочно шелестела электроника.

Оказалось, что райком партии не имеет телефонной связи с «Красным металлистом». Перешли на эфир. «Красный металлист» тут же ответил.

— Спросите, где директор Черноус? — обратился Наумов к эфирному майору.

Ответ: на территории завода.

— Можно ли позвать его к аппарату?

Ответ: если постараться, все можно.

Тут Сергей Леонидович спохватился: это же эфир! Звук разлетится по территории. Это еще хуже, чем поворотный круг на виду всего зала. Нельзя ли все-таки не по эфиру?

Лев Шкунаев дал знак. Миров-Тихов предложил: давайте позовем парторга к микрофону и спросим у него, может ли он позвонить по телефону в город или отрезан от мира?

Так и сделали. Парторг ответил, что у него есть аппарат, но связь работает только до райкома партии.

Стыкуются звуки.

Вооружившись таким образом наиболее совершенными средствами связи, Сергей Леонидович Наумов сел на предложенный колченогий стул. До последней минуты он не терял надежды, что произошла нелепая ошибка, сейчас связь наладится, и ошибка тотчас разрешится. Если бы только удалось найти директора Черноуса...

Майор Тихов-Миров подал Наумову трубку.

— Барабан? — быстро спросил Наумов.

— Барабана нет,— еще быстрее ответил Лев Шкунаев, показывая жестами, что его техника не включена.

Лев Поликарпович знал: барабан есть. Магнитофон висел у Шкунаева под мышкой вместо пистолета, и миниатюрный микрофон был выведен наружу и вмонтирован в левый погон. Это была его маленькая слабость, Лев Поликарпович любил современную технику. Стоило почесать левое ухо, и магнитофон под мышкой включался автоматически. Возможно, был включен и второй магнитофон, вмонтированный в правый каблук майора Тихова-Мирова.

Но у Сергея Леонидовича уже не оставалось времени, он сделал вид, что поверил. Через полчаса предстоял очередной доклад в Москву о ходе работ, а секретарь обкома не имеет понятия, что случилось у него на заводе.

Значит, сделали так. Сергей Наумов говорил по телефону с дежурным по району, а тот говорил с заводом.

Наумов. Спросите у него, где Черноус?

Дежурный (в другой аппарат). Первый спрашивает, где сейчас ваш директор Черноус?

Парторг. Я сижу в его кабинете, а Черноус в цехах на территории, закрыл заводские ворота и никого туда не пускает.

Наумов. Он там один или нет?

— Он говорит, что не один. С ним дружина саминистов и два охотничьих ружья.

— Почему вы назвали их саминистами?

— Потому что они продолжают любить товарища Самина. Это отсталая и вредная позиция. Она исторически обречена.

— А конкретно?

— Это позиция ярого саминца. Он просит разрешить ему не демонтироваться.

— Хотелось бы знать, как смотрит на это заводская партийная организация?

— Товарищ первый, мы провели митинг, вывесили лозунги, составили графики демонтажа. Мы привезли газ для печей и полностью готовы к переплавке. Мы гордимся тем, что нам оказали такую высокую честь — переплавить останки товарища Самина и сделать из них детские игрушки. Наши коммунисты рвутся к окончательному демонтажу. Мы клеймим этих отщепенцев во главе с Черноусом, возглавившим антипартийную группу в наших рядах.

— Эй вы, охламоны,— отчетливо произнес голос в трубке.— Дорвались до микрофона, теперь вас не остановишь.

— Кто это говорит?

— Это Черноус. Я узнал его!

— Алло, Черноус, это Наумов, ответьте мне.

Но трубка молчала.

— Хорошо. Продолжим разговор. Сколько человек вас в парткоме?

— Сорок пять человек. Весь актив. Сейчас мы приняли резолюцию: будем прорываться на завод. Мы их самих переплавим.

— Ни в коем случае. Все должно быть мирно. Прежде всего надо попробовать договориться.

— Товарищ первый, вот мне говорят, что Черноус появился на нашем внутреннем аппарате.

— Спросите у него, чем он мотивирует свое поведение?

Бурич поймал себя на том, что слушает вполслуха. Оказывается, он думал о доме, но нет, только не самолет, я так устал, не желаю лететь по вашему лживому перенасыщенному эфиру, ваши лживые слова заполнили все диапазоны, они пронизывают нас ежеминутно, ежесекундно, проходят сквозь наши тела, сквозь души, мы их не слышим, не осязаем, но ведь не может вся эта ложь проходить сквозь нас бесследно, пролетело и вылетело, не оставив следа, неправда, след остается, мы сами не знаем, какой, оттого, верно, и сами начинаем лгать, это эфир заработал внутри меня, я так устал от лжи, хочу отдохнуть, лечь на диван, вытянуть ноги, да, пожалуйста, билет на пароход, каюта люкс, пожалуйста, на послезавтра, я поплыву, буду лежать в шезлонге и раскачиваться вместе с океаном, я оставлю вас за горизонтом с вашей ложью, терзающей этот безответный эфир, мы изолгались, свято веруя, будто воюем за правду, а теперь эту правду вон с пьедестала, не обманывай маму, Арик, скажи маме правду, зачем ты съел варенье, она еще спрашивает, зачем я его ел, оно же вкусное, и я твердил, что ничего не ел и не видел, а почему у тебя пальцы в варенье, я не знаю, мама, это ко мне случайно прилипло, я сейчас оближу и ничего не будет, а правда — как горизонт, я плыву к ней, а она с такой же скоростью отдаляется от меня, по-прежнему столь же далека и недосягаема, я скажу вам всю правду, наконец-то скажу, я устал от ваших рож, мелких дрязг, интриг, обманов, я обожрался вашим вареньем, вы мне отвратительны, не желаю вас слышать, лицезреть, дышать одним воздухом с вами, я выдохся, спасибо, как это мило с вашей стороны, какая точность, вы принесли билет на послезавтра и каюта люкс на верхней палубе, наконец-то, уплываю от вас, отваливаю.

Лев Шкунаев наклонился к Буричу, мягко нашептывая:

— Я еще летом давал ему материал на этого Черноуса. А он на меня дело шил.

— Ты мне надоел,— громко сказал Бурич и вышел из комнаты. Третий гудок, мы отваливаем.

Бурич шмыгнул на террасу.

— Так что же он говорит? — вопрошал Наумов в испорченный телефон.— Чем мотивирует?

— Черноус на проводе, товарищ первый, сейчас я у него спрошу, как вы просите. Он просит: не переименовывайте нас, это он просит, а не я, товарищ первый, не переименовывайте нас, оставьте все, как было при Нем, и пусть Его имя на вывеске останется, и пусть на директорском бланке останется, и пусть фигуры останутся, которые в цехах стояли и по всей территории, и пусть Его портреты в заводском музее будут висеть, как сейчас висят, нет, он Его не защищает, Он тиран и душегуб, Он повесил моего отца, сгноил моего брата, то есть его отца и его брата, не мешайте нам, мы разговариваем, дайте раз в жизни правду сказать, Он тиран, Он душегуб, но мы все равно Его любили и продолжаем любить, я саминец и горжусь этим, кто же виноват в том, что мы любим тирана и кровопийцу, разве мы выбираем, кого нам любить, кто нами овладел, того мы и любим, это он так говорит, товарищ первый, а не я, оппортунист несчастный, мы шли, говорит, за Ним в огонь и в воду, и пусть на нашей территории останется уголок Его имени, разве он виноват в том, что мы так любили Его, а мы оставим уголок нашего славного прошлого, товарищ первый, и вы будете показывать нас экскурсантам, вход бесплатный, мы не имеем права уничтожать Его до конца, потому что вместе с Ним уничтожим самих себя, наше прошлое, мы не имеем на это морального права и как коммунисты и как просто порядочные люди, это не я, это он, как же так, говорит, наши внуки не поверят нам, что было так: всюду висели Его портреты, все Ему поклонялись, заучивали Его слова, повторяли их вслух как молитву, мы не имеем права закапывать в землю нашу историю от наших внуков и правнуков, а так они придут на завод Его имени, посетят наш музей имени тирана и увидят, как все было на самом деле, они имеют право на то, чтобы увидеть, в каком мраке мы жили, всю Россию уже демонтировали, так пусть хоть один уголок останется, заповедный кусочек родной земли, носящий Его имя, входишь, и всюду видишь Его статуи, всюду Его портреты развешаны, а один, самый крупный, на кубике, а кубик подвешен к облаку на воздушном шаре, и кругом

Его слова на мраморе высечены, рука Его указующая, смотрите, внуки, как ваши деды-олухи жили, ведь было, было, от кого прячем, а если насчет продукции сомневаетесь, то заводу ущерба не будет, станем работать не хуже, а лучше, уверяю вас, Его имени не опозорим, как были олухами, так и останемся, сделайте нас, товарищ Наумов, пока не поздно заповедным музеем, а нам привезли какие-то жалкие ошметки из металла, зачем они нам, это же надругательство, это все не я, товарищ первый, это он, саминист несчастный, а я только повторяю, чтобы вы уяснили, в какое болото он попал, и ворота открывать не желает, сейчас мы на прорыв пойдем.

— Отставить! — вскричал Наумов, который слушал все это и холодел, потому что при налаженной связи все оказалось гораздо страшнее, чем было до того, когда связь не работала. Поворотный круг крутился, набирая ход, и было совершенно непонятно, как можно его задержать, остановить, и оттого в теле сгущалось чувство недоумения и полной беспомощности: куда я качусь? кто меня тащит? зачем? На дворе ночь — и поворотный круг закружился по всему городу, а я на главной городской площади Его имени, и, словно голый, круг вращается, и я плыву через весь город, вот уже прокручивается сквер, ветви тополей стегают по лицу, как пыльный бархат занавеса, и поворотный круг выбрасывает меня в темноту густых зловонных запахов, я уже на городской свалке, остановите поворотный круг, остановите! Как хорошо, когда идет нормальная работа с нормальными сбоями. Снабженцы подвели, газа для печей не доставили вовремя — это мы мигом. Пусть даже печь взорвалась — и тут найдем выход, устроим очередной аврал. Поломки, утечки, нехватка — Наумов для того и существовал, чтобы приводить действительность в технологическое равновесие. Но на «Красном металлисте» все было в порядке. Ничего не сломалось — и ничего не работало.

Вот что бывает, когда душа плавится.

— Что же нам делать, товарищ первый? Прорываться?

— Еще раз: никакого применения силы. Спросите Черноуса: неужели он не понимает, что обком партии никогда не примет такого решения? Ведь есть решения съезда, и они обязательны для всех коммунистов.

— Конечно, говорит, мы на обком партии не надеемся. Но мы дадим телеграммы.

— Куда же?

— Одну в Москву, прямо на имя Никиты Сергеевича. А другую в ООН.

— Хорошо, пусть они составляют телеграммы, вы их не трогайте. Я еду к вам. Только не говорите Черноусу, что я еду. Как-нибудь затяните время. Через сорок минут буду у вас.

Решительно повернулся к Льву Шкунаеву:

— Не допустите отправки телеграмм. Вы меня понимаете?

На пороге комнаты появился взволнованный Федоровский.

— Товарищ первый секретарь,— начал он, не обращая внимания на то, что Наумов продолжает держать трубку в руках.— Демонтаж остановлен,— заключил он.

— Что такое теперь у вас? — с озлоблением спросил Наумов.

— У меня нет машин. Некуда грузить металл.

— Как это нет машин? — гневался Наумов.— Кто рассчитывал потребность?

— Первая колонна ушла,— невозмутимо продолжал Глеб Романович, не понимая причину секретарского гнева.— За ней ушла вторая колонна, еще двенадцать машин. Потребность в машинах была рассчитана правильно. Но они же не возвращаются. Мне передали по рации: самосвалы стоят у ворот «Красного металлиста» и их там по неизвестной причине не желают принимать, мы безнадежно отстаем от графика, осталось всего три самосвала.

— Хорошо, я разберусь,— Наумов пружинисто поднялся со стула.— У вас есть транспорт, генерал?

Лев Поликарпович сделал нетерпеливый шаг к Наумову:

— Сергей Леонидович, разрешите мне. Три минуты, и они будут приведены в чувство.

— Я спрашиваю вас о транспорте, генерал,— холодно отрезал Наумов.

— Имею шесть грузовиков, товарищ первый секретарь, но они бортовые. Бронетранспортеров четыре.

— Значит, на разгрузку и возвращение наших машин нельзя рассчитывать? — удивился Федоровский.

— Машины будут. Обещаю вам. Берите пока военные грузовики и бронетранспортеры, продолжайте погрузку, нагоните график,— Наумов говорил отрывисто и беспрекословно, минутная слабость прошла, он снова был готов к борьбе. Демонтаж идет сверху под руководством партии, он должен быть управляемым. Только сверху. Демонтаж снизу перестает быть управляемым. Демонтаж снизу — это бунт.

Интересно, чья это работа? Черноус сам придумал или с чьей-либо помощью? Сергей Леонидович впервые за последние месяцы с любопытством посмотрел на генерала Льва Шкунаева. Но тот стоял невозмутимо и крепко, майоры по бокам. Несокрушимая сила, особенно когда надо интриговать и устраивать дворцовые перевороты.

— Кстати, генерал,— бросил Сергей Наумов уже как бы на ходу.— Какой вид десанта вы предпочитаете, вертолетный или танковый?

— Никак нет, товарищ первый секретарь,— отчеканил Лев Поликарпович.— В ночных условиях советую группу лазутчиков из пяти молодчиков с дымовыми шашками.

— Командос? Ни в коем случае. Надеетесь свалить меня, чтобы уцелеть самому? — с любопытством спросил Наумов, пристально глядя на Шкунаева.

— Ах, Сергей Леонидович,— мягко вздохнул Лев Шкунаев.— Я хочу мира и спокойствия. Завтра придет вызов, и я уезжаю по переводу из ваших краев.

— А серая папочка с розовыми тесемками? Не забывайте: партия у нас одна.

— Я считаю, что и этого много. Двух партий нам не прокормить. Партия у нас одна, это верно, зато секретари разные. Где-нибудь найдется более гостеприимное местечко и для Льва Шкунаева.

— Я еду на «Красный металлист»,— объявил Наумов, делая шаг в сторону двери.— Но поскольку я вам не верю, генерал, то не приказываю, а прошу. Постарайтесь сделать так, чтобы на «Красном металлисте» не предпринималось никаких чрезвычайных действий, пока я буду в дороге.

— Сергей Леонидович, клянусь вам,— Шкунаев для верности руку к сердцу приложил,— тут я чист перед вами. Но все будет в ажуре, я прослежу.

— За меня старшим на Главной площадке остается...— Наумов посмотрел на Глеба Федоровского, но тут же повернулся к Шкунаеву:

— Остаетесь на площадке старшим, генерал. И чтоб никакой утечки информации. Перекрыть все каналы! — добавил Наумов.— Я буду там. Я их словом разоружу.

— Выводи бронетранспортеры на погрузку,— грохнул Лев Шкунаев, для которого перекрывание каналов было самым любимым занятием на свете.

Сергей Наумов твердым шагом вышел из комнаты, пройдя мимо Глеба Федоровского без угрызения совести.

39. Величайший среди величайших. Я уйду через колено

Аркадий Бурич лежал в шезлонге и мягко перекачивался на волнах океана. Он смутно слышал, как мимо него шагом командора проследовал Сергей Наумов, откуда-то сбоку возник семенящий шажок Корешкова, хлопнули дверцы, прошуршали по гравию колеса, машина ускользнула сквозь грани площадки в темноту ночи. Буричу было лень открывать глаза, он отдыхал душой, плывя на мраморной скамье по лазоревому океану.

Площадка гудела, фыркала, подрагивала. Демонтажный гул становился привычным, более того, незаменимым.

Вдалеке слышались голоса. Сейчас они припрутся опять, начнут задавать свои дурацкие вопросы, чтобы напустить словесного тумана, прикрыться фиговым листком никчемных звуков, которыми уже ничто нельзя прикрыть.

Я бросил вас, презренные слова! Но как мне отдохнуть безгласно? Смежаются веки, слабеют члены. Увы, разве могут они промолчать? Труба трубит подъем.

Бурич услышал резкий рокот подъехавшего бронетранспортера, резво вскочил. И вовремя. Чеканя шаг, от бронетранспортера шагал Сергей Наумов в форме генерала экспедиционных войск.

Подошел, отдал честь, пожирая Бурича взглядом и помыслами.

— Товарищ Бурич-второй, разрешите доложить. На монтажной площадке все готово.

И впрямь: бравые монтажники с транспарантами в руках двигались в отдалении мимо Мавзолея, на трибуне которого в простой солдатской шинели стоял величайший Вождь и Учитель, устало поднявший руку над текущей толпой. На транспарантах были начертаны лозунги:

ВПЕРЕД К МОНТАЖУ!
В МОНТАЖЕ НАША СИЛА!

— Все готово? — на всякий случай переспросил Бурич.

— Так точно, товарищ Бурич-второй. Идем с опережением графика на четыре века.

— Тогда приказываю начать. От графика не отставать.

С телефоном в руках подбежал Глеб Федоровский. Бурич взял трубку и скомандовал. Что тут началось! По всей границе стали подниматься статуи, бюсты, слова, портреты, ограждая всю нашу ширь от внешнего мира. Статуи вставали частоколом, закрывая чужие народы. Пыхтели плавильные печи, в поте лица трудились каменотесы, кипели красильные котлы.

Подскочила Вера Троицкая, раскрасневшаяся, соблазнительная, мечтающая о великой любви и достойная ее.

— Что я говорила! Этой минуты ждали все прогрессивные люди земли. Начинается эксгумация и реанимация.

Валя Корешков бежит с микрофоном, Москва в эфире.

Запрашивают:

— Товарищ Бурич-второй, какой материал вы предпочитаете для фигуры?

— Доложите, что у нас имеется на государственных складах.

— Гипс.

— Слишком хрупок.

— Медь.

— Низка температура плавления. Может быть переплавлена.

— Мрамор.

— Где вы найдете такой большой кусок, чтобы в нем могла поместиться моя мечта?!

— Что же вы предлагаете, товарищ Бурич-второй?

— Материковый грунт. Мы высечем его фигуру на материке. Я задумал. Я творчески горю. Дайте мне гору, и я переверну мир. Мы возьмем гору Народную, и я превращу ее в Него. Таким образом мы застрахуем себя от всяческих случайностей, тут уж не переплавишь, в землю не закопаешь. Это будет фигура, доложу вам, 68Г, шестьдесят восемь Гулливеров. Человек-Гора. И это будет навсегда. Его с Луны будет видно невооруженным глазом.

— Товарищ Бурич-второй! Прекрасная идея. Партия ценит таких художников. Но как мы успеем? Ведь мы к утру обязаны закончить весь монтаж, а то они могут проснуться и передумать.

— Нет проблемы. Десять тысяч километров колючей проволоки, и с горой Народной будет покончено. Мы ее перелицуем.

Вперед на скалу, ребята! Сделаем к утру, всем выйдет амнистия, потому что Он день и ночь о нас думает. Он один за всех нас думает и всех нас освободил от мысли. Руби скалу киркой, кроши кувалдой, рви ее толом. Представьте мне потребность в динамите и колбасе.

Грызи ее, ребята.

Где Лев? Подать мне Льва!

— Докладывает маршал Шкунаев. Высадились вертолетным десантом на вершину Человека-Горы. Для монтажа не хватает колючей проволоки.

— Сто мотков вам хватит, маршал?

— Двести.
— Опять приписками занимаешься? Помни, маршал, колючая проволока у нас не резиновая. Срочно забрасывай ее на вершину.
— Есть, товарищ Бурич-второй.
— Где Наумов?
— Пишет речь, которую он завтра произнесет на открытии горы-монумента. Обложился старыми газетами добрых славных лет и строчит.
— Глеб Федоровский, ко мне!
— Слушаю вас, гражданин начальник.
— Кто скалу будет мерить? Пушкин? Представить через два часа график монтажа.
— Слушаюсь, гражданин начальник, будет исполнено.
— Что теперь со мною станет?
— А-а, Силин. Здорово, Иван. Назначаешься хранителем скалы-монумента Человека-Горы. И мы тебя в честь данного радостного события переименуем. Отныне ты будешь для всех товарищ Скалин. Служи, Иван. Для начала можешь почистить мне ботинки, а то не успели начать монтажа, грязь пошла, откуда только берется?
— Спасибо тебе. По гроб не забуду.
— Где Лидия?
— Я здесь.
— Я тебя не вижу.
— Оглянись назад. Я на Трех холмах. Тут хорошо и привольно. Правда, зимой злые снега.
— Слезай с холмов. Ты же слышала: объявлен всеобщий добровольный монтаж. На Трех холмах вместо девы-Воительницы отныне встанет наш Освободитель.
— А я? Ты меня демонтируешь? Чем я тебе не угодила?
— Освободи пьедестал.
— Хорошо, дорогой. Но я потребую компенсацию.
— Телятников Егор.
— Туточки я, мой Бурич-второй.
— Что ты возишься? Приступай. Работаешь на трех процентах. Ну же!
— Настраиваю гитару.
— Зачем?
— Чтобы петь.
— Сейчас не до песен. Петь будем после завершения. Бери кайло — и вкалывай.

Из горы Народной уже нос вылезает. Глеб Федоровский с деревянным метром носится по склонам, меряет, погоняет. Прискакал с очередным докладом. Надо, говорит, рассчитать систему подогрева, чтобы лицо снегом не заметало. А то хорошая русская метель, и наш Освободитель исчезнет. Строим рядом тепловую электростанцию для подогрева на миллион киловатт. Добавить еще двести мотков колючей проволоки, но чтобы к утру все было готово.

Левое ухо из горы вылезло. Чутко слушает.

На Бурича-второго, то есть на меня, золотые звезды с неба сыпятся. Золотые и валютные. Не хочу ни Лидки, ни Верки. Подать сюда Корсикеллу!

— Товарищи пассажиры, дамы и господа, наш пароход после благополучного перехода через океан прибывает в город великих контрастов. Просим вас не толпиться на одном борту, а то мы опрокинемся. Справа по курсу вы видите вздымающуюся фигуру Отца и Учителя, вы видите, она вздымается, вздымается, вздымается все выше.
— Не трогайте меня, я еще не приплыл. Не мешайте мне плыть.
— Аркадий Евгеньевич, умоляю. Здесь сыро, вы простудитесь. Опять накрапывает.
— Я? — Бурич вскочил и сплюнул через левое плечо.— Я непромокаемый, я непробиваемый, но отнюдь не чурбанный. К вашим услугам, мадам.

Перед трансконтинентальным шезлонгом, в котором только что возлежал Бурич, стояли феи: Вера Троицкая и Тамара Гавриловна с красным крестом на рукаве.

— Аркадий Евгеньевич,— торжественным голосом начала Вера Троицкая, глядя на Бурича с обожанием.— Демонтаж подходит к счастливому концу, мы уже никогда не увидим больше этой вашей прекрасной работы. Мы с Тамарой Гавриловной пришли к вам на экскурсию. Покажите нам свое прекрасное творение, Аркадий Евгеньевич, хоть оно и лежит повергнутым на земле. Мы обе к вам припадаем.

Тамара Гавриловна загадочно улыбалась и облизывала языком влажные губы. Бурич-второй начал возгораться, но еще с недостаточной степенью надежности. Он достал флягу и пустил ее по кругу, приговаривая:

— Прекрасная идея. Но к ней надо основательно подготовиться. Пропустим по рюмашке. Вот я вижу на террасе Льва Поликарповича с еще одной воздушной феей. Пригласим также наших московских гостей, по маленькой, по маленькой.

В самом деле, на террасе Лев Шкунаев вел серьезный разговор на темы весьма лирические. Перед Львом Поликарповичем стояла Катя с воздушными ямочками на щеках и коленках. Зная о влюбчивости Льва Поликарповича, нетрудно было определить тему разговора.

— Надеюсь, мы с тобой договоримся, Катенька. Мы тут навели справки, анкета у тебя прекрасная, послужной список в полном порядке.
— Я старалась, Лев Поликарпович,— отвечала Катя, поигрывая воздушными коленками.
— Умница, Катя. Смотрю на тебя и завидую. Нет на свете ничего прекраснее молодости.
— Что вы, Лев Поликарпович, не вам об этом говорить. Вы прекрасно выглядите.
— Куда уж нам. Машина есть, дача есть, адъютант есть, а вот годы тю-тю, то есть годы тоже есть, но их стало явно много.
— Где у вас дача, Лев Поликарпович?
— Поедем, Катя. Непременно. Хоть послезавтра. С тобой хоть на край света. Все, что имею, брошу к твоим ногам, а от тебя не потребую ничего, кроме самой малости.
— Лев Поликарпович, если я смогу.
— Сможешь, Катя, уверяю тебя. А мне от тебя всего одну маленькую штучку.
— Какую?
— Да что ты, до сих пор не поняла? Мне от тебя один экземплярчик — и баста.
— Экземплярчик? А что это такое, Лев Поликарпович? Разве бывает два экземплярчика?
— Катя, ты прелесть, я просто жду не дождусь, когда мы с тобой унесемся в голубые дали. Объясняю научно. Ты работаешь у Леонида Сергеевича, стенографируешь все его слова и мнения, высказывания, мысли. Потом ты все это расшифровываешь, подойди ко мне ближе, нас никто не слышит? Расшифровываешь мысли Сергея Леонидовича, перепечатываешь их на машинке, но закладываешь не один экземпляр, как по инструкции, а два — и затем второй экземпляр мне на стол.
— И это все? — удивилась Катя.— Ничего больше?
— Остальное все, что ты сама пожелаешь.
— Прошу вас,— Катя стояла с протянутой рукой.
— Что это? — недоумевал Лев Поликарпович.
— Копия комплексной продовольственной программы, я уже заложила лишний экземплярчик, вот возьмите.
— Какая умница.— Лев Поликарпович с восхищением смотрел на Катю.

Распахнулась дверь. На террасу выбежала Лидия, за ней Стригунчик, Егор Телятников.

— Хочу видеть и знать! — восклицала Лидия.— Вот он. Хочу войти внутрь этого храма. Оставьте меня с ним наедине. Нет, пойдемте туда все. Веди нас.— Дева-Воительница кружилась на аллее, приближаясь к Буричу и хватая его за руку.
— Круг! Шире круг! — закричал Стригунчик, раскидывая руки и загла-

тывая ближайших женщин, это оказались Катя и Тамара Гавриловна.— Как на папины именины испекли мы каравай...

Аркадий Бурич схватил Лидию и Веру Троицкую. С другой стороны в кольцо подключились Егор Телятников и Лев Шкунаев. Они кружились в хороводе, приближаясь к левой ноге.

— За мной, канальи,— Бурич разрубил руки между собой и Лидией. Из хоровода получилась цепочка, и Бурич повлек ее за собой, выискивая место, где можно нырнуть в Старика.

Вырезанное в боку отверстие как раз подходило для этой цели. Они исчезли в нем с хохотом и визгом. Одна за другой восемь голов ныряли в поясницу. Их окружила темнота. Было тихо. С балок свисала паутина, щекоча лицо. Бурич включил фонарик. Тонкий лучик света вонзился в густой застойный воздух.

— Внимание,— трубил Бурич, пробираясь между балками.— Я покажу вам Его таким, каким никто не видел. Только не размыкайте рук, иначе здесь можно потеряться. Мы прибыли в левое бедро. Вы чувствуете левое бедро соседа? Прижмитесь друг к другу бедрами, крепче, вот так! Теперь чувствуете? Я тоже чувствую. Теперь разомкнитесь. Начинаем движение по левой ноге, здесь была лестница, сейчас она приняла горизонтальное положение, так сказать возлегла в ожидании, чтобы подняться. Это лестница любви, но мы не будем торопиться.

Кто-то взвизгнул, зацепившись ногой за балку, но Бурич влек их дальше в темноту ляжки. Луч фонарика перескакивал с балки на балку, обнажая причудливые сплетения.

— Как тут хорошо.

— Вхожу в аорту. Она горячит мою кровь.

— Я так взволнована.

— Итак, друзья, мы прибыли в глубины колена. Ощущаем дрожь, мы должны проникнуться этой небывалой минутой, какая бывает раз в жизни. Мы здесь одни. Никто не видит нас и не слышит. Прижмемся коленками. Одна к другой. Твоя к моей и наоборот. Крепче. Еще крепче! Женщины, разве вы не знаете, как это делается?

Из утробы гулко прорвался голос:

— Налетай, ребята!

Фонарик потух. Тьма кромешная излилась в колено. В левом колене начинало штормить и загребать.

— Ах, ах,— всхлипывала она, задыхаясь и завывая.

— Хо, хо! — отвечала левая нога, задрожав в коленках.

Стукались, сопели коленные чашечки. Фигуры барахтались среди балок, смутные колебались тени, спеша нахлебаться темноты и грязи.

Левая нога шаталась от страсти, и никто не знает, что могло бы из этого получиться.

Трах! Сверху просыпались снопы искр, отвалился кусок медной обшивки, пропуская внутрь рассеянный свет прожектора.

— Эй, кто там есть? — спросил голос сверху.— А то ошпарю, коли жопа голая.

— Внимание, товарищи экскурсанты, мы присутствуем при историческом моменте. Только что на ваших глазах была вскрыта коленная чашечка, чтобы утешить острый приступ подагры, разыгравшейся на наших глазах. Как известно, от подагры страдали все великие люди.

— Так это ты? — удивился сверху монтажник Влас Королев.— А я и думаю: кто это внутри левой ноги скребется. Всю ногу мне расшатали.

— Ба! Кого я вижу,— воскликнул Бурич, подтягивая штаны.— Вскрытие коленной чашечки произвел знатный монтажник Влас.

— Так ты меня признал, товарищ Бурич? — обрадованно спросил Влас сверху.

— Монтажник Влас, что ты можешь сказать о демонтаже?

— А что? Я отвечу. Мне терять нечего. Ты, Евгеньич, на монтаже по ангару шел утром вдоль левой ноги и пятидесятирублевки раздавал мастерам. Вот это был монтаж. А ноне и колбасы не стало. Как хошь, так и демонтируй.

— Держи, Влас. За верную службу,— и руку в дырку протянул.

— Слушайте, слушайте. Это голос народа,— призывал Стригунчик.

Влас наклонился, принимая дар.

— Ах, начальничек. Раньше полсотни на руку клал. А тут всего десятка — и та сирота.

— Побойся бога, Влас. Я же новыми дал.

— Скажу, Евгеньич. Пусть царь придет новый, лишь бы деньги были старые.

— Заработал, Влас. Держи еще.

— Вот это по-нашенски. Так мы кого хошь демонтируем,— Влас поплевал на руки и взялся за инструмент.— А то ведь как у нас. Начальники приходят и уходят, а народу достается.

— Что же ты еще желаешь, Влас?

— Какое желание наше, спрашиваешь? — Влас почесал затылок.— Так вот оно. Что нам подскажут, то мы и желаем.

— Пардон, мадам, у вас почему-то левый чулочек сполз, но я ничего не видел,— Матвей Румер свесился сверху из дыры, наставив вниз зрачок объектива.— Картина, достойная Ватто. Как жаль, что у меня отказала вспышка.

— Внимание! — ближайший столб включился в работу.— Просим всех покинуть ногу ввиду ее передвижки на разделку. Прораб Дзюба, проверьте строповку левой ноги.

— Где тут выход? — спросил Бурич.

— Бери правее, в ширинку. Другого пути нету.

— Взялись за руки, друзья,— скомандовал Бурич.— Вперед к ширинке!

Левая нога вздрогнула и вдруг пустилась в пляс, притоптывая и топоча.

40. Фуражка набекрень. Прощальное слово

Лев Поликарпович Шкунаев отдал приказ собраться всем у фуражки и теперь с нетерпением поджидал народ. Фуражка была подготовлена для погрузки на бронетранспортер. Околыш ее был вровень с генеральской головой.

Женщины приближались к фуражке, прихорашиваясь на ходу, во втором эшелоне следовали Стригунчик и Телятников. Бурич опаздывал. Но вот и он показался, одергивая на ходу пальто, и встал против Шкунаева по другую сторону околыша. Теперь они стояли сосредоточенно и молча, как стоят в почетном карауле руководящие товарищи.

Женский шепот восторженно порхал вокруг Аркадия Евгеньевича.

— Это было восхитительно, я никогда не забуду.

— Милый, теперь мой черед. Моя карета всегда в твоем распоряжении, ты можешь на меня положиться.

Лев Поликарпович беззвучно похлопал в ладоши, сводя и разводя лайковые перчатки, перепачканные в запястье губной помадой.

— Говорят, в левой ноге от этого дела появилась трещина. Слышал я, мы потеряли туфельку, но зато нашли кое-что другое. Однако предупреждаю. На мое имя уже поступило анонимное заявление о надругательстве над телом покойного. Так что в следующий раз прошу принимать меры предосторожности.

— Я завязал,— скромно признался Бурич.

Бронетранспортер наползал задом по аллее, приближаясь к козырьку фуражки. С затылка надвигался автокран. Лев Шкунаев делал рукой знаки, расставляя декорации. На террасе показался Силин.

Бурич сделал шаг вперед, приподняв руку.

— Дорогие друзья, сегодня мы провожаем в последний путь эту фуражку, размер пятьдесят шесть, которая принадлежала тому, кого уже нет. Здесь собрались исключительно близкие родственники, не так ли?

— Совершенно справедливо,— заметил Бурич.— Поэтому попрошу наших дам подготовиться к прощанию.

Вера Васильевна Троицкая спустила со шляпы вуалетку. Тамара Гаври-

ловна завернулась в черный плащ. Лидии кто-то кинул палантин из чернобурок. Катя отстегнула булавки, подол платья опал до земли, превратив воздушный шарик в матрону.

Женщины вышли вперед и встали перед фуражкой.

От реки пронзительно дуло. Ветер бил в лицо и совсем не сушил слез, только трясло от этого ветра, такой он был сырой и пронзительный. От вязкой музыки закладывало уши. Лидия четвертый день не могла добраться до дома и все это время оставалась в гостинице, где жили французы, с которыми она тогда работала, проходя практику. У нее был значок переводчицы, охрана ее не трогала. Они были тут в зоне — и отрезаны от мира. Никто не мог попасть домой, включая персонал гостиницы, жизнь протекала в коридорах. Телефоны еще работали. Из города доходили слухи, один страшнее другого. На улицах новая Ходынка. На Садовом кольце пожарные колодцы набиты мертвыми телами, главным образом детскими, потому что детей затаптывали в первую очередь.

Лифтерша сидела в лифте, нажимая кнопки, и содрогалась от рыданий. Лидия пыталась утешить ее.

— Ничего, это пройдет, прошу вас.

— Вы думаете, я по нему плачу? Как бы не так. У меня внука вчера раздавило в толпе.

Зато на Главной площади царил парадный порядок. На трибуне, расставляя гостей, распоряжался Лев Шкунаев. Снизу послышалась музыка, тяжелая и липкая. Лошади в черных прозрачных попонах цокали по булыжнику, а впереди цугом шагали маршалы, у каждого в руках алая подушечка с орденом. Гроб стоял на пушечном лафете, на конце гроба был круглый сверкающий шар, такой прозрачный и сверкающий, что на него невозможно было смотреть без слез, а тяжелая музыка продолжалась, наплывала, засасывала, что там говорили, не помню, я дрожала от ветра и старалась не плакать, а ветер дул и дул, проникая сюда без пропуска. Его сняли с лафета и понесли к мавзолею по узкому проходу среди разлива венков и вдруг все это кончилось самым непонятным образом, Он исчез, Его никуда не опустили, не погрузили, не стали закидывать землей, как это делают со всеми. Он просто исчез. Шар сверкал, сверкая и вдруг угас, словно его отключили, а пушки бахали, бахали и умолкли, все кончено, можно идти домой, зона снята, и усталые солдаты с помертвевшими лицами едут в грузовиках по казармам, а седой маршал все стоит, и трясущаяся рука приложена к фуражке.

Аркадий Бурич посмотрел на Лидию:

— Тебе так идет этот палантин. Придется тебе его оставить.

— Спасибо, дорогой, но это не от тебя. Ты так щедр.

— Ригги, твоя очередь,— шепнул Бурич, склоняясь к другу.

Стригунчик встрепенулся:

— Прости, но я еще не готов. И пусть выключат автокран.

— Эй, на автокране. Выключите тарахтелку.

Небо над лесом быстро темнело и тогда из этого темного покрывала повалил ярый снег, в один миг залепивший стекла кабины. Мы сидели в теплой кабине, пережидая снег, мотор работал, «додж» слегка подрагивал, а снег валил и валил. Тут заработала артиллерия, то ли они по нам, то ли мы по ним, поехали, сказал бравый капитан Апасов, ползем под снегом на ощупь, пока не наехали на Ганса, раз, два, Ганс в кузове, оказалось, мы сбились с дороги и стоим в лесу среди разбитых блиндажей, где еще вчера шли бои и кругом свежие фрицы, мой сопровождающий Апасов хвать второго, в офицерской шинели, это будет Фриц, зачем тебе, спрашиваю, а он подмигивает, это ваши личные немцы, товарищ подполковник, они же совсем свежие, пригодятся, выбрались на дорогу и обратно в штаб, Ганс и Фриц с нами, я не жалел, что поехал, так и войны не увижу, а тут сам командующий звонит, приезжай, принимаю на полное обеспечение, как отказаться от приглашения маршала, отпросился из Москвы на три месяца в творческую командировку, как приехали, мне сразу подполковника дали, за Ганса и Фрица орден, за голову маршала — второй. Ганса и Фрица всю зиму возили в «додже» на плащпалатке, зачем каждый раз искать убитых.

— Ригги, народ ждет,— мягко, но настойчиво повторил Бурич, покончив с воспоминанием.

— Одна минута, я должен сосредоточиться,— Стригунчик пристально вглядывался в фуражку.

— Траурный митинг объявляю открытым,— начал Бурич.— От имени общественности слово имеет Игнатий Савельевич Коровин, заместитель министра.

Стригунчик выступил вперед, повернулся лицом к фуражке и начал сосредоточенно собирать лицо в мрачные несгибаемые складки.

— Подайте стулья для самых близких родственников,— потребовал он.— Им полагается сидеть.

Аркадий Бурич сделал знак. Четыре монтажника, руководимые Егором Телятниковым, мигом поднесли мраморную скамью, Бурич и Силин уселись рядом. На некотором отдалении от них присела Вера Троицкая.

Стригунчик долго смотрел на фуражку, отхлебнул из фляги, сделал шаг в сторону. Он замер словно подрубленный. Лицо его наливалось скорбью, глаза излучали душевную муку, с кончиков пальцев стекали капли мрака, расплываясь жирными черными пятнами на песке. Он начал говорить глухим голосом, из задних рядов нам приходилось тянуться, но постепенно голос его окреп и набрал звонкости. Стригунчик уже никого не видел, никого не слышал. Он изливался не гортанью, но телом, нет, не телом, но душою, это был всхлип души, это был стон души. Его слушали не перебивая. В середине речи кто-то, кажется Матвей Румер, поставил перед Стригунчиком микрофон, но Стригунчик этого не заметил, зато голос его возвысился, достигая до самых окраин монтажно-демонтажной площадки, а то и выходя за ее пределы, обозначенные колючей проволокой.

— Братья и сестры,— говорил Стригунчик, начиная с шепота, и автор ни на минуту не забывает о том, что эта речь произносится героем сугубо положительным.— Сегодня мы провожаем в последний путь на вечную переплавку величественные останки того, кто сделал свое имя бессмертным в веках. Его можно было любить, Его можно было ненавидеть, но к Нему нельзя было оставаться равнодушным, поэтому он навсегда останется с нами. У нас сегодня с вами сугубо семейная церемония, речь моя нисколько не официальная, я заранее отказываюсь от всего того, что скажу, ибо не имею под рукой утвержденного текста. Тот, кто не слеп, тот видит, как Он велик и могуч, всю ночь Его увозят и никак не увезут. Тот, кто не слеп, тот видит, что уйдя от нас, Он оставил нас сиротами и каликами перехожими, которые теперь начнут шарахаться во все стороны. Тот, кто не слеп, тот видит, что мы теперь потеряны и разобщены как никогда...

К Стригунчику подскочил Лев Шкунаев, что-то шепча ему на ухо, но Стригунчик не остановил речь, не перебился хотя бы секундной паузой, правда, чуть изменилась тональность, выводя слова на более точную орбиту.

— Тот, кто не слеп, тот видит, что наши ряды становятся все теснее, отныне мы едины как никогда: нашу скорбь мы перельем в силу. Вот здесь на скамье для родственников сидит тот, кто произвел Его на свет и тот, кто охранял Его как зеницу ока, чистил Его перед праздниками и после них, мы сегодня лично убедились, какой образцовый порядок царил там внутри, особенно уши содержались в полном порядке, вот почему мы скорбим, мы должны пережить горечь утраты, чтобы и дальше творить для народа, как творил Он. Да, да, я не оговорился, Он прежде всего был творцом. Он творил произвол, и мы этого не отрицаем, за это и отправили в переплавку. Но вместе с тем Он был нашим выразителем, Он знал наши думы и желания лучше нас самих, за что мы слагали о Нем поэмы, симфонии, оратории, ставили монументы и киноэпопеи. Я открыто скажу свое мнение, которое целиком и полностью совпадает с мнением центральной прессы: не все эти произведения были на достаточной глубине и высоте, я понимаю этих художников. Он был тайной. Никто не может похвастаться тем, что был Его другом. Он и сегодня сотворил с нами величайшую загадку. Где Его голова? я вас спрашиваю. Но мы еще услышим о ней. В борьбе с фашизмом он создал нашу силу и порядок. Он создал саминизм. Он отдал за нашу победу двадцать миллионов жизней. Но

мы победили — и восславили Его. Он построил тысячи заводов и фабрик, Он перепахал нашу деревню и заплатил еще десятки миллионов жизней, за что мы теперь осуждаем Его и низвергаем с пьедестала. Но вы мне скажете, мои дорогие родственники: отдал двадцать миллионов за победу, и это очень правильно, это просто прекрасно, потому что победа была историческая и всемирная. Но Он же отдал другие двадцать миллионов в пекло террора, это очень плохо и неправильно, это ужасно, это отвратительно и неинтеллигентно, потому что террор был небывалый и тотальный. Но так не бывает, дорогие родственники. Двадцать миллионов за победу — честь Ему и хвала. Еще двадцать миллионов в лагерях — и это тоже не зря. Он отправил миллионы людей в лагеря и тем самым спас нас от свободы, от прогнившей демократии Запада. Он отдал эти миллионы за порядок, честь Ему и хвала. Лишь Он один понимал, что свобода развратит Россию и погубит ее. В этом и есть уникальность нашего русского духа, наша великая историческая миссия перед миром. Мы идем и будем идти по этому великому саминскому пути, но только без товарища Самина. Наша ночь историческая, но она не навсегда. (Бурные, продолжительные аплодисменты, смех, оживление.) Да, да, товарищи! И без него мы пойдем еще быстрее, потому что учтем великий опыт саминизма и возьмем от него все самое лучшее.

— Прошу оратора соблюдать регламент,— мягко напомнил Лев Шкунаев.— Осталось полминуты.

— Что? — переспросил Стригунчик, внутренне встрепенувшись, в этот момент мой герой был не только положительным, но и прекрасным.— Я не вышел из регламента?

— Продлить, продлить.

— Да, товарищи, это был период массовых репрессий, мы не забудем. Разве нам, которые оставались на свободе, было легче? Ведь Он каждый год снижал цены, в том числе и цену на человеческую жизнь. Мы жили в вечном страхе перед ним, раз-два, и ты слетел, тебя пошлют песок кушать, вот каково нам было на свободе. Мы все трепетали от любви к Нему, ибо это был страх безответной любви. Да, это был сложный период, знаете, как в кино бывает — период затемнения. Но сколько было светлого, солнечного в этот темный период. Мы летали дальше всех, мы пели громче всех. Увы, там были люди за колючей проволокой, они хлебали баланду. Но у меня имеются свидетели, они подтвердят: Москва, 1937 год. Если бы вы только знали, друзья. Как вкусно кормили в тот проклятый год в «Метрополе». И это тоже Он! Недавно в вычислительном центре нашего министерства была завершена огромная работа, имеющая небывалую научную ценность. Мы подсчитали — двадцать миллионов жертв, если каждому по одной пуле, а в каждой пуле, как известно, 9,8 грамма, то это получится 196 тонн пуль, этот медный тиран весит точно столько же, а это значит, что весь он слеплен из пуль, которыми были уничтожены Его жертвы.

Шкунаев подошел к оратору четким шагом, шептал долго, внушительно:

— Совершенно справедливо, дорогие родственники,— продолжал Стригунчик, ибо сшибить его со строки было невозможно.— Меня тут поправляют, ибо наш уважаемый генерал — крупнейший специалист в данной области. Совершенно верно, не все они были убиты пулями, есть и другие способы умерщвления, мы знаем, но ведь порой приходится выпустить весь барабан, чтобы убить одну безвинную жертву. Так что я продолжаю настаивать на первоначальном тезисе — Он сложен из двадцати миллионов пуль. Что делать, дорогие родственники. Таков был мрачный период необоснованных массовых репрессий, массовый период необоснованного упоения властью, которую мы же сами вручили в Его мудрые руки, жаждущие крови, да, да, массовый период административного упоения, которое сковало наши души страхом, что же теперь говорить, это был исторически необходимый период массового восторга перед Его властью и Им самим. Мы восторгались, мы славили Его как лучшего диктатора России за все ее времена, и Он ее спаситель, Он один думал и решал за всех нас, и Он один ответил за все. Теперь мы справились с отрицательными последствиями культа личности и нам уже сейчас необходимо задуматься о положительных последствиях. Поэтому прежде всего в эту Небывалую ночь, уничтожая Его медное изваяние, слепленное из пуль, мы должны прежде всего позаботиться о том, чтобы сохранить Его память и немедленно создать комиссию по Его литературному наследству, чтобы сберечь каждый созданный Им образ из всех миллионов уничтоженных.

Лев Поликарпович снова подскочил к Стригунчику, умело нашептывая в ухо, чтобы в микрофон не проникало ни одного чуждого звука.

Стригунчик гибко приподнял руку и продолжал, не меняя интонации:

— Простите, я увлекся, мое горе так велико, что сам не ведаю, что творю, ослеп от горя, литературная комиссия была вчера, когда мы провожали в последний путь нашего незабвенного стилиста Редькина, но я продолжаю, я должен закончить то, что хотел сказать о памяти. Мы должны перечеркнуть все, что Он говорил и писал. Мы должны изъять Его из обращения. Мы сотрем Его имя, начертанное кровью в наших душах, мы сделаем это, несмотря ни на что, сегодня мы хороним не только Его, мы хороним саминизм, ибо так хочет наша мудрая партия и лично Никита Сергеевич. Прощай же, Старик, мы забудем тебя навечно. Ты больше не останешься в наших сердцах, ибо сам сделал нас бессердечными, мы отстираем твои слова на кумаче и напишем новые лозунги, достойные нового исторического момента. Я правильно говорю, товарищ генерал? Пусть наши слова дойдут до Его сердца и умрут там. Мы не сохранили тебя, прости!

— Кто еще желает высказаться? Нет желающих? В таком случае разрешите на этом нашу церемонию считать завершенной.

— Нет! — вскричала Вера Троицкая, подбегая к фуражке.— Разрешите мне. Я скажу. Я должна. Не могу молчать. Я его любила. Мы вместе с моим коллегой Силиным любили Его и буквально враждовали из-за этой любви. Оратор в своей исторической речи назвал нас близкими родственниками. Возможно. Товарищ Силин хранил тело, я хранила слова. И нынче ночью я их сожгла, как жгут женщины старые любовные письма, вы знаете. Я разлюбила Его потому, что так требует наша партия, и еще потому, что сегодня ночью я полюбила другого, я ни за что не скажу кого, но хочу, чтобы вы знали, он меня слышит, и он поймет,— Вера Васильевна замолчала, ища кого-то глазами, но Бурич в этот момент нагнулся и полез под скамейку, доставая оттуда авоську с ноготком.— Я верю в любовь. Пусть эта светлая ночь никогда не кончается.

Бурич подошел к Стригунчику и первым пожал его руку:

— Спасибо, друг. Твоя речь произвела фурор.

Стригунчика трясло. Со лба струился пот.

— Что с тобой, Ригги? — участливо склонился Бурич.

— Он меня высосал, Рикки,— шептал в трансе Стригунчик.— Ты просто не можешь представить, какая в нем колоссальная энергия.

— Успокойся, дорогой,— Бурич любовно обтирал лицо Стригунчика носовым платком.

Лев Шкунаев важно оповестил:

— Митинг на этом закончен.

— Вы кончите, когда скажу я! — Егор Телятников вскочил на мраморную скамью.— Вы погрязли в словах. Вы придумали такие слова, которые ничего не значат. Кого вы обманываете? Только меня одного. Но отныне я вам не верю. Вы не можете понять другого. История — это всегда больно. Вы не можете понять другого. Эпоха завершилась. Я сказал все и покидаю вас. Остановите Землю, хочу сойти.

Бурич подергал рычагами бронетранспортера.

— Она не останавливается. Прыгай на ходу!

Егор Егорович отважно, словно в пропасть, прыгнул со скамейки, полетел через траншею, прорытую погоном, и приземлился на другом краю. Ботинок его повернулся, но он устоял на ногах, а вслед за этим поднял руки горизонтально и начал кружиться. Он что-то кричал, но его не было слышно, потому что он быстро отдалялся, кружась все сильнее и перебирая от нетерпения ногами.

— Что с ним?

— Он погибает. Спасите его.

Женщины подбежали к краю борозды, протягивая Телятникову руки. Он уходил вращаясь, как уходит планета. Все же Вере Васильевне удалось дотянуться, Телятников шмякнулся к ее ногам.

— Уф! — Только и сказал он.— Никогда не думал, что это будет так захватывающе.

Женщины окружили его, трогая и оглаживая. Стригунчик передал над головой флягу, Егор Егорович сделал пять бульков и окончательно пришел в себя.

Фляга возвратилась к Стригунчику, навстречу ей плыла гитара. Над Главной площадкой поплыл гитарный перебор, вплетенный в рокот моторов.

И вот теперь попал я в слабосилку,
Все потому, что ты не шлешь посылку.
Я не прошу посылки пожирней,
Прошу: пришли мне черных сухарей.

Сходи к соседу нашему Егорке,
Он мне по воле должен семь рублей.
На три рубля ты закупи махорки,
А на четыре черных сухарей.

А на дворе хорошая погода.
Осталось мне сидеть четыре года.
И потому пришли мне поскорей
Четыре фунта черных сухарей.

— Слушай мою команду! — зычно пропел Лев Шкунаев в такт завершающему аккорду.— Отправить фуражку в последний путь. Майна!

Шкунаев и Бурич застыли у околыша, отдавая честь фуражке, проплывающей между ними и мягко накрывающей бронетранспортер. Фуражка села набекрень. Процессия медленно тронулась вперед, во главе шагал Егор Телятников, державший гитару, как держат хоругвь. За Егором семенили возбужденные женщины.

Стригунчик приостановился, поджидая Бурича, и взял его за локоть.

— Как тебе, Арик? Я, кажется, неплохо сказал? А главное, идейно выдержано, да? — Стригунчик просяще заглядывал Буричу в глаза.

— Ты был великолепен,— отвечал Бурич.— Я смотрел в твои глаза, они горели!

Стригунчик вдруг замер, ухватившись рукой за горло. Мне даже почудилось, будто он вскрикнул.

— Ригги, что с тобой? — встревожился Бурич.

Ответа не последовало. Горло Стригунчика забулькало, зашлось в спазмах. Он издал нелепый звук, после чего голос окончательно треснул, рассыпавшись корявыми брызгами по гаревой дорожке.

Стригунчик невразумительно мычал. Бурич обнял его.

— Молчи. Ни звука. Ты просто сорвал голос. Еще бы — такая речь. Она войдет в историю. Это не речь, а великое надгробие. Это некрополь! Ты меня слышишь?

Он молча кивнул и тут же согнулся в три погибели, обхватив руками живот.

— Не волнуйся. Это пройдет. Ты нужен родине. Такой голос пропасть не имеет права. У тебя что — позывы? — спросил Бурич, видя, что Стригунчик пытается зажать рот ладонью, а щеки раздувались, как детский мяч.— Не бойся. Облегчись. Нас никто не видит.

Стригунчик припал на колени и даже сунул два пальца в рот, помогая себе. Но что это? Из Стригунчика не исторгалось ничего материального — только звук. Да и звуком ли было это? Это была не речь, а колдобина, скрип ржавой телеги, наждак по стеклу. Это было оскорбление звука, надругательство над ним.

Словесная блевотина — вот какая напасть случилась со Стригунчиком. Кажется, и Бурич понял это. А поняв, решительно вставил носовой платок — звуковую пробку в рот Стригунчика. Ржавая телега проскрипела последний раз и затихла.

Подбежала Лидия:

— Милый, ты простудишься. Возьми мой шарф.

Она нежно ворковала, укутывая его горло руками и голосом. Его подняли с колен, повели к дому, так как бронетранспортер с фуражкой все это время продолжал движение по аллее. Было слышно, как внутри Стригунчика клокотали и взрывались непотребные звуки.

— Смотрите, смотрите! Что это?

За фуражкой торжественно шествовал Матвей Румер, держа над головой фанерный транспарант. И что же там было написано, как вы думали?

?

Это означало лишь одно: Матвей Румер сделал свой выбор и его вопрос был обращен непосредственно к действительности.

— Внимание! — приказал генерал Шкунаев, делая упор на знаке восклицания.— Стой!

Знак вопроса остановился.

— Это что — демонстрация? О чем вы вопрошаете?

Матвей Румер молчал, упрямо поджав губы.

— Товарищ генерал, это процессия в защиту мира,— Терентий Дзюба встал перед Румером, пытаясь прикрыть транспарант своим телом.

— Хорошо, товарищ Румер,— молвил Лев Поликарпович.— Мы разберемся с вашим вопросом. А пока он останется у нас в качестве вещественного доказательства. Сдайте.

Майор Миров подскочил к Румеру, забирая плакат и живо складывая его в крокодиловый портфель.

Румер молчал, надув рот.

В этот момент, лязгнув фуражкой, бронетранспортер затормозил снова, так как навстречу выкатил бортовой грузовик со странной трубой в кузове, испускающей сизый дым, стлавшийся слоями над площадкой.

Завидев процессию, остановился и грузовик. Мы столкнулись.

Голос с ближнего столба сказал с укоризной:

— Товарищи монтажники, ваш перерыв явно затянулся. Прошу вас приступить к работе. Мы отстаем от графика уже на двадцать две минуты.

Посреди аллеи стоял Глеб Федоровский, зажав в руках штырь с микрофоном.

Шкунаев щелкнул пальцами. В его руке тотчас оказался переносной репродуктор с глазастым раструбом, который он направил на Федоровского.

— Хотел бы знать, товарищ Федоровский,— говорил Лев Поликарпович в крохотную защелку, меньше спичечного коробка, а голос его гулко вздымался к вершинам тополей,— куда вы будете грузить металл? Ведь отправленные вами машины до сих пор не вернулись.

— Мы будем резать металл и складировать его,— отвечал в микрофон Федоровский.

— Двойная работа, товарищ главный инженер.

— Разве никакая работа лучше, товарищ генерал?

Монтажники выглядывали из своих нор, спускались с медной туши, собираясь вдоль аллеи между Федоровским и Шкунаевым и слушая их радиодиспут, разносившийся по площадке.

— Я отдал вам последнюю боевую машину, товарищ Федоровский. У меня остались одни танки. Поэтому у меня к вам деловое предложение.

— Деловое? — язвительно отозвался Глеб Федоровский.— Хотелось бы услышать.

— Я предлагаю объявить обеденный перерыв.

— У нас непрерывка, товарищ генерал. Демонтаж не смеет прерываться. Обеденный же перерыв по скользящему графику.

— Монтажники устали. Они вкалывали всю ночь. Им надо отдохнуть,— вкрадчиво говорил Лев Поликарпович, заигрывая с народом.

— Наши руки сделаны из стали,— хором тянули монтажники.— Мы устали, мы устали.

— Вот! Слышите глас народа,— не менее язвительно продолжал Лев Поликарпович.— Хорошо бы сейчас закусить. Что вы скажете насчет колбасы, ребята?

— Колбаса, колбаса, вот какие чудеса,— хором отвечала монтажная братия.

Бортовой грузовик тем временем успел разминуться с фуражкой, и стало видно, что в кузове стоит походная солдатская кухня, извергающая дымы и искры. Бронетранспортер с фуражкой взревел мотором и покатил по маршруту номер один. Грузовик же, вздрагивая корпусом, остановился перед генералом. Повар в колпаке отдал честь. Ароматные дуновения простерлись над медной тушей.

Голос на столбе издал боевой клич:

— Налетай, ребята!

41. Утро стрелецкой казни. Ради мира на земле

...3 час. 50 мин.— Погружена еще более верхняя часть объекта (фуражка). Отъезд последнего бронетранспортера БТ-61, приданного Гидрострою. Отставание от графика — прежнее.

4 час. 05 мин.— Прибытие походной армейской кухни с мясными изделиями. Объявлен временно отмененный обеденный перерыв. Отставание от графика составляет 45 минут.

4 час. 40 мин.— От отправленных колонн, не возвратившихся из-за неразгруза, нет никаких известий...

Глеб Романович отодвинул вахтенный журнал и задумался: что будет дальше? Сумеет он простить Вику или не сумеет? Если не сумеет, значит, Вика права, он был и остается сухарем. А если ее простить, не значит ли это отречься от самого себя? Если машины через час не придут, график демонтажа будет сорван. Утром надо докладывать в Москву о завершении работ. График все время выдерживался минута в минуту, если не считать некоторых незначительных отклонений вроде проколотых баллонов или внепланового письма от Вики. Потом что-то случилось на «Красном металлисте». Ощущение такое, будто кто-то нарочно вставляет палки в колеса. Но кому это нужно?

Дверь вагончика с шумом распахнулась.

— Прими, Глеб, иначе не влезу.

Румер стоял внизу, протягивая две бумажные тарелки с дымящимися сосисками. Федоровский принял подношение, а Румер добавочно выложил две банки консервов с лососем, хлеб, коржики.

— Термос у меня есть,— сказал Федоровский.— Еще не остыл.

— А это что? — Румер вытащил из кожана бутылку.— Кое-что погорячее. Они хотели конфисковать Румера, как бы не так. Румер сам кого хочешь конфискует.

— Что это? — удивился Глеб Романович, разглядывая темную бутылку с пробкой из газетной бумаги.

— Монтажный самогон,— Румер засмеялся.— Давай, Глеб, за нас с тобой. Ты бобыль, я бобыль. Выпьем за то, чтобы ты перестал быть бобылем.

— Ты сыплешь соль на мои раны,— вяло протестовал Глеб Романович, до того и сам не ожидавший, что жжение от просыпанной на рану соли может быть столь желанным.— К тому же я на работе. Разве самую малость.

— Знаешь, Глеб, за это не посадят. Во всяком случае сегодня, а также в течение двух ближайших недель, пока ты будешь писать для них отчет. Обещаю. Теперь не те времена, как любит говорить этот лощеный генерал. Меня на мякине не проведешь. Он засветил мою пленку, а две кассеты все равно захованы. Он конфисковал мой магнитофон, а я все равно взял в очереди за сосисками пять интервью, правда, устных. Он на меня кричит: знаем мы вас, хочешь эфир поменять? А я ему так спокойненько вмазал: лучше мы вас поменяем, товарищ генерал. Когда мы спасемся, Глеб? Он достал эти жалкие сосиски, а его уже превозносят до небес. Сказать тебе, что это такое? Это атавизм культа. Это метастазы культа, так будет точнее. Что такое русский интеллигент? Если ты не возражаешь, я тебе отвечу. Были незаконно репрессированы двадцать миллионов. И вот русский интеллигент сидит на нарах в бараке и орет благим матом: «Это возмутительно! Я не потерплю. Вопиющая несправедливость! Почему до сих пор в бараке нет занавесок на окнах». Так говорит Матвей Румер, которого они пытались конфисковать.

Румер по опыту знал, что от такого глобального набалтывания на родную действительность аппетит возрастает в геометрической пропорции, но и времени зря не терял, ловко орудуя ножом и вилкой, нарезал хлеб, раскупорил консервные банки, сполоснул посуду. Наконец, они наполнили стаканы.

— За демонтаж! — торжественно провозгласил Матвей Румер.

— Чувствуешь себя героем? — спросил Глеб Федоровский, поднимая стакан.

Румер усмехнулся:

— Увы, Глеб, я не герой. Когда меня немножечко схватили в левой ноге, мне стало чуточку не по себе. Я никогда не был героем. Но я тебе отвечу: я и не раб. С этой ночи я перестаю быть рабом.

— Интересно, что же такого случилось в эту ночь? Почему именно теперь ты понял, что ты не раб?

— А случилось то, что мы их не испугались. Страх-то, фью, испарился,— Румер помахал рукой вслед испаряющемуся страху.

— Действительно, страх был движущей силой общества,— задумчиво говорил Федоровский.— Страх это форма существования раба. Теперь мы поняли, что на страхе далеко не уедешь, раб невыгоден прежде всего экономически. Ты перестал быть рабом, но это еще не все. Нас всегда учили, что свобода — понятие относительное.

— Вот-вот, опять начинается словесный блуд. А что, если есть просто свобода, которая в тебе самом? Повторим для расширения кругозора.

— Спасибо. Я больше не буду.

— Хорошо, я один. За тебя, Глеб. Но только при том условии, если ты сейчас же ответишь мне: в чем назначение человека на земле?

— Созидать, естественно.

— Сам придумал?

— Еще не до конца. Мне четыре года до пенсии. Уйду на покой и стану размышлять.

— О назначении человека?

— Хочу написать книгу о конструкциях. Вернее, о запасе прочности в конструкциях.

— Завидую тебе, Глеб. Почему я не пошел в технари? У меня имеется теория, согласно которой технократы лгут меньше, чем гуманитарии. Ты связан с техникой...

— Мне тоже приходится врать, несмотря на то, что я технократ — и именно по техническим причинам.

— Но для тебя это исключение, уверяю тебя. А для меня правило. Вот и ломаю голову: почему я стал конформистом? Когда?

— Вы были им всю жизнь,— дверца распахнулась, и Егор Телятников легко впрыгнул в вагончик.— Да, Матвей Львович, именно так. Зато я перестал им быть ровно три минуты назад.

— У вас огромный стаж,— заметил Глеб Федоровский.

— Который растет с каждой минутой,— подхватил Румер.

— Простите,— вежливо поинтересовался Телятников.— Может, я не вовремя? У вас серьезный разговор на вечные темы.

— Милости просим,— Федоровский подвинулся на скамеечке, давая место Телятникову.— Вечные темы от нас не уйдут.

— В таком случае примите мою долю.— Телятников извлек на свет две высокие пестрые банки.

— Что это?

— Те же сосиски, но из закрытого буфета, Матвей Львович, я вас поздравляю, вы с ними разделались как надо.

— За это вам полагается штрафная. Я ценю ваш талант, Егор Егорович, слежу за вашими работами. Может, вам дадут и построить что-нибудь, но теперь вы крепко повязаны с Буричем.

— Которому я только что заявил, что он бездарь. И, кроме того, мелкий жулик. Он хотел украсть медную голову, но у него ничего не вышло, потому что я не согласился. Он предложил новую сделку, заявив, что монумент «Воронка» слишком мрачен и его можно спасти одним способом, переделав монумент победы в памятник жертвам культа личности.

— А что? Это идея,— восхитился Румер.— Памятник жертвам это не менее почетно. Тут нужны чистые руки.

Телятников скривил рот:

— Ха! Вы бы только послушали его. Я, говорит, не вижу на Главной площади места для памятника жертвам культа личности. И вообще в нашей славной столице не вижу места...

— Где же он предлагает? — заинтересованно спросил Федоровский.

— Лучше всего, говорит, на Колыме. Там он будет смотреться. Поэтому с ними покончено. И вообще. Я меняю профессию.

— Будете тренироваться сходить с земной орбиты? — Румер засмеялся.

— Это было дикое ощущение,— серьезно произнес Телятников.— Я отлетаю от вас, а вы кружитесь, словно на карусели. Я вам кричу, а вы не слышите. Я понял: с орбиты сходить нельзя. Как хорошо дома. Нет, все, что хотите: голод, холод, колючая проволока, лишь бы на своей планете. И я решил: зачем менять планету? Куда умнее поменять самого себя.

— Странное решение,— удивился Глеб Федоровский.— Как раз на той неделе я собирался вам сделать заказ на скульптурное оформление нашей плотины. У нас ведь был предварительный разговор на эту тему, помните?

— Все в прошлом, Глеб Романович. Я устал жить в болоте. Иногда мне кажется, что я состою из одних замыслов, то есть из сплошной эфемерности. Где конечный результат? Между мной и моим зрителем непроходимое болото, в котором со всеми удобствами расположились редакторы, цензоры, выставочные комитеты, закупочные комиссии, заказчики и наблюдатели за заказчиком, стройбанк и еще сто двадцать две болотные лягушки, которые все время квакают, квакают: не так, не туда...

— Вот это дал! — удивился Румер.— Куда же ты теперь?

— Бросаю глину, бросаю камень, бросаю болото и становлюсь бардом. Сам слагаю слова, музыку, сам пою. И люди меня слушают. Разрыв между замыслом и исполнением сведен на нет, он регламентируется лишь скоростью распространения звука. Бросаю все, иду по шпалам. Буду ходить по населенным пунктам и петь песни для моих соотечественников.

— Одобряю, Егор,— пылко воскликнул Румер.— Но в таком случае тебе необходим микрофон. Я посмотрю, у меня где-то валялся запасной. Я тебе дам.

— Зачем мне микрофон? — испуганно удивился Телятников.

— Ты же сказал: пойдешь по шпалам, вернее, поедешь на рейсовом автобусе, который курсирует между населенными пунктами. Я так представляю: ты будешь петь в колхозных клубах или в заводских дворцах культуры. Можно непосредственно связаться с областной филармонией.

— Матвей, что ты городишь? Разве ты не понимаешь, что областная филармония — это все равно что Бурич? Так я тебе заявляю: я от Бурича ушел, а от областной филармонии подавно уйду. Я буду просто петь.

— Но так просто петь нельзя. Для кого ты собираешься петь, Егор?

— Хочу петь для моих сограждан. Я пою, они слушают. Что может быть проще?

— Но твои сограждане не могут слушать тебя просто так, Егор.

— Как же они могут меня слушать?

— Они обязаны слушать тебя по билету, купленному в кассе, а билет должен быть зарегистрирован в финансовом управлении.

— Разве без билета никак нельзя, Матвей?

— Ты можешь без билета. Тогда тебе нужно Лито́.

— Лито́? То ли это или не то?

— Ты что — прикидываешься? — насторожился Румер.

— Я? Никогда. У нас не наЛито́!

— Так какого черта они не отбирают у тебя гитару, как отобрали у меня аппарат и магнитофон? А-а! Ты уже спелся с ними!

— Матвей, побойся бога, это же простые песенки.

— Понятно. Значит, ты согласен стать у них шутом? Больше вопросов не имею.

— Друзья, прошу вас успокоиться. Вечные вопросы не решаются с помощью крика и взаимных обвинений.

— Вот именно. Я для себя пою.

— А зачем ты поешь для себя?

— Чтобы освободиться.

— Что за народ! Великий народ! Все хотят освободиться. Но при этом боятся признаться в собственном конформизме даже самим себе. Вот! Ответь! Когда ты стал конформистом?

Вопрос, вроде, простой, да закорючка замыкающего знака препинания больно впивается в ухо и дерет аж до самого нутра. Когда же все-таки я стал конформистом, когда, когда, в котором году, в котором часу, в каком веке, наконец, или это было вечером, когда я шел по длинному коридору, кажется, ковров тогда еще не было, ковры появились позже, вместе с размахом наших планов, шагаю по доскам, дошагал до конца коридора, шеф уже ждет, нервничает, срочно в номер, что это, на какой полосе, спрашиваю, вторая полоса, завтрашний доклад Сидора Сидоровича на областной партийной конференции, так он же еще не произнес его, не волнуйтесь, товарищ Румер, доклад будет зачитан слово в слово, я вам обещаю, на вашу долю только вычитать, чтобы не было мух и мышек, пошел обратно по коридору, речь как речь, Сидор Сидорович завтра в десять утра толкает отчетную речугу, мы печатаем ее сегодня, но газета помечена завтрашним числом и тогда все встает на свои места, доклад произносится одновременно с его печатанием, после доклада объявляется долгожданный перерыв, делегаты конференции шумно вываливаются из зала в фойе, а мы задыхаемся, мы спешим, изображая опоздавших, слава богу, не опоздали, вносим в фойе свежие пачки газет и раздаем делегатам, вот вам, три минуты назад ушами слышали, теперь можете глазами видеть, фурор, возгласы браво, вот какие оперативные у нас газетчики, шеф получает очередной орден, мне премия, две сотни в зубы, все шито-крыто, цирковой номер, решено и подписано, днем доклад на всю вторую полосу, сдал в набор, поздно вечером приходит верстка, и тут меня осенило, а где аплодисменты, ведь доклад произнесен в зале на людях, и слушатели обязаны реагировать, они же у нас сознательные, скорей бегом к шефу, аплодисментов нет, подайте мне аплодисменты, браво, восклицает шеф, котелок у тебя варит, а сам снимает трубку нашей областной вертушки, Сидор Сидорович, добрый вечер, под вашим чутким руководством приняли решение опубликовать ваш завтрашний мудрый доклад, не отказывайтесь, Сидор Сидорович, у нас наборщики, корректоры просто зачитались, не могли оторваться, прибыл набор, не желаете ли посмотреть, Сидор Сидорович, спасибо вам за ценное указание, давно в нашей области не было такого мудрого руководителя, лет двести, а то и все триста, спасибо вам, можете положиться, будет сделано и снова ко мне, слышал, что Сидор Сидорович говорил, он доверил аплодисменты расставить мне, говорит, это несложная задача, а я тебе доверяю, иди ставь, но при этом учти, тут требуется индивидуальный подход, нюанс необходим, какие аплодисменты бывают, а ну повторяй за мной, есть просто аплодисменты, есть продолжительные аплодисменты, бурные аплодисменты, наконец, те же бурные аплодисменты, но переходящие в овации, это уже под самый конец, когда он лозунги в массы понесет, я все это секу и от себя добавляю, еще бывает оживление в зале, вот, вот, я же говорю, ты у нас голова, далеко пойдешь, один раз поставь оживление, иди трудись, лечу по коридору все на месте, шеф утверждает, утром выходит газета, Сидор Сидорович толкает свой доклад, я сижу в зале, слушаю и слежу по тексту, все сошлось тютелька в тютельку, в нужном месте аплодируют, в нужном молчат, поднесли в перерыве свежий номер Сидору Сидоровичу, а там один чин из Центра, сам в пенсне, молодцы, говорит, оперативно

работаете, непременно распространим ваш ценный почин, ну, думаю, стану теперь путешествовать, опыт по стране распространять, а вечером в газету пришло письмо от читателя, как же так, в газете есть оживление в зале, а на самом деле оживления в зале не было, прошу вашего разъяснения, шеф кричит, ногами топает, это ты нарочно оживление в зале придумал, Сидор Сидорович рвет и мечет, создали комиссию для расследования, было оживление в зале или не было оживления, а конференция-то областная, перевыборная, я сам сидел в зале и видел, как круг тронулся с места и поплыл вместе с президиумом слева направо, против часовой стрелки, они ехали и никто не сопротивлялся, все думали, что так и надо, коль электромонтер включил круг, значит, была такая команда, в зале сначала тоже отнеслись вполне серьезно, а потом кто-то из президиума пискнул, братцы, да куда же это мы, и уже оборотная сторона показалась с банкетным столом, бутылочки, рюмочки, поросята и вся сопутствующая снедь, оказалось, что это были муляжи для декорации к «Мещанской свадьбе», наше реалистическое искусство, как всегда, на высоте, муляжи смотрелись вкуснее натурального продукта, как увидели тот свадебный стол, тогда и поняли, что совершается нечто сверх программы, покатился смешок по залу, еще смелее, а вы говорите, не было оживления в зале, было, да еще какое, это уже не оживление в зале, больше того, не бурный смех, тут необходима иная ремарка, раскрывающая истинную реакцию зрительного зала, бурные нескончаемые взвизги, переходящие в гомерический хохот, вот как бы я записал в отчете, если бы мне дали волю, Сидор Сидорович убежал вниз и укатил в машине, больше мы его ни разу не видели, на выборах первым прошел Сергей Леонидович, им, конечно, не до меня стало, все же шеф от меня не отстает, откуда ты оживление в зале взял, признавайся, как откуда, отвечаю, переписал из прошлогоднего номера газеты, я же винтик, нет, это мне польстили, я не винтик, для меня это слишком много, я заусенец от винтика, мне говорят, что следует говорить, и тогда я говорю дальше, но шеф мой парень не промах, не поленился полезть в подшивку, а там оживления в зале почему-то не оказалось, значит, я занимался отсебятиной, а поворотный круг, на котором укатил Сидор Сидорович, имел большой резонанс, наш гомерический хохот докатился до Москвы, там заинтересовались, кто же все это устроил, ибо не может поворотный круг сам по себе приходить в движение, вызывают меня, пиши объяснительную, разберемся, что ты за тип и достоин ли работать в наших славных органах печати, а я-то мечтал двести рублей премии отхватить на новые штаны, как бы не так.

— Ты кто?

— Я Румер. Я Рупор. А ты кто?

Ну скажи, скажи. В котором часу ты стал конформистом? На фронте, когда ты знал, что приказ бездарен, а все равно шел исполнить его? Или в школе, когда подсказал Элле неправильный ответ за то, что она не обращала на тебя внимания. Или в детском саду, когда рассказал, что спички украл Мишка, хотя они лежали в твоем кармане? Или это было еще раньше, еще до того, как пришли в движение стрелки часов. Невидимая эстафета времени, я получаю ее палочку в момент рождения, чтобы нести ее дальше к внукам и правнукам, и тогда появится на свет еще один Румер-Рупор, способный говорить лишь то, что ему скажут.

— Мы не только конформисты, мы еще и самоеды,— неистовствовал Телятников.— Помнишь, в Третьяковке картина висит «Утро стрелецкой казни». В наших лагерях и саминских застенках за двадцать лет, если начинать счет от тридцать третьего года, погибло больше десяти миллионов человек. Петр же казнил тогда на Красной площади полторы тысячи стрельцов. И стало навеки у нас утро стрелецкой казни. А сейчас? Утро стрелецкой казни было на Руси вчера, и сегодня будет на Руси утро стрелецкой казни, и завтра будет на Руси утро стрелецкой казни, и послезавтра будет на Руси утро стрелецкой казни и так двадцать лет подряд, без воскресений и праздников, без выходных для палачей, изо дня в день все двадцать лет, по двадцать четыре часа в сутки, вчера, сегодня, завтра, вчера, сегодня, завтра, утро стрелецкой казни, утро стрелецкой казни, утро, еще одно утро, вечное утро стрелецкой казни, но и тогда набежит лишь десять с небольшим миллионов жертв. А мы делаем вид,

будто ничего не знаем. Нам приказали забыть. А ведь придется, все равно придется назвать каждое имя!

— Ты кто? Я тот, который без Лито.

Телефонный звонок прозвенел грозно.

— Глеб Романович,— бодро говорил Шкунаев,— разрешите доложить, достал восемь самосвалов. Через полчаса прибудут на площадку, если вы не возражаете. Куда их, Глеб Романович?

— У меня директива: все маршруты направлять на «Красный металлист».

— Чтобы они опять там застряли? Это же нонсенс. На «Красном металлисте» случилась крупная неприятность.

— Печи не работают? — испугался Глеб Романович.— Газа нет?

— Хуже, товарищ Федоровский, гораздо хуже. И серьезней. Всего не могу вам сказать, но «Красный металлист» вышел из строя в целом виде.

— Как это можно выйти из строя в целом виде? — удивился Федоровский.

— Вот и я не понимаю этого,— охотно подтвердил в трубку Лев Поликарпович.— Кстати, по нашим оперативным данным, в вашем вагончике находится некто Егор Телятников, во всяком случае мы слышим с вашей стороны пение, исполняемое без Лито́. Будьте добры, Глеб Романович, передайте, пожалуйста, Егору Егоровичу, чтобы он немедленно шел к нам, он здесь очень нужен. Мы жаждем услышать его новые песни, особенно дамы.

— Нет и нет! — встрепенулся Телятников.— Не упрашивайте меня, никогда не пойду к ним на поклон, я сказал им все, что о них думаю.

В дверях показался Терентий Дзюба, в руках у него небольшой кованый сундучок.

— На площадке нашел,— объявил Дзюба, кладя шкатулку на столик.— Из медной головы выскочила.

— Не понимаю, зачем она мне? — недоумевал Федоровский.— Это же чужая вещь.

— Шкатулка обнаружена на земле во время демонтажа, а демонтаж ведешь ты. Следовательно, Глеб, ты обязан проверить ее содержимое. А вдруг там что-то важное? Или опасное?

— Ну что же,— решил Федоровский,— здесь имеются свидетели. Вскройте, пожалуйста.

Дзюба с готовностью вытащил клещи. Замок легко отвалился.

Там лежали два небольших альбома, папка, перевязанная тесемочками, и крохотная гипсовая статуэтка обнаженной женщины.

Из белой проволоки были сплетены инициалы хозяина: И. С. На толстых картонных страницах наклеены фотографии.

Иван Силин стоит с ружьем на посту у телеграфного столба. Молодой, почти мальчик, но глаз строг, рука тверда. Столб под надежной охраной. Надпись: «На страже рубежа, 1935».

Иван Силин в полушубке, подпоясанном широким ремнем. В руках автомат. «Северо-Западный фронт, 1943».

Еще такая же фотография в полушубке, но черты лица крупнее и резче. На груди автомат. На заднем фоне сторожевые вышки с пулеметами. «Заруханск, 1949. Дорогому Ивану от брата Петра».

Иван Силин в стираной гимнастерке без погон на фоне Старика, снятого со спины. «И. С. + И. С. — 1955».

Мальчик состарился, но остался верен себе.

— Ох уж эти мне чистюли,— возмутился Румер.— Они желают оставаться чистенькими всеми правдами и неправдами. Они ни во что не вмешиваются. Они уходят в сторону, запираются в клозете, лишь бы остаться чистенькими. Я не боюсь признаться. Любопытство есть примета моей профессии. Перед нами второй альбом, озаглавленный: «Моменты наших великих лет». Здесь хранятся газетные вырезки, старые фотографии — и все на одну тему: Он и Его монумент. Это не так интересно,— заявил Румер, захлопывая альбом.— Это мы уже видели.

— Почему же не интересно? — переспросил Телятников, завладев альбомом.— А это что? — он поискал нужную страницу и начал читать с выражением. «Всенародная любовь». Даю текст. «С утра тысячи людей потекли к мону-

менту, чтобы воочию увидеть того, с чьим именем связаны их думы и надежды. Многие, боясь опоздать, шли пешком еще до того, как начали ходить трамваи. Все спешат к монументу великого вождя и учителя, вознесшемуся на откосе ради мира на земле...» И еще двести строк столь же пламенных восторгов. Каков стилек! А подпись! М. Румер. Поздравляю тебя, Матвей.

— Не вижу ничего смешного,— Румер отобрал альбом.— Я не собираюсь отрекаться. Трагедия моей жизни в том, что я слишком доверчив, я верю всему, что напечатано в газетах или сказано по радио. Когда он умер, я рыдал. Давайте же поверим теперь, что у нас плохой покойник, и мы правильно делаем, разбирая его на мелкие части. Так ему и надо. Но теперь я страдать не стану. Заявляю совершенно официально.

— Остается сделать вид, что мы тебе поверили,— заявил Егор Телятников.

— Может, это есть форма нашего самосохранения? — спросил Глеб Федоровский, ни к кому не обращаясь.

— Ах, Россия, Россия,— громко вздохнул Егор Телятников.— Мы без веры никак не можем. И все с перебором. Странная страна. Из праздника мы делаем надрыв, надрыв обращаем в трагедию, а про трагедию всенародно объявляем, что имели место отдельные ошибки, которые теперь под мудрым руководством бесповоротно исправлены и никогда не повторятся более. В честь этого объявляется всенародный праздник, из которого мы опять делаем надрыв и все начинается по новому кругу.

— Что же ты предлагаешь? — язвительно спросил Румер, медленно приходя в себя после разоблачения с альбомом.— Идти к ним на поклон.

— Ради бога. Сами справимся. Только мы и можем справиться с нашими проблемами. Я же говорю: прекрасная страна, где все нельзя, кроме того, что можно. Зато все, что можно, то обязательно.

— Простите,— с виноватой улыбкой сказал Федоровский.— Я тут вроде хозяина, а свои обязанности исполняю плохо: чайник вскипел, сосиски остыли, все вразнобой.

— В таком случае не смею мешать вашему производственному совещанию. Я вспомнил, у меня деловое свидание на углу.

— Советую вам все же переговорить с Буричем,— заметил Глеб Федоровский.— Отказаться всегда успеете.

— Только не Колыма! — пылко воскликнул Телятников.— Неужели не найдется более приличного места, хотя в Нечерноземной полосе? — Егор Телятников ловко выхватил одну из пестрых банок и выпрыгнул из вагончика.

Румер раскрыл третью папку, извлеченную из кованой шкатулки. Она называлась «Журнал боевых донесений».

20.XI.51 — Назначен Твоим хранителем. Посетил место вознесения. Широта и простор. Ступил на лестницу.

3.II.52 — При возведении железной ветки к месту вознесеиия лично г-л Ш. похитил два километра железного рельса в обмен на запасные шины, о чем и доношу. Пусть знает, что имущество казенное и не подлежит.

12.V.52 — Был вызван ночью со стороны А. Б. и г-ла Ш. и потребован доставить в салон-вагон четырех зэков иэ женского барака и чтобы при теле, был вынужден подчиниться данному паскудству, о чем и сообщаю фактически, а Ты их призови.

24.III.55 — Произведен ремонт правого уха. Запаял.

30.VI.57 — В левой ноге открылась течь. Заткнул пробкой. Крысы съели. Остался в глубоком одиночестве.

Румер посопел носом, захлопнув папку, и вывел предварительный диагноз:

— Китайский синдром.

Взял стакан, отлил Дзюбе. Они выпили.

— Расшатали народ,— определил Дзюба.— Когда же страна в спокойствие придет?

— Уберите эту пакость,— брезгливо буркнул Федоровский, прикрыв шкатулку.— Отнесите ему. И посоветуйте уничтожить.

— Напрасно ты делаешь вид, Матвей, будто мыслишь сложными категориями,— Глеб Романович задумчиво обратил взор в окно.— Ты бунтующий конформист, в этом и есть вся мнимая сложность твоих переживаний, разваливающихся при первом же соприкосновении с основами нравственности. Наша эпоха покончила с оттенками чувств. Да или нет! Третьего не дано. Будь же благодарен эпохе, что она принимает всю ответственность на себя. И заранее снимает с тебя все обвинения в соглашательстве.

— Ага! — вскричал Румер, резво подхватив стакан.— Сложность ты оставляешь одному себе. Да кто ты есть, наконец? Кто ты для страны? Для близких своих? Кто? Кто?

— Не знаю,— в панике отвечал Глеб Романович.— Возможно, все очень просто и до примитива легко — я жертва.

— Эпохи?

— Нет.

— Культа? — иступленно выкрикивал Румер.— Кто же ты?

— Я жертва самого себя,— и снова повернулся в окошко, чтобы Румер не видел его глаз.

Дзюба неторопливо разлил остаток самогона, поднял стакан:

— Среди нас нетронутых нет. Все мы жертвы,— миролюбиво заключил он.

42. Я мечтаю о великой любви. Это судьба

В этот глубокий ночной час Главная площадка гудела ровно и мощно. Прибыли самосвалы, шла погрузка.

Огромная медная туша была разделана. Сошел медный лоск — и стал пустой остов с острыми ребрами балок, будто скелет огромной рыбины выбросило на берег Надежды. А я подумал, может, это доисторический динозавр, незаконно проползший сквозь тысячелетия, захвативший власть над людьми, пивший их кровь, а теперь получающий от них по заслугам.

Генерал Лев Шкунаев сидел на террасе за письменным столом, значительно разросшимся с прошлого раза как в размерах, так и по содержанию. Бруствер из разноцветных телефонов, связывающих генерала с миром, достойно прикрывал грудь Льва Поликарповича. Тут же пыхтел сверкающий самовар, доставленный, видимо, из внутренних покоев. Дзюба хотел незаметно шмыгнуть в дом, но Лев Поликарпович остановил его движением руки.

— Вам куда, молодой человек? Тут штаб. Товарища Силина нет, он на базаре. Что у вас? Дайте.

И пусть берет, отчаянно решил Дзюба, пускай они меж собой выясняют, мне с вами болтать некогда.

Поставил шкатулку на стол и был таков.

Трезвонили телефоны, надрывались радиоволны. Лев Поликарпович, прихлебывая время от времени из фляги, закусывая крепким самоварным чаем, уверенно держал руку на пульте необъятной страны, всевидящим оком глядел в непроглядную ночь.

Лев Поликарпович приоткрыл шкатулку, понюхал ее, брезгливо поморщился и решительно задвинул на дальний край стола. У генерала были дела поважнее. Настал час решительных действий. Лев Шкунаев начинал операцию под кодовым названием «Большой ковер».

— Слушай, Вася,— говорил он в трубку,— это я, Лев. Бодрствуешь на благо любимой отчизны? Еще бы, такая ночь раз в жизни бывает. Не волнуйся, брат, я на посту, живой и невредимый, еще неизвестно, кто полетит сегодня ночью и кто окажется на коне. Мы с тобой, Вася, еще покрутим делами. Кто у тебя коврами занимается? Это который Семен? Который на рыбалке был? Ему медь не нужна? Какая, какая? Ну, самая лучшая, рафинированная, листовая. Или черный прокат. Могу предложить высшую марку — ИС, инфракрасная сталь, особого закала, которая для этого самого, ну ты меня понимаешь. Так, так, значит, прямого обмена не получается, тогда давай строить цепочку. В чем твой Семен нуждается? Какое у него хобби? Имею в резерве: два боченка икры, шкурки нутрии, канат пеньковый. Вася, бери прокат, у меня этого черного проката еще восемьдесят тонн. Две машины меди променял на четыре чешских сервиза — ну как? Сервизы котируются? Тогда слушай внимательно и не перебивай. За четыре сервиза твой Сеня дает мне два ковра, по как? тук-

тук, слышишь, это стучит мое бедное сердце. Значит так, сервизов-то у меня пока нет, тут тоже не прямой обмен. Слушай, я тебе даю четыре сервиза после того, как Марья Николаевна скажет по телефону, что можно получить пять ящиков болгарского ликера «Золотая роза», вкус, аромат, закачаешься, совершенно верно, мы его пить не будем, потому что ящики привезет из Бургаса Иван Петрович, где он обеспечил броню в гостинице «Большие Татры» на весь будущий год, а ему за это достали партию туфель на платформе из Риги, где Лялечка делает такие парики, что молодеешь на двадцать лет, и за это Ляля получила недавно выход на Аэрофлот, значит, ты имеешь билеты в любой конец, в любую погоду, с любой подружкой, со скидкой как студенту, и есть первые плоды от Ляли, точно знаю, Марья Николаевна уже летала через Лялю в Киев, чтобы достать там путевки в Карловы Вары для Виталия Сергеевича, потому что у него имеется пенопласт слоеный для спецкабинетов, абсолютная гарантия сохранности звуков, ни одна живая душа, ты меня понимаешь, кем он работает? О, это я тебе доложу — личность, он работает знатным шахтером, все достает из-под земли, а Нина за слоеный спецпенопласт может дать два километра водопроводных труб и что ты еще хочешь? подписку на Чехова? да не мелочись, Вася, могу предложить библиотеку, три тысячи томов, вся мировая классика, правда, на калмыцком языке, но шрифт русский и переплеты в золоте, подожди, не перебивай, сейчас поймешь все сразу: после того, как Нина сделает свое дело и даст кому надо трубы, Людмила Георгиевна договорится с Антоном Павловичем относительно зубных протезов из японской пластмассы для Сониного папы, так как у Сони имеется выход на Льва Николаевича, владеющего всеми кнопками в Главсвете, а там такие хрустальные люстры, что ты закачаешься, причем, учти, два погонных километра труб остаются в твоем полном распоряжении, что набежали проценты на капитал, и вот ты получаешь у Льва Николаевича люстры, а мне за это два ковра, да это не мне, я старый солдат, жил без ковров и дальше без них проживу, это для Кати, для нашего нового воздушного шарика, потому что Катя много лет мечтает о собственном ковре немецкой выделки, но до сих пор у нее квартиры не было, а теперь есть, ну как какая Катя, ах, ты еще не слышал, это же наша новая Катя, которая имеет доступ к мысли первого и ключ от сейфа. И вот я даю Кате долгожданный ковер, а она дает мне ключик. Я бесшумно подступаю к сейфу. Где тут моя серая папка с розовыми тесемочками? Вот она. Ладно, розовые тесемочки я оставлю ему. Тут я совершаю некий завершающий обмен, запираю сейф на ключик, и мы едем к Кате в ее новую однокомнатную квартиру, чтобы обмыть ковер и проверить его на прочность. Наутро назначается бюро по моему вопросу, первый лично открывает сейф, достает папку, развязывает розовые тесемочки и видит там шоколадный набор «Голубой Дунай», который мне обменяли на шпалы, каждый член бюро получает в качестве приза по шоколадке, и они довольные расходятся по домам, а мы, Вася, едем с тобой на рыбалку, ну вот и договорились, давай начинай завязывать цепочку, потому что времени в обрез, присылай четыре машины за листовой рафинированной медью, сейчас чеканка входит в моду, откроешь дело, я тебя жду.

Аркадий Бурич вышел на террасу, потягиваясь и промаргивая глаза.

— Я, кажется, вздремнул,— молвил он, вскидывая левую ногу.— Ты все бдишь? Где наш бард?

— Перебежал на сторону противника, но я его вызвал.

— Что нового на площадке? — Бурич посмотрел в сторону туши и присвистнул.— Крепко разделали. Одни косточки остались. Что говорит народ?

— Стыдно сказать, Аркадий. Куда ни ткнешь ухо, везде одно слышно: как Россию спасать? Как Россию спасать?

— В самом деле, Лев, как ее спасать? — полюбопытствовал Бурич.

— Да никак. Ты сначала спроси у нее, хочет ли она спасаться? А она тебе ответит: мне и так хорошо, только бы водку продавали — ну хотя бы с десяти часов утра. И больше России ничего не надо. Имеются, конечно, и у нас отдельные недостатки.

— Какие, например, я что-то не слышал.

— Вот, скажем, ковров явно не хватает. И этот самый принцип не везде введен.

— Какой?

— Ну тот самый. Принцип материальной заинтересованности. От него же зависит производительность труда, а производительность, сам знаешь, это ого! Это на всех семинарах учат. Мы у себя на Голубянке принцип материальной заинтересованности ввели. Лавруша сам придумал.

— Что-то не слыхал.

— Материальной — понял? — заинтересованности. Кого ты стреляешь, того одежда твоя. Поэтому и береги одежду, чтобы не сделать дырочку. А прямо в затылок. Но, правда, иной раз брызгает, так это уже от мастерства твоего зависит. Под мозжечком такое место есть, если точно влепил, ни капельки не брызнет. Можешь брать и хоть тут же на себя надевай.

— Слушай, Лев, как тебе не стыдно? То, что ты рассказываешь, это же мерзость.

— Это принцип, Аркадий, великий принцип. Как Лавруша это ввел, у нас, знаешь, как производительность поднялась. Ребята себя не жалели.

— Слушай, Лев. А костюм Лавруши тебе тоже отдали?

— Откуда ты знаешь? — Лев Поликарпович подскочил в кресле и шмякнулся задом обратно.

— Я уже пять лет, как знаю.

— От кого же? У нас знали шесть человек, со всех подписку взяли. Это очень важно, Аркадий, скажи. Это же утечка...

— Уже запамятовал, Лев, кажется, от Ольги Владимировны. А зачем тебе это?

— Я-то голову себе ломаю: откуда Ляля про все узнала? И кто этого Витьку-дурака на меня вывел. Теперь я, кажется, размотал эту ниточку. Это же Инна, супружница моя, дура небесная, от ревности на стенку полезла. Она же с твоей Ольгой дружила...

— От тебя самого оно и пошло, Лев. Ты слишком сильно любил Лялю Катафалк. В наше время это недопустимо, мы не можем позволить себе такой роскоши. Ты нарушил великий принцип материальной заинтересованности.

— Прошу тебя, Аркадий. Давай без обобщений. А как ты Ганса и Фрица с собой в «додже» возил. Это какой принцип?

— Зато у тебя были Николаев и Михайлов,— вкрадчиво проворковал Бурич.— Оп-ля!

Лев Поликарпович сурово брови насупил. Этот Бурич подлинный дьявол, все время приходится у него перезакладывать душу, этак проценты станут скоро выше основного капитала, я не люблю подобных воспоминаний, к чему старое ворошить, коль с этим покончено. А куда деваться, тут Лавруша и говорит после первой ночной перестрелки на Зеленой даче: «Где тела?»

— Какие тела? — спрашиваю, а самого пот прошибает.

— Ты что, больной? Недолечился? Было покушение на товарища Самина или не было? Где тела врагов народа? Товарищ Самин лично хочет видеть их. Есть у тебя они?

— Так точно. Есть.

— Даю десять минут срока.

Я бегом к своим, дурак, идиот, все пули за молоком пошли, кто же тогда покушался на товарища Самина, полковник Тихомиров дежурит на телефоне.

— Подать сюда тела врагов народа. Три минуты срока.

В армии любой приказ исполняется, смотрю, волокут, положили их у гаража, Лавруша вышел, носом понюхал и говорит.

— Мать твою за ногу, почему они в нашей форме?

– Так точно, отвечаю, это же враги, потому они и переоделись под наших.

— Ладно, говорит, своих товарищ Самин смотреть не будет, у Него может испортиться настроение. Уберите их, потом пригодятся.

Ну что, еще не раскумекал, это были наши ребята из охраны, Николаев и Михайлов, вкрались в доверие, хотели товарища Самина стукнуть, а где мы за три минуты других найдем, пока до большой дороги добежишь, двадцать минут со всеми поворотами, добежал до большой дороги, а там никого в этот

момент, пусто, вот и получились Николаев с Михайловым лютыми врагами, террористами, говнюками, положили их в холодильник, теперь они после каждой такой перестрелки у нас наготове, загодя оттаивали их, переодевали, гримировали и клали в парке, подходил Вождь и Учитель, смотрел на них не отрываясь, впитывал в себя их замороженный взгляд, а потом как пнет носком сапога, раз, еще раз. Он любил их пинать сапогами, а еще любил, чтобы Ему одежду показывали, если это был Его личный знакомый или бывший друг, которого из-за измены пришлось пустить в расход, и Лавруша заранее вез одежду и держал ее поблизости в старом комоде, но чтобы там непременно дырочки были, а Он по этим дырочкам определял, хорошо легла пуля или не совсем удачно, потому что от хорошей пули больше страданий, пусть они об этом не забывают, ты еще припомнишь Шкунаева, дорогой Аркаша, мы с тобой еще побеседуем.

— Не расстраивайся, Лев, я же понарошку. Старые раны должны болеть у солдата, это так полагается. Ну? Мир? — Бурич протянул Шкунаеву руку, а в руке золотая зажигалка.

— Что делать? Отходчивы мы. В этом наша слабость.

На террасе возник Силин. Склоненной походкой приблизился к Шкунаеву. Лев Поликарпович выставил вперед правый ботинок для чистки, но Силин остановился, не дойдя и дерзко вскинул голову.

— Имею официально заявить. До каких пор? Я теперь демонтированный,— судорожно бормотал он.— Полный демонтаж личности. Слава! — голос у него был сиплый и проваливающийся, но руки с бахромой своего дела не забывали.

— Не горюй, Иван, возьму тебя к самовару,— говорил Лев Поликарпович.

Силин посмотрел на стол и увидел там кованую шкатулку.

— Это мое! — подскочил он.

— Господи, да бери ее,— генерал Шкунаев махнул рукой.— Кому нужны твои доносы на тот свет?

Силин схватил шкатулку, вприпрыжку пустился в дом.

За террасой стояла Вера Васильевна Троицкая, делая нетерпеливые знаки Буричу.

— Аркадий Евгеньевич, можно вас? Срочное сообщение.

Бурич ушел. Вера Васильевна подхватила его под руку, увлекая по аллее в сторону постамента.

— Аркаша, я решила,— объявила она, наконец, твердым голосом.— Я все скажу ему.

— Леве? — спросил Бурич.

— Нет, Сереже.

— Странно,— сказал Бурич с печалью.—Зачем же мы будем вмешивать в это дело областной комитет партии, разве нельзя как-нибудь иначе?

— Сережа это не Сергей Леонидович, это Сергей Степанович, мой муж,— проворковала Вера Троицкая.— Сейчас он отдыхает, но утром я ему скажу. Я уже собрала чемодан.

Аркадий Бурич смотрел на нее с немым обожанием. Какое счастье жить с такой женщиной под одной крышей, сидеть с ней у одного телевизора, спать в одной постели, приходить вечером с работы, надевать в крохотной прихожей тапочки, специально поставленные у креслица, потом пить чай на кухне на шатающемся столе, пока она не шепнет на ухо: а теперь бай-бай, мой зайчик.

— Поверь мне, это необыкновенно,— говорила она, задыхаясь и оглаживая рукав его пальто.— Аркадий, Аречка, Арканчик, Аркадьюшка, Арька, Аркоша... Наконец-то я дождалась...

— Ну прошу тебя, Верунчик, не надо, нас могут услышать,— молитвенно шептал растроганный Бурич.

— Надо, надо, я никогда не думала, что могу быть такой. У меня никого не было, клянусь тебе, ты у меня второй после Сережи, это все равно, что первый. Ты сделал из меня женщину, только ты, я решила, мы будем вместе, я стану помогать тебе в работе, пусть будет все, как ты хочешь, я даже согласна переехать к тебе в Москву, лишь бы с тобой, у нас будет маленькая комната в коммунальной квартире, я все сделаю сама, тебе не надо будет ни о чем

заботиться, я сама займусь обменом, ты не должен отрываться от творческих вопросов. Я обменяю нашу отдельную квартиру на две комнаты в разных городах, и ты переедешь ко мне.— Вера Васильевна говорила страстно, заразительно, оказывается, у нее все было уже продумано и программа составлена чуть ли не на две пятилетки вперед.— Я буду помогать тебе во всем. Ты приходишь с работы, а я тебя уже встречаю, так как у меня будет такая работа, чтобы приходить домой на пятнадцать минут раньше тебя. У меня всего одно условие — никаких натурщиц! Я эту публику не потерплю.

— Какая ты милая. Верчик мой. Конечно, мы их разгоним на все четыре стороны.

— Прижмись ко мне, Арусенька. Я должна признаться тебе во всем. Это почти трагедия, но я не могу иметь детей, так как у меня детская матка.

— Это прекрасно, когда у наших подруг детская матка,— с чувством говорил Бурич, гладя ее.

— Ты сказал: подруга? Я рассчитывала на большее. Ты ведь знаешь, я бескомпромиссная, все или ничего.

— Это так говорится: подруга. Но если ты хочешь большего, я согласен. Тогда я оформлю тебя секретаршей.

— Разве? Что же в таком случае стоит у вас на первом месте, Аркадий Евгеньевич?

— На первом месте у меня все, что стоит. Это монументы.

— Тогда на втором?

— Все, что помогает первому — гонорары.

— Что же в таком случае на третьем?

— Вот ты и будешь на третьем месте. Это секретарша.

— Но где же тогда подруга?

— На шестом.

— Боже мой. А жена?

— О, эта женщина дальше всех. Она должна знать свое место и ни во что не вмешиваться. Это одиннадцатое место.

— Но я все равно хочу на первое место,— капризно надула губки Вера Васильевна.

— Только в том случае, если я сделаю тебя монументом. Но ты такая живая. Иди ко мне.

— Пожалуйста, не думай, что мне нужен этот несчастный штамп. Мне нужен ты.

Их губы встретились. Вера Васильевна вскрикнула и начала задыхаться, трепеща в руках Бурича. Никогда не думал, что поцелуй может стать таким медвяным и смертельным. Он нежно прикасался к ее губам, боясь обидеть их грубой силой. А она отважно всасывала его в себя. О, как мучительно и остро было погружаться в эту трепещущую плоть. Бессмертные поцелуи не умирают.

Резкий толчок отбросил его к дереву. Вера Троицкая куда-то исчезла, провалившись, перед Буричем стояла Лидия с раздувшимися ноздрями и в глазах девы-Воительницы сверкал святой гнев. Бах! Бурич ощутил пряный вкус пощечины, так ведь и она казалась мучительно-острой.

— Так ты еще и целоваться,— сокрушалась дева-Воительница, хлопая Бурича по другой щеке.— Мало тебе блуда! Мало? Свежатинки захотелось. Я тебе повздыхаю.

Где-то в кустах, внизу, тонко попискивала Вера Васильевна, растоптанная и униженная, спешащая укрыться от гнева соперницы.

Но уже вскипал внутри ответный гнев, требуя выхода и словесного выражения. Я ее не переименую, сказал я сам себе, я правильно решил, я ее переменю, никто в мире не догадается, что это она, сколько я уже менял и стал настоящим мастером несхожести, пусть она совершит убийство из ревности, пусть влюбится в американского дипломата и уедет с ним в Америку, никто мне не скажет ни слова, ибо дева-Воительница не имеет права на портретное сходство ни с одной из своих подданных. Вот как станет с тобой, Лидия Сомова. Народ не будет знать, кто есть ты.

Но следующего удара не последовало. Стригунчик стоял за Лидией, зажав

ее руки у нее за спиной. Лидия наконец вырвалась и с рыданием упала Стригунчику на грудь.

— Ах, Ригги, как я его ненавижу. Зачем ты взял меня сюда? Я же не хотела,— рыдала Лидия.— Ригги, родной, спаси меня.

— Вот как! — Бурич скривил губы.— Опять я слышу это нежное имя, второй раз за эту ночь. Не слишком ли много, мой Ригги?

Стригунчик мотал головой. А Бурич уже не мог остановиться.

— Ты бесплоден, как сперматозоид в нафталине. Ты бездарен, как член дикобраза. Поделом тебе. Что же ты молчишь?

Тут и Стригунчик не выдержал — встал в позу, чтобы молвить ответное слово. Это была искрометная речь, полная благородного гнева и внутренней силы. Но, пожалуй, наивысшее ее достоинство состояло в том, что это была поэма, песня без слов. Стригунчик говорил телом: вздымал руки к небу, делал рукой фигуру из трех пальцев, вскидывал вверх левую коленку, поворачивался спиной к оппоненту, показывая ему свой раскормленный зад, а то и вовсе непотребное — переднюю часть. Смысл этой песни был предельно ясен, его можно свести к трем словам:

— От дикобраза слышу.

Вера Васильевна поднялась из-за кустов, с удивлением наблюдая эту невиданную перепалку.

— Лидочка, значит, они не наши? — разочарованно протянула она.

— Смотря по настроению. И вообще, Верочка, разве в том счастье?

— В чем же тогда?

— Сама не знаю. Возможно, счастье в том, чтобы его не было.

— Лидия. Бедная моя.

— Ах, Вера. Как я тебе завидую.

Они обнялись и принялись согласно рыдать.

43. Наши недоделки лучшие в мире

В конце аллеи показалась Катя.

— Скорей, скорей,— кричала она, подбегая.— Я их нашла.

— Где они? — сурово спросил Шкунаев.

— Они вернулись. Но с ними что-то случилось.

Шкунаев поднял руку.

— Прошу дам успокоиться. Сейчас мы во всем разберемся.

— Если они вернулись, значит, с ними ничего не случилось,— философски заметил Бурич.— Сейчас мы пойдем и во всем разберемся. Прошу вас, Лидия Дмитриевна.— Он подставил руку, и они как ни в чем не бывало пошли первыми по аллее, следом Телятников с Троицкой, дальше случилась некоторая путаница, потому что мужчины никак не могли разобрать своих дам, но и там в конце концов как-то уладилось, я не вникал.

Главная площадка продолжала на глазах оседать, теряя величественный монументальный объем и превращаясь в заурядную плоскость, словно воздух вышел из Старика и сморщенные останки опали на землю, превратившись в груды металлического лома. Пахло тараканами, пауками и еще чем-то, затрудняюсь сказать.

Бурич перешел слева от Лидии, стараясь не смотреть на поверженного.

— Тебе не больно, дорогой? — чутко спросила Лидия.

— Я думаю, кому из нас сейчас больнее,— ответил Бурич.— Ему или мне? Я скажу тебе, дорогая. Не знаю, как с точки зрения политики, но с точки зрения эстетики, когда объем не гибнет, но возрождается, монтаж много предпочтительнее демонтажа.

За ними щебетал голосок Веры Васильевны:

— Егорушка, Егорунчик, Егуня, какое счастье, что мы нашли друг друга. Я всегда предчувствовала это, а ты?

Процессия дошла до конца аллеи и повернула в сторону от Главной площадки. Там стоял на обочине грузовик, заляпанный грязью всех дорог, захватанный всеми ветрами, истерзанный и затисканный всеми перекрестками. Ничего не осталось от его былого бравого вида.

В кабине находились двое, капитан Алехин и Павел Чугунов. Оба спали. Тела их переплелись, головы откинуты к сиденью. Бурич подергал Павла Чугунова за колено, тот не реагировал.

— Они отравились,— тут же заключила Вера Троицкая.

— Они дышат, пульс замедленный,— констатировала Тамара Гавриловна.— Внешних повреждений нет.

Бурич потянул носом из кабины.

— Это чача,— уверенно заявил он.

— Где же голова? — воскликнул Трапезников.— По идее она должна быть в кузове.

В самом деле, головы с перебитым носом в кузове не было. Бурич подпрыгнул, пытаясь заглянуть в кузов: ни кусочка. Было видно, что кузов подметен.

— Голова улетела.

— Ее закопали на Трех холмах. Я слышал на базаре.

— Прошу пропустить. Пардон,— Лев Поликарпович Шкунаев протиснулся к открытой двери и тут же обнаружил то, чего не заметили остальные,— сложенную косым конвертиком бумагу, которая была подложена под пружину на ветровом стекле.

— Слушай, Лев, это же накладные,— гневно сказал Бурич, поняв, что его обвели вокруг пальца.— Что это значит? Где голова?

Шкунаев не успел ответить.

— Ой! Что это? — воскликнула Троицкая.— Какая прелесть.

На ветровом стекле грузовика, там где только что торчала накладная, была наклеена фотография товарища Самина в форме генералиссимуса.

— На моей машине! — возмутился Лев Шкунаев.— Кто посмел? Убрать. Немедленно демонтировать.

— Не поддается,— Телятников пытался соскоблить фотографию перочинным ножом.— Она вмонтирована в материал.

— Это становится интересным,— Бурич подошел к дверце и легонько приоткрыл ее, а там сквозь пыль всех дорог проступало изображение — как из тумана, как из глубины, как из неведомой дали — все ярче, все ближе — и бац — явилась медная голова. Анфас. Все тропинки и проталинки, знакомые до боли.

«Каждый видит то, что он хочет видеть»,— мимолетно подумал Бурич, а вслух сказал:

— Судьба индейка. Включаем поворотный круг.

На радиаторе возникло новое изображение — опять медная голова. Профиль. Рядом отпечаталось: товарищ Самин в глубокой задумчивости сидит на скамейке. Изображения перескакивали кузнечиком, перепархивали бабочкой: со стекла на радиатор, с капота на крыло. Но вот что в этой свистопляске было самым необъяснимым — все изображения были одинакового размера и одной формы, а именно — овал, как это бывает на могильных плитах. Вот я и удивился — при чем тут могильная плита. Впрочем, все уже заметили эти перепархивающие овалы, слышались восклицания, ахи и охи, возгласы одобрения — и наоборот.

— Конопатый грузовик,— флегматично заметил Телятников.— Родимое пятно культа.

— Генерал Шкунаев в своем репертуаре,— объявил подоспевший Румер.

Но Лев Шкунаев уже полностью овладел ситуацией. Голос генерала прогремел над Рабочей площадкой:

— Демонтировать и переплавить в неразобранном виде. Срок — вчера!

Из кустов с урчаньем выползли два танка. Два прихлопа, три прицепа — грузовик взят на узду, с кряканьем пятится прочь от аллеи. Там распоряжался майор, то ли Тихов, то ли Миров.

Лев Шкунаев сделал полный поворот кругом.

— Левушка пошел на второй круг,— живо отозвался Бурич, желая уязвить друга за проигрыш с головой.

— Учти,— торжественно отвечал Лев Поликарпович,— еще не родился тот человек, который в состоянии свалить Шкунаева. Я поворотные круги строю, я же ими управляю. Здесь я дирижер.

Шкунаев поднял палец в лайковой перчатке. Ожил голос на столбе.

— Внимание, товарищи монтажники. Объявляется срочное построение, так как получены важные известия. Построение состоится на аллее против эстрады. Выходи строиться.

Столбы заголосили наперебой:

— Ходи...

— ...роиться.

Следом раздался марш Энтузиастов из одноименного кинофильма. Монтажники со всех сторон стягивались к эстраде, где их выстраивал и равнял лейтенант в черных крагах и мотоциклетных очках.

Танк продолжал оттягивать грузовик в кусты. Другой танк остановился у эстрады. Лев Поликарпович Шкунаев, поддерживая радикулитную поясницу, с бодрым видом взобрался на танк по услужливо подставленной лесенке. Там он распрямился, оглядывая свои владения. Зеленого грузовика уже не было видно.

Лейтенант в крагах подзывал отстающих энергичными жестами, затем отдал протяжную команду.

— Равняйсь! Смирно! Равнение на середину! — четким шагом дошагал до танка.— Товарищ генерал! Вверенная вам особая демонтажная ассоциация в составе действующих лиц в порядке их появления на данных страницах по вашему приказанию построена для финальной переклички. Докладывает лейтенант такой-то, предположим, Ниболсин.

— Вольно!.. — скомандовал Лев Поликарпович в ответ, позволяя присутствующим расслабиться.— По-моему, в первой шеренге не все действующие лица присутствуют на своих местах.

— Товарищ генерал! Присутствуют все присутствующие. Отсутствуют же исключительно отсутствующие по уважительным художественным причинам.

— Товарищи! — начал Лев Шкунаев, выбросив вперед руку, словно он стоял на броневике.— Митинг, посвященный досрочному завершению демонтажа, разрешите считать открытым. Предупреждаю, я не оратор, мое дело с плеча рубить, может, кому не понравится, что я скажу. Наша финальная линейка собирается поистине в исторический момент. Только что получено сообщение о полной и безоговорочной капитуляции «Красного металлиста», пытавшегося задержать торжество демонтажа, провозглашенного нашей партией на одну ночь. В настоящее время «Красный металлист» полностью в наших руках, и наша область рапортует о досрочном завершении демонтажа. Мы идем впереди графика на сорок минут и обогнали соседей, хотя для этого нам пришлось принять экстренные, а в отдельных случаях чрезвычайные меры, о которых я не смею вам рассказать. Да, у нас имелись некоторые ошибки, но теперь они мудро и своевременно исправлены. Таким образом, допущенные ошибки являются новым ярким свидетельством правильности курса нашей партии. Мы добились новых значительных успехов. Продовольственная программа, разработанная при личном участии первого секретаря товарища Наумова, уже приносит первые плоды в виде горячих сосисок, которым вы сами были свидетели, доставленных на монтажную площадку. Но это лишь начало. Скоро мяса будет навалом — лет этак через десять. Вот почему мы уверены, что сегодняшняя ночь станет выдающейся вехой в истории нашего общества. Мы стоим за мир и отстаиваем дело мира, чтобы советские люди в мирных условиях могли творить демонтаж и принимать сосиски, не допуская тем самым повторения саминизма. Вот помню, как сейчас, в конце Гражданской войны мы чистили беляков. И был приказ — освободить город Зареченск. Шашки наголо. И была там гимназия женская. Какие трогательные малютки там были, как пылко они нас встречали, их надо было накормить, обогреть, а у нас, повторяю, ничего кроме шашек. Зато сейчас у нас танки, ракетоносцы, атомные бомбы — и в любом количестве. Сейчас не то что женскую гимназию, сейчас с нашим оружием мы весь мир можем напоить и обогреть. А если надо, то и переплавим. Сегодня у нас такая сила, что мы весь мир можем демонтировать, потому что мы знаем, у нас немало врагов, это ревизионисты, гегемонисты, сионисты и саминисты всех мастей и колод. Они были бы счастливы, если бы им удалось сорвать победоносное шествие нашего демонтажа. Буквально здесь, на Главной площадке, также находились отдельные лица, которые стараются выпячивать наши недостатки. А зачем, спрашивается, их выпячивать? Если все мы дружно, всем народом, перестанем замечать наши недостатки, то они сами собой исчезнут, уверяю вас, в этом наша сила. И крикуны нам не помешают. Наши органы всегда начеку. Именно под руководством наших замечательных органов мы в кратчайший срок сумели покончить с культом. До контрольного срока остается один час. От передовых монтажников поступило предложение: рапортовать досрочно о полном и бесповоротном завершении демонтажа. Текст рапорта в настоящий момент подрабатывается, тем временем я хотел бы выслушать и учесть ваши предложения, поправки, замечания, так как наши славные органы всегда были сильны своей связью с массами. Вперед, к демонтажу!

Подали лесенку. Лев Шкунаев торжественно сошел с танка на землю, чтобы обойти строй персонажей. Правофланговым стоял Иван Васильевич Силин, первым ступивший на эти страницы, бывший хранитель святыни, а ныне безработный.

За Львом Поликарповичем шествовала свита: оба майора Тихов и Миров, тут же Катя с раскрытым блокнотом, готовая зафиксировать каждую мелочь в протокол истории. Чувствуя себя в некотором роде новичком, я старался держаться в отдалении, но генерал то и дело подманивал меня пальчиком: эй, лейтенант, не отставать.

Шкунаев остановился против Силина:

— Предложения, поправки, Иван. Сколько лет с тобой знакомы.

— Прошение примите, гражданин начальник. Прошу о полном снятии греха.

— Зла не держу, Иван. Прощаю за сроком давности. Получай. Это ордер на отдельную квартиру из двух комнат, правда, на пятом этаже без лифта, но тебе не привыкать, зато в самом центре города на проспекте товарища Сидорова. Принято мудрое решение: программа массового строительства жилищ. Вот настроим квартир под завязку, тогда всех из лагерей вон! Зачем нести расход на охрану, колючую проволоку. Даешь человеку ключ от квартиры, и он сам себя запирает. Правда, это дорогая программа, но что-нибудь придумаем, будем строить подешевле. Так что держи свой ключ, Иван. Позовешь на новоселье — приду.

— Кто следующий в порядке появления.— Переступил шаг в направлении Аркадия Бурича.

— Поговорим позже,— с угрозой сказал Бурич,— когда я буду знать подробности.

— И скажешь мне тогда спасибо,— подхватил Лев Поликарпович.— Кончай со спячкой. Надо действовать. Следуй за мной, мне потребуется твоя помощь.

— Лидия Дмитриевна, весьма приятно, именно такой я и представлял вас. Если у вас имеются пожелания, то я всегда...

— Могу ответить только тем же, дорогой Лев Поликарпович,— Лидия сделала книксен перед Шкунаевым.— Я слышала, сейчас разрабатываются штаты Ансамбля на Трех холмах, так сказать, железобетонные и живые единицы вокруг девы-Воительницы, ведь там будет почетный караул вокруг меня. Я слышала, однажды вы стояли в генеральском карауле, следовательно, у вас имеется опыт. Словом, я бы не возражала, если вы станете моим карначом.

Лев Поликарпович склонил голову в знак признательности и сделал шаг в сторону. Перед ним стоял Игнатий Савельевич Коровин, он же Стригунчик.

— Мы, кажется, встречались в сорок шестом, Игнатий Савельевич? — говорил Лев Шкунаев, хмуря лоб от высоких воспоминаний.— А где мы с вами встречались? Да, да, в Белом зале мы с вами встречались, Игнатий Савельевич, я тогда получал орден из рук Председателя, а вы, Игнатий Савельевич, ему коробочку со столика подавали, так что я, между прочим, почти из ваших рук награду получил, и вы потом ко мне подходили и ручку жали, считая за

честь. Было ведь, да? А за что был тот орден, Игнатий Савельевич? Ах, не помните. За ту самую операцию, за калмыцкую акцию. Я приказ генералиссимуса исполнял не ради наград, а по велению совести. Зачем же вы разрушаете нашу историю, Игнатий Савельевич? Ведь нынче уже вам коробочки подают.

Стригунчик скисал на глазах. Жестикуляция утратила выразительность. Появилась тавтологичность, как-то: монотонное тыканье указательным пальцем в живот собеседника. Лицо было размазано словесной шелухой, рот перекошен, щеки выдохлись.

Но мычать он еще мог. И потому ответил генералу Шкунаеву всеми доступными ему средствами, главным образом, соглашательскими, то есть: хлопал в ладоши, поддакивал подбородком, разливался льстивыми улыбками.

И Лев Поликарпович не выдержал, расслабившись ответно. Отходчивы мы, в этом наша сила.

— Сочувствую вам... И как говорится, надеюсь... А также желаю скорейшего...

За спиной Льва Шкунаева забулькала рация. Лев Поликарпович принял поданную трубку. В эфире был Сергей Леонидович Наумов, не забывший вовремя явиться на финальную перекличку.

Глеб Федоровский подключил голос Наумова к репродуктору.

— Товарищи монтажники! — разнеслось над площадкой.— Хочу сообщить вам о ходе демонтажа. Все демонтажные работы по нашей области идут с опережением графика. На «Красном металлисте» запущены плавильные печи, первая партия металла переплавлена. Колонна грузовиков отправлена к вам на Рабочую площадку для следующего рейса. Коллектив «Красного металлиста» признал свои ошибки и действует теперь в правильном направлении. Никаких отрыжек культа мы не допустим. Я сейчас посетил другие важные объекты, а именно: картинную галерею и городскую библиотеку. Там все демонтировано и вывезено на свалку. Люди работают с небывалым энтузиазмом. Мы должны сделать так, чтобы демонтаж стал необратимым — это наша задача. К сожалению, среди всеобщего энтузиазма попадаются отдельные неприглядные факты, недостойные этой исторической ночи. На проспекте товарища Сидорова были задержаны три машины с грузом меди. При проверке оказалось, что нет ни накладных, ни путевых листов. Эта медь была похищена — вы догадываетесь, откуда? Прошу генерала Шкунаева представить к девяти утра объяснительную записку на этот счет, и мы разберем ее на бюро. Товарищ Шкунаев, вы меня слышите? Дело передано прокурору.

Репродуктор щелкнул и смолк, видимо, сработало автоматическое реле, настроенное на режим восхваления. Но Сергей Леонидович уже сказал все, что хотел сказать нам, стоящим в шеренге.

Генерал Шкунаев, однако, и бровью не повел.

— Мы приветствуем выдающиеся успехи наших земляков. Перекличка продолжается. Кто следующий?

— Товарищ генерал, примите от тружеников прилавка.

Ко Льву Поликарповичу шаром подкатывала буфетчица Паня, держа в руках стакан с дымящимся кофе. За ночь буфетчица раздобрела еще больше, тучнея на глазах от сосисок, наматываемых прямо на тело под пальто.

— Благодарствую, Паня,— Лев Поликарпович со смаком отхлебнул из стакана и глянул на Паню пронизывающим взглядом.— Надеюсь, вам удалось создать запасы сосисок? Да? Смотри у меня, чтобы на всю ночь хватило, иначе мы тебя достойно отметим. Я обещаю.

Перед Шкунаевым стоял Дзюба. Лев Поликарпович покачал головой:

— Ай-ай, Терентий Семенович. Вижу я, хочешь ты сверхурочные заработать. Ой, смотри, Терентий, нынче есть такая возможность, а завтра не будет.

Подбежал тучный милиционер Тимофеич, спеша занять свое место.

— Почему опаздываете в строй действующих лиц?

— Товарищ генерал,— начал Тимофеич, задыхаясь от быстрого бега.— Сообщаю. Там крысы! Снова вернулись в постамент, прямо мимо меня, а я на посту. Задержать не мог. Докладываю.

Лев Поликарпович похлопал Тимофеича по плечу:

— Не беда! Наш народ справится с любыми внутренними крысами, лишь бы они тихо сидели на месте и не шебуршились.

— Кого вы имеете в виду, товарищ генерал? — спросил с вызовом Егор Телятников.

— Дорогой бард! — обрадовался Лев Поликарпович.— Как хорошо, что вы не покинули нас, ибо наш самоотверженный труд нуждается в постоянном воспевании.

— Сдал в ремонт башмаки, делают набойки. Обещали к обеду. Ухожу по населенным пунктам.

— Но пока вы здесь. Без набоек вам не уйти. Слушай, Егор, давай по-хорошему. Беру тебя в гарнизонный ансамбль на сто восемьдесят плюс левые концерты, на которые я буду закрывать глаза. Улучшим твою фамилию. Дадим псевдоним.

— Сгораю от любопытства,— сказал Телятников.

— Ты будешь Егор Степной. Совсем другой звук! Я лично буду утверждать твои тексты.

— Может, вы еще захотите узнать, о чем я думаю?

— Ну это ты придешь и сам расскажешь, когда тебе захочется поделиться со мной своими замыслами. Мы работаем исключительно на добровольных началах.

— Так вот, Егор Степной заявляет: пошел ты подальше, дядя!

— Я не отдам его! — Вера Васильевна Троицкая с жаром выскочила вперед, прижимая голову Телятникова к своей груди.— Он мой!

— С удовольствием вручаю вам его на перевоспитание, Вера Васильевна. Вы с ним скорее справитесь, чем я. Разрешите прервать ваши интимные объятия. Мы ждем доклада.

— Какого доклада, товарищ генерал?

— О постаменте. Вы же занимались мусором.

— Докладываю. С постаментом покончено. Нами вывезено оттуда шестнадцать тонн мусора, в том числе две тонны несъедобных портретов. Вот накладные. Теперь там чисто, как в храме.

— Позвольте, Вера Васильевна,— удивился Лев Шкунаев.— В постаменте всего числилось пять тонн мусора.

— Ну и что же? — живо парировала Вера Васильевна.— Было пять тонн, а мы вывезли шестнадцать. Значит, мы выполнили план демонтажа на триста двадцать процентов. Разве это плохо?

— Триста двадцать процентов это прекрасно, это почти рекорд,— настороженно говорил Лев Поликарпович.— Но поделитесь с нами своим секретом, откуда вы достали недостающие одиннадцать тонн? Это же приписка.

— Вы меня простите, я в технике не разбираюсь, этим занимается прораб. Но у нас все точно, вот накладные.

— По-моему, они прихватили там немного кирпича,— улыбнулся Аркадий Бурич.

Шкунаев сделал следующий шаг:

— Здравствуй, вольный сын эфира.

— Спрашиваю,— мрачно ответствовал Румер,— когда будут возвращены орудия моего труда, без которых я не могу работать? Это вопрос.

— Что будет? — умильно испугался Лев Поликарпович.— Вдруг наш эфир вообще замолчит. Как ты меня напугал, любитель шарить по чужим шкатулкам.

— Шкатулку мы вам передали, товарищ генерал. Нынче не те времена.

— Вы правы, товарищ Румер, нынче действительно не те времена. Партия с утра до вечера твердит вам об этом, а вы не желаете понимать. Вам лишь бы фрондировать. Где-то тут должны быть наши герои. Почему их не вижу?

— Извольте, товарищ генерал,— строй расступился, во втором ряду стояла мраморная скамья и на ней возлежали Алехин и Чугунов, оба спали, посапывая во сне.

— Вот они, перед нами,— торжественно провозгласил Шкунаев.— Молодые герои демонтажа. Они превозмогли все. Они работали в сложнейшей автодорожной и атмосферной обстановке — и героически решили задачу. За

выдающиеся заслуги при исполнении патриотического долга постановляю: капитан Алехин награждается медалью, экскаваторщик Чугунов — почетной грамотой и денежной премией в размере месячного оклада. Пусть герои поспят, они заслужили свой сон.

Строй сомкнулся, Шкунаев обвел нас взглядом.

— Кто следующий. Где товарищ Дятлов из отдела культуры? Мы вас ждем.

— Я здесь, товарищ генерал,— Семен Семенович Дятлов сделал шаг вперед.

— Почему стоите во втором ряду? Кто здесь распоряжается кроме меня? Я старший на площадке.

— Разрешите доложить, товарищ генерал,— информировал работник культуры.— Видимо, это автор. Он решил задвинуть меня сюда, как лицо второстепенное, тогда как на самом деле...

— Автор? Откуда он взялся? — сурово обратился в пространство Лев Поликарпович.

Вперед выскочила Вера Васильевна Троицкая.

— Если мы действующие лица, то у нас должен быть автор,— доложила она четко.— Это непременное условие.

— Вы? — удивился Шкунаев.

— Я занимаюсь исключительно научными текстами, товарищ генерал. У меня строгие факты, выверенные историей. А тут сплошные грезы, розовые видения. Для меня это слишком интимно.

— Кто он? Признавайтесь.— Лев Шкунаев грозным взглядом обвел строй.

Персонажи молчали, ибо в самом деле были тут ни при чем. Я стоял в стороне, надеясь, что все обойдется и автора не призовут к ответу. Не тут-то было. Лев Поликарпович никогда не отступал от намеченной цели.

— Так, так,— размышлял он вслух.— Значит, мы есть, а признаться в этом никто не желает. Румер? Ты?

— Не мой объем, товарищ генерал,— заторопился Румер.— Я больше двух газетных подвалов ни разу в жизни не писал.

— Ладно. Если автор не является добровольно, мы его заставим.— Лев Шкунаев набрал воздух в грудь и зычно скомандовал: — Подать сюда автора!

Сам того не желая, я сделал шаг вперед, ибо не мог устоять против взаимного притяжения наших погон. Рука невольно потянулась к шлему. И вот уже стою навытяжку перед ним, чувствуя на себе любопытствующие взгляды действующих лиц.

— Так вы и есть наш автор? — любезно осведомился Лев Поликарпович.— Очень приятно. Мы, кажется, знакомы? Еще с первых страниц. В общем, я вами доволен, гражданин автор. Прямо скажем, вы обладаете известной долей... Буду способствовать. Но только при условии категорического устранения отдельных замечаний...

— Например?

— Мне, право, неловко, это же азбука. Касательно этих самых, интимных моментов. Надеюсь, вы понимаете, что это недопустимо в нашей высокопатриотической литературе.

— Помилуйте, это же только совершается в жизни и на бумаге никак не записано. Так сказать, первые задумки.

Лев Шкунаев рубил воздух твердой рукой.

— К сожалению, тут ничем не могу помочь. Мы замыслы не разбираем. Не имеем еще такой техники, чтобы определить идейное качество замысла, и вынуждены дожидаться стадии исполнения. По задумкам тебе, лейтенант, лучше всего посоветоваться с нашим великим маэстро Буричем-вторым, золотым и серебряным. Помоги коллеге, Аркадий.

— Жанр? Новелла, роман, басня? А может, мюзикл или балет? Это сейчас модно,— допытывался Бурич, делая шаг по направлению ко мне.

— Еще не знаю,— честно признался я.

— Советую: начинать надо с предчувствия,— изрек Бурич.— Итак, мне все ясно,— заключил он.— Автор еще сам не знает, чего он хочет. Для такой работы ему потребуется двадцать лет, никак не меньше.

— В таком случае меня это вообще не касается,— Лев Поликарпович утратил ко мне всякий интерес.— Еще двадцать лет мне не выдержать, слишком нервная работа. Через двадцать лет тебя другие пропускать будут. Но могу дать общий совет — не зарываться.

— Так точно, товарищ генерал, есть не зарываться,— прошло всего несколько часов, как я прямо с аэродрома прикатил на мотоцикле на Главную площадку. Я был ошеломлен увиденным и не знал, куда обратить свои взоры. Бравый генерал в лайковых перчатках казался мне прототипом будущего положительного героя, уверенно ведущего демонтаж. К тому же я всю жизнь робел перед генералами, это у меня еще от фронтовых лет сохранилось, когда генералы нас на смерть посылали, а мы шли и делали все, что они велели. Я и сейчас чувствовал, что генерал Шкунаев готов послать меня на верную смерть во имя демонтажа, и я пойду и исполню его приказ, как полагается исполнять приказ Родины.

Еще мне нравилась Лидия Дмитриевна Сомова, как говорится, с первого взгляда, когда она только спускалась по трапу на землю, но я уже начинал мало-мальски разбираться в обстановке и понимал, что на взаимность девы-Воительницы в данный момент рассчитывать трудно, скорее, просто невозможно.

Тем не менее предчувствия томили меня, это Бурич точно сказал.

— Значит так, товарищ автор,— заключил Лев Шкунаев.— Нам очень приятно, что вы лично побывали на демонтаже и видели все своими глазами. У вас найдется карандашик, товарищ лейтенант?

— Пожалуйста, товарищ генерал. Извольте.

— Благодарю вас. Он пока побудет у меня.

— Как же так, товарищ генерал, не понимаю.

— Тут и понимать нечего. Карандаш есть изображающий прибор, на том основании он подлежит временной конфискации до окончания демонтажа. Им можно писать только документы. Вы пока свободны, товарищ автор. А это вам, товарищ Румер.

— Что это? — Румер с недоумением разглядывал серо-грязный листок, только что подписанный моим карандашом.

— Повестка, товарищ Румер. Послезавтра в одиннадцать ноль-ноль. Второй этаж, комната номер восемь. Не забудь прихватить кассеты, которые остались у тебя в протезе.— Лев Поликарпович глянул вдоль строя.— Где-то тут твой родственничек? Или прячется?

— Слушаю вас, товарищ Шкунаев,— оглушительно ответил Глеб Федоровский со столба.

— Я тоже вас слушаю,— Шкунаев заговорил в микрофон и прибавил голос.

— Для начала скажите мне, генерал, куда вы вывезли восемь машин с металлом и четыре машины с медью?

— Накладные у меня в кармане, товарищ Федоровский, я их вам вручу. Скажите спасибо, что эти машины пришли к нам, и мы не только не сорвали график, но и более того, закончили демонтаж досрочно, о чем и собираемся сейчас рапортовать, так как финальная перекличка персонажей подошла к концу, все герои мною проверены и готовы к действию.

— По-моему, перед рапортом полагается подписать акт о завершении работ.

— Как раз о таком акте я и веду речь.

— Весьма сожалею, товарищ Шкунаев, но такого акта я подписать не могу.

— Хотел бы знать причину, товарищ главный инженер.

— Потому что демонтаж не окончен.

— Может быть, наш демонтаж вас вообще не устраивает, товарищ Федоровский.

— Отчего же? — весело отозвался Глеб Романович.— Мы тут все собрались ради нашего дела. Гидрострой выполнил 75 процентов всех работ. Но до конца еще далеко. Я заявляю официально: демонтаж не закончен. Демонтаж продолжается.

— Демонтаж закончен! Так говорю я, Лев Шкунаев.

Голоса спорящих гулко разносились над Главной площадкой, увязая в сыром воздухе. Сначала технический перевес был на стороне Федоровского, его голос звучал громче и выразительнее. Но вот за дело взялись майоры, живо подключив Льва Поликарповича к проводам, обе стороны сравнялись в технических возможностях, но так как голосовые связки Льва Шкунаева были тренированы многолетним рыканием, то генерал Шкунаев начал побеждать в громкости, и моральный перевес теперь был явно на его стороне.

— Что случилось, товарищи? — гулко злорадствовал Лев Поликарпович.— Разве мы не свалили фигуру? Не разделали ее? Вот она перед вами, один пшик остался. Что же это, по-вашему, демонтаж или не демонтаж? Давай-те спросим наших славных демонтажников — да или нет?

Хор монтажников, стоящих в задних рядах, тянул на два голоса.

— Закончен демонтаж, мы рапортуем.

— Наш демонтаж закончен не во всем.

— Вот видите,— громогласно торжествовал Лев Поликарпович.— Народ высказался. Народ имеет свое мнение, и оно полностью совпадает с мнением руководства.

— Да,— твердо отвечал Глеб Федоровский.— Фигуру мы разделали. Но на площадке осталось шестьдесят тонн невывезенного металла.

— Только и всего? — наигранно удивился Лев Поликарпович.

— Вам этого мало? — возразил Федоровский.— Это весьма серьезные недоделки.

— Так давайте подпишем один акт о полном завершении демонтажа и тут же составим второй акт о недоделках. Хотя бы так: в связи с ускоренным переименованием несколько замедлилась работа транспорта, которая будет немедленно устранена. Очень гибкая формула. И тут же рапорт в Центр, мы первые...

— Кого мы обманываем? Самих себя!

— Ну хорошо, не хотите акт недоделок, давайте составим совместный протокол наших общих разногласий. И рапортуем.

— Вы достаточно говорили нынче, генерал. Теперь скажу я,— начал Глеб Романович с волнением.— Сегодня было много речей, я молчал и слушал. Я технарь, не мое дело быть краснобаем. Мы знаем, как работали наши деды и прадеды. Если они ставили дом, то этот дом стоял веками. Потому что они ценили свою работу — и ценили ее, между прочим, за то, что она кормила их. И они никогда не кричали, что работа сделана, пока не заканчивали самой работы. А что интересует вас, генерал? Работа или рапорт? У вас рапорт идет впереди работы. Вы опьяняете себя рапортами. Вам лишь бы бегом вперед результата. Грех нам забывать о прошлом!

— Такие разговоры могут завести нас слишком далеко. Да, было немало черного. Но мы гордимся каждым прожитым днем. Мы гордимся нынешней ночью. Очищение не нуждается в покаянии. Но поскольку мы с вами ведем устные переговоры, нам необходим письменный документ. Рапорт вы отвергаете. Акт о недоделках составлять не хотите. Протокол о разногласиях — тоже. В этой трудной ситуации я предлагаю, товарищ Федоровский,— давайте подпишем меморандум о намерениях.

— Мое намерение одно: работать, а не плодить бесполезные бумаги.

— Да, тяжелый случай,— Лев Поликарпович сделал глубокий вдох.— Не хотел я говорить об этом, но теперь у меня нет другого выхода, придется сказать при всех. В 1956 году вы, товарищ Федоровский, были реабилитированы — так? И вот — протокол о вашей реабилитации как террориста и шпиона был подписан мною. Такова теперь ваша благодарность. Правильно пишет в своем Документе товарищ Корешков — от вас благодарности не дождешься. Тут крепко задумаешься: правильно ли я поступил, подписывая протокол пятьдесят шестого года?

— Вы не могли бы припомнить, генерал, чья фамилия стояла под постановлением о моем аресте? Или память коротка?

— Отчего же? Нахожусь в полной памяти. Там стояла моя фамилия. На тот момент вы были террористом и врагом, и я горжусь тем, что пресек вашу террористическую деятельность. После чего произошли известные всем события, вы перестали быть врагом народа. И я же первым признал эту ошибку, в результате чего вы оказались на свободе, имея на руках бесплатный литер для проезда домой и денежное пособие. Такие ошибки сознавать приятно. А вот вы, товарищ Федоровский, продолжаете упорствовать в своих заблуждениях, это печально. Давай подпишем, инженер,— и баста! А то я не поручусь за ваше будущее.

— Не пугайте меня, генерал, я и так достаточно пуганый.— Федоровский оставил микрофон и неожиданно появился позади Льва Поликарповича. Лев Шкунаев вздрогнул от неожиданности, услышав за спиной живой голос, но тут же взял себя в руки.

— Това-арищ Федоро-овский,— протянул он, не замечая, как постепенно накаляется Глеб Романович, а скорее всего пренебрегая этим.— Какая приятная неожиданность. С глазу на глаз...

— Ладно, генерал, поболтали и хватит,— Глеб Федоровский все-таки не выдержал.— Работать пора! — Он повысил голос.— Товарищи монтажники, демонтаж продолжается. Приступить к погрузке.

— Демонтаж объявляю законченным,— театральным голосом проговорил Лев Шкунаев, призыв его повторился со всех столбов, легко впитав в себя голос Федоровского.— Майор! Там в танке имелся неприкосновенный запас, две канистры спирта. Подать его сюда для наших славных демонтажников.

— Ни в коем случае,— резко перебил Федоровский.— Я запрещаю...

Пусть брат обманет брата. Пусть сын отречется от отца. Пусть все мы будем жить в страхе,— так Он хотел и завещал.

Чем выше возвеличивали мы его, тем более мельчали сами. Неравенство одного сделалось неравенством всех. Спешили донести друг на друга и сами не заметили, как выросла колючая проволока между согражданами.

...Герои поедом едят друг друга. Стон стоит... Но я же автор, не смею допустить этого. Я должен их переубедить, я зову, я кричу, но они не слышат меня, в том и состоит наше проклятие, что мы перестали слышать других, хотя говорим на одном языке.

Мы украшали его, а сами стали конопатыми. Сначала он законопатил нам мозги, а вслед и душу,— так он хотел и завещал.

Поэты воспевали его кремлевское окошко, светившееся до утра. А он не спал от страха. Но приносили списки, меченые крестом. Он подписывал их и засыпал мертвецким сном вурдалака, а над Россией занималось новое кровавое утро Стрелецкой казни.

Тебя давно нет, а облик твой чем дальше, тем страшнее. На поверку выяснилось, что ты был пустым и дутым, как этот монумент. Мы цитировали тебя со слезами на глазах, а ныне не можем вспомнить ни единого слова.

О тебе рассказывали многое, но еще не сказали всего. Потребовалось 20 миллионов жизней, чтобы правда о тебе выплыла наружу — такова горькая цена нашего прозрения.

Нас ткнули носом в кровь.

Будь проклят, постылый и конопатый. Пусть наши дети не знают тебя, пусть твой сын проклянет тебя в свой смертный час за то, что ты сам отрекся от него, пусть твоя дочь уйдет из дома, лишь бы дальше от тени твоей, пусть внуки твои будут стыдиться носить твое имя и переменят его.

Тебе не воскреснуть. Ты вычеркнут из нашего будущего. Так мы хотим, так завещаем!

— Нет, товарищ Федоровский. Я еще не кончил. Наконец-то вы открыли свое нутро,— скорбно объявил Лев Шкунаев.— Я давно догадывался, что вы против демонтажа, но вы до сих пор умело маскировались.

— Не волнуйтесь, генерал, я за демонтаж. Меня не устраивает другое...

— Разумеется, вас не устраивает наш демонтаж, вы слышите, товарищи демонтажники.— Лев Поликарпович застонал от скорби.— Они, видите ли, увидели недоделки. Да мы же ведь первые в мире. Мы пробиваем дорогу в будущее, мы идем вперед неизведанным курсом, мы прокладываем светлый путь другим континентам и народам, отсюда наши отдельные трудности. Но я с полной ответственностью заявляю: наши недоделки лучшие в мире.

— Я за демонтаж,— отважно парировал Глеб Романович.— Но не за ваш.
— Какой же демонтаж вас устраивает, если не секрет?
— Я за демонтаж с человеческим лицом,— бухнул Глеб Романович, собрав все свои силы.
— Ай-ай, вы только послушайте, что он говорит? — удивился столб голосом Льва Шкунаева.

Глеб Романович стоял, стиснув кулаки, губы его мелко вздрагивали, он собирался ответить Шкунаеву, но еще не знал, что, ибо сказал все, а это значит, что он сегодня не пошлет письмо Вике, если она не раздумала, пусть приезжает, прошлое не должно стоять между нами, Матвей Румер издалека показывал Федоровскому большой палец и даже прикрыл его ладошкой, посыпая солью. Стригунчик сделал большие глаза, демонстрируя осуждение и полное неприсоединение. Вера Васильевна, наоборот, собиралась захлопать в ладошки от восторга, однако же не решалась без соответствующего указания свыше, ибо продолжала мечтать о великой любви, которую уже почти нашла, но еще не знала — к кому, то ли это Бурич, то ли Телятников, а может, сам товарищ генерал. Аркадий Бурич судорожно раскрыл альбом и принялся делать набросок человеческого лица, принадлежащего всему человечеству. Егор Телятников также пребывал в экстазе и уже собирался ударить по струнам, приветствуя мужественное заявление главного инженера, но гитара оказалась в некотором отдалении от него, рука все тянулась и никак не могла дотянуться. Влас Королев скривил рожу и высунул язык, показывая тем самым — вот какой у нас демонтаж. Лидия Сомова стояла с бесстрастным лицом, ибо дева-Воительница была выше всего этого. Майор Миров с готовностью подскочил к Федоровскому, дабы пресечь его провокационное заявление, направленное не только против генерала Шкунаева, но против всей Небывалой ночи. Майор Тихов с другой стороны, также готовый к полной конфискации души. Однако оба не решались действовать без команды.

Словом, все персонажи приняли исходное положение для дальнейшего действия. Над Главной площадкой воцарилась переходная тишина. Мы все ждали команды свыше, а откуда — сами того не знали.

Тогда вдруг вскинулась левая коленка, как бывает, если по ней стукнуть медицинским молоточком. Но коленка была уже старая, полуразобранная, на удар молоточка реагировала вяло. Зато глотка у нее оказалась луженая.

— Ну и контора,— внятно сказала коленка гремучим медным голосом.— Шараж-демонтаж.

И опять тишина. Мы молчали, потрясенные. Никто не двигался с места.

44. Снова остались без постамента. Третий звонок

Застыли работающие машины, отключились моторы. На площадке сделалось оглушительно тихо, лишь потрескивал дымящийся луч прожектора. Моросящий дождик перешел в неслышный снег, большие декоративные снежинки замедленно кружились в кадре.

— Тишь-то какая,— со вздохом произнес чей-то женский голос.— Благодать.

Из густоты ночи сквозь опадающие звуки моторов прорезался новый звук, еще неясный, неопытный, но уже требовательный и беспрекословный. Он то слабел, то усиливался, то вовсе гас и снова всепобеждающе вспыхивал, как огонек, раздуваемый ветром судьбы. А может, то волна накатывалась на берег и уходила обратно в темноту времен? Это был зов вечности. В тот же миг словесный спор, привязанный к сиюминутности, был выброшен не звуковую свалку памяти, ибо всем на Главной площадке сделалось ясно, что это плачет ребенок, до того мирно спавший под грохот демонтажа и разбуженный во время демонтажной перебранки.

Первой опомнилась Вера Васильевна Троицкая.

— Дитя кричит! Оно где-то там, среди развалин,— вскрикивала она, указывая рукой в глубь разделочной площадки.

— Я здесь!

Катя показалась среди железных балок, выйдя с той стороны, где торчал остаток погона. На руках у Кати был небольшой сверток.

Строй действующих лиц сломался, окружая Катю полукольцом. Катя подошла к генералу Шкунаеву и протянула ему горланящий сверток.

— Это вам,— почти весело сказала она.
— Почему вы решили, что именно мне? — резко спросил Лев Шкунаев, хотя никак нельзя было сказать, что он удивлен, во всяком случае нисколько не растерян.— Каким образом этот младенец вообще проник сквозь оцепление?
— Идет выяснение,— доложил майор Тихов.

Вера Васильевна живо подскочила к Кате и приняла сверток в свои руки. Младенец замолчал.

— Ты мой пупсик, ты мое солнышко, ах, какой хорошенький,— сюсюкала она, осторожно откинув уголок полотняного конверта.— Какая прелесть. Аркадий Евгеньевич, вы только посмотрите, это же вылитый вы.

Бурич шагнул, глянул, изрек:

— Я своих детей произвожу на свет несколько другим способом. Из другого материала.

Лидия взяла младенца, покачивая его.

— Лапулечка-сладулечка-крохотулечка,— запела она.— Однако, по-моему, он похож сразу на товарища Федоровского и товарища Шкунаева. От товарища Федоровского брови, а от товарища Шкунаева нос и лобик.
— Тут что-то есть,— глубокомысленно заметил майор Миров.
— Что есть? — пытливо поинтересовался Лев Поликарпович.
— Я знаю,— крикнул Телятников.— Должна быть записка. Так полагается по правилам.
— Произвести досмотр,— командовал Лев Поликарпович.

Майор кинулся к младенцу, но женщины опередили его.

— Мужчинам нельзя. Тут необходима тонкость.— Лидия ловко заработала руками.— Поздравляю: мальчик! К тому же мокрый. Надо отнести его в тепло и перепеленать.

Записки обнаружено не было. Младенец вновь заплакал, растревоженный чужими руками.

— Как же его зовут? — торжественно начал Глеб Федоровский.— Если присутствующие не возражают, я возьму мальчика к себе и воспитаю его.
— Только при том условии, если вы подпишете акт,— решил Лев Шкунаев.
— Нет, он мой! — вскричала Вера Васильевна, протягивая руки к младенцу.— Я назову его Осей.
— Дайте мне, я воспитаю его истинным патриотом,— говорила Лидия, прижимая сверток.— Все-таки я живу в столице.
— Я нашла его первая,— заявила Катя,— и никому не отдам!
— Катя! — вскричал Румер,— я одинок и никогда не имел детей. Поэтому отдайте его мне, и это будет как бы от вас.

Конец полосатого одеяла свесился с руки Лидии. Бурич подобрал одеяло и увидел вышитую эмблему: «Л».

— Признаешь свою вещь? — спросил Бурич, подходя ко Льву Поликарповичу.
— Кто их разберет? — отозвался Лев Поликарпович с ленцой.— Это не моя проблема. Это Лаврушина вышивка.
— Значит, это все-таки Ляля? — тихо спросил Бурич.

Перед Шкунаевым вырос майор Миров.

— Удалось установить, каким образом прибыл на площадку данный младенец?
— Так точно, товарищ генерал. Налицо вещественное доказательство.

Майор дал знак. Луч прожектора дрогнул и лег к основанию постамента, высветив круг пространства на дальней аллее, где догорал костер. В дымящемся круге света и снега стоял двухосный грузовик с высоким кузовом, обшитым броневыми плитами, окрашенными в грязно-черный цвет. Краска

местами облупилась, крылья мятые, резина лысая — таков был этот «воронок», старая заезженная машина, видно, добросовестно потрудилась на своем веку, всасывая в свое чрево жаркую человеческую плоть. Еще можно было прочесть выцветшую рекламу на боку: «Госстрах... выгодно, надежно...» Задняя дверь «воронка» была распахнута настежь.

— Способ доставки? — вопрошал Шкунаев.

— По всей видимости, он спланировал. На земле не обнаружено никаких следов. Номер машины — не наш.

Лев Поликарпович поморщился. Придется заносить в отчет, пойдут вопросы. Не хотел бы я сейчас быть на моем месте. Удары сыплются с самых неожиданных сторон. Ляля роковая женщина, боюсь, что нас и смерть не разлучит. Такие женщины рождаются один раз в полвека. Что бы она ни сделала, не посмею ни наказать ее, ни прогнать. Могу лишь помнить и хранить. Она и сейчас со мной, наша последняя ночь у подножия Ай-Петри. Какая музыка! Запись той ночи молитвенно храню под левым каблуком в микрокассете — так и щекочет, так и щекочет...

— Вы что-то сказали, товарищ генерал? — спрашивал порученец Миров.

— Боюсь, что этот «воронок» пустым обратно не уйдет.

— Кого прикажете погрузить?

— У нашего демонтажа уже появились саботажники,— с тревогой в голосе проговорил Шкунаев.— Мы решим этот вопрос. А ты что скажешь, Аркадий?

— Младенец прибыл весьма своевременно,— бодро отвечал Бурич.— «Воронок» нам пригодится. Погрузим на него левое колено.

— Идея,— оживился Лев Поликарпович.— Запишем эту дрынду как приданое транспортное средство. Поскольку самосвалы Гидростроя перестали поступать, пришлось применить для вывозки остатков «воронок». Но что делать с младенцем?

— Поздравляю, Лев, в одну ночь ты заимел сразу двух сыновей. Это колоссальный успех. Перед ним меркнут все демонтажи. Это уже не судьба, это рок. Ты носитель рока.

Услышав, что говорят о нем, младенец заплакал.

Раздались голоса:

— Он же мокрый. Скорей пеленать.

Возбужденно переговариваясь, все двинулись к вагончику Наумова, где горела печка и чайник уже закипал.

В вагончике тотчас сделалось тесно, пришлось устанавливать очередь желающих видеть младенца. Женщины знали свое дело. Младенец вел себя послушно и замолчал, едва ему дали соску.

Бурич и Шкунаев остановились у вагончика. На улице слезился редкий снежок. За дальней аллеей, в глубине парка гулко ухнуло, будто там рвали парусину и тут же в зенит вонзилась огненная игла, то ли прожектора луч, то ли ракетный след. Лев Шкунаев вороватo перекрестился.

— Свят, свят, слава богу, удалили меченую машину.

— Интересно, куда ты денешь три грузовика, о которых сказал Наумов? Ведь их схватили. Водители все расскажут...

— Это не мои машины. В Зареченске у нас стоял литой Вождь и Учитель, лучший друг рыбаков. Восемь тонн бронзы. Они его распилили и хотели сбыть. А мне не доложили. Я нарочно Наумова на них навел. Моя докладная уже готова.

— Где голова, Лев? Где голова? Надеюсь, ты понимаешь, что со мной такие штучки не проходят.

— О голове ты еще услышишь, я тебе обещаю. Я теперь по всем статьям чист.

— Как сказать, Лев,— с нехорошей усмешкой заметил Бурич, вглядываясь в лицо приятеля.— А ну-ка, повернись щекой. Так и есть.

— Что там? — испуганно вопрошал Шкунаев.— Неужто он?

А на правой щеке генерала развивалось и цвело изображение товарища Самина. Сами видите, Лев Поликарпович первым догадался об этом, значит, он предчувствовал что-то в этом роде — вот какая тонкая натура.

— Аркадий! Что делать? Спаси меня. Я сам теперь меченый. На меня перешло.

— По-моему, тебе очень идет.— Бурич только посмеивался, разглядывая Льва Поликарповича.— И вообще это очень удобно. Сразу видно, кто есть кто.

— Аркадий, умоляю. Как же я теперь на людях?..

— Попробуем сделать повязку. Или пластырем заклеим.

— Неужто ничего нельзя придумать? — стонал Шкунаев, держась рукой за меченую щеку.

— Хорошо, я спасу тебя. Скажи, ты что-нибудь чувствуешь? — Бурич дотронулся до шкунаевского лба, а там уже распускалось новое изображение Вождя и Учителя.

— Абсолютно ничего. Слегка пощекотывает, но совсем слабо, я бы и внимания не обращал. А теперь на меня пальцем...

Изображения были совсем небольшими, три на четыре, как на служебном пропуске. Но вот вопрос: насколько они устойчивы?

— Внимание, Лев. Спасаю! — Бурич отдернул руку.— Ругай его.

— Вслух или про себя?

— Можно молча. Но крепко.

Шкунаев судорожно шевелил губами, словно молился. А изображение на лбу не уходило. Лев Поликарпович перевел дух.

— Ну, как?

— Увы. Ты делаешь это неискренно. Крой его!

Дверь вагончика распахнулась. Оттуда выглянула Лидия.

— Где вы? Мы без вас не можем придумать имя младенцу.

Бурич замахал руками, Лидия скрылась.

Лев Поликарпович побагровел от натуги. Эта была уже не молитва, не мольба, даже не заклинание. Это был безмолвный вопль души, исторгнутый из сердца.

И что же вы думали? Помогло. Вот что значит опыт. Изображение померкло и отлетело от высокого шкунаевского лба. А на правой-то щеке тем более ничегошеньки не сохранилось, лишь единственная склеротическая жилка мерно пульсировала там, где только что был ус товарища Самина.

— Браво, Лев. Ты чист. В сущности, это доступно каждому. Трудно по первому разу. А дальше само пойдет.

— Но почему тебя не задело? Ты-то всегда сухим из воды... — но почему?

— Не знаю,— Бурич пожал плечами.

— Зато я знаю. Ты никогда не любил его.

— Увы, Лев. Я его боялся.

— А я любил. По секрету, Аркадий. Столб в небо вонзился. Это мне сигнал был. Значит, и на Главной площади Его в эту минуту прикончили. Хана! — плечи у него опали, голос поблек. Бурич нежно погладил друга, утешая его.

— Лев, береги себя. Ты еще нужен твоим друзьям.

— Нет справедливости,— гневался Шкунаев.— Одним все, другим ничего...

Бурич оторопело уставился на свой указательный палец. На лице возникла гримаса боли. Палец не сгибался, стоял торчком.

— Не страдай, Лев,— с глубокой печалью сказал он.— Вот и мне пришел черед.

— За пальчик страдаешь? — усмехнулся Шкунаев, внутренне веселея.— Смотри-ка! Указывает прямо на Полярную звезду.

— Он же не сгибается. Я же работать не смогу. Как я буду Деву лепить? А он застыл! Это нехорошо.

— Наймешь батраков и будешь давать им указания своим драгоценным пальчиком.

— Придется ехать в Нью-Йорк на лечение... В крайнем случае пойду в авангардисты.

— Ой, щеку жжет,— причитал Лев Шкунаев.

Тут и раздались еще более нежданные слова.

— Эхма! Был монумент, а стал пустомент. Да еще дырявый!

Так говорил и скреб себе затылок Влас Королев, с укоризной разглядывая

трещину, пробежавшую вдруг по боковой стене постамента. А может, она и не вдруг появилась, но исподволь, пока шли выяснения отношений, но так как стена-то боковая, то снизу и вовсе было не разглядеть.

Теперь же подошли ближе и глянули. Мать честная! Словно молния наискосок ударила в постамент, да так и застыла, присохнув к камню. Трещина шла от самого верха постамента, вонзаясь в него под углом ломаной стрелой и разветвляясь к основанию паутиной отрогов.

— Так, так! — злорадно затакал Лев Шкунаев, поднимая свою ослабшую голову.— Вот видите, что получилось, товарищ Федоровский. Не дали вовремя победный рапорт, оно и треснуло. Теперь пойдет морока: комиссии создавать, писать объяснительные записки, чего доброго, следствие начнется.

— Давайте свою комиссию,— потерянным голосом отвечал Федоровский.— Для начала пойдемте хоть сами посмотрим.

— Там света нет,— заметил Бурич,— чего вы там увидите?

— Зачем нам свет?

— Скорей в постамент, там света нет,— вскричали женщины, берясь за руки и увлекая за собой мужчин.— Вперед без колебаний. Это так волнует.

Вагончик вмиг опустел. Мужчины сопротивлялись недолго. С младенцем остался Матвей Румер, которому никто не протянул руки. Румер неловко пытался поправить соску. Потом махнул рукой, достал из кожана бутылку, сам пососал. Младенец лежал на лавке.

Румера разморило от жизненных неудач, обрушившихся на него не только сегодня, но и вчера, неделю и год назад. И завтра те же неудачи будут рушиться на Румера, ничего не попишешь, такова жизнь, поэтому отхлебнем еще.

Сквозь ленивую полудрему Румер не сразу различил звонок, ему казалось, он маленький, его зовут звонком на урок и вся жизнь впереди. Требовательный звонок повторился.

— Алло,— Румер взял трубку.— Я слушаю. Москва? Ага, Москва! Давай ее сюда. Румер слушает.

— Что у вас происходит, товарищ Румер? — спрашивал звонким голосом Никита Сергеевич.

— Почему это вы у меня об этом спрашиваете? — возмутился Румер.— Может, вы сами сначала объясните, что там у вас происходит? А у нас тоже самое, что у вас. С кем я говорю?

— Товарищ Румер, почему от вас до сих пор не поступило никакого рапорта о досрочном завершении работ, хотя у вас находится Главная площадка? Я спрашиваю вас, товарищ Румер. Говорит Никита Сергеевич.

— В таком случае, Никита Сергеевич, позвольте сначала вас спросить — где колбаса? Объявили демонтаж, а колбасы не запасли для работы, даже закусить нечем, с огромным трудом сто грамм, а если я жажду повторения, потому что у нас снег идет и муть кругом, я ему говорю: «внимание, снимаю вас для истории», а он отбирает у меня фотоаппарат, потом они засвечивают пленку, конфискуют магнитофон, меня не пускают в эфир, вместо этого я получаю повестку с вызовом в комнату номер восемь, так как у них во время опрокидывания убило Буренку, и все ее мясо через два часа тю-тю, а еще раньше прокололи баллоны и слямзили медную голову, которая была такая мудрая, что в ней ни одной ошибки не было, а теперь все эти ошибки свалили на Румера, ведь я безответная лошадь и всегда говорю, что мне скажут сверху, я же правильно расставил аплодисменты, но все равно погорел вместе с Сидором Сидоровичем и был брошен в эфир, так я вам скажу, в эфире порядки оказались такие же липовые, теперь они и треснувший постамент мне пришьют, потому что на бедного Румера все шишки валятся. Что с постаментом, спрашиваете? Ничего с ним не сделается, стоит себе на месте, залижут трещину, опять будет как новенький, хоть вас туда поставят, но этого я вам не говорил, Никита Сергеевич, это не для печати, ах, значит, вы мне разрешаете говорить не для печати, тогда я скажу, а вот дать такую команду, чтобы меня напечатали, если я что-нибудь не для печати напишу, это вы можете? Как что? Ну про сегодняшнюю ночь, естественно. Прошу у вас, Никита Сергеевич, хотя бы один подвал и две фотографии. И тогда я скажу, что жил и работал не напрасно. Ах, вы тоже не можете? Зачем же вам тогда о постаменте заботиться? Вот назвали вы нас автоматчиками пера, а стрелять дасте только холостыми патронами, нет уж, вы меня слушайте, коль спрашивали, не я вам звонил, вы сюда позвонили. Я вас не боюсь, нынче не те времена. Что мне нравится, то вам и скажу. Они закончили демонтаж, но при этом главный инженер совершенно справедливо обнаружил 44 недоделки, и тогда я говорю, не подписывай эту липу, Румер еще никого не обманывал, кроме самого себя, да не волнуйтесь вы, ради бога, последнюю фуражку отвезли на последнем бронетранспортере, накладные будут получены на все части тела, это ведь главное, чтобы сошлось на бумаге, исключения, конечно, есть, но они не типичны, например, плавильные печи не зажигаются, вот я и говорю, переплавим наши души, в противном случае он отпечатается на нас самих, как у этого лощеного нахала с генеральскими погонами, у него на разных частях тела, в том числе и на самых интересных, обнаруживаются изображения товарища Самина, теперь придется делать ему припарки. Как это я вру? Я работник советской печати, а это самая справедливая печать в мире, вы сами об этом говорили. Так что извольте верить. Да не волнуйтесь вы, вам говорят. Кто говорит? Румер говорит. Я вам обещаю, снег к утру все засыплет, будет чисто и гладко, так и передайте своим коллегам: виноватых нет, кроме Румера. Еще один такой демонтаж, и Россия не выдержит, потому что никто не может объяснить, что кругом происходит. Если завтра мне скажут написать передовую в номер, я сяду и напишу передовую, там будет все объяснено как надо, будьте уверены, стилем владеем. А вот когда я сам читаю такую же передовую, написанную другим, то все сразу становится непонятно, больше того, необъяснимо. Вот видите, и у вас точно такое же ощущение, а как же иначе, Никита Сергеевич, мы же с вами оба русские. Нет, я еще не все сказал, меня тут бросили наедине с младенцем, как какой, без имени, без метрики, самый натуральный подкидыш, который неизвестным образом проник сквозь оцепление на «воронке», вот они и задумали сделать из меня няньку, потому что я ни на что другое не способен, а пункт приема посуды опять закрыт на учет, что это за страна, я у вас спрашиваю, которая не в состоянии принять у населения посуду, с посуды надо бы начинать, а не с монументов, что я могу в таких условиях передать в эфир, только то, что вчера передавал, но я никого не хулю, и моя родина это моя родина, пусть у нее 44 недоделки, но это есть родина, и вы от нее никуда не денетесь, здесь нас вынянчили, в эту землю нас закопают, я инвалид войны, мне кисть перебило и еще кое-что, так почему я два раза в год должен проходить переосвидетельствование, будто рука или что-нибудь другое у меня может снова вырасти, где тут логика? Я вам доложил до винтика, теперь хочу спросить: а где гарантии? Как чего? Гарантии всего. Чтобы завтра у нас не было, как вчера. Как вы сказали? Гарантия — это я! Спасибо вам, Никита Сергеевич. Но я вам скажу: ха-ха, меня душит смех. А нельзя ли устроить так, чтобы вы были отдельно, а гарантии были отдельно. Тогда я был бы исключительно спокоен. Алло, алло. Вы меня слышите?

Никита Сергеевич, привыкший к почтительной трепетности хороших телефонов, сквозь треск мембраны и косноязычие отчаявшегося Румера сначала не мог уяснить, с кем это его соединили, но потом стал сопоставлять некоторые уже дошедшие до Москвы факты с услышанным и почувствовал, что нагревается от гнева, который, бывало, бесконтрольно взвивался в нем, и тогда горе говорящему — разражалась буря, требовавшая многочасового успокоения. Но устраивать скандал с телефонной трубкой было неразумно. Никита Сергеевич пытался остановить непочтительного говоруна, чтобы ввести разговор в управляемое русло, но вместо этого неожиданно сам вовлекся в маловразумительный поток, почувствовав в нем некую силу. Однако согласиться с услышанным Никита Сергеевич никоим образом не мог, а прикрикнуть никак не удавалось, потому что Румер пер вперед танком.

Никита Сергеевич тихо и осторожно положил трубку на аппарат. Он больше не мог этого слушать, а возразить было нечем. В эту ночь отовсюду поступали жизнерадостные уверения, одно краше другого, все кочаны капусты расколоты, морковь убрана, семечки всюду перещелканы — и надо же, один неподготовленный разговор мог отравить впечатление от всей Небывалой ночи. Они уже совсем распоясались, выходят из-под контроля. И вообще, они

еще не созрели для освобождения, сразу начинают хамить, мы явно поспешили с демонтажем. Нет, нет, никакой поблажки на будущее... Никита Сергеевич действовал всегда решительно и считал себя великим историческим деятелем, не догадываясь о том, что в основе его решительности всегда лежала половинчатость, что впоследствии и погубило его самого.

Никита уже собирался учинить разнос Большому помощнику и вызвать назавтра в Москву Наумова с докладом, но раздался своевременный (и заранее подготовленный) звонок из одной восточной области, Никита Сергеевич истерзанным ухом приник к телефонной трубке, слушая благодатные живительные слова.

— Куда вы смотрите? Где ваши гарантии? — гневно продолжал кричать в трубку Румер.— В Назаровской слободе жители до сих пор ходят за водой за два километра.

Но Матвей Румер кричал самому себе. Поднявшийся в вагончик телефонист взял отводную трубку и сказал с усмешкой:

— С кем ты разговариваешь? Это же пустая трубка.

— Ага! Сбежал? — торжествовал Румер.— Я ему выдал по-нашенски, так ему и надо. Выпить хочешь?

— С кем ты говорил по московскому телефону? — спросил лопоухий телефонист.

— С самим! — Румер поднял искалеченную руку и показал в потолок.— С Никитой.

— Так он и станет тебя слушать!

— Слушал, как миленький. Выдал ему на полную катушку. Много, говорю, вы на себя берете. Я, говорит, всех спасу. А я ему по-нашенски: если мы сами не спасемся, то и царь нас не спасет. Так и сказал. Честно. Он подумал и отвечает: сразу видать государственного человека, как ваша фамилия? Ждите вызова из Москвы, беру вас в свои советники. А я ему в лоб — а свободу мне можете дать? Он сразу задумался. Связь подвела. Сам знаешь, как у нас — на самом интересном месте. Если еще будет вызывать, зови меня сразу, я ему еще что-нибудь посоветую. За твое здоровье.— Румер сделал большой глоток, и жизнь показалась ему прекрасной и безбрежной, как эта ночь.

— Где же все? — громко удивился Румер, оглядывая пустой вагончик.

Но ему никто не ответил, вопрос повис в воздухе. Телефонист равнодушно посапывал в углу. Румер глянул в окошко на голые деревья, за которыми скрылись остальные персонажи. На деревьях всюду висели знаки вопроса, раскачиваемые финальным ветерком. С ближнего тополя вопросы свисали гроздьями. Румер протер запотевшее стекло, но все оставалось по-прежнему — сплошные знаки вопросов. Кто? Когда? Где собака зарыта? Во всей округе не наблюдалось ни одного знака ответа.

Матвей Румер с досадой махнул рукой, поболтал в воздухе флягой. Но и там было пусто. Один из знаков вопроса на ближнем стволе с легким шорохом распрямился и сделался двоеточием. Если бы еще знать: о чем он был?

Во сне, распустив губы, всхлипывал неопытный младенец. А вопросы продолжали сыпаться, как из продырявленного мешка:

— Где? Когда?

— Разве не видишь?

— Чья работа?

Румер глянул в запотевшее окошко. Рабочая площадка была заполнена тревожным светом и гулом. Люди плотно стояли у отрезанной шеи, как бы стараясь держаться друг друга — и все смотрели наверх. Это и была толпа вопиющих. Матвей Румер пулей выскочил из вагончика и тоже голову задрал.

Мать честная! Над Рабочей площадкой, мерно покачиваясь, висела медная голова. В лучах прожекторов отчетливо просматривалась каждая щербинка, каждая царапинка, полученная во время транспортировки. К правой щеке прилипли остатки марли. Из отрубленной шеи свисали и развивались по ветру розовые тесемочки.

Мы потрясенно молчали, ибо все мучительные вопросы наконец-то иссякли.

— Смотрите,— пронеслось шепотом.— Она как раз на том самом месте.

— Но в другую сторону...

И впрямь. Медная голова висела строго над постаментом на оси опорной колонны — и точно на той же высоте. Только была развернута ровно на 180 градусов — раньше голова смотрела на реку, а теперь повернулась к нам, в сторону эстрады, где продолжал трепыхаться транспарант: «Вперед, к демонтажу!».

Матвей Румер приблизился к Федоровскому, торжествующе зашептал на ухо:

— Я предупреждал: не задавайте лишних вопросов.

— Когда ты об этом говорил? — бесполезно удивился Федоровский.

А медная голова и не думала покидать свое место. Более того, она обрела устойчивость, висела неподвижно и строго. Лишь тесемочки игриво порхали в воздухе.

На чем же она все-таки держится? Ведь опорную колонну-то мы уже выдернули.

Первым опомнился Лев Шкунаев:

— Огонь из всех видов оружия! Заставить ее приземлиться. Во что бы то ни стало.

Послышались одиночные пистолетные выстрелы, короткая очередь из автомата. Куда там. Медной голове хоть бы хны. Мигнув правым глазом, голова стала быстро уходить на юго-восток, за реку. Луч прожектора уже не доставал до нее, но голова еще светилась рыжим пятном, постепенно превращаясь в точку, потом и вовсе исчезла.

Сверху спланировала розовая тесемка, мягко приземлившись у ног Льва Шкунаева. Лев Поликарпович ловко наступил на тесемку башмаком, чтобы она не улетела дальше.

А с другой стороны послышался рокот моторов. На площадку выкатывалась колонна грузовиков.

— Товарищи демонтажники,— сказал Федоровский усталым голосом.— Прошу вас приступить к демонтажу. Мы опять отстаем от графика.

Владимир БРИТАНИШСКИЙ



◆◆◆

В чащобах памяти кого не встретишь вдруг!
Тех, с кем увидеться душа и не мечтала.
Вот Шурка Траугот, по прозвищу Сундук,
читает Хармса нам и тут же Мандельштама.

Читает без имен. Мол, был один такой.
А был еще такой. Нисколько не похожи,
но оба хороши. А год — сорок седьмой.
Вот Шурка. Вот Остап, веселый и смешной.
А неприятности у них начнутся позже.

Июльский жаркий день. Вот лодка. Вот черпак.
Вот Ладога вдали (не озеро, а город).
Вот Шуркина башка, поистине чердак,
где всяческих стихов хранится целый ворох.

И Шурка, и Остап — пока что в ЦХШ
(обоих исключат), в художественной школе
при Академии.
Штришок карандаша —
шарж на меня готов.
— Ну, что, подпишешь, что ли?
— Нет, нет, не подпишу! —
Ведь Шурка в школе — ас,
а это просто так, неряшливый набросок.
Нам — по четырнадцать, а Шурка — старше нас,
и все, что он прочтет, хоть Мандельштам, хоть Хармс,
запомним наизусть. Не задаем вопросов.

Стихи — секретные, и это — *наш* секрет.
Как некий тайный клад. Как тайный вход в пещеру.
Еще должно пройти семь-восемь-девять лет,
Покуда имена вернутся в ноосферу.

Мы слушаем стихи. Пока что без имен...

Вечер встречи

Радиола умолкла. Вышли.
Вечер кончился.
— Ну, пока!..

Здесь, как шелковых, многих вышколили.
И чему-то учили, слегка.

Нас учили, сияя плешинами,
опыт жизненный подытожа,
быть послушными и прилежными:
мы, мол, были такими тоже!

Педагоги с солидным стажем,
век проспавшие,
в детстве впавшие,
вы внушали почтенье к старшим —
ну, так здравствуйте, наши старшие!

Коридоры, с которыми свыкся.
Зал. Огромный, в районе лучший.
И поэт довоенного выпуска
нам читает стихи на случай.

Перешептыванья, пересмеиванья.
— Как другие?
Женаты ли?
Живы ли?..
Обстановка совсем семейная:
семьи тоже бывают лживые!

Мы не знали мечтаний, споров
и каких-то там интересов.

И вопросов,
таких, о которых
много думать — головы треснут!

Но ведь вечер — это ж традиция!
Да и трудно ли: раз в году!
Не годится вдруг загордиться.
Обязательно снова пойду!
1955

Баллада о Страшном Суде

За скудный хлеб, за трудный пот,
за годы скорби и невзгод
сулили райский сад,
твердили: Судный День придет —
и мертвых воскресят.

И душу вытрясут до дна,
и взвесят все твои дела,
и участь праведных — светла,
а грешников — страшна.

И Судный День пришел в свой срок,
но поздно, поздно, как всегда:
ступившие за *тот* порог
не имут правды и суда,
и все хулы,
и все хвалы
уже не то чтобы малы,
а попросту — не в прок!

Да, тем и страшен Страшный Суд,
что убиенных не вернут
ни зов трубы,
ни вдов мольбы,
ни то, что жалкие рабы
венки посмертные плетут
на лбы,
которых нет.

А трубный глас —
ведь он для нас,
он призывает нас хоть раз
стереть холопства след.
Судить пора настала тех,
кто Грех перекрестил в Успех,
кто никаких не знал помех
для дьявольских своих утех,
кто кровью застил свет!
1956

Смерть поэта

Когда страна вступала в свой позор,
как люди входит в воду — постепенно
(по щиколотку, по колено,
по этих пор...
по пояс, до груди, до самых глаз...),
ты вместе с нами шел,
но ты был выше нас.
Обманутый
своим высоким ростом
(или — своим высоким благородством?),
ты лужицей считал
гнилое море лжи.
Казались так близки
былые рубежи,
а имена —
так свежи!..
Но запах гнилости
в твои ударил ноздри.
Ты ощутил чутьем —
так зрение обострн!
И вот в глаза твои,
как в шлюзы,
ворвалась
вся наша будущность,
где кровь
и грязь
и власть —
все эти три — как названые сестры!
Твой выстрел —
словно звук захлопнутых дверей:
хоть на пороге, но — остановиться,
не жить,
не мучаться проклятьем ясновидца!
Закрой глаза, поэт!
Захлопни их скорей!
Ты заслужил и жизнь и гибель сложную.
Собой ли, временем ли был обманут,
не сжился с ложью —
вымирай, как мамонт!
Огромный, обреченный, честный мамонт.
Непоправимо честный.
Неуместный.
1956

Александр
КАЗАНЦЕВ



◆◆◆

Дерзновенный праздник света,
Хоть гроза невдалеке.
Неизменный признак лета —
Стрекоза на поплавке.

Над прудом не слышно ветра.
Как слеза, чиста вода.
Все кругом живет, не веря,
Что гроза идет сюда.

Птахи весело-наианы —
Величальный посвист льют.
Страхи призрачны, но ивы
Все печальней смотрят в пруд.

Фантастическое

Где космоса жутки глубины,
Где мгла и губительный хлад,
В округлой скорлупке кабины
Они а неизвестность летят.

Вокруг астероидов ралли,
С которыми астреча страшна.
Во всей этой звездной спирали
Их двое: лишь Он и Она.

Но ветаи лопочут листами,
И птахи влетают в жилье,
Когда Он находит устами
Горячие губы Ее.

А где-то астролог безвестный
Испарину вытрет с чела,
Найдя вдруг в пустующей бездие
Могучий источник тепла.

Клещ

Искорежен энцефалитом,
Доживает он век инвалидом,
Оправданье себе ища
Даже в давнем укусе клеща.
Пишет письма в большую прессу:
«Воевать-то и я бы смог —
Не для собственного интересу
Этот лагерь в тайге стерег.
А о зековских серых стаях
Не болели мои мозги:
Раз иазвал их врагами Сталин —
Для меня они лишь враги.
Ну а как же: была присяга
Да под сенью родного стяга...
Жертвы культа? А я при чем?!
Я и так заклеймен клещом!..»
В магазин ветеранский сходит,
Продуктовый возьмет паек,
Снова строки письма выаодит,
Что-то лагерное поет.
Затаиться бы тише мыши,
Средь внучат отмякать душой,
Так ведь нет же — письмо подпишет...
Вот фамилией лишь чужой.
Так живет он, от хвори желтый,
Давним злом изнутри сожженный,
Благодушьем страны прощен.
...Только память впилась клещом!

Притча о воронах

От грая ворон никакого житья —
Весной он по гнездам палил из ружья.
У тварей горластых, знать, совести нет,
Коль спать не дают, подымают чуть свет.

Осыпались прутики, пух и трипье —
Покинуло бор навсегда воронье.
Когда же пожар занимался в бору,
Никем не разбужен, он спал поутру.

А в солнечный полдень его похорон
Слетелась орущая стая ворон...

Лидия
ЧУКОВСКАЯ

ЗАПИСКИ ОБ АННЕ АХМАТОВОЙ

Том 1

1938—1941

3 июня 40.

Я приезжала в город за продуктами и по всяким делам. Освободилась поздно и позвонила Анне Андреевне вечером от Туси. Она попросила прийти. Она асе еще сильно расстроена статьей О., обдумывает, встретаться ли с ним самой или передать свои соображения через Катю.

— Посоветуйте, самой или через Катю?.. Конечно, мнений его и оспаривать не стану, но укажу на фактические ошибки.

Памятуя об изобилии сердечных припадков, я посоветовала ей говорить с О. не лично, а через Катю. А то скажет ей этот ложноклассический мудрец мельком какую-нибудь новую глупость, а она потом сутками анутри себя будет опровергать ее. (Между прочим, у меня мелькнула мысль: не из этой ли способности сосредоточенно полемизировать, опровергать, изобличать рождаются ее любовные стихи, такие раскаленно-драматические? Но это — мельком. Надо было дать совет о статье.)

Я настаивала на ее встрече с Катей.

— Вы правы, через Катю было бы лучше, но, как это аи странно, Кате статья нравится. Она так погрузилась в саою рабочую сутолоку, что ничего уже не понимает. Я давно заметила: женщины, если у них есть профессия, служба, превращают ее для себя в настоящие шоры [61].

Пожаловалась, что ей звонит Каминская, которая собирается устроить вечер поэзии Блока и Ахматовой и осведомлнется, имеет ли Анна Андреевна что-нибудь против? [62]

— Разумеется,— асе. Посоветуйте, что сказать ей, чтобы она не обиделась.

— Блок и Ахматова — очень уж неверное сочетание,— сказала я.— Да и вообще — никогда не следует в один вечер исполнять стихи двух больших поэтов зараз — погружать слушателей а два разных мира. Да и кроме того, Блок умер, а вы-то живы и сами можете читать свои стихи. Для чего вообще это надо, чтобы кто-то вместо вас *исполнял* их? Терпеть не могу, когда актеры читают стихи.

Постучался и вошел Николай Николаевич. Анна Андреевна встретила его любезно, но сесть не предложила. Он сообщил последние известия с фронта и вышел.

Анна Андреевна рассказала мне, что была в Пушкинском доме на панихиде по Якубовичу.

— Было хорошо, все говорили о нем очень сердечно. Особенно Томашеаский. Якубович был бы так рад услышать эти слова, он всю жизнь обожал Томашевского прямо по-институтски [63]. И вот — не слышал... Когда гроб несли вниз по лестнице, на площадке зазвонили часы — там старинные часы с прелестным мелодическим авоном. А он уже их не слышал. Под ногами всех, кто нес гроб, и провожающих на ступеньках валялись цветы — хризантемы, случайно рассыпанные. Я обошла их, не могла наступить — живые. Он их уже не видел *.

Окончание. Начало см.: «Нева». 1989, № 6.

* Не из этих ли хризантем выросли впоследствии строки в «Поэме без героя»:

И была для меня та тема.
Как раздавленная хризавтема
На полу, когда гроб несут.
(«Решка»)

Я поднялась, прощаясь. Но Анна Андреевна удержала меня.

— Вы домой? Разве уже ночь? В белые ночи никогда не поймешь, когда спать ложиться...

(Я-то, к сожалению, всегда слишком хорошо понимаю, когда мне следует спать ложиться — и без часов, и в белые ночи, и всегда.)

Анна Андреевна взяла тетрадь, надела очки, и я услышала:

«Царскосельский воздух», «Пятым действием драмы» и «В том доме было очень страшно жить» — ах, какое страшное, еще страшнее, чем: «Страх, во тьме перебирая вещи» *.

— Я никогда никому не читала этого... (Самой страшно)... А как вы думаете, это можно печатать? Если можно, то оно должно быть третьим: «Теперь не знаю, где художник милый», «Храм Ерусалимский» и вот это, о доме...**

Я решилась спросить у нее: сейчас, после стольких лет работы, когда она пишет новое,— чувствует она за собой свою вооруженность, свой опыт, свой уже пройденный путь? Или это каждый раз — шаг в неизвестность, риск?

— Голый человек на голой земле. Каждый раз.

Помолчав, она сказала еще:

— Лирический поэт идет страшным путем. У поэта такой трудный материал: слово. Помните, об этом еще Баратынский писал? Слово — материал гораздо более трудный, чем, например, краска. Подумайте, в самом деле: ведь поэт работает теми же словами, какими люди зовут друг друга чай пить...

Потом она сказала еще:

— В молодости я была очень общительна, любила гостей, любила и сама бывать в гостях. Коля Гумилев объяснял мою общительность так: Аня, оставаясь одна, без перерыва пишет стихи. Люди ей нужны, чтобы отдохнуть от стихов, а то она писала бы, никогда не отрываясь и не отдыхая.

Потом, безо всякого перехода, она прибавила:

— Второй брак его тоже не был удачен. Он вообразил, будто Анна Николаевна воск, а она оказалась — танк... Вы ее видели?

Я сказала, что видела: очень хорошенькая, с кротким нежным личиком и розовой ленточкой вокруг лба.

— Да, да, все верно: нежное личико, розовая ленточка, а сама — танк. Николай Степанович прожил с нею какие-нибудь три месяца и отправил к своим родным. Ей это не понравилось, она потребовала, чтобы он вернул ее. Он ее вернул — сам сразу уехал в Крым. Она очень недобрая, сварливая женщина, а он-то рассчитывал, наконец, на послушание и покорность ***.

Идя домой и припоминая неумную статью О., всю — невпопад, всю — мимо, я думала о той, которую я напишу когда-нибудь сама. Это будет статья о мужестве, женственности, о воле, о постоянном ощущении себя и своей судьбы внутри русской культуры, внутри человеческой и русской истории: Пушкин, Дант, Шекспир, Петербург, Россия, война...

Она не может ни любить, ни ссориться в стихах, не указав читателю с совершенной точностью момент происходящего на исторической карте...

8 июня 40.

Вчера утром я позвонила Анне Андреевне и предложила ей поехать вместе со мной на несколько дней к девочкам на дачу. Я бы засунулась к Люше и Тане, а ей отдала бы свою комнату. Она ответила: «Не могу сегодня. Приходите ко мне скорее».

Часа в два я выбралась к ней. Выглядит она очень плохо, глаза усталые, лицо осунувшееся и словно потерявшее четкость, отчетливость очертаний.

— Что с вами? Вы хворали эти дни?

— Нет.

И рассказала мне свою очередную достоевщину, в самом деле и страшную и нуд-

---

* Первые три стихотворения написаны в начале двадцатых годов и посвящены памяти Гумилева: «Все души милых на высоких звездах», «Пятым действием драмы» (БВ, «Седьмая книга»: № 34 и № 35) и «В том доме было очень страшно жить», № 36. «В том доме...» А. А. собиралась ввести в «Эпические мотивы», а еще позже — в «Северные элегии» (сделав ее третьей). Но работа над элегией осталась незавершенной, и потому А. А. не хотела ее печатать. (В сб. «Памяти А. А.» элегии опубликована как неоконченный набросок.)

«Страх, во тьме перебирая вещи» — ББП, с. 168; № 23.

** «Теперь не знаю, где художник милый» и «Храм Ерусалимский» — строки из «Эпических мотивов», из второго и третьего отрывка (БВ, «Anno Domini»).

*** Анна Николаевна Энгельгардт (ок. 1897 — ок. 1942) — вторая жена Гумилева.

ную. Хорошенький клубочек — эти дети, которых она нянчит, и этот Двор Чудес *.

Она собиралась на обед к Рыбаковым, но все не отпускала меня, и мы разговаривали долго. Я призналась, что сильно хочу есть, и Анна Андреевна, к моему удивлению, очень ловко разогрела мне котлету с картошкой на электрической плитке.

— Да вы, оказывается, отлично умеете стряпать,— сказала я.

— Я все умею. А если не делаю, то это так, из одного зловредства,— ответила Анна Андреевна.

Я сказала, что сегодня с раннего утра сидела у Туси и мы, вместо того чтобы делать свою работу, рассуждали о поэзии Анны Ахматовой, причем Туся высказала по этому поводу собственную теорию.

— Расскажите, пожалуйста, она умная женщина, и мне интересно,— попросила Анна Андреевна.

И я сразу пожалела, что проговорилась. Туся обладает замечательным даром слова, которого я лишена. Она сама развила бы свою мысль гораздо сильнее и богаче. А я могла передать только схему.

При первом восприятии поэзия Ахматовой не поражает новизной форм — как, скажем, поэзия Маяковского. Слышатся и Баратынский, и Тютчев, и Пушкин — иногда, реже, Блок. В ритмике, в движении стиха, в наполненности строки, а точности рифмовки. Сначала кажется, что это тропочка, идущая вдоль большой дороги русской классической поэзии. Маяковский оглушительно нов, но при этом не плодоносящ, не плодотворен: он поставил русскую поэзию на обрыв, еще шаг — и она распадется. Следовать за ним нельзя — придешь к обрыву, к полному распаду стиха. Тропочка же Ахматовой оказывается на деле большой дорогой, традиционность ее чисто внешняя, она смела и нова и, сохраняя обличье классического стиха, внутри него совершает землетрясения и перевороты. И, в отличие от стиха Маяковского, следом за стихом Ахматовой можно идти — не повторяя и не подражая, а продолжая, следуя ей, традицию великой русской поэзии.

Анна Андреевна слушала внимательно и как бы сочувственно, однако ничего не ответила мне.

Я спросила у нее, писала ли она в эти дни?

— Совсем немного. Я оканчиваю «Смеркается, и в небе темно-синем». Дописываю конец.

Рассказала мне, что некий книжник, увидав у нее на стуле стопочку экземпляров, предложил: «Дайте мне 5 штук, я завтра же принесу вам 500 рублей».

— Значит, уже спекулируют. Какая гадость... И вы подумайте только: оказывается, писатели в Лавке уже подписываются на следующее издание, на Гослит. Ну зачем им? Какое безобразие. Снова, кроме них, книга никому не достанется.

Она сидела на диване, поджав ноги, и курила папиросу за папиросой. Я что-то спросила о ее прежних выступлениях, она рассказала об одном — а от него перешла к Сологубу. Она рассказала, что в десятых годах однажды у Сологуба — или устроен Сологубом? — был вечер в пользу ссыльных большевиков, где за билет брали 100 рублей.

— И я участвовала. Я была в белом платье с большими воланами, с широким стоячим воротником и в страшном туберкулезе... Сологуб несколько лет был знаменит чрезвычайно, самый знаменитый из поэтов. Настя любила пышность, а вкуса никакого, так что в доме царила роскошь, тяжелая, грубая **. Денег надо было много, Сологуб печатал дрянные рассказики в ничтожных журнальчиках, и жили они пышно. Настя была некрасивая, но с живым, умным, привлекательным лицом. Я с ней дружила через Олю, скорее не с ней, а с ее сестрой. И с Федором Кузьмичем я дружила.

— С ним было трудно?

— Да... Впрочем, нет, не очень. А каким страшным я видела его году в 22-м у Блоха. Старый, в невыглаженных брюках, запущенный... Он пришел предложить к изданию одну свою книгу. Блоха не было, ему сказали: — «Придется подождать, подождите немного...» И он сел ждать [64].

— Я знаю, почему погибла Настя. Этого никто толком не знает, а я знаю, как все это было и почему. Она психически заболела из-за неудачной любви. Ей тогда было года 42, она влюбилась в человека холодного, равнодушного. Он сначала удивлялся, часто получая приглашения к Сологубам. Потом, когда он узнал о чувствах к нему Анастасии Николаевны, перестал там бывать. Она уводила меня к себе в комнату и говорила, говорила о нем без конца, часами. Иногда она надевала белое платье и шла к нему

---

* А. А. подозревала, что Тане Смирновой, ее соседке, матери Вали и Вовы, поручено за нею следить, и обнаружила какие-то признаки этой слежки. «Всегда выходит так,— сказала она мне,— что я сама оплачиваю собственных стукачей».

Деятельностью Двора Чудес А. А. называла надзор, который постоянно чувствовала,— надзор за собой и своими рукописями.

** «Настя» — Анастасия Николаевна Чеботаревская (1876—1921) — писательница-переводчица, жена поэта Федора Сологуба.

объясняться... вообще делала ужасные вещи, которые никогда не должна делать женщина. В последний раз я видела ее за несколько дней до смерти: она провожала меня, я шла в Мраморный дворец к Володе. Всю дорогу она говорила о своей любви — ни о чем другом она уже говорить не могла. Когда она бросилась в Неву, она шла к своей сестре. Это было точно устаноалено, что вышла она из дому, чтобы пойти к сестре, но, не дойдя два дома, бросилась в Неву...

Федор Кузьмич потом переехал жить к Настиной сестре и жил там, не зная, что Настя утонула у него под окном.

У меня до сих пор где-то хранится газета с его объявлением о розысках. Она попала ко мне случайно. Кто-то незнакомый прислал цветы — так бывает со мной иногда — и букет был завернут в газету с этим объявлением.

Чувствуя, что Анна Андреевна настроена сегодня мемуарно, я спросила — любил ли Николай Степанович ее стихи?

— Сначала терпеть не мог. Он выслушивал их внимательно, потому что это была я, но очень осуждал; советовал заняться каким-нибудь другим делом. Он был прав: действительно, стихи я писала тогда ужасающие. Знаете, вроде тех, какие печатались в маленьких журналах на затычку... А потом было так: мы поженились в апреле. (Перед этим очень долго были женихом и невестой.) А в сентябре оа уехал в Африку и пробыл там несколько месяцев. За это время я много писала и пережила свою первую славу: все хвалили кругом — и Кузмин, и Сологуб, и у Вячеслава. (У Вячеслава Колю не любили и старались оторвать меня от него; говорили — «вот, вот, он не понимает ваших стихов».) Он вернулся. Я ему ничего не говорю. Потом он спрашивает: «Писала стихи?» — «Писала». И прочла ему. Это были стихи из книги «Вечер». Оа ахнул. С тех пор оа мои стихи всегда очень любил.

И снова вернулась к Анне Николаевне.

— У меня в молодости был трудный характер, я очень отстаивала свою внутреннюю независимость и была очень избалована. Но даже свекровь моя ставила меня потом в пример Анне Николаевне. Это был поспешный брак. Коля был очень уязвлен, когда я его оставила, и женился как-то наспех, нарочно, назло. Он думал, что женится на простенькой девочке, что она воск, что из нее можно будет человека вылепить. А она железобетонная. Из нее не только нельзя лепить — на ней зарубкв, царапины нельзя провести.

Я спросила — была ли у нее Каминская и удалось ли отговорить ее от выступления.

— Была. Нет, не удалось. Но вечер состоится только осенью. Авось до тех пор я умру, либо она умрет — знаете, как в анекдоте. Представьте, она спросила меня: правда ли, что «Сероглазый король» — это о Блоке и что Лева — сын Блока? Как вам это нравится? Но «Сероглазый король» написан за четыре месяца до того мгновения, как Александр Александрович поклонился и сказал «Блок». Подумайте, какая развязность! Ведь я-то ее ни о чем и ни о ком не спрашивала *.

Внезапно Анна Андреевна обратила внимание на мою новую шляпу, широкополую, белую, лежавшую на стуле. И примерила ее перед зеркалом. Ей пора было переодеваться, идти к Рыбаковым обедать, и я предложила, что подожду ее внизу во дворе.

— Нет, нет, не уходите никуда, я раскрываю дверцу шкафа — одеваюсь внутри, и тогда меня не видно.

Пока она переодевалась, я, по ее просьбе, читала ей вслух стихи (Шефнера и Лифшица из последнего номера «Литературного современника»). Ей не понравилось.

В новом шелковом платье она вышла из-за дверцы шкафа и начала перед зеркалом втирать в щеки крем, потом надела белое ожерелье, потом ярко накрасила губы. Сейчас она была уже совсем не такая, как час назад, а нарядная, величественная — даже отсутствие некоторых передних зубов сделалось как-то незаметно.

Она снова надела мою шляпу и пошла о ней с кем-то посоветоваться, кажется, с Анной Евгеньевной.

— Решено, я покупаю такую же. Это единственная шляпа, которая мне понравилась: мне ведь никакие шляпы не идут... А не знаете ли вы, где можно купить перчатки?

Я не знала.

Мы отправились. Во дворе я заметила, что на ней новое пальто и новые изящные туфли. Я порадовалась: деньги в действии. Вошли в троллейбус. Анна Андреевна прошла вперед, а я застряла платить.

И вдруг, на весь вагон, даже не поворачивая ко мне головы, она спросила свободным звонким голосом:

— А сколько стоит эта шляпа?

---

* «Сероглазый король» — БВ, «Вечер».

12 июня 40.

Звонила вчера Анне Андреевне, чтобы поточнее условиться на сегодня: она обещала прийти. Она сказала: «Приходите сейчас ко мне, и мы вместе пойдем к вам...» Было уже поздно, но я, как всегда, послушалась.

Она сама открыла мне дверь. Встретила словами:

— Я вас обманула: я не пойду к вам сегодня. Устала. Вы посидите у меня.

Она сообщила мне неприятную новость. Прежде всего, со слов Нади Р.: Ф. вызывали к директору по поводу книги. Это сильно не понравилось мне *.

— Борис Михайлович говорит,— продолжала Анна Андреевна очень серьезно,— что книга крупная, значительная.

(Будто бы без Бориса Михайловича нам это не было известно!)

— Уже посыпались письма. Сегодня получила два: одно женское, обычное, восторженное, а другое очень милое — от Крученыха. Прочитайте.

Я прочитала. Письмо показалось мне нисколько не милым, а очень глупым и ничем не интересным.

Крученых пишет, что стихи «прожгли» его, и в доказательство прилагает придуманные им самим «концы» некоторых стихотворений — например «Когда человек умирает» — концы необыкновенно пустые и плоские. Шутка это, что ли? Если шутка, то несмешная. Приложено также его собственное стихотворение, посвященное Анне Андреевне: теперь она уже не «вечерняя дама», а нечто другое.

Видя, что меня письмо это не смешит и не радует, Анна Андреевна убрала его в сумку. И прочитала мне конец стихотворения «Смеркается, и в небе темно-синем» **.

— Правда, теперь это уже не отрывок, а оконченная вещь? — спросила она. И мы стали обдумывать — нельзя ли аключить его в издание Гослита, которое так замешкалось. Это зависит от верстки — существует ли место на той же странице. А более всего — от желания редактора.

Заговорили об «Анне Карениной» во МХАТе. Ругая этот спектакль, я сказала, что публику в нем более всего привлекает возможность увидеть «роскошную жизнь высшего света».

— Исторически это совершенно неверно,— сказала Анна Андреевна.— Именно роскошь высшего света никогда и не существовала. Светские люди одевались весьма скромно: черные перчатки, черный закрытый воротник... Никогда не одевались по моде: отставание по крайней мере на пять лет было для них обязательно. Если все носили аот этакие шляпы, то светские дамы надевали маленькие, скромные. Я много их видела в Царском: роскошное ландо с гербами, кучер в мехах — а на сиденье дама, вся в черном, в митенках и с кислым выражением лица... Это и есть аристократка... А роскошно одевались, по последней моде, и ходили в золотых туфлях жены знаменитых адвокатов, артистки, кокотки. Светские люди держали себя в обществе очень спокойно, свободно, просто... Но тут уж театр не виноват: на сцене изобразить скромность и некоторую старомодность невозможно...

Потом она заговорила о том, что вообще не любит «Анну Каренину».

— Я вам не рассказывала, почему? Я не люблю повторяться.

Я соврала, что нет,— и не раскаиваюсь. На этот раз Анна Андреевна объяснила свою нелюбовь подробнее, полнее и по-другому.

— Весь роман построен на физиологической и психологической лжи. Пока Анна живет с пожилым, нелюбимым и неприятным ей мужем — она ни с кем не кокетничает, ведет себя скромно и нравственно. Когда же она живет с молодым, красивым, любимым — она кокетничает со всеми мужчинами вокруг, как-то особенно держит руки, ходит чуть не голая... Толстой хотел доказать, что женщина, оставившая законного мужа, неизбежно становится проституткой. И он гнусно относится к ней... Даже после смерти описывает ее «бесстыдно-обнаженное» тело — какой-то морг на железной дороге устроил. И Сережу она любит, а девочку нет, потому что Сережа законный, а девочка нет... Уверяю вас... На такой точке зрения стояли окружавшие его люди: тетушки и Софья Андреевна. И скажите, пожалуйста, почему это ей примерещилось, будто Вронский ее разлюбил? Он потом из-за нее идет на смерть...

— Потом,— сказала я.— Да, потом идет.

На этот раз я не удержалась и стала спорить с ней. Ведь Вронский и в самом деле любит ее совсем не так, как прежде. Я предложила Анне Андреевне вспомнить их астречу на площадке вагона: «Зачем вы едете?» — спрашивает Анна у Вронского, внезапно появившегося рядом. «Чтобы быть там, где вы»,— отвечает Вронский. А потом, когда она уже оставила мужа и сына и они — вместе, он скучает с ней, ищет для

---

* Кто такой Ф. и почему «вызов Ф.» был дурным знаком для книги Ахматовой — я не помню.

Надя Р.— Надежда Январьевна Рыкова (р. 1901) — литературовед, переводчица, специалистка по французской и английской литературе — работала в то время редактором в Гослитиздате.

** Строки после «Что кувыркались в проруби чернильной»; № 37.

себя развлечений и однажды поздно застревает в клубе. Анна спрашивает: «Зачем же вы остались?» — «Хотел остаться и остался»,— отвечает Вронский.

— Согласитесь,— сказала я,— что между первым диалогом и вторым в чувствах Вронского что-то изменилось, и притом кардинально. Любовь всегда зависимость («еду, чтобы быть там, где вы»), а уж когда речь зайдет об отстаивании своей независимости («хотел остаться и остался») — конец любви. А что он потом идет умирать, так это потому, что его совесть мучает: шутка ли? загнал под поезд женщину, которую любил.

Анна Андреевна ни в чем со мной не согласилась.

— Вздор,— сказала она.— Никаких у нее не было оснований думать, что он разлюбил ее. И сомневаться. Любовь всегда видна сто раз на день. И у Толстого эта ее чрезмерная подозрительность неспроста: Анна думает, что Вронский не может ее любить потому, что она сама про себя знает, что она проститутка... И не защищайте, пожалуйста, этого мусорного старика! *

Заговорили о Фрейде. Я сказала, что не люблю и не верю; единственно, что для меня привлекательно в его учении, это мысль о той огромной роли, какую играет в жизни каждого человека раннее детство. Чем дольше живешь, тем яснее это понимаешь.

— Да, разве что это,— вяло согласилась Анна Андреевна.— А во всем остальном... во всех этих сексуальных рассуждениях и мифах так и видишь отражение той провинциальной, косной, провинциальной среды, в которой он жил... Я читала книгу пошляка Цвейга о Леонардо да Винчи. Там он цитирует Фрейда: у Леонардо был, конечно, комплекс Эдипа, и если он любил птиц, то это потому, что детей приносят аисты... Вы только подумайте, какая чушь: почему он воображает, будто и в те времена существовал обычай врать детям про аистов?

Мы условились, что она придет ко мне завтра в четыре, и я ушла.

13 июня 40.

Сегодня в четыре полил дождь, и Анна Андреевна пришла ко мне с опозданием и ненадолго. Была усталая, грустная, жаловалась на озноб. Рассматривала разные издания Пастернака, стоявшие у меня на полке; выбранила «Второе рождение» («попытка быть понятным»), восторженно отозвалась и о моих любимых: «Детстве Люверс» и «Охранной грамоте».

— Тут каждому слову веришь.

Рано ушла.

18 июня 40.

Вчера к Анне Андреевне я зашла на минутку днем, чтобы разузнать о ее новостях. Анна Андреевна рассказала мне все подробности своего похода... Она обнадежена и рада этому — но в то же время несколько унижена.

— «Уже на коленях пред Августом слезы лила»,— сказала она посредине рассказа **.

Потом протянула мне журнал «Ленинград» со статьой о Есенине, а в статье — высокий отзыв о ее поэзии. «Когда мне Верочка сказала, я не поверила» ***.

Пришел Владимир Георгиевич. Я поднялась, но Анна Андреевна меня удержала.

* Когда мы говорили в те годы с А. А. об «Анне Карениной» — мне ее мысль казалась интересной, но неверной, придуманной... Года через два я случайно взяла в руки один из старых толстовских томов «Литературного наследства»: там напечатана глава, выброшенная впоследствии Толстым из окончательного текста. В один из отъездов Вронского Анна, скучая и сердясь, просит гвардейского офицера, о котором знает, что он был влюблен в нее, проводить ее на цветочную выставку; в полутьме кареты она ведет себя столь вызывающе, что, когда они доезжают до места и он открывает перед нею дверцы,— в этом жесте больше презрения, чем учтивости.

Прочитав эту главу, я поняла, что, хотя Толстой и вычеркнул эти страницы,— А. А. глубоко проникла в его замысел. Об отношении Ахматовой к Толстому не раз будет говориться в томе втором моих «Записок» («полубог» — отзывалась она о нем иногда...). Шутливое же прозвище «мусорный старик» возникло так: Б. В. Томашевский, вскоре после кончины Толстого, посетил Ясную Поляну и пытался расспрашивать о нем местных крестьян. Они же в ответ на расспросы о Льве Николаевиче упорно рассказывали о Софье Андреевне. Когда же Б. В. Томашевский попытался перевести все-таки речь на Толстого, один крестьянин ответил: «Да что о нем вспоминать! Мусорный был старик».

** Речь идет о каком-то эпизоде из истории хлопот о Леве, и потом зашифровано. Вспомнить теперь, о чем именно речь,— не могу.

«Уже на коленях пред Августом слезы лила» — строка из стихотворения «Клеопатра».

*** «Верочка» — Вера Николаевна Аникиева; «высокий отзыв» о поэзии Ахматовой — строки в рецензии Л. Рахмилевича на книгу Есенина, где имя Ахматовой названо среди «замечательных поэтов» (см.: «Ленинград», 1940, № 5).

— Вы очень плохо выглядите,— сказала она мне.— Что с вами делается? Вы с дачи приехали худая, белая...

И начала советоваться с Владимиром Георгиевичем, как бы поскорее показать меня Баранову *.

Я не спорила. Разумеется, затея эта не имеет никакого смысла. Но если ей так спокойнее,— пусть.

Обратившись к Владимиру Георгиевичу, сидевшему рядом с ней на диване, Анна Андреевна доложила ему подробный бюллетень о болезни Веры Николаевны. Потом:

— Подумайте, меня вчера поразил Осмеркин. Он был у меня. Я предложила ему пойти вместе навестить Веру. И вдруг вижу — он не хочет. Ни за что. Боится. Я была поражена. Во-первых, Верочка лежит по всей форме, завитая, одетая, без температуры, и зрелище кислородных подушек и холодного пота ему не угрожает. Во-вторых — как не стыдно! Пить с ней коньяк — это он может, а видеть ее больной — нет. Терпеть не могу.

Я сказала, что часто встречаются люди, которые рассуждают так: если я не могу помочь — зачем же мне мучиться, глядя?

— Да, да, это бывает,— сказала Анна Андреевна.— Какое убожество! Да ведь и неправда: если человек хочет помочь другому, сильно и бескорыстно хочет, то он всегда может. Но я знала одну даму, она уверяла, что не в силах навещать свою больную подругу: зрелище больницы, халатов, больных ей непереносимо. А есть и такие, которые мертвых не хотят видеть: им слишком тяжело.

— Ну, *своих* мертвых, любимых мертвых они непременно хотели бы увидеть,— сказала я. (А про себя подумала: и могилы.)

— И я заметила,— продолжала Анна Андреевна,— что у таких боящихся людей всегда бывает самая страшная судьба: им-то и приходится видеть много мертвых.

20 июня 40.

Я позвонила Анне Андреевне среди дня, сказала, что больна, лежу. Она сразу вызвалась навестить меня (не в пример Осмеркину!).

И пришла. Принесла мне ландыши в подарок. В черном шелку, в белом ожерелье. Сегодня лицо у нее спокойное, и как на всяком спокойном лице, меньше видны щеки, рот, лоб — и ярче глаза. Сегодня они большие, серые. Расположившись у меня на диване, она была явно похожа на свой парижский портрет.

Мы заговорили о том, что книжка Гослита задерживается неспроста. Да, конечно, так.

Затем Анна Андреевна рассказала мне о внезапном приезде Ш. и о гадостях, которые та ей наговорила.

«Ты была такая эффектная женщина! Что же это ты так поседела?» «Ты ведь написала что-то советское, и теперь тебе отовсюду авансы, авансы». («Советское» — это о Маяковском, пояснила Анна Андреевна.) «Не послушался меня, вот и...»

— Ну, я сразу прекратила поток гадостей, которые были у нее в запасе, просьбой передать 1000 рублей. Насчет авансов же я ее нисколько не разубеждала **.

Я спросила, нет ли новых стихов.

— Нет... Хотите, я прочту вам одно маленькое, совсем старое? Оно нигде не было напечатано.

И прочитала:

Подушка уже горяча
С обеих сторон...—

такое удивительно точное, что его мгновенно запомнит каждый, кто знает бессонницу. И какое изящество, какое совершенство. И какое — я бы сказала — девичество ***.

— Это стихотворение должно было быть последним в книге «Вечер». «Вечер» я сначала хотела назвать «Лебеда», и тогда первым стихотворением было бы «Я на солнечном восходе/Про любовь пою,/На коленях в огороде/Лебеду полю» ****. Но меня отговорили.

— Но почему же вы его не дали хоть в теперешнюю книгу «Из шести»?

— Вы будете смеяться, господин учитель. Не дала потому, что, начав переписывать, не знала, как расставить знаки.

* У меня в это время в полном разгаре была базедова болезнь.

** Думаю, что «Ш.» — это Шура, то есть Александра Степановна (в замужестве Сверчкова, ок. 1875 — ок. 1952), сводная сестра Николая Степановича Гумилева, дочь его отца от первого брака. «Не послушался меня...» — это упрек Леве. Деньги же А. А. просила, я думаю, передать своей свекрови, Анне Ивановне Гумилевой, которую очень любила.

*** БВ, «Вечер»; № 38.

**** БВ, «Вечер»; № 39.

(Со знаками у нее такая же мания, как с переходом через улицу; она их расставить *может* очень хорошо, но почему-то не верит себе и боится.)

Я сказала ей, что из стихов видно — она очень любит лебеду.

— Да, очень, очень, и крапиву, и лопухи. Это с детства. Когда я была маленькая, мы жили в Царском, в переулке, и там в канаве росли лопухи и лебеда. Я была маленькая, а они большие, широколистные, пахучие, нагретые солнцем — я так их с тех пор люблю.

Я расхрабрилась — мы пили чай, она курила — и я решилась спросить, не были ли некоторые ее стихи — письмами.

— Нет... Это давно говорили: похоже на письма или на дневник. Нет. Однажды, правда, я переложила одно полученное мною письмо — в стихотворение. Когда я умру, письмо найдут.

Она заторопилась уходить: ей еще нужно было зайти к Давиденковым.

24 июня 40.

Сегодня я позвонила ей, чтобы разузнать, что было 23-го. Она сказала: «Пожалуйста, зайдите, но только поскорей, потому что мне надо, к сожалению, уходить. Вера очень плоха, мы идем ее навещать».

У нее сидели двое: Владимир Георгиевич и незнакомый мне человек, молодой, но старообразный. Анна Андреевна была уже в шляпе: по-видимому, я ее задержала.

— У Тани гемоколит. Ее только что на «скорой помощи» отправили в больницу. Вовочка видел, как увозили маму.

Потом:

— Мне сегодня позвонила из издательства Софья Ивановна и спросила, когда я могу принять директора. Я сказала, что не сегодня: сегодня ведь день моего рождения.

Ах вот почему на столе розы!

Анна Андреевна спросила у меня, что я думаю о предстоящем визите директорши. «Я думаю, они хотят снять два-три стихотворения»,— сказала я.

Анна Андреевна покачала головой.

Я стала расспрашивать о ее вчерашнем визите. Оказалось, разговор не состоялся; надо было не 23-го прийти, а 25-го, чтобы записаться на 28-е.

Я предложила завтра, 25-го, пойти вместо нее: ведь ей идти невозможно, она должна быть дома с Вовочкой, раз Тани нет.

Она согласилась. Мы вышли вчетвером. На улице Анна Андреевна взяла меня под руку и увела вперед. Я заметила, что, опираясь на мою руку, она ступает как-то тяжело, неловко, болезненно. Анна Андреевна высказала мне свои мрачные предположения о книге и не о книге, не позволяя возражать. Мы простились на углу Пантелеймоновской и Литейного. Я повторила свое обещание.

25 июня 40.

Утреннее поручение потребовало у меня не более трех часов. Исполнив, я сразу отправилась к Анне Андреевне. Она уже беспокоилась и ждала меня. Расспросила обо всем и осталась довольной.

Она сидела в кресле, в старом выцветшем халатике. Я предложила пойти и купить, наконец, шляпу. (Выходить она может, потому что Вовочку взяла тетка.) Но ей не хотелось — жара. Она пожаловалась, что с тех пор, как Таня в больнице, совсем уж ничего не ест и «наконец голодна». Я предложила, что выйду купить чего-нибудь, мы позавтракаем, а часа через два пойдем в Дом писателей обедать.

— Если вы принесете масла, ветчины, хлеба, то зачем же тогда обедать? Это и будет *выход*.

Взяв сумку, я отправилась. С удивлением заметила, что даже в очереди для Анны Андреевны мне стоять приятно. А потом меня застигла гроза — великолепная, бурная, освежающая...

— Промокли? — вскрикнула Анна Андреевна, открыв мне дверь.

Но я была сухая. Только плечи.

Мы позавтракали.

Стоя у зеркала, она вдруг спросила:

— Вы любите Спекторского?

— В целом — нет. Зато отдельные места... куски... в высшей степени.

Я прочитала:

Пространство спит, влюбленное в пространство,
И город грезит, по уши в воде,
И море просьб, забывшихся в страстных,
Спросонья плещет неизвестно где.

Стоит в зá сердце хватает бормот
Дворов, предместий, мокрой мостовой,
Калиток, капель... Чудный гул без формы,
Как обморок и разговор с собой.

— Это неудачная вещь,— сказала Анна Андреевна,— я не про то, что вы прочли, говорю, а про всю вещь. Я ее всегда не любила. Но почему — догадалась только сегодня. Дело в том, что стихи Пастернака написаны еще до шестого дня, когда Бог создал человека. Вы заметили — в стихах у него нету человека. Все, что угодно: грозы, леса, хаос, но не люди. Иногда, правда, показывается он сам, Борис Леонидович, и оно сам себе удается... Он действительно мог крикнуть в форточку детям: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?». Но другие люди в его поэзию не входят, да он и не пробует их создавать. А в Спекторском попробовал. И сразу крах. Имя и фамилия Мария Ильина в его стихе звучит никчемно, дико...

Мы разговаривали очень долго, и я, заметив, что отняла у нее целый день, поднялась прощаться, но она так жалобно сказала: «Ну зачем вы уходите? посидите еще!» — что я осталась.

Я стала расспрашивать Анну Андреевну о ее семье. Она такой особенный человек и изнутри и снаружи, что мне очень хочется понять, есть ли в ней что-нибудь родовое, семейное, общее. Неужели она может быть на кого-то похожа?

Она рассказала мне о своих сестрах — Ии, Инне.

— Обе умерли от туберкулеза. Ия — когда ей было 27 лет. Я, конечно, тоже умерла бы, но меня спасла моя болезнь щитовидной железы — базедова уничтожает туберкулез. У нас был страшный семейный tbc, хотя отец и мать были совершенно здоровы. (Отец умер от грудной жабы, мать — от воспаления легких в глубокой старости.) Ия была очень особенная, суровая, строгая...

— Она была такой,— продолжила, помолчав, Анна Андреевна,— какою читатели всегда представляли себе меня и какою я никогда не была.

Я спросила, нравились ли Ии Андреевне ее стихи?

— Нет, она находила их легкомысленными. Она не любила их. Все одно и то же, все про любовь и про любовь...

Анна Андреевна стояла у окна и грубым полотенцем протирала чашки.

— В доме у нас не было книг, ни одной книги. Только Некрасов, толстый том, в переплете. Его мне мама давала читать по праздникам. Эту книгу подарил маме ее первый муж, застрелившийся... Гимназия в Царском, где я училась, была настоящая бурса... Потом в Киеве гимназия была немного лучше...

Стихи я любила с детства и доставала их уж не знаю откуда. В тринадцать лет я знала уже по-французски и Бодлера, и Верлена, и всех проклятых. Писать стихи я начала рано, но удивительно то, что, когда я еще не написала ни строчки, все кругом были уверены, что я стану поэтессой. А папа даже дразнил меня так: декадентская поэтесса...

Вошла, не постучав, старуха, вся в платках и морщинах — Танина мать. Анна Андреевна подробно и очень толково объяснила ей Танину болезнь и большими буквами на листке написала адрес больницы. Чуть только старуха ушла, раздался громкий стук и в комнату вошел молодой человек в грязном белом халате — санитар, что ли. Он уселся и стал задавать Анне Андреевне вопросы о Таниной болезни, очень грубо и настойчиво. Он, может быть, и не хотел быть грубым, но просто не умел иначе. Настоящий допрос. Анна Андреевна отвечала терпеливо, спокойно, кротко, без тени обиды. Наконец он ушел.

Анна Андреевна стала расспрашивать меня о моем детстве. И я вдруг рассказала ей многое, чего никогда и никому не рассказывала. Понимает она, угадывает, схватывает с удивительной тонкостью и верностью *. Она была так ласкова, так добра и осторожна со мною сегодня,— да благословит ее Бог! — что я даже почувствовала себя человеком.

Впрочем, ненадолго.

---

* Прошу читателя сопоставить это мое наблюдение с несколькими строками из статьи Н. В. Банникова «Высокий дар» (т. е. из послесловия к кн.: Анна Ахматова. Избранное. М.; «Художественная литература», 1974, с. 552):

«Понимает она,— записал один ее собеседник,— угадывает, схватывает с удивительной тонкостью и верностью»,— цитирует мои «Записки» Банников. Схватывает и цитирует он с полной верностью, только ссылки на источник — нет, и я — собеседница — превращена в собеседника. Подобных цитат — то откровенных, то полуприкрытых, то превратившихся в вольные пересказы моего дневника, в послесловии Банникова немало. (Наиболее разительные: см. с. 546, 551, 554.) Зато ссылки на мою работу — ни одной.

Начав в 1966 году расшифровывать свои записи, я не предназначала их для распространения. Я постоянно показывала их только исследователям творчества и биографии Анны Ахматовой — К. Чуковскому и академику В. М. Жирмунскому, а также тесному кругу ее близких друзей. Но случилось так, что один экземпляр «Записок» выскользнул из-под моего контроля и некоторое

26 июня 40.

Я позвонила Анне Андреевне часа в четыре, чтобы узнать о результатах посещения директора; по обыкновению, она не стала рассказывать, а попросила прийти. Я пошла. На этот раз она нарядно одета, причесана, комната чисто выметена; вечером она ждет кого-то из МХАТа и Владимира Георгиевича.

Оказалось, я была права: директор приезжал, чтобы снять всего два стихотворения, попросить Анну Андреевну заменить их и показать ей предисловие. Сняты: «Все расхищено, предано, продано» и «Не с теми я, кто бросил землю» *.

— В предисловии много похвал. Я сказала, что неудобно, по-моему, печатать похвалы себе в своей книжке. Он ответил — то ли еще будет! Насчет двух изъятых стихотворений мотивировка невнятная: в той книге они не будут заметны, а в этой будут... почему? Но я не стала настаивать и спорить, он даже удивился легкости, с какой я согласилась выкинуть и заменить. Он спросил, что значит «Мы ни единого удара/Не отклонили от себя» **. Я ответила: поэт не может объяснять свои слова десяткам тысяч читателей. Если что-нибудь непонятно, лучше не печатать.

Позвала она меня, по словам ее, затем, чтобы вместе выбрать стихи для замены. Она надела очки, достала тетради и начала перелистывать.

Глядя через ее плечо, я заметила, что «Воронеж» посвящен Н. Х., а «Годовщину веселую празднуй» — В. Г.*** Я предложила дать взамен «Подушка уже горяча» (в тетради оно называется «Послесловие») и «Другу» ****.

Анна Андреевна согласилась и попросила меня переписать их. (По-видимому, она никогда не дает в редакции ничего написанного ее собственной рукой.)

Я переписала два, очень обдумывая знаки.

Анна Андреевна показала мне листок с мелкими переменами в стихотворении «Одни глядятся в ласковые взоры» (вместо «спокойный и двурогий» — «и зоркий, и двурогий») и затем — конец отрывка «Смеркается, и в небе темно-синем».

— Он хотел вписать мои поправки, но не мог найти стихотворений... А я балованная, я привыкла, что мои стихи все знают наизусть.

Затем она заговорила об эмигрантах — о том, с каким негодованием встречены были ими стихи «Не с теми я, кто бросил землю». Недавно ей показали строки Бунина, явно написанные про нее, хотя имя ее там не упомянуто. Она прочитала мне эти стихи наизусть. Там муфта, острые колени, принца ждет, беспутная, бесполая. Стихи вялые, бледные. Ее внешний образ составлен из Альтмановского портрета и из «Почти доходит до бровей/Моя незавитая челка» *****.

Мне было стыдно подтвердить на ее спрос: да, это про вас. Стыдно за Бунина.

— Северянину я тоже не нравилась,— сказала Анна Андреевна.— Он сильно меня бранил. Мои стихи — клевета. Клевета на женщин. Женщины — грезерки, они бутончатые, пышные, гордые, а у меня несчастные какие-то... Не то, не то...

Потом она вдруг спросила:

— Скажите, вот вы так хорошо знаете Пастернака — не правда ли, у него нет никаких периодов? Я сегодня впервые задумалась об этом. Все стихи написаны словно в один день.

время вел самостоятельную жизнь. По-видимому, в ту пору он и сделался добычею Банникова; автор статьи «Высокий дар» не постеснялся использовать мой труд без моего ведома, вопреки моей воле, твердо ведая только одно: имя автора «Записок» на родине — запрещенное имя, и возможности протестовать автор лишен.

Выход в свет моих «Записок» за рубежом (в 1976-м, 80-м и 84 гг.) нисколько не помешал желающим обворовывать меня дома. Напротив, хищников оказалось множество и им было раздолье.

О запрете на мое имя см. «Записки», т. 2, а также книгу «Процесс исключения» (1979).

Теперь я имею основания надеяться, что в 1989 году «Записки» будут опубликованы дома, и это положит предел постоянному хищничеству.— Прим. 1988 г.

* БВ, «Anno Domini»; № 40 и № 41.

** Строка из стихотворения: «Не с теми я, кто бросил землю» — БВ, «Anno Domini»; № 41.

*** «Воронеж» — БВ, «Тростник»; № 42.

Это стихотворение, в котором А. А. как бы рассказывает Н. Харджиеву о своей поездке к их общему другу, ссыльному поэту О. Мандельштаму, впоследствии обрело другое посвящение: вместо «Н. Х.» — «О. М.» и в конце новые четыре строки. В 40-м же году, и в сборнике «Из шести книг» последних четырех строк еще не было. Впервые я услышала их от Анны Андреевны в марте 1958 г. (см. «Записки», т. 2).

«Годовщину *последнюю* празднуй» — БВ, «Тростник», № 4. Через много лет, в Москве, увидев у меня в экземпляре сборника «Из шести книг» над стихотворением «Годовщину веселую празднуй» инициалы «В. Г», поставленные моей рукой карандашом по памяти, А. А. рассердилась и велела немедленно стереть их: «Никакого отношения к В. Г.».

**** Не могу вспомнить, о каком именно стихотворении под названием «Другу» — быть может, названии условном? — шла тогда речь. Во всяком случае не о том (из «Реквиема»), о котором говорится в примечании на с. 104 («Нева», № 6).

***** Строки из стихотворения «На шее мелких четок ряд» — БВ, «Подорожник»; № 43.

Я сказала только, что «Второе рождение» — книга, сильно отличающаяся от всех предыдущих.

— Не люблю эту книгу,— сказала Анна Андреевна.— Множество пренеприятных стихотворений. «Твой обморок мира не внес»... В этой книге только отдельные строчки замечательные. Не знаете ли вы, между прочим, что такое магнето? И вы не знаете? Никто не знает.

Я не умела ответить, что такое магнето, но спросила у нее в свою очередь, что плохого находит она в стихотворении или строке — «Твой обморок мира не внес».

— Не знаю, не знаю,— ответила Анна Андреевна, слегка поморщившись.— Быть может, книга эта мне неприятна потому, что в ней присутствует Зина... А может быть, знаете, почему? Помните, вы сказали мне однажды, что у Маяковского не любите стихов «Я ученый малый, милая», что здесь слышен голос холостяка, старого, опытного, самодовольного? Так вот, «Второе рождение» — это стихи жениховские. Их писал растерявшийся жених... А какие неприятные стихи к бывшей жене! «Мы не жизнь, не душевный союз,— обоюдный обман обрубаем». Перед одной извиняется, к другой бежит с бутоньеркой — ну, как же не растерянный жених? Знаете, какие стихи я люблю у него? Ирпень. «Откуда же эта печаль, Диотима?»

30 июня 40.

А сегодня я узнала Анненского. Спасибо Анне Андреевне.

Я позвонила ей днем и пошла к ней. У нее Владимир Георгиевич. Кругом беспорядок, грязная посуда, сырные корки.

Жалуется, что опухла нога. Жалуется, что простудилась — ночью было резкое похолодание. Действительно, говорит в нос.

Владимир Георгиевич распрощался, и я пошла закрывать за ним дверь. По дороге спросила — что с Анной Андреевной?

— Да ничего,— ответил он, слегка раздраженно.— Ногу натерла, вот и все.

Уже переступив порог квартиры, он вдруг вернулся в переднюю:

— Только вы, пожалуйста, скажите ей, что ни о чем меня не спрашивали.

Я не нашлась, что ответить, и заперла за ним дверь.

Эта просьба меня и удивила и обидела. Неужели я пойду сообщать Анне Андреевне свой вопрос, его ответ. Но у него был такой измученный, расстроенный вид, что рассердиться я не могла.

Я вернулась к Анне Андреевне. Новостей никаких. Таня еще в больнице. Вовочка у тетки.

Я предложила пойти купить что-нибудь.

Когда я вернулась, Анна Андреевна была уже на ногах, в халате, причесанная, и стол расчищен. Она включила чайник, и мы принялись завтракать. Я спросила, ходит ли она обедать — ведь Тани нет и стряпать некому.

— Хожу иногда, но редко. Вот на днях отправилась и сразу же встретила всех, кого не хотела видеть. И теперь голод борется во мне с нежеланием идти туда.

Она заговорила об Анненском. Она уже не раз упоминала о нем как о замечательном поэте. Я вынуждена была признаться в своем полном невежестве.

Анна Андреевна оживилась.

— Хотите, я вам почитаю? — Вскочила. Сняла с комода (бюро) зеркало, открыла крышку и начала перебирать книги. Анненский не попадался. Она показала мне группу: гимназистки и среди них сестра ее, Ия. Красавица, лицо греческой императрицы. Похожа на Анну Андреевну. Потом фотографии отца, матери — никакого сходства с дочерьми. У матери лицо простоватое. Потом карточка молодого человека — тонкого, черноглазого, со ртом Анны Андреевны — брат. Потом вытащила рукопись — сочинение сестры Ии о протопопе Аввакуме и тут же похвальный отзыв профессора. Потом фотография Анны Андреевны, любительская: она полулежит в саду: в шезлонге, лицо молодое, спокойное, и очень милое — не патетическое, не роковое, не пронзительное, а именно милое.

— Хотите, подарю? — спросила Анна Андреевна, и я с радостью согласилась.

Анненский нашелся. Анна Андреевна села на диван и надела очки.

— Вот сейчас вы увидите, какой это поэт,— сказала она.— Какой огромный. Удивительно, что вы его не знаете. Ведь все поэты из него вышли: и Осип, и Пастернак, и я, и даже Маяковский [65].

Она прочитала мне четыре стихотворения, действительно очень замечательные. Мне особенно понравились «Смычок и струны», «Старые эстонки» и «Лира часов». В самом деле, очень слышна она, и Пастернак слышен.

Перед моим уходом, она надписала мне фотографию. На лестнице я прочла: «В день, когда мы читали Аненского».

В фамилии ошибка — пропущена буква.

5 июля 40.

Сегодня, вернувшись с дачи, я позвонила Анне Андреевне и услышала обычное: «Приходите сейчас, пожалуйста». У нее я застала Осмеркина и неизвестного мне, чрезвычайно вежливого человека, оказавшегося Всеволодом Николаевичем Петровым [66]. Анна Андреевна была в новом, белом, очень красивом платье. В комнате вкусно пахло красками: Осмеркин переписывал или дописывал портрет. На столе три бутылки вина и бокалы. Усадив меня, Анна Андреевна заняла свое место на подоконнике. Было уже полутемно: портрет освещали наставленные на него яркие лампы без абажуров.

Общий разговор шел о Репине, о Пенатах (где Осмеркин побывал), о Татлине. Анна Андреевна упросила Осмеркина бросить на сегодня портрет и пересела на диван. О Татлине заявила, что он — клинический сумасшедший: однажды не допустил ее к себе в мастерскую, опасаясь — как выяснилось позднее — что она скалькирует его рисунки. Петров вскоре ушел. Осмеркин посидел немного и поднялся тоже. Меня Анна Андреевна оставила, очень настойчиво. Осмеркин обещал прийти завтра и наверняка окончить портрет.

Проводив его, Анна Андреевна сказала мне:

— Я только для него позирую, я очень его люблю, он хорошо ко мне относится, а вообще-то писать меня не стоит, эта тема в живописи и графике уже исчерпана. Да и не до того мне. У меня ноги отекли опять, на этот раз обе. Вчера я еле доплелась в Дом писателей и там поняла, что до дому дойти не могу. Еле-еле добрела до Рыбаковых. Шла по улицам, как андерсеновская русалка. Хотела снять туфли и пойти босиком, но сколько было бы сплетен! Ведь в том районе у меня много знакомых... Рыбаковы позвонили Владимиру Георгиевичу, он меня и доставил домой [67].

9 июля 40.

Среди дня я позвонила Анне Андреевне и предложила вместе пообедать в Доме писателей. Она согласилась, но когда я пришла за ней, выяснилось, что никуда она не пойдет, потому что ожидает доктора Баранова.

— Я хочу с вами серьезно поговорить,— начала Анна Андреевна, усадив меня. (Я испугалась.) — О той книге, которую вы принесли мне в прошлый раз.— (Отлегло: я ей приносила Мориака.) * — Я прочла ее единым духом, залпом, как я всегда читаю книги, а некоторые места даже и по два раза, чтобы быть вооруженнее в разговоре с вами. Это очень ложная книга. По-видимому, автор хотел создать нечто значительное, но ему не удалось. Героиня не возбуждает во мне никакого сочувствия. Вот вы говорили о необходимости воображения. Но где же было воображение Терезы, когда она каждый вечер травила своего мужа мышьяком? И никакой мотивировки! Она, видите ли, рвалась из дому! Но зачем? Чтобы окончить любовью к домработнице? И муж и мать мужа, которых она так ненавидит, гораздо лучше, чем она сама. Простые, спокойные люди, делающие свое дело. Автор возмущается тем, что мамаша де ла Трав не пожелала жить в доме, где жила Тереза. Но скажите, пожалуйста, если бы какой-нибудь мерзавец каждый день отравлял вашу дочку — вы согласились бы потом жить с ним в одном доме?.. Нет, нет, как ни поверни — все это неправдиво и непонятно.

Я не нашла возражений, но спросила в ответ: почему же, когда читаешь книгу,— все кажется правдивым, естественным, вполне убедительным? Почему, без всяких размышлений, симпатизируешь героине, а не де ла Трав? Почему для меня таятся в этой книге какие-то чары — ведь не потому же, что я вообще имею обыкновение симпатизировать отравителям?

— А это все оттого, что книга — ваша современница,— помедлив, ответила Анна Андреевна.— От нее на вас веет современным искусством. У вас такое чувство, будто кто-то знакомый и долгожданный окликнул вас по телефону. И вы покоряетесь знакомому голосу не размышляя.

Меня это ее замечание — о современном искусстве — сильно заинтересовало. (Более, чем замечания о книге Мориака.) Потому что я и сама в своих постоянных мыслях и в наших постоянных спорах о стихах утверждаю: если душа не тронута современной поэзией — она и на классическую не откликнется. Путь к пониманию классической поэзии лежит через современную, через ту, которая «про меня». Если не любишь, не слышишь Блока, Маяковского, Ахматову, Пастернака, Мандельштама — то и Пушкина не услышишь, не научишься его воспринимать *лично*. Он останется всего лишь примером, образцом холодного совершенства.

— Вот и держитесь этой мысли,— сказала Анна Андреевна.— Она правильна и плодотворна: только сквозь современное искусство можно понять искусство прошлого. Нет иного пути. И когда появляется нечто новое — знаете, какое чувство должно быть у современника? Будто это чистая случайность, что не он написал, будто он сам вот-вот написал бы, да выхватили из рук...

* «Тереза Декейру».

Явились Владимир Георгиевич и д-р Баранов. Я решила, пока Анну Андреевну будут осматривать, сбегать за едой. Отправилась на Невский. Было чудовищно жарко. Я купила сосиски и сладкую булку.

Когда я проходила по двору обратно, вдруг из садика меня кто-то позвал. Оказалось, сад случайно отперт и это В. Г.— он сидит на скамье и поджидает, пока от Анны Андреевны выйдет доктор. Я присела с ним рядом, и мы некоторое время молчали, наслаждаясь тенью. Потом я спросила В. Г., почему это у Анны Андреевны постоянно отекают ноги?

— А, ноги пустяки! — отозвался он.— Отекают слегка от жары. Надо носить более просторные туфли и на низком каблуке. Вот и все. Но она не хочет: ничего не поделаешь, ewig weiblich! Вы недовольны? Вам кажется, что я говорю зло? Право же, нет. Но уверяю вас, у нее всё и всё нервы. Конечно, от этого ей не легче... Беда в том, что она ничего не хочет предпринять. Прежде всего ей необходимо уехать отсюда, из этой квартиры. Тут травмы идут с обеих сторон, от обоих соседей. А она ни за что не уедет. Почему? Да потому, что боится нового. И бесконечные мысли о своем сумасшествии: видела больную Срезневскую и теперь выискивает в себе те же симптомы *. Вы заметили: она всегда берет за основу какой-нибудь факт, весьма сомнительный, и делает из него выводы с железной последовательностью, с неоспоримой логикой?.. А эта страшная интенсивность духовной и душевной жизни, сжигающая ее!

Доктор Баранов не выходил и не выходил, и мы решили подняться.

— Всякому человеку трудно помочь,— сказала я, переводя дыхание на площадке,— а ей в особенности.

— Да,— ответил Владимир Георгиевич каким-то рыдающим голосом и вдруг схватил меня за плечо,— но что бы кто ни говорил (он оттолкнул меня),— что бы кто ни говорил, а я эти два года ее на руках несу.

Мы застали Анну Андреевну и доктора Баранова в тихой беседе у окна. Едва мы вошли, Анна Андреевна стала просить доктора записать меня к себе на прием.

Доктор любезно согласился, написал что-то на листке блокнота и протянул мне. Откланялся чинно. Ушел.

— Что же он предписал вам? — спросила я у Анны Андреевны.

— По-видимому, он считает меня безнадежной,— гневно ответила она,— потому что единственное его предписание: ехать на дачу, на воздух.

И она начала объяснять мне и В. Г., почему она ни в коем случае не может ехать на дачу. В. Г. сначала пробовал было спорить, потом умолк и, огорченный, простился. Анна Андреевна отправилась на кухню варить сосиски, а мне дала пока что стихи графа Комаровского, с поэзией которого я еле-еле знакома.

— Ну что? Распробовали? — весело спросила она, вернувшись. И добавила: — Это один из самых любимых моих поэтов.[68]

(Когда спор о даче окончился, она опять сделалась ровна и спокойна.)

Я попросила ее дать мне Комаровского с собой, и она согласилась.

— Так я не убедила вас насчет Мориака? — спросила Анна Андреевна, провожая меня до дверей.— Нет? Ну, все равно, возвращайтесь скорее с дачи и звоните мне.

13 июля 40.

Ах, с другой бы головой читать ее корректуры. Голова болит, ноги не держат.

Приехала я в город вчера, с тем, чтобы сегодня, после доктора, сразу ринуться обратно — привезти на дачу пораньше масло, керосин. Но в двенадцать ночи мне позвонила Анна Андреевна: сверка из Гослита, просит меня утром прийти. И я не уехала, а сразу после доктора, который принял меня с утра, отправилась не на дачу, а к ней.

Доктор сказал мне, что необходимо делать операцию, и поскорее. Я выслушала это известие вполне спокойно, потому что сейчас я все равно не стану разводить всю эту канитель.

По дороге к Анне Андреевне я запаслась маслом, сосисками, хлебом.

Мечтала передохнуть в садике, но не тут-то было, калитка опять заперта.

Я через силу поднялась по лестнице.

Анна Андреевна очень серьезно выспрашивала меня, что и как сказал мне Баранов. По-видимому, дурное мое состояние она приписала страху перед операцией. Но это не так: меня попросту выматывает дача. Анна Андреевна предложила мне люминал с бромом и из деликатности сказала, что ей тоже надо принять. Мы выпили капли по очереди.

Я села читать верстку. Ах, нет, не с такой бы головой ее читать! Я заметила несколько грубых опечаток и, конечно, исправила их, но, в сущности, работала поверхностно, не вглубь, не так, как требует Самуил Яковлевич **,— «свежими глазами»... Анна Андреевна бродила по комнате и, заглядывая мне через плечо, опять

* О Валерии Сергеевне Срезневской см. *прим. 82*.

** Маршак.

и опять дивилась корректурным значкам. Напрасно я клялась ей, что это проще простого и я берусь обучить ее корректурным знакам за час.

— Я не только знаков этих, которые вы расставляете играючи, запомнить не могу,— отвечала она,— но одно свое стихотворение даже записать не в состоянии, потому что не понимаю, как.

Я отложила перо и попросила ее прочесть мне его.

Не знает — два «н» или одно, и вместе ли пишется слово «незваный» или отдельно? *

Читая корректуру, я удивилась, найдя новый вариант стихотворения «Ты для меня не женщина земная» **.

— Я ничем не могу вам помочь? — спросила Анна Андреевна.— Мне так стыдно быть паразитом.

— Можете,— сказала я, решившись.— Позвольте мне позвонить Тамаре Григорьевне — пусть она придет и читает сверку вместо меня, а я лягу.

Так и сделали.

Анна Андреевна сама позвонила Тусе, а я легла на диван. Туся, спасибо ей, пришла очень быстро. Сквозь туман полуобморока я слушала их голоса и смотрела на них.

Туся очень внимательно читала сверку и, в отличие от меня, одновременно разговаривала с Анной Андреевной свободно и светски.

Анна Андреевна советовалась с ней о «Подвале памяти», печатать или нет?

Потом Туся пересказала нам статью Перцова — того самого, который в своей статье 1925 г. советовал Анне Андреевне умереть ***.

— Но это пустяки,— сказала Анна Андреевна.— Вот Корнелий Зелинский когда-то написал обо мне: «Ахматова притворяется, что умерла, а на самом деле живет в Ленинграде».

Мне сделалось лучше. Я поднялась и, вопреки протестам Анны Андреевны, сама прочитала оглавление.

Окончив работу, мы ушли. Туся проводила меня до самого дому. По дороге она прочитала мне тютчевскую «Весну» («Как ни гнетет рука судьбины»), на которую я до сих пор не обращала должного внимания; а потом мы вместе — «Осень» Баратынского, которую нам обеим открыла Шура,— большую «Осень», ту, где:

Зима идет, и тощая земли
В широких лысинах бессилья.

Я подумала: а может быть, это лучшее стихотворение в русской литературе.

19 июля 40.

За это время я была у Анны Андреевны дважды — 17-го и вчера, 18-го.

Худо ей. Лицо серое, осунувшееся, ноги отекли. Из дому не выходит. Но с хозяйством получше: приехала Сарра (я не поняла из разговоров, кто это) и стряпает и кормит ее ****. 1-го Анна Андреевна собиралась в Дом творчества, в Детское, согласилась было, так как в квартире начинается ремонт и, главное, так как В. Г. уезжает куда-то на дачу... Но, кажется, ее благое намерение не исполнится.

18-го днем сидела я у нее одновременно с В. Г. Анну Андреевну позвали к телефону. Она подошла — и вернулась к нам в большом гневе.

— Звонит какая-то секретарша из Литфонда. Сообщает, что все места в Детском заняты и для меня путевки нет. Я кричу (тут она действительно закричала по слогам), что я ни-ко-го не хо-чу ли-шать от-дыха, что я рада не ехать... А она в ответ: да вы не волнуйтесь, не волнуйтесь, мы вас все-таки как-нибудь устроим... Они совсем не понимают, с кем имеют дело! Она ждала, что я начну требовать: мне, мне давайте путевку! Что я приму участие в общей свалке!

---

* Думаю, речь шла о стихотворении «Заклинание», обращенном к Н. Гумилеву. Там есть такие строки:

Незваный,
Несуженый,
Приди ко мне ужинать.

Стихотворение опубликовано в БВ («Тростник») с цензурным искажением — «высоких ворот» вместо «тюремных»; без искажения — в «Памяти А. А.»; вероятно, впрочем, что написано оно не в 1935 году, как указано в сборнике, а в 1936-м — к 50-летию со дня рождения Николая Степановича.

** Теперь это стихотворение начинается так: «Сказал, что у меня соперниц нет» (БВ, «Anno Domini»); а в сборнике «Из шести книг» и в публикациях до 1957 г. было: «Неправда, у тебя соперниц нет».

*** О статье В. Перцова, опубликованной в 1925 г., см. в примечаниях. В статье же 1940 года, помещенной в «Литературной газете» 10 июля, он, отдавая дань мастерству поэта, писал: «Героиня Ахматовой и мы — люди слишком разные. Это не может не сказаться».

**** О Сарре Иосифовне Аренс, родственнице первой жены Н. Н. Пунина, Анны Евгеньевны Аренс, см. «Записки», т. 3.

ХУДОЖНИКИ ПСКОВСКОГО КРАЯ



Л. А. МИКСТАЙС. БЕРЕЗКИ

Работы сельского учителя, в прошлом пастуха и топографа Л. А. Микстайса из Печорского района Псковской области почти все посвящены окружающей его с детства стихии — лесу. Вибрирующая цветовая фактура «Березок» словно пронизана матовым серебристым светом летнего дня. Трепещущие гибкие ветви берез, растворяясь, тают в воздушном потоке...

...Первые картины К. М. Громова появились в середине 1930-х годов, когда, окончив школу, он пришел работать в краеведческий музей Себежа. Выпуклая определенность форм, построенный на контрастах яркий колорит, тяготеющая к панорамности композиция определяют особенности «звучания» его работ. Благоговейное отношение к «идеальным образцам», какими в юношеские годы казались ему муляж яблока или чучело птицы, сохраняющие формы и краски жизни, соединились у Громова с ярким романтическим восприятием мира.

Певец и летописец своего края, он рассказывает в многочисленных работах, украшающих музеи Пскова, Себежа, Суздаля, о родном уголке земли, реконструируя властью художника утерянное, забытое, погубленное беспечностью человека. Одна из программных его работ — «Натюрморт с цветами». Тщательная выписанность форм обусловлена задачей подчеркнуть природную или рукотворную красоту каждого предмета. Оранжево-красные и ослепительно-белые цветы торжественно выстроены тремя букетами. Лежащие на свежей скатерти стола пышная буханка и бережно переплетенная книга — не что иное, как хлеб насущный и хлеб духовный, без которых невозможна жизнь. Руки же, смело введенные в натюрморт, — это руки человеческие, творящие на земле и хлеб, и красоту.

Изборская крепость — стержень большинства работ И. Д. Мельникова, — являясь каждый раз с иной точки обзора, в новом пейзажном обрамлении, представлялась ему реальным воплощением гармонии и стабильности мира. Размышляя о сути и связи явлений, художник обращался к разным временам года, и каждое из них влекло его по-своему. Нежная весна, цветущее яркое лето, увядающая горьковатая пышность осени в работах Мельникова в чем-то сродни временам человеческой жизни.

Среди работ, в которых «господствует» Изборская крепость, особняком стоит «Ель у Городищенского озера» — образ, чарующий своей цельностью. Прекрасной ели больше не существует, она осталась лишь на картине. Не стало и самого художника. Но стоит, как прежде, Изборская крепость, а многочисленные картины И. Д. Мельникова разлетелись по всему свету...

Н. САЛТАН



В. Д. МЕЛЬНИКОВ. ВЕКОВАЯ ЕЛЬ НА ГОРОДИЩЕНСКОМ ОЗЕРЕ



К. М. ГРОМОВ. ВЕЧЕРНЯЯ ЗАРЯ НАД СЕБЕЖЕМ



К. М. ГРОМОВ. РАННЕЕ УТРО



К. М. ГРОМОВ. ЦВЕТЫ НАШИХ САДОВ



Л. Д. МЕЛЬНИКОВ. ИЗБОРСКАЯ КРЕПОСТЬ

(О, как я благодарна ей за то, что ей хорошо ведомо, кто она, что, блюдя достоинство русской литературы, которую она представляет на каком-то незримом судилище,— она никогда не участвует ни в какой общей свалке!)

2 августа 40.

Я приехала с дачи 31-го, чтобы ночью, дома, одной, в тех же стенах, встретить годовщину, не омрачая жизнь девочкам *.

В 7 часов я пошла к Анне Андреевне. Она грустная, полубольная.

— С ногою плохо,— ответила она на мой вопрос,— с сердцем плохо. Когда иду, все время проваливаюсь,— знаете, как это бывает.

Очередной ответ она ждет 2-го. Уверена в отказе.

— Но все-таки,— сказала я ей (сказала неосмотрительно, тупо, жестоко),— у вас еще есть надежда.

Не надо было и в мыслях своих сопоставлять Митину судьбу с Левиной... Лева — жив.

(Хуже это? Лучше? Все равно не надо было. Уже несколько раз, в другие мои посещения, мне слышалось — когда Анна Андреевна провожала меня через кухню по коридорчику, или в минуты длинных ее молчаний среди разговора — мне слышалось Левино имя, произносимое ею, будто на глубине, будто со дна морского добытое... «Лева! Лева!» — повторяла она одним дыханием. Даже не звук — тень звука, стона или зова... Сегодя мне довелось услышать этот стон несколько раз.)

Вошел Владимир Георгиевич. Вымыл и поставил на стол виноград. Вскипятил чайник. Анна Андреевна рассказала, что ей прислали из «Издательства писателей» еще десять экземпляров ее книги — но не таких, какие она просила. (Я не совсем поняла, в чем разница.)

Один экземпляр, с ее надписью, она передала мне для Корнея Ивановича.

В. Г. простился. Анна Андреевна пошла проводить его до дверей и вдруг вбежала в комнату — проворно высунулась в окно — и позвала его наверх. Он вернулся. Она попросила у него телефон неотложной помощи. Оказалось, пунинская домработница тоже заболела гемоколитом — как раньше Таня.

Значит, второй уже случай в этой квартире. Рядом с Анной Андреевной.

Я стала уговаривать ее непременно переехать ко мне в Ольгино. Она ничего не ответила определенного, но и не отказалась.

Вошла Таня и со свойственной ей прямою грубостью языка стала рассказывать нам о болезни домашней работницы. Анна Андреевна послала ее звонить в неотложную.

Я спросила у Анны Андреевны, нет ли новых стихов.

— Два старых окончила и два новых начала,— ответила она, надела очки, открыла книгу. Прочитала мне новое начало к стихотворению, которое я уже слышала («Мне бы тот найти образок»). Теперь оно начинается так:

> Переулочек — переул...
> Горло петелькой затянул **.

Прочитала новый конец к Страшному дому ***. Потом спросила: — Понятно, что «переул» — это оборванное, недоговоренное слово?

Потом прочла «Уложила сыночка кудрявого». Слушать эти стихи нестерпимо — каково же писать? ****

Вошли мальчики. Она очень нежно их встретила. Вовочку взяла на руки. Я уже не раз замечала — с ребенком на руках она сразу становится похожей на статую мадонны — не лицом, а всей осанкой, каким-то скромным и скорбным величием.

Мне рассказала:

— Вовочка играет с котенком. Тащит его за хвост, дергает за шерстку. Тот его в кровь царапает. А он не сердится. Вошел сегодня, когда здесь был Владимир Георгиевич: «Копажу Володе пальчик».

Дети ушли. Анна Андреевна взяла со стула письмо и прочитала мне: письмо неизвестной читательницы.

---

* В ночь с 31 июля на 1 августа 1937 года у нас на квартире был произведен обыск и мне предъявлен ордер на арест Матвея Петровича.

Он в это время находился у своих родителей в Киеве. Я сделала несколько попыток предупредить его, но все они оказались неудачны. Матвей Петрович был арестован в Киеве в ночь с 5 на 6 августа.

** «Третий Зачатьевский»; № 44. В этом случае я не ссылаюсь на БВ, где это стихотворение напечатано с пропуском одного двустишия и с мелкими неточностями.

*** То есть конец стихотворения «В том доме было очень страшно жить»; № 36. Некоторые строки в начале так и остались недописанными. Прежнего конца стихотворения — не помню.

**** БВП, с. 289; № 45.

— Это из разряда: «дорогая Анна Ахматова»,— объяснила она,— хотя здесь и написано «дорогая Анна Андреевна».

Письмо восторженное, провинциальное, женское. Приложены собственные плохие любовные стихи. Я попыталась выразить свое возмущение по поводу тех читательниц, которые воображают, будто Ахматова пишет для женщин, о каких-то специальных женских скорбях, и что стоит ей самой, читательнице, написать о том, какие мужчины обманщики, она сама, читательница, сразу станет второй Анной Ахматовой.

В эту минуту раздался звонок, Анна Андреевна пошла отворять и вернулась вместе с гостями: Срезневская привела с собою какую-то курсивку, работающую в Публичной библиотеке, которая уселась в кресло и, не давая хозяйке дома произнести ни слова, принялась рьяно объяснять, как она обожает Анну Андреевну и как счастлива, что сподобилась познакомиться с такими выдающимися людьми, как Срезневская и Анна Андреевна. Все вместе было забавно: будто читательница, написавшая только что прочитанное письмо, воплотилась.

Я скоро ушла.

4 августа 40.

Вчера, перед отъездом на дачу, я забежала к Анне Андреевне узнать — не соберется ли она со мною вместе в следующий мой приезд, в пятницу?

Анна Андреевна была грустна, тревожна, бледна. Волосы зачесаны кверху, что, на мой взгляд, очень ей не к лицу. Когда я вошла к ней, она еще некоторое время продолжала убирать комнату: сворачивала постель, подметала. Освободив диван, села в угол, на свое обычное место.

Насчет Ольгина она определенного ничего не знает, потому что ей, вероятно, предстоит снова ехать в Москву.

Из Литфонда ей позвонили, что хотят на свой счет сделать у нее в комнате ремонт.

— Значит, обещанная мне новая квартира — миф, и вторая комната в этой — тоже миф. И повышенная пенсия тоже оказалась мифом — вы не знали? Да, да. Все это мне решительно все равно, меня это нисколько не огорчает. У меня всегда так и только так. Такова моя жизнь, моя биография. Как же отказывается от собственной жизни?

Она в тревоге. Может быть, придется ехать в Москву. А здесь без нее начнут делать ремонт. Куда же деть вещи, чтобы их не разворовали? И Владимир Георгиевич с тяжелым сердцем едет на дачу, зная, что она остается в городе, в духоте... Она же ехать ко мне не может, потому что, по всей вероятности, придется ехать в Москву... И ремонт...

Я ничего не умела ей посоветовать. То есть я советовала, предлагала, но не настойчиво. Если бы это была не она, я все сомнения разрешила бы в два счета. Пока неясно с поездкой в Москву и неясно, когда начнется ремонт, надо ехать на дачу. Чтобы дышать и чтобы В. Г. уехал спокойно. Начнется ремонт — я могу перевезти ее вещи к себе на городскую квартиру и сделать к дверям наших с Люшей комнат замок... Я все это предложила ей, но все это она мгновенно отвергла; и я не настаивала, потому что это не кто-нибудь другой, а она, а у нее за всеми приводимыми ею причинами стоит одна, причина причин, властная, которую она не называет, быть может, даже самой себе, но которая повелевает ее душевным состоянием, погодой ее души.

Я смолкла. Анна Андреевна, по-видимому, была рада, что я ее не уговариваю. Она нашла под креслом и протянула мне конверт. Знакомый почерк; в первую секунду он кажется таким размашистым, буйным, а во вторую — сдержанным, твердым, точным.

Письмо Бориса Пастернака о стихах Анны Ахматовой.

Я уселась читать. Два с половиной больших листа, исписанных с обеих сторон.

Пересказать письмо Пастернака, конечно, так же немыслимо, как его стихи. Но попробую записать хотя бы основу.

Поздравление с победой, с торжеством. Очереди в Москве за книгой. Мы — Северянин, я и Маяковский — обязаны Вам гораздо большим, чем я прежде думал. Новая манера в новых стихах, рождение нового поэта рядом со старым.

Затем идет перечисление «гнезд» и «созвездий»; но сразу я не поняла, что он имеет в виду, потому что перечислены не строки стихов, а страницы книги.

— Вы называйте страницы, а я буду искать их,— предложила Анна Андреевна, беря со стула книгу.— Так быстрее.

К моему удивлению, стихи названы Борисом Леонидовичем главным образом из «Четок» и «Anno Domini» — то есть давнишние, известные всем, и мне в том числе, наизусть.

Я удивилась вслух.

— Сейчас я вам все объясню,— сказала Анна Андреевна.— Он просто впервые читает мои стихи. Уверяю вас. Когда я начинала, он был в Центрифуге, ко мне, конечно, относился враждебно и попросту моих стихов не читал. Теперь прочел впервые

и, видите ли, совершил открытие: ему сильно понравилось «Перо задело о верх экипажа...» Дорогой, наивный, обожаемый Борис Леонидович! *

Мне пора было. А как не хотелось оставлять ее одну, в тревоге, на которой она сосредоточится, чуть только я уйду... Провожая меня до дверей, она сделала мне царский подарок.

— Читаю вашу и Александры Иосифовны статью о комментаторах классических произведений. Прямая, честная, умная статья. В ней нет ничего случайного: видно, что люди много думали и работали прежде, чем писать ее.

8 августа 40.

Вчера — интереснейшие монологи Анны Андреевны: сначала о Блоке, потом о ее собственной поэзии. И в довершение пира — новое стихотворение, совсем новое, иное.

Я позвонила Анне Андреевне вчера вечером и, услышав, как всегда: «приходите скорее!» — пошла. Когда она отворила мне дверь, я испугалась сначала: так разительно были искажены черты ее, такими серыми сделались щеки, такой ужас,— терпеливый, устойчивый, неподвижный, я бы даже сказала спокойный — глянул на меня из ее глаз.

Но когда мы вошли в ее комнату и она, усевшись на свое обычное место, заговорила, голос ее звучал обыденно, спокойно и я уже не видела ужаса у нее в глазах.

Владимир Георгиевич уехал на дачу.

Домработница Пуниных вернулась из больницы.

Владимир Георгиевич уговорил Анну Андреевну не давать разрешения на ремонт комнаты, пока не станет ясно, предстоит ей нынче ехать в Москву или нет.

Рассказав все это, Анна Андреевна прочла мне новое стихотворение — о тишине в Париже — оконченное, но без одной строки — которое меня потрясло. Не знаю, придется ли оно по душе поклонницам ее женской Музы, но мне оно представляется гениальным. Стон из глубины души, как выдох: «Лёва!» Она услышала горе всего мира **.

— Какие там теперь разлуки! — сказала мне Анна Андреевна о Франции, о Париже.

Что бы ни происходило с ней или возле нее — крупное или мелкое,— она всегда сквозь свои заботы слышит страну и мир.

Анна Андреевна включила чайник. Мы попили чайку без сахару с черствой булкой.

Анна Андреевна сказала:

— Знаете, сегодня день смерти Блока. 19 лет. На днях я перечитала «Песню Судьбы». Я раньше как-то ее не читала. Неприятная вещь, холодная и безвкусная. Семнадцатилетняя какая-то, хотя ему было уже двадцать восемь. На ней лежит печать дурного времени, девятисотых годов. Десятые годы — это уже совсем другое время, гораздо лучшее... А «Песня Судьбы» — это гнутые стулья, стиль модерн, модерн северян. Душевное содержание его квартиры, еще раз рассказанная история его отношений с Любовью Дмитриевной и Волоховой. Поразительно, что это писалось в том же году, что и гениальные «Итальянские стихи».

Затем она вдруг упомянула старую-престарую статью Шагинян об «Anno Domini», помещенную в «Жизни искусства» ***. Она взяла газету с кресла и протянула мне.

— Прочтите. Мне интересно, что вы думаете,— сказала она.

Я прочла.

Как всегда у Шагинян, ценные догадки перепутаны с сущим вздором. Оказывается, бывает манерность, деланность — и она почему-то присуща классической лирике,— а бывает стиль. У Ахматовой пока еще много манерности, под которой автор статьи почему-то разумеет повторяемость образов; например, в стихах Анны Ахматовой часто повторяются образы Музы и сада... Затем указано, что истинный путь Ахматовой — народность, причем термин этот не определен... В этой догадке есть, безусловно, нечто верное; только не надо понимать народность так узко, как понимает Шагинян: из примеров, приводимых ею («Колыбельная» и пр.), следует, что под народностью она понимает лишь близость к фольклору. Между тем поэзия Ахматовой глубоко народна вся в целом,— и вовсе не только там, где в ее стихе пробивается частушка или песня ****.

Я сказала, что́ думаю.

Анна Андреевна как будто согласилась со мной, а потом добавила:

* Письмо Бориса Пастернака к Анне Ахматовой от 28 июля 1940 г. теперь напечатано — см.: Вопр. лит., 1972, № 9. «Перо задело о верх экипажа» — строка из стихотворения «Прогулка» (БВ, «Четки»).

** «Когда погребают эпоху» — БВ, Седьмая книга; № 46.

*** 20 мая 1922 г.

**** ББП, с. 179; № 47.

— Эти претензии на первосортность, эти ссылки на Гете, а на самом деле все вздор! И основная мысль неверна. Почему повторение образа сада и Музы в моих стихах — манерность? Напротив, чтоб добраться до сути, надо изучать гнезда постоянно повторяющихся образов в стихах поэта — в них и таится личность автора и дух его поэзии. Мы, прошедшие суровую школу пушкинизма, знаем, что «облаков гряда» встречается у Пушкина десятки раз.

Затем, не помню почему, разговор зашел о Кузмине. Кажется, началось с того, что она попросила меня достать ей «Форель».

— Я видела книгу только мельком, но показалось мне — книга сильная, и хочется хорошенько прочесть.

Я обещала принести. Я сказала, что поняла и полюбила Кузмина только с этой книги.

— Нет, я очень люблю «Сети»,— перебила меня Анна Андреевна.— И в «Вожатом» прекрасное стихотворение о Димитрии царевиче. Вообще, он поэт настоящий. Но его напрасно причисляли и причисляют к акмеистам. Я недавно целый вечер толковала Николаю Ивановичу, что Кузмин — человек позднего символизма, а совсем не акмеист. Он ни в одном пункте не совпадал с нами; не сходимся мы и в самом главном — в вопросе о стилизации. Мы совершенно ее отвергали, а Кузмин весь стилизованный.

Я сказала, что стихи:

Озерный ветер пронзителен,
Дорога в гору идет...
Так прост и так умилителен,
Накренившийся серый бот,—

заучат совсем по-ахматовски [69].

— Это неверно,— ответила Анна Андреевна.— Я писала, как он, а не он, как я. Мое стихотворение «И мальчик, что играет на волынке» написано явно под его влиянием *. Но это случайность, в основе все разное. У нас — у Коли, например,— все было всерьез, а в руках Кузмина все превращалось в игрушки... С Колей он дружил только вначале, а потом они быстро разошлись. Кузмин был человек очень дурной, недоброжелательный, злопамятный. Коля написал рецензию на «Осенние озера», а которой назвал стихи Кузмина «будуарной поэзией». И показал, прежде чем напечатать, Кузмину. Тот попросил слово «будуарная» заменить словом «салонная» и никогда во всю жизнь не прощал Коле этой рецензии... [70] Кузмин обо всех любил сказать что-нибудь плохое. Он терпеть не мог Блока, потому что завидовал ему. Однажды Лурье **, в присутствии Кузмина, играл свою композицию на слова Блока. Кузмин отлично знал, чьи слова, но нарочно спросил: «Это — Голенищева-Кутузова?» Вот такое он любил сказать о каждом. Он оставил дневник — продал его Бончу,— а Оленька, которая с Кузминым была дружна, рассказывала мне, что это нечто чудовищное. Потомки получат нечто вроде дневника Вигеля. Он никого не любил, ко всем был равнодушен, кроме очередного мальчика. В его салоне существовал настоящий культ сплетни. Салон этот имел самое дурное влияние на молодых людей: они принимали его за вершину мысли и искусства, а на самом деле это был разврат мысли, потому что все признавалось игрушечным, над всем посмеивались или издевались... Да, Михаил Алексеевич был совсем лишен доброты. Оленька моя очень часто влюблялась. Однажды она влюбилась в молодого композитора и принесла Кузмину показать его вещи. Кузмин отлично знал о ее любви, но издевался над опытами молодого человека вволю. Ну, зачем это было надо? Ну сказал бы что-нибудь вялое, человеческое: «Мне это чуждо... мои интересы не здесь» — но он никогда не упускал случая огорчить человека. Меня он терпеть не мог. В его салоне царила Анна Дмитриевна ***. А я до сих пор узнаю безошибочно людей из салона Кузмина — мне довольно одной фразы.

Она взяла со стула «Литературный современник», где напечатана ее «Клеопатра», и предложила почитать мне стихи оттуда.— Они все на довольно высоком уровне,— сказала она, надевая очки.— Вы скажите, когда вам надоест слушать... Симонов тут хорош.

После Симонова она прочитала Брауна, против моего ожидания — сносного [71]. После Брауна — Шефнер; мне не удалось дослушать его без смеха.

Одно стихотворение начинается так:

Мне ночи с тобой не снятся,
Мне бы только на карточке сняться.

Может, оно и не худо, но я не могла удержаться от смеха, так что Анна Андреевна отложила журнал. В свое извинение я объяснила: эти «не» очень коварны. Когда читаешь:

* БВ, «Вечер»; № 48.
** Об А. С. Лурье см. *прим. 76.*
*** Радлова.

— «Не гулял с кистенем я в дремучем лесу» — так и видишь лес и разбойника с кистенем, а когда читаешь:

— «Не бил барабан перед смутным полком» — так и слышишь стук барабана.

Мне ночи с тобой не снятся,
Мне бы только на карточке сняться,—

тут это «не» делает стихотворение полунепристойным, а каламбурная рифма — «снятся» «сняться» — полукомическим.

Анна Андреевна на минуту повеселела...

— Уж лучше бы ему снилось,— говорила она, смеясь,— может быть, это было бы скромнее.

— А каково было той барышне, которой он поднес эти стихи! — сказала я.

— Да что вы, Л. К.! Никакой барышни не было! Разве живой женщине можно поднести такие стихи? Вы только представьте себе: приходит к вам какой-нибудь знакомый и подносит свиток с этими стихами. Вы его сейчас же спустите с лестницы, несмотря на слово «не». ...Да нет, он все это придумал *.

Веселая минутка прошла. Анна Андреевна снова сделалась утомленной и грустной.

Рассказала мне историю смерти Анненского: Брюсов отверг его стихи в «Весах», а Маковский решил напечатать в № 1 «Аполлона»; он очень хвалил эти стихи и вообще выдвигал Анненского в противовес символистам. Анненский всей игры не понимал, но был счастлив... А тут Макс и Васильева сочинили Черубину де Габриак, она начала писать Маковскому надушенные письма, представляясь испанкой и пр. Маковский взял да и напечатал в № 1 вместо Анненского — Черубину...

— Анненский был ошеломлен и несчастен,— рассказывала Анна Андреевна.— Я видела потом его письмо к Маковскому; там есть такая строка: «Лучше об этом не думать». И одно его страшное стихотворение о тоске помечено тем же месяцем. И через несколько дней он упал и умер на Царскосельском вокзале... [72] Я в этом отношении счастливая: меня в жизни очень много хвалили и очень много ругали, но я никогда всерьез не печалилась. Я никогда не считалась номерами — первый ли, третий, мне было все равно. Я только один раз огорчилась по-настоящему: это когда Осип в рецензии назвал меня «столпник паркета». Но это потому, что Осип, только потому, что Осип...

13 августа 40.

Вчера утром я позвонила Анне Андреевне и спросила, когда ей удобнее, чтобы я пришла. Она ответила: «Удобнее как можно скорее».

Я пошла. Ничего историко-литературного она мне на сей раз не рассказывала. Грустна, больна. С сердцем худо. Часто умолкает совсем, и один раз во время долгого молчания я услышала шепот: кажется, это была какая-то стихотворная строчка. Я попросила ее почитать мне — нельзя было найти никакого разговора и хотелось слышать только стихи. Она прочитала «Август 1940» уже целиком, со строчкой; потом «Современницу» **; потом маленькое, неоконченное «Если бы я была живописцем» ***, похожее на «Александрийские песни» Кузмина.

— Я из этого, может быть, что-нибудь сделаю,— сказала Анна Андреевна задумчиво.— Тут пока что только низкие берега точны, а остальное еще случайно.

17 августа 40.

Утром я выбежала на почту и в булочную. Несла назад в одной руке батон, в другой, в кулаке, марки. Вдруг меня окликнули с такой внезапностью, что я выронила марки.

— Вы куда сейчас идете?

Смотрю — это Владимир Георгиевич.

* Стихотворение В. Шефнера на самом деле начинается так:

Ах, ночи с тобою мне даже не снятся,
Мне б только с тобою на карточке сняться.

Впоследствии А. А. переменила свое отношение к Шефнеру: она отзывалась о его поэзии с интересом и похвалой. (См. «Записки», т. 2.)

** «Август, 1940» — «Когда погребают эпоху»; № 46. «Современница» — № 49; печатая эти стихи впервые в «Литературной газете», в октябре 1960 г., А. А., по требованию редакции, вынуждена была изменить заглавие (ей объяснили, что «современница» — это не ее, а *наша* современница). Тогда она назвала стихотворение «Тень», и новое заглавие укоренилось; БВ, «Седьмая книга».

*** ?

— Я — домой.

— Возьмите меня, пожалуйста, к себе!

Он поднял мои марки, и мы отправились. По лестнице поднимались молча. Молчали, пока я отпирала дверь.

Он вчера приехал с дачи. Был у Анны Андреевны и находит, что она на грани безумия. Волосок *. Опять сетовал на ложность посылок и железную логику выводов. Просил меня непременно пойти к ней, не противоречить, но воздействовать. Потом он вдруг заплакал самыми настоящими слезами. Растерявшись, я ушла на кухню ставить чайник. Когда я вернулась, он уже не плакал, но одна крупная слеза еще стояла посреди щеки.

Я налила ему чай. Он отпил глоток и всхлипнул.

Я спросила:

— Что для вас тяжелее всего? Ее состояние? Ее гнев?

— Нет,— ответил он.— Я сам. Я понимаю, что теперь, сейчас обязан быть с нею, совсем с нею, только с нею. Но, честное слово, без всяких фраз, прийти к ней я могу только через преступление. Верьте мне, это не слова. Хорошо, я перешагну, я приду. Но перешагнувший я ей все равно не нужен.

И снова о ней: о философии нищеты, о безбытности, о том, что она ничего не хочет предпринять, что она не борется со своим психозом.

— А может быть,— спросила я,— это просто у нас не хватает воображения, чтобы понимать ее правоту? Может быть, не у нее психоз, а у нас толстокожесть?

Он помотал головой.

Вечером я позвонила Анне Андреевне и пошла к ней, купив по дороге всякую еду и сирень.

Анна Андреевна была мрачна и рассеянна. Лицо желтое, глаза возбужденные, блестящие. Она пожаловалась, что Таня в исступлении и в истерике сильно бьет Валю.

— Я не могу этого слышать. У меня уже нету сил. Вчера я подошла к дверям и стала в них колотить кулаками.

Зазвонил телефон. Анна Андреевна подошла к нему и вернулась совершенно белая.

— Вы только подумайте, какой звонок! Это оттуда. Это, конечно, оттуда. Женский голос: «Говорю с вами от имени ваших почитателей. Мы благодарим вас за стихи, особенно за *одно*». Я сказала «Благодарю вас» и повесила трубку. Для меня нет никакого сомнения...**

Я попыталась сказать, что сомнения все-таки возможны, но Анна Андреевна не дала мне докончить:

— Извините меня, пожалуйста! — закричала она, не сдерживаясь.— Я знаю, как говорят поклонники. Я имею право судить. Уверяю вас. Это совсем не так.

За чаем она продолжала:

— Вы понимаете, она говорила со мной холодным голосом, словно нотацию мне читала: «Ты не отдала мне 10 рублей».

Снова я попробовала сказать, что ведь это мы сами подставляем под *одно* стихотворение — именно «И упало каменное слово», а ей, быть может, понравилась «Сказка о черном кольце» или еще что-нибудь. Но мои слова вызвали только ярость.

— В. Г. сказал про меня нашей общей знакомой: «Мадам психует». А не следует ли предположить, что не я психую, а сумасшедшие те, кто не умеет сопоставить самые простые факты...

Она стала шепотом рассказывать мне о волоске, который, оказывается, не исчез со страницы, но был передвинут правее, пока она ходила обедать. И тут я сразу поняла, почему плакал В. Г.: возбужденнее, тревожнее, потеряннее и недоступнее слову я ее никогда не видала.

19 августа 40.

Вчера вечером я снова была у Анны Андреевны.

Она спокойнее, чем накануне, аккуратнее причесана, не так возбуждена и раздражена.

Письмо от К., очень ее тронувшее ***.

— В молодости К. была прекрасна, как гурия,— сказала Анна Андреевна.— Самая прекрасная женщина, какую я когда-либо видела.

---

* Чувствуя себя под надзором, А. А. вложила в тетрадь со стихами волосок — и он исчез. Она была уверена, что у нее в ее отсутствие сделали обыск.

** А. А. заподозрила, что «почитательница» имела в виду стихотворение «И упало каменное слово» — из «Реквиема». Оно было опубликовано в журнале «Звезда» (1940, № 3—4) и в только что вышедшем сборнике «Из шести книг». (Название «Приговор», разумеется, в рукописи, представленной в редакцию, отсутствовало. И в журнале и в книге тоже.) № 3.

*** К.— ?

А я завела разговор о Москве, приготовив еще по дороге доводы в пользу поездки. Главный довод я скрыла: быть может, поездка и окажется бесплодной, но зато Анна Андреевна хоть ненадолго уедет из этой комнаты. Анна Андреевна не согласилась со мной ни в одном пункте, с железной логикой доказала мне, что ехать ей незачем, но кончила все-таки просьбой зайти в Литфонд и заказать билет. Я торжествовала.

А потом начался разговор, который мне трудно будет воспроизвести,— в сущности, не разговор, а ее монолог. Я видела, что она во вспоминательном настроении и старалась ее не перебивать, только подбрасывала иногда вопросы.

Да, но еще до монолога, она прочитала мне новое:

Соседка из жалости — два квартала *...

Какой в ней живет высокий дух, с каким могуществом она превращает в чистое золото битые черепки, подсовываемые ей жизнью! Вот уж воистину «из какого сора растут стихи, не ведая стыда». Тут и Таня, избивающая Валю, и беспомощный В. Г., но в стихах это уже не помойная яма коммунальной квартиры, а торжественный и трогательный час похорон.

А потом, закинув руки за голову, сидя прямо и величественно в углу дырявого дивана, очень красивая, она сказала:

— Читаю «По звездам» Вячеслава. Какие это статьи! Это такое озарение, такое прозрение. Очень нужная книга. Он все понимал и все предчувствовал. Но удивительно: при такой глубине понимания, сам он писал плохие стихи. Он, конечно, поэт, и поэт замечательный, но стихи часто писал плохие. Не думайте, тут противоречия нет; можно быть замечательным поэтом, но писать плохие стихи. Читаешь его статьи и думаешь: человек, который *так* понимает поэзию, должен стихи писать необыкновенные. И в самом деле: в стихах та же глубина понимания, так же тонкость и прелесть образа, но — но — ритм вялый, бальмонтовский. Конечно, некоторые стихотворения и у него есть прекрасные, но они редки.

Она потянулась к креслу, взяла книгу Вячеслава Иванова и прочла мне два стихотворения. Не могу обозначить, какие: возвращаясь домой, я на улице обнаружила, что мгновенно и начисто их позабыла, хотя, пока Анна Андреевна читала их, мне они нравились. Кажется, в одном было что-то про похороны, а в другом про лампадку и мотылька.

Потом, отложив Иванова, она достала стихи «К синей звезде». И прочитала стихотворение о лесе — «Я женщиной в то время был измучен» — строгое, чистое, сильное [73].

Помолчав, она сказала:

— Я сейчас имею возможность наблюдать, как создаются воспоминания. Когда я училась в Царском, в гимназии, то двумя классами старше меня училась молоденькая девушка. Я помню, что она была смуглая и стройная и зимой ходила с муфтой. Это все, что помню о ней я. Она же теперь диктует воспоминания обо мне в каком-то кружке в ТЮЗе. Что она может вспомнить? Мне было пятнадцать лет, самая заурядная, тихая, обыкновенная гимназистка.

— Пятнадцать лет — это не так уж мало,— сказала я.

— Да нет, никакой не лицейский период, не думайте, пожалуйста.

Помолчав и закурив, она продолжала:

— Вот так и с Лермонтовым, вероятно, получилось. Он жил очень недолго. Его никто не заметил. Никто его жизни не увидал, никто не понял — такой он был или другой. А потом кинулись писать воспоминания. Людям этим было уже под шестьдесят. Они ничего не помнили и списывали друг у друга. Поэтому заниматься биографией Лермонтова очень скучно. Мне покойный Щеголев предложил делать вместе с ним монтаж воспоминаний о Лермонтове, вроде вересаевского. Я начала — и сразу убедилась: это очень скучно.

Я сказала, что в детстве и юности совсем не понимала, не любила Лермонтова и пришла к нему всего лишь лет пять назад. Сказала, что в детстве сильно любила Жуковского.

— Да, я сейчас перечитываю «Ундину»,— отозвалась Анна Андреевна,— как это чудесно, просто прелесть. В стихах Жуковского, во всех, такой замечательный,

---

* В отличие от текста, напечатанного в ББП на с. 290, мною запомнен такой вариант:

Соседка из жалости — два квартала,
Старухи, как водится,— до ворот,
А тот, чью руку я держала,
До самой ямы со мной пойдет.
И станет над ней один на свете,
Над рыхлой, черной, родной землей,
И позовет... Но уже не ответит
Ему, как прежде, голос мой.

необыкновенный, особенный звук... А к Лермонтову иногда трудно бывает подойти, потому что у него много графоманского. У него много лирических вещей неопределенной формы, неопределенного содержания; и одно без больших оснований переходит в другое.— Она улыбнулась собственным словам.— А под конец — целая вереница шедевров.

— Знаете, что я хочу вам сказать,— начала она снова,— я очень не люблю, как нынешние пятидесятилетние дамы утверждают, будто в их время молодежь была лучше, чем теперь. Вы им не верьте. Это неправда. В нашей юности молодежь стихов не любила и не понимала. Толщу было ничем не пробить, не пробрать. Стихи были забыты, разлюблены, потому что наши отцы и матери, из-за писаревщины, считали их совершенным вздором, ни для какого употребления не годным, или, в крайнем случае, довольствовались Розенгеймом. Я очень хорошо помню, как я принесла в гимназию «Стихи о Прекрасной даме», и первая ученица сказала мне: «И ты, Горенко, можешь всю эту ерунду прочесть до конца!» Пухленькая, беленькая, с белым воротничком и вот таким бантом в волосах — все ясно вперед на целую жизнь... Ее было ничем не прошибить. И такими были все.

Я сказала, что, быть может, в этой гимназии учились девочки одного круга.

— Вовсе нет. У нас были богатые девочки, которым в двенадцать часов лакеи из дому приносили на серебряном подносе завтраки, и бедные, дочери портних, или сироты. Но стихов не любили и не знали ни те, ни другие... Подумать только, что их матери и отцы проглядели почти полустолетнюю работу Тютчева... Нет, модернисты великое дело сделали для России. Этого нельзя забывать. Они сдали страну совсем в другом виде, чем приняли. Они снова научили людей любить стихи, самая культура издания книги повысилась.

Я спросила, полагает ли она, что теперь в нашей стране любят и понимают стихи многие.

— Да, безусловно. Я вообще не знаю страны, в которой больше любили бы стихи, чем наша, и больше нуждались бы в них, чем у нас. Когда я лежала в больнице, меня попросила один раз сиделка — даже не сиделка, простая уборщица: «Вы, говорят, гражданочка, стихи пишете... Написали бы мне стишок, я в деревню пошлю...» И оказалось, что она каждое письмо оканчивает стихом, и та, которая ей пишет из деревни,— тоже. Вы только подумайте!

Было уже поздно, около двенадцати, я хотела уйти, но она меня удержала. Речь зашла о специфически женских стихах. Я сказала, что не люблю их.

— Да, есть в них неприятное...— Анна Андреевна достала с кресла какой-то сборник и показала мне стихи Шагинян, плохие и притом ужасно какие-то нецеломудренные.

— Бесстыдно,— сказала я.

— Видите ли, поэт и должен быть бесстыдным,— медленно выговорила Анна Андреевна. Она держала руку по-ахматовски: большой палец под подбородком, мизинец отставлен, а три пальца — вместе с папиросой — вытянуты вдоль щеки. (И я еще раз увидала, как неверно изображают ее руку портретисты: на самом деле никаких длинных костлявых пальцев, детская ладонь, а пальцы стройные, но маленькие.) — Поэт и должен быть бесстыдным. Но как-то иначе, не так, как она.

Потом, без всякого перехода, она заговорила о Блоке и Любови Дмитриевне.

— Какая страшная у них была жизнь! Это стало видно из Дневника, да и раньше видно было. Настоящий балаган, другого слова не подберешь. У него — роман за романом. Она то и дело складывает чемоданы и отправляется куда-нибудь с очередным молодым человеком. Он сидит один в квартире, злится, тоскует. Пишет в Дневнике: «Люба! Люба!» Она возвращается — он счастлив — но у него в это время роман с Дельмас. И так все время. Почему было не разойтись? Быть может, у нее было бы обыкновенное женское счастье... Нет, я вообще и всегда за развод,— закончила она многозначительно.

Я даже рот раскрыла от этого совпадения и рассказала о своих постоянных спорах с Тусей, которая очень сложно, умно, интересно и, однако, для меня неубедительно объясняет, почему можно и нужно «сохранять семью», несмотря на другую любовь.

— Нет, нет, я всегда за развод,— повторила Анна Андреевна.— Очень тяжело оставаться вместе после того, как уже был конец. Получается балаган, вот как у нас в квартире,— она легонько постучала в стенку Николая Николаевича.

Я спросила, была ли Любовь Дмитриевна красавицей.

— Что вы, Л. К., с такой спиной! Она не только не была красива, она была ужасна! Я познакомилась с ней, когда ей исполнилось тридцать лет. Самое главное в этой женщине была спина — широченная, сутулая. И бас. И толстые, большие ноги и руки. Внутренне же она была неприятная, недоброжелательная, точно сломанная чем-то... Но он всегда, всю жизнь видел в ней ту девушку, в которую когда-то влюбился... И любил ее... Впрочем, в Дневнике, говорят, есть страшные о ней строки — Орлов их не напечатал — мне говорили люди, читавшие рукопись... Дельмас я видела в самый

момент их романа, она вместе со мной выступала в Доме Армии и Флота. Порядочная, добрая, но неумная. Она была веснушчатая, рыжая, с некрасивым плоским лицом, но с красивыми плечами, полная... (он, по-видимому, любил, чтобы у женщин было всего много). Очаровательная была Валентина Андреевна *, я очень дружила с ней, не то чтобы красивая, но прелестная... У Волоховой были прекрасные черные глаза... Любовные письма Блока очень благородны; мне Валентина Андреевна показала одно: «Все, что осталось от моей молодости,— Ваше»... [74]

Я заговорила о том, что многие любовные стихи Блока страшны отсутствием в них любви — если понимать под любовью доброту, нежность; самый корень слова, самая основа его — в его чувстве утрачены. «Мне искушенье тебя оскорбить» — любви в этом искушенье нету.

— Да, пожалуй,— согласилась Анна Андреевна.— Помните: «Опять звала бесчеловечным» [75]. И вот это отсутствие любви, о котором вы говорите, видно более всего в «Снежной маске»... Тут уж одни костяшки стучат... [76] Я полагаю, Блок вообще дурно, неуважительно относился к женщинам. У меня никогда не было и тени романа с Блоком (я очень удивилась, я всегда думала, что «мой знаменитый современник» ** — это он) — но я кое-что знаю случайно о его романах... Мне рассказывали две женщины в разное время историю свою с ним — в сущности, одну и ту же... Обе молодые и красивые... Одна была у него в гостях, поздно, в пустой квартире... другая в «Бродячей собаке»... Обе из породы женщин-соблазнительниц... А он в последнюю минуту оттолкнул их: «Боже... уже рассвет... прощайте... прощайте...»

— Ну, эти истории дурно характеризуют скорее их, чем его,— сказала я.

— Да, конечно... Но, встречаясь постоянно с такими вот дамами, он научился неуважительно думать обо всех подряд.

Я принялась излагать ей свою любимую теорию необходимости развода. Анна Андреевна согласилась, сделав некоторые оговорки.

— Бывают случайные измены, а потом опять все склеивается, но это редкость... Бывает также, что из-за детей не расходятся... Но я-то думаю, что и детям развод родителей чаще бывает полезен, чем вреден. А вот этакие наслоения жен,— она снова легонько постучала в стену Николая Николаевича,— это уже совсем чепуха.

Я рассказала ей об одной женщине, портнихе, от которой муж не может уйти, потому что она, чуть он за чемодан, покушается на самоубийство.

— Ну, это часто бывает,— презрительно отозвалась Анна Андреевна.— И поверьте, она уж теперь всю жизнь будет висеть на нем. Я знаю таких: бросается в пруд, ходит мокрая, потом сушится, потом опять бросается... Это уж на всю жизнь, тут ничего не поделаешь...

Она говорила бесстрастно и сухо, но мне сейчас же вспомнились давешние слова Владимира Георгиевича о преступлении, через которое он не в силах перешагнуть.

— Мы прожили с Николаем Степановичем семь лет. Мы были дружны и внутренне многим обязаны друг другу. Но я сказала ему, что нам надо расстаться. Он ничего не возразил мне, однако я видела, что он очень обиделся. Вот это стихотворение о лесе, что я вам прочитала, это обо мне... Тогда он только что вернулся из Парижа после своей неудачной любви к Синей Звезде. Он был полон ею,— и все-таки мое желание с ним расстаться уязвило его... Мы вместе поехали в Бежецк к бабушке, взглянуть на Леву. Мы сидели на диване, Левушка играл между нами. Коля сказал: «И зачем ты все это затеяла». Это было все... Согласитесь, на этом ничего не построишь,— прибавила она с грустью,— этого мало, не правда ли?..— И, помолчав: — Я нахожу, что мы слишком долго были женихом и невестой. Я в Севастополе, он в Париже. Когда мы поженились, в 10-м году, он уже утратил свой пафос...

Я не перебивала, молчала, и она, погасив папиросу, заговорила снова:

— Странно, что я так долго прожила с Николаем Николаевичем уже после конца, не правда ли? Но я была так подавлена, что сил не хватало уйти. Мне было очень плохо, ведь я тринадцать лет не писала стихов, вы подумайте: тринадцать лет! *** Я пыталась уйти в 30-м году. Ср.**** обещал мне комнату. Но Николай Николаевич пошел к нему, сказал, что для него мой уход — вопрос жизни и смерти... Ср. поверил, испугался и не дал комнаты. Я осталась. Вы не можете себе представить, как он бывал груб... во время этих своих... флиртов. Он должен все время показывать, как ему с вами скучно. Сидит,

* Щеголева.

** Строка из стихотворения «Покорно мне воображенье» — БВ, «Четки»; № 50.

*** Утверждение объясняется запальчивостью: таких периодов жизни, когда А. А. вообще не писала стихи, у нее не было. Правда, в иные годы писала она менее обычного. Во время брака с Пуниным Ахматовой написано, по приблизительному подсчету, около тридцати стихотворений, в частности, такие, как: «И ты мне все простишь», «Здесь Пушкина изгнанье началось», «Если плещется лунная жуть», «Тот город, мной любимый с детства», «Привольем пахнет дикий мед», «Последний тост», «Уводили тебя на рассвете», «Одни глядятся в ласковые взоры»; была также начата и почти окончена поэма «Русский Трианон» и др. Об этом см. т. 2 моих «Записок».

**** Вячеслав Вячеславович Срезневский? Муж Валерии Сергеевны?

раскладывает пасьянс и каждую минуту повторяет: «Боже, как скучно... Ах, какая скука» ...Чувствуй, мол, что душа его рвется куда-то... Я целый год раскручивала все назад, а он ничего и не видел... И знаете, как это все было, как я ушла? Я сказала Анне Евгеньевне при нем: «Давайте обменяемся комнатами». Ее это очень устраивало, и мы сейчас же начали перетаскивать вещички. Николай Николаевич молчал, потом, когда мы с ним оказались на минуту одни, произнес: «Вы бы еще хоть годик со мной побыли».

Она засмеялась, и я тоже. Смеялась она легко и беззлобно. Как будто рассказывала не о нем, не о себе.

— Потом произнес: «Будет он помнить про царскую дочь» — и вышел из комнаты. И это было все. Согласитесь, что и на этом ничего не построишь... С тех пор я о нем ни разу не вспомнила. Мы, встречаясь, разговариваем о газете, о погоде, о спичках, но *его*, его самого я ни разу не вспомнила *.

Было уже два. Мы условились, что завтра я поговорю в Литфонде о билете и потом позвоню ей. Я ушла, радуясь, что хоть ненадолго отвлекла ее от ее главной боли.

22 августа 40.

20 числа я была в Литфонде и заказала для Анны Андреевны билет на 24-е. Сообщила ей об этом оттуда же по телефону и уехала на дачу. Сегодня привезла ей с дачи свое пальто, потому что ехать ей не в чем. Она поблагодарила, но от билета, по словам ее, решила отказаться: ехать незачем. Я оставила ей пальто и ушла.

25 августа 40.

Приехав с дачи, я позвонила Анне Андреевне. Оказалось, она все-таки уехала в Москву.

31 августа 40.

Сегодня утром звонок: «Говорит Ахматова. Лидия Корнеевна, я уже вернулась и жажду возвратить вам ваше пальто».

Я отправилась по лютому дождю.

Лежит — опять лежит! Опять — толстое одеяло без простыни, разметанные по подушке волосы, потом роскошный — но порванный по шву — китайский халат...

Прежде чем рассказать о своих хлопотах, Анна Андреевна рассказала, что была в Переделкине у наших, что К. И. читал ей переводы из Уитмена.

— Они великолепны,— сказала Анна Андреевна.

Ехала она туда, по словам ее, очень удачно: попала в одно купе с женою Федина, которая сразу же на машине доставила ее в Переделкино. Ее поразило и, конечно, обрадовало, что Фадеев принял ее очень любезно и сразу сделал все от него зависящее. (Все последние дни перед отъездом она твердила: «Фадеев меня и на глаза не пустит».) Поражена также тем, что Фадеев и Пастернак выдвинули ее книгу на Сталинскую премию.

— Я пробыла на даче два дня **. Когда мне надо было ехать в Москву, К. И. устроил меня в машину с Виктором Финком. Ехали: Финк, шофер, я и молодая женщина, редактор Детиздата, которая была у К. И. по каким-то редакционным делам. И всю дорогу до Москвы она мне рассказывала, как несколько лет тому назад она украла мои книги у знакомых, а теперь 6 часов стояла в очереди, и им выдавали номерки. Я этот рассказ уже наизусть знаю, я его слышала из стольких уст, что, мне кажется, он просто на мне наклеен.

— К. И. рассказывал мне о Дневнике Любови Дмитриевны. Говорит, такая грязь, что калоши надевать надо. А я-то еще жалела ее, думала — это ее юный дневник. Ничуть не бывало, это теперешние воспоминания... Подумайте, она пишет: «Я откинула одеяло, и он любовался моим роскошным телом». Боже, какой ужас! И о Блоке мелко, злобно, перечислены все его болезни.

Я спросила, как поживает Борис Леонидович.

— Неважно. Хуже, чем когда я приезжала в Москву в прошлый раз. Тогда он был в упоении от успеха Гамлета. А теперь хмýрый. Говорит, что наладился было стихи писать, но не пришлось. «Сначала Зина собиралась в Крым (у старшего мальчика что-

* Во время войны, в эвакуации, в Ташкенте, весною 1942 года, А. А. получила от Н. Н. Пунина из Самарканда (куда он был эвакуирован вместе с Академией художеств) большое покаянное письмо. Мне она прочла его 22 апреля 42 г., сказав, что ответит прощением.

Письмо Н. Н. Пунина к Ахматовой ныне напечатано. См. «Ахматова. Ардис», с. 78, а также журнал «Наше наследие», 1988, № 4, с. 108.

** У кого? — из записи не видно. Но, по словам М. С. Петровых,— у Пастернака.— Прим. 1968 г.

то в легких)... потом огурцы поспели... надо было бочки запасать... бочки парить...» Честное слово, так и сказал: парить бочки.

Я спросила, по-прежнему ли он сердит на К. И.

— Да, пожалуй, еще сердит. Все за Гамлета, конечно. Я ведь говорила вам: никто из литераторов не свободен от профессиональной болезни. Вот и он тоже. Только мне одной все равно, как кто относится к моим стихам. Николай Иванович о книге моей высказался так: «Ну, какая это книга! И зачем она вам нужна! Ни к чему».— Она рассмеялась.— Но я ведь не стала за это его меньше любить.

На столе лежала ее фотография, из новых, мною еще не виданная. Из последней московской серии. Отличная. Измученное лицо, опущенные глаза.

Анне Андреевне она тоже нравится.

— Тут уже все есть, все видно,— повторила она несколько раз.— А то другие меня заставляют делать веселое лицо — какая-то маска...

Когда я поднялась, она вдруг сказала:

— Не пойму, как дать знать Владимиру Георгиевичу, что я приехала. Может быть, вы будете так добры позвонить ему...

И в ответ на мое обещание прибавила:

— Сама я туда не звоню.

Я спросила — хорошо ли она ехала обратно.

— Прекрасно. Ну, разумеется, заснула на два часа позже всех, а проснулась на два часа раньше, но все-таки спала. А то ведь обычно у меня в вагоне сплошная белая ночь.

Она очень обрадовалась тем игрушкам, которые я привезла от Люши детям, серьезно и долго рассматривала их, училась заводить и пускать прыгать по полу лягушку, соображала вслух, что кому: что Малайке *, что Вове, что Вале.

5 сентября 40.

Я вела себя по-хамски. Анна Андреевна позвонила мне 2-го и просила прийти, но я уже условилась с Татьяной Александровной и потому пообещала Анне Андреевне прийти 3-го [77]. Но и 3-го не пришла. У Танечки поднялась температура, я застряла на даче. Сегодня она опять позвонила, застав меня в городе. И мы сговорились на сегодняшний вечер. Встретила она меня вяло, бледная, усталая, с Вовочкой на руках. Родители ушли в кино; он мокрый, она не может найти другие штанишки. Базедова, по ее словам, у нее обострилась, и нога болит... Пришел Валя, разыскал штанишки, унес Вову. Она немного оживилась.

— Была у меня на днях поклонница. Вот бы вы посмотрели! Показательная поклонница, можно сказать. Девочка семнадцати лет, прелестная, хорошенькая, из какого-то киевского литературного кружка. Что она говорила! Боже мой, что она говорила!

— Неужели глупее той, из Публичной библиотеки? — спросила я.

— Куда! Та перед нею Иммануил Кант. Она задала мне два оглушительных вопроса. Первый: «У вас, наверное, была очень интересная жизнь... в молодости?». Я ответила, что о собственной жизни судить не могу. Второй вопрос был таков: «Правда ли, что существуют две ваши статуэтки и обе в Париже, так как вы — акмеистка?» Что за галиматья! Им там что-то сказали про акмеизм, и она все перепутала.

— Стихи читала? Какие?

— Читала. Никакие. Семнадцатилетние.

Я осведомилась у Анны Андреевны, понравилась ли ей «Форель».

— В этой книге все от немецкого экспрессионизма. Мы его не знали, поэтому для нас книга звучит оглушительной новостью. А на самом деле — все оттуда. Как это ни странно, а в книге много служебного, словно подписи под картинками... Мне понравился «Лазарь» и отдельные стихи, например то, которое и вам так нравится: «По веселому морю летит пароход». Впрочем, конец там неприятный — о двухлетках **. Очень тяжелое впечатление оставляет непристойность... Во многих местах мне хотелось точек... Это уж очень на любителя: «Практикующие балбесы». Кузмин всегда был гомосексуален в поэзии, но тут уж свыше всякой меры. Раньше так нельзя было: Вячеслав Иванов покривится, а в двадцатые годы уже не на кого было оглядываться... Быть может, Виллону это и удавалось как-то, но Михаилу Алексеевичу — нет. Очень противно.

* Малайка — детское прозвище Ани, внучки Николая Николаевича, дочери Ирины Николаевны Пуниной.

** А. А. имеет в виду строки:

Скоро люди двухлетками станут совсем,
Заводною заскачет лошадка.

См. «Панорама с выносками», «Выноска третья» («Форель разбивает лед»).

Потом Анна Андреевна сообщила мне скверную новость: Таня предупредила, что со следующего месяца не станет кормить ее обедами.

Видя мое огорченное лицо, она сказала:

— Быть может, Пунины разрешат своей домработнице варить мне обед.

Быть может! Будь проклята эта квартира.

10 сентября 40.

Вчера вечером, поздно уже, когда я собиралась ложиться, вдруг телефонный звонок: Владимир Георгиевич. Расстроенным голосом, торопясь, произнес:

— Анна Андреевна очень просит вас прийти. Это очень, очень надо. Вы можете? Вы придете? Ну, слава Богу.

Я отправилась. Было уже около одиннадцати. Дождь: мокрый черный асфальт блестит осенне и кинематографически.

Анна Андреевна в кресле возле стола, в белом платке поверх халата, строгая, спокойная, тихая, мрачная. Я еще раз про себя подивилась тому, как человек может быть таким совершенным и таким выраженным. Хоть сейчас в бронзу, на медаль, на пьедестал. Статуя задумчивости — если задумалась, гнева — если разгневана.

Когда я вошла, передо мной сидела сама тоска. Но скоро это переменилось.

— На днях у меня был А. с женой *, он теперь заведует Домом кино. Предложил мне вечер. Вы понимаете, что в силу целого ряда обстоятельств это предложение мне приятно. Я сказала: сейчас не могу, больна, а в конце октября согласна, но сама читать буду лишь в гомеопатических дозах. Чернявский будет читать — вы его не слышали? Прекрасно читает! Надо будет только подобрать для него стихи не от женского имени [78]. Потом кто-то будет петь, потом я прочту пять-шесть вещей.

Я спросила, хватает ли у нее обычно голоса на выступлениях.

— Когда слушают хорошо, всем голоса хватает,— ответила она.

Я рассказала ей о холуйской статье Б-ой **.

— Вот из-за этого-то я и перестала заниматься Пушкиным... Кроме того, мне было тяжело от грызни между пушкинистами. Вечером благополучно уснешь, а утром увидишь, что тебе за ночь руку или ногу отъели... Цявловский и то стучал на меня кулаком по столу. В работе над «Золотым петушком» мне повезло: книга оказалась в библиотеке Пушкина. А то они мне ни за что не поверили бы. Цявловский кричал мне, что это русская сказка, чем доказал только свое невежество, потому что сюжеты всех русских сказок давно известны наперечет, их можно все перебрать, как бусы на нитке... И в русских сказках такого сюжета нет ***.

Разговор перешел на Достоевского.

Я сказала, что люблю его сильно, но перечитываю редко: очень уж тяжелое чтение.

— А мне в последнее время он представляется почти идиллическим,— сказала Анна Андреевна.— Я вот теперь в Москве перечла «Подростка». Ах, какая вещь! Но все это совсем не страшно. К реальной действительности это отношения не имеет. Это все стороны его души — и только. В действительности ничего такого никогда не было и не бывает.

Я сказала, что не люблю Тургенева.

— Мелко у него все, люди мелкие и события, и сам он мелковат,— сказала Анна Андреевна.

Потом:

— Когда я была у Корнея Ивановича, его позвали по какому-то делу, он извинился и минут на двадцать ушел, дав мне Гончарова, чтобы я почитала пока. Помните рассказ Гончарова о том, как Тургенев его обворовал? Конечно, там много бреда, но когда читаешь — понятно все-таки, что в основе лежит истина.

Затем, сообщив мне очень торжественно и многозначительно, что Лозинский переводит уже двадцатую песню «Ада», она рассказала:

— Знаете, во Флоренции хранится подлинное завещание отца Беатриче. Из этого завещания явствует, что звали ее вовсе не Беатриче, а Биче. Исследователи долго не понимали, почему Данте дал ей другое имя. Но оказалось, это был рыцарский средневековый обычай — воспевать даму под условным, вымышленным именем. Ведь если употребишь ее настоящее имя, можно получить железной перчаткой по лицу.

Я поднялась, но она сказала умоляюще:

— Я сейчас поставлю чайник. Вы не можете себе представить, как быстро он закипит!

---

* А.— ?

** ?

*** Речь идет о работе А. А. «Последняя сказка Пушкина» — см.: «Звезда», 1933, № 1. В переработанном виде статья эта опубликована Э. Г. Герштейн в сборнике: Анна Ахматова. О Пушкине. Л.: Сов. писатель, 1977.

Она вскочила с кресла и воткнула вилку в штепсель необыкновенно быстрым и гибким движением.

— Правда, у меня к чаю один только сухарь, да и тот черствый. Ни у кого не бывает такого плохого угощения, как у меня.

За чаем она снова рассказывала мне о Москве, в частности о Николае Ивановиче.

— Он сейчас в какой-то новой орбите... Теперь он бритый, подтянутый и даже эскалаторов метро перестал бояться — а раньше это было такое мученье... Та дама, в чьей орбите он находился прежде, теперь отлучена от стола и ложа. Мне выпало на долю подавать ей первую психическую помощь. Я посоветовала ей воздвигнуть в сердце мавзолей угасших чувств и отойти без объяснений... Я по себе знаю, что в подобных случаях следует поступать только *так*. Он, несомненно, в новой орбите: он и со мной стал другим. Очень обрадовался мне, был внимателен, но все совсем, совсем не так, как прежде. Удивляться нечему — живем в разных городах, видимся редко.

Постучался и вошел Николай Николаевич. Почесывая макушку, он спросил:

— Аня, у вас нет 15 рублей?

— У меня 50.

— Ну, дайте 50. Я пытался продать книги, но не вышло.

— Все сейчас пытаются продавать книги, и у всех не выходит... Была сегодня Ольга, взяла 50 рублей: она пыталась продать книги и у нее не вышло... * Возьмите, пожалуйста.

Николай Николаевич взял, поблагодарил, почесал голову и вышел.

Анна Андреевна рассказала, что собирается выкупить у Тани свою книгу за 100 рублей.

— Как? Неужели она вам так не отдаст? Ведь она получила ее от вас даром.

— Ничего не получила, а просто вошла в комнату и сама взяла, когда тут стопочка лежала на стуле. А теперь говорит, что отдала бы мне, пожалуй, за 100 рублей.

Ну, квартирка!

17 сентября 40.

Вчера я позвонила вечером Анне Андреевне и попросила разрешения прийти. По дороге купила пирожных. У нее сидела Лотта. Долго уверяла Анну Андреевну, будто безумно ее боится. Но по ее развязности и остротам этого заметно не было.

Скоро она ушла.

Анна Андреевна рассказала мне: «закрыл лицо руками». И о Расине:

— Расин умер оттого, что король ему не ответил на поклон. Он был в силе, а потом кто-то оттер его. Чтобы проверить свои акции, он пошел к мессе и стал на положенное ему место. Дождался выхода короля. Поклонился ему, а тот не ответил. Тогда Расин пошел домой, лег в кровать и к вечеру скончался **.

Нынче всю ночь она читала Данта, сравнивая его с французским подстрочником.

— То есть, это не подстрочник: современники, вероятно, принимали его как великолепный перевод. Я узнала многое, о чем прежде и представления не имела. Например: как известно, Гюго возмущался, что Дант назвал свою поэму «Божественной». Но оказывается, он так ее никогда не называл. Просто «Комедия», а «Божественной» ее назвали другие... Итальянцы считают, что вся итальянская поэзия выросла из «Комедии». Конечно, это так. Но вот что интересно: у Данта все было домашнее, почти семейное. А у Петрарки, у Тассо все уже стало общим, отлеченным, потеряло домашность. Такой же породы — домашней, семейной — был у нас Маяковский.

Мы сидели в полутьме, а за стеной все время раздавался пьяный голос. Постепенно я поняла, что этот пьяный голос учительствует: обучает ребенка писать. Это Женя *** учит Валю. Голос озверелый, темный...

Анна Андреевна прочитала мне три стихотворения С.**** Я ей сказала, что очень странно из ее уст слышать чужие стихи, что они приобретают интонацию ее стихотворений.

— Да, да, мне это уже говорили. В Цехе поэтов, бывало, меня для потехи заставляли читать Некрасова:

Он твои пленительные взоры
. . . .
Все отдаст за плоские рессоры...

---

* Ольга — Ольга Федоровна Берггольц. О ней см. «Записки», т. 2.

** Кто закрыл лицо руками и с кем случилось нечто подобное тому, что случилось с Расином,— вспомнить не могу.

*** Смирнов; Валин и Вовин отец.

**** С.— ?

Некрасов читал, конечно, совсем не так. Все очень смеялись.

Стихи С. мне понравились: чистые, тютчевские. Оказалось, автору за сорок. Я спросила, давно ли он пишет: стихи редко ведь начинают писать в зрелом возрасте (прозу сколько угодно). По этому поводу мы заговорили о поразительно раннем развитии Лермонтова.

— Мальчиком он написал «Ангела» и «Русалку»,— сказала Анна Андреевна,— «Русалка плыла по реке голубой». Вы подумайте только!.. «Если бы у меня был такой сын, я бы плакала»...

Она включила чайник, распаковала пирожные и продолжала:

— Такую фразу мне сказала однажды моя тетка.

— Плакала бы от счастья? — спросила я.

— Нет, от горя, конечно. Она сказала мне: «Если бы я была твоей мамой, я бы все время плакала».

— Чем же это вы ее так огорчили?

— Мне было тогда лет тринадцать. Я ходила в туфлях на босу ногу и в платье на голом теле — с прорехой вот тут, по всему бедру... (Я подумала, что и в пятьдесят я частенько вижу ее в халате с прорехой по всему бедру.) ...до самого колена, и чтобы не было видно, придерживала платье вот так рукой... Это, конечно, не способ. И потом, я бросалась в море со всего — со скалы, с лодки, с камня, с балок... Знаете, как я ответила своей тетушке? Все-таки я была ужасная нахалка! Я ответила ей так: «Для нас обеих лучше, что вы не моя мама».

Заговорили о Мандельштаме. Я прочитала строфу:

Еще обиду тянет с блюдца
Невыспавшееся дитя,
А мне уж не на кого дуться,
И я один на всех путях...

— сказав, что сильно люблю ее, что в этих строках есть что-то необыкновенно точное.

— Да, да,— ответила Анна Андреевна,— прелестные стихи — и так это на него похоже! Он ведь был странный: не мог дотронуться ни до кошки, ни до собаки, ни до рыбы... А детей любил. И где бы ни жил, всегда рассказывал о каком-нибудь соседском ребеночке...

Мы сели пить чай. За чаем Анна Андреевна заговорила о том, как Лотта уверяла ее, будто ее, Анну Андреевну, все боятся.

— Я не могу понять, чем это вызвано. Но мне часто об этом рассказывают. Почему? Я никому не говорю неприятностей. Сологуб, например,— тот любил и умел сказать неприятное, и потому его боялись. Я же никогда никому. А между тем Лотта уверяет, что однажды, когда я в Клубе писателей прошла через бильярдную, со страху все перестали катать шары. По-моему, в этом есть что-то обидное.

Я спросила, как ее хозяйственные дела. Омерзительно. Таня уехала в Выборг, да и все равно отказалась кормить ее, Пунины тоже не хотят разрешить своей домработнице ее обслуживать. Столовая в Доме писателей закрыта.

— Скоро меня положат в больницу,— сказала Анна Андреевна,— и вот тогда я буду есть три раза в день.

Пришел Владимир Георгиевич, замученный. Сел в кресло, закрыл лицо руками, начал жаловаться. Посидев минут пять, я ушла.

18 сентября 40.

Вчера вечером Анна Андреевна позвонила и пришла — поздно вечером, часов в десять. Лицо ее показалось мне раздраженным, недобрым. Она была в черном шелковом платье и в шелковом платке, красивая, величавая. Разговор зашел о Ксении Григорьевне. Анна Андреевна говорила о ней с яростью, с искаженным от бешенства лицом *. Потом она прочитала мне снова свою великолепную «Современницу» — красавицу тринадцатого года. Потом принялась расспрашивать о моей работе. Я пожаловалась, что, когда только что напишу что-нибудь — стихи ли, прозу — совсем не могу судить о качестве.

— Да и никто не может... Плывешь без руля и без ветрил... Только потом замечаешь, что все одинаково реагируют на одни и те же места, и тогда сама начинаешь понимать. Например, «Путем всея земли». Все, решительно все говорят об этой вещи одно и то же: «вещь магическая» и «новое искусство». Ну, разумеется, кроме Кс. Гр., которая честно призналась, что она просто ничего не поняла. Но ей понимать и не положено.

Она сидела у меня часов до двух. Я пошла ее провожать. Дворник долго не отпирал нам внизу дверь нашей парадной, и мы смотрели сквозь стекла на темный город. Редкие машины проплывали беззвучно, как рыбы. А трамваи с громким звоном — «заблудившиеся». Потом дворник открыл нам, мы пошли, и она опять боялась переходить через Невский.

24 сентября 40.

Вчера я рассчитала, что у меня в Доме Занимательной Науки будет промежуток и я могу подняться на часок к Анне Андреевне *. Я позвонила ей снизу — «Ну конечно, приходите!» — сказала она. Однако, когда я пришла, выяснилось, что она приглашена к обеду и ей уже пора. Она попросила меня проводить ее, и я отправилась, надеясь вовремя вернуться в ДЗН.

Мы вышли на Фонтанку. День был теплый, солнечный, золотой — «совсем ваша весенняя осень» — сказала я. Мы шли к Неве. Она заговорила о жене Коли Давиденкова — как та его мучит, настоящая современная Кармен или Манон Леско.

— Но когда у нее будет трое детей от троих разных мужчин — что же, они так и будут целым табором кочевать от папы к папе? — сказала Анна Андреевна.— И все, в отличие от Кармен, из-за лишних ста рублей, уверяю вас.

Я сказала, что вот такая женщина, никого не любящая и корыстная, всегда будет любима.

— Вовсе нет. Сейчас она очень свежа, но ведь это пройдет. И Коля оставит ее, и другой муж. Тому уж, говорят, надоело. Сколько я таких историй в жизни видела.

Мы перешли через разрытую Симеоньевскую и пошли по Моховой.

— Недавно у меня опять была Валерия Сергеевна,— сказала Анна Андреевна.— Представьте себе, это совершенно другой человек, новый, мне не известный. Полное изменение личности. Даже в мелочах она другая. Когда-то, в молодости, она была очень тяжела на подъем. Собирается в гости: переменит три платья, три прически и останется дома. Когда я теперь возобновляла с нею знакомство, я, признаться, немного рассчитывала на эту черту: ну, думаю, придет раза два в зиму — и только. Но нет! Теперь она ходит очень легко! Сколько угодно! Безо всяких затруднений!.. Но это еще полбеды. Она духовно переменилась. На днях взяла у меня почитать Пастернака. И принесла. Возмущена ужасно: «Развязен... бездарен... самовлюблен... плетет словеса...» Все это 20 лет тому назад мы свободно могли бы прочитать в «Новом времени». «Рекламирует своего друга Нейгауза». Боже мой! Нейгауз — знаменитый музыкант и нисколько не нуждается в рекламе. «Баллада» ее вообще возмутила; ей неведомо, что Подол — это часть города, она воображает, будто речь идет о подоле женской юбки. И возмущена цинизмом.

— Вы ей объяснили?

— Конечно, нет... Я бы желала, чтобы когда-нибудь она встретилась у меня с Ксенией Григорьевной. Они обе и не догадываются, как сильно друг на друга похожи.

— А раньше Валерия Сергеевна была похожа на Ксению Григорьевну?

— Нисколько. Я говорю вам: произошла полная подмена личности.

Мы вышли на Неву. Она пенилась слегка, хотя и была голубая.

— Эта река всегда идет вспять. Всегда,— сказала Анна Андреевна.

29 сентября 40.

Третьего дня вечером Коля Давиденков сказал мне, что в «Ленинградской правде», в статье о литературе, есть очень неблагосклонный отзыв об Анне Андреевне. Я хотела сразу к ней зайти, но помешал грипп. Вчера утром, когда мне сделалось полегче, я, позвонив, пошла. Застала ее еще в постели. Возле нее сидел Валя и готовил уроки. Оказывается, про статью она ничего не знала. Известие приняла равнодушно, однако послала Валю к Пуниным за газетой. Я прочла ей всю статью вслух. Она обругана не по первому разряду, а так, приблизительно по десятому...** Зато строки, порицающие З., очень ее огорчили, и она несколько раз в разговоре возвращалась к несправедливости этих строк ***.

---

* Ксения Григорьевна бесконечно раздражала Анну Андреевну и меня своими рассуждениями об арестах. Точка зрения ее может быть выражена двумя, не идущими к делу, но спасительными поговорками, за которые люди усердно цеплялись в те времена: «Лес рубят — щепки летят» (мол. берут виновных — случайно попадаются и невинные) и «нет дыма без огня» (мол, зря не сажают). Эти поговорки служили оправданием террора и потому не могли не приводить Анну Андреевну в ярость.

* Мне в это время нередко давали на редактирование рукописи в Доме Занимательной Науки, который помещался в бывшем дворе Шереметевых; Ахматова жила там же, на Фонтанке, 34, но не в основном здании, а во флигеле.

** «Ленинградская правда», 27 сентября 1940. В статье «Активизировать творческую работу писателей» говорилось об «упадочнических» и «бледных» стихах Анны Ахматовой, вошедших, по вине беспечных редакторов, в сборник «Из шести книг».

*** Мною что-то здесь перепутано. Определить, кого я укрыла под буквой «З», мне не удается.

Потом она попросила меня достать из комодика пачку писем и, надев очки, прочитала мне письмо какого-то гражданина из Новосибирска, сильно ее тронувшее. В самом деле, письмо, хоть и неинтеллигентное, но хорошее. Там есть такие слова: «И за это, товарищ Ахматова, я приношу Вам свою благодарность».

— Не правда ли, «товарищ Ахматова» звучит тут очень мило? — сказала Анна Андреевна.— Вчера я была в Пушкинском доме на заседании блоковской комиссии. Там, в перерыве, ко мне подошел молодой человек и вручил записку со стихами.

Анна Андреевна прочитала мне это стихотворение вслух, предупредив:

— От избытка чувств в одной строке нету ритма.

Я включила чайник и развернула пирожные. Анна Андреевна отдала два Вале и велела ему идти домой и одно дать Вовочке.

Пока чайник не вскипал, Анна Андреевна читала мне стихи. Прочла про темные души, про Шекспира, потом, извинившись, что читает неоконченное, про руки и Павловск *.

Я сказала о первом: оно той же тональности, что и «Путем всея земли».

Она удивилась:

— А мне кажется, оно совсем створе, словно из «Белой стаи»... Новым мне представляется только третье.

Она уже дошла до того полного «владения формой», когда воочию осуществляется постоянное, старинное мечтание поэтов:

О, если б без слова
Сказаться душой было можно!

Слушаешь, и кажется, будто нету слов, размеров, ритмов, рифм, а просто — просто! — говорит сама душа, минуя форму, сама собой, чудом.

Все время, пока она читала, из соседней комнаты доносились Танины крики:

— Ах ты, зараза, сволочь, я тебе покажу, сволочь ты этакая!

Это Таня учила Валю делать уроки.

1 октября 40.

Сегодня утром трагикомедия с переплетчиком. Вручая ему две недели назад книгу Ахматовой, я специально просила беречь надпись. Он обещал. А сегодня вручил мне книгу, весьма изящно переплетенную, но с отрезанной надписью — только хвостики от *р* и *д* остались. Я топала ногами и кричала. «Что вы расстраиваетесь, гражданка?» — сказал он флегматически. «Подумаешь, надпись! Ведь это не Лев Толстой». На прощанье сострил: «Хотите, я вам сам надпишу?»

Я решила пойти к Анне Андреевне и попросить ее надписать мне книгу снова. Зашла к ней вместе с Люшенькой, возвращаясь от англичанки. Пришли мы некстати. Анна Андреевна неприбранная, непричесанная, с изможденным лицом. Я не удержалась и сразу рассказала ей о своей неудаче у переплетчика — не спросив ее о здоровье, не узнав, отчего она так дурно выглядит.

Она рассказала **, и я устыдилась себя.

Она села, однако, надписывать заново книгу. Перо оказалось негодным, и Люша была послана к Пуниным за другим.

Ночью у Анны Андреевны был сердечный приступ.

Она пыталась быть любезной со мною и ласковой с Люшей, но это ей удавалось плохо.

Попросила меня достать ей вчерашнюю «Литературную газету» — там, оказывается, была статья о ней [79].

Мы с Люшей простились. Анна Андреевна пошла проводить нас до выходных дверей. Обнаружив на кухне свет, она резко сказала пунинской домработнице: «Погасить сейчас же. Это квартира коммунальная, и я не хочу из-за вас сидеть в лагере». Я в первый раз слышала, чтоб она говорила с кем-нибудь в таком резком и раздраженном тоне.

У дверей, прощаясь со мной и Люшей, она сказала:

— Сегодня день его рождения.

3 октября 40.

Вчера вечером Анна Андреевна позвонила мне, что придет. У меня сидел Коля Давиденков, мы работали над его рукописью. Когда подняли головы — был час ночи: Анна Андреевна не пришла.

* А. А. прочитала: «Так отлетают темные души», № 19; «Лондонцам», № 51 (БВ, «Седьмая книга»); «Шестнадцатилетние руки» — впоследствии «Пятнадцатилетние» и окончательно: «Мои молодые руки», № 27.

** Какое-то дурное известие о Леве.

Сегодня с утра я отправилась к ней узнать, что случилось. В комнате старик-маляр замазывал окно. Анна Андреевна лежала на диване под толстым одеялом, с желтым лицом — какая-то маленькая, сухая.

— Извините меня. Я вчера вышла к вам, дошла до Невского и повернула обратно: увидела часы и на них оказалось без двадцати двенадцать. А я думала — семь.

— Вы спали сегодня?

— Нет.

Я извинилась, что еще не раздобыла газету.

На стуле возле Анны Андреевны лежал томик Багрицкого, издания Малой серии. Она спросила меня, знаю ли я стихи Багрицкого и что о них думаю.

Я ответила: знаю, но не думаю ничего, потому что они как-то проходят мимо меня, не трогая и не задевая.

— Совсем неинтересно,— согласилась Анна Андреевна.— Я читаю впервые. Меня поразила поэма «Февраль»: позорнейшее оплевывание революции.

И она очень методически, подробно, медленно пересказала мне своими словами сюжет и содержание этой поэмы [80].

— Удивляюсь редактору книги. Зачем было это печатать? А вступительная статья Гринберга! Какая безответственность! Он пишет, будто в 1915 году во всех журналах царили акмеисты. Каждый школьник знает, что 15 год — это Блок, Сологуб, Брюсов, Белый. Акмеистам в 15 году было негде печататься.

Я собралась уходить, но завыли сирены, закричало радио — началась воздушная тревога.

— Голос беды,— сказала Анна Андреевна.

Она попросила включить чайник. Я нашла в шкафчике кусок окаменелого хлеба, нашла сахар, вымыла чашки и ложки. Рассказала ей замысел своей статьи о Зощенко: статья будет о том, что Зощенко — писатель-моралист, занятый главным образом этическими проблемами, и о том, как ставит он эти проблемы в рассказах для детей [81].

Анна Андреевна перебила меня.

— Как это странно! То же самое про этику, про моральное напряжение говорил мне когда-то Хлебников обо мне... Вы подумайте: Хлебников обо мне!

Труба заиграла отбой. Бодрые звуки эти очень шли золотым листьям за окном, яркому солнцу, синеве.

Я простилась.

8 октября 40.

Вчера я была в гостях у Анны Андреевны. Впечатление смутное и тяжелое. Когда я вошла, она стояла на коленях у сундука, выкладывая на пол какие-то книги и рисунки. Объяснила, что ищет маленький пейзаж, который хочет подарить Владимиру Георгиевичу. Нашла рисунок: лодочка, озеро, отражение холма в воде... (Подписи художника я не разглядела хорошенько; может быть, Воинов.) И только когда она поднялась с колен и села на свое обычное место — я увидела, что у нее искаженное лицо, какое-то отекшее и осунувшееся. Такое лицо было у нее в прошлогоднем августе, когда она провожала Леву.

Скоро пришел гость — некто из Эрмитажа. Он рассказал о болезни Орбели: у Орбели гайморит, врачи настаивают на операции, а он отказывается.

— Что же будет? — спросила я.

Анна Андреевна все время слушала очень рассеянно, молча сидела и думала о чем-то своем. Но на мой вопрос ответила энергично и с гневом:

— Будет — смерть. Вот наказание за трусость!

13 октября 40.

Вчера вечером Анна Андреевна позвонила мне и очень настойчиво попросила прийти. Я отменила работу с Колей Давиденковым и пошла к ней по проливному дождю.

Комната имеет вид пустой, просторной, тщательно прибранной. У Анны Андреевны белые глаза и синие губы. Глаза ввалились, глазницы, как ямы. Усадила меня на диван:

— Я письмо получила. Сегодня. В 8 часов утра. Не получать писем худо — три месяца не было ни строки,— а получать еще хуже.

Прочитала мне письмо вслух. Голос напряженный: «Жизнь, кажется, висит на волоске». Когда она кончила, на глазах у нее были слезы.

А ей ведь предстоит известить Леву о новой неудаче!

Я спросила, какие у нее еще новости.

— Да так, смешные пустяки.— И протянула мне маленькую бумажку. Там, на машинке, с пропуском места для вписанной от руки фамилии, настукано предложение

прислать стихи для какого-то сборника — «стихи 39—40 гг.». Бумажка серийного производства. Однако я обрадовалась и такой: она не была бы послана, если бы имя Анны Ахматовой стало уже совсем одиозным.

Анна Андреевна включила чайник. Тут я поняла свою глупость: по дороге я ничего не купила, а к чаю нет ничего решительно. Я отправилась покупать.

Когда я воротилась с пакетами, на диване возле Анны Андреевны сидела Срезневская [82]. На ней была знаменитая лазурная шаль Анны Андреевны. Мы начали пить чай. Валерия Сергеевна звучным своим голосом, русским говорком пустилась в воспоминания. Говорит она хорошо, красочно, иногда ее замечания тонки, но она слишком часто вставляет в речь словечко «понимаете» и слишком у нее в ходу «исключительно» и «замечательно». Она говорила: «Теперь старые дамы пытаются присоседиться к Ане. Недавно я слышала об одной, которая у кого-то отняла твою книгу, потому, мол, что у нее и с книгой и с тобою „столько связано": вы обе любили одного человека, и она его тебе отдала».

— Это Владимира Казимировича,— засмеялась Анна Андреевна.— Какая чушь.

— Он был исключительно, непередаваемо красив,— воскликнула с энтузиазмом Валерия Сергеевна.— Высокий, стройный. Лепка головы просто античная. А какой он был гений.

Я опасалась сначала, что Анне Андреевне эта болтовня неприятна,— нет, она охотно слушала и вставляла словечки.

Заговорили о том, как недостоверны воспоминания. Срезневская: «Вот, например, Голлербах. Ну что он может помнить и что понимать? Это мы хорошо помним кондитерскую его матери. У нее была целая куча детей, и Эрка бегал — schneller! — теряя калоши. Не правда ли, Аня, мы никак не предполагали тогда, что это будущий искусствовед? [83] Ну, что он может помнить?.. Мы еще там леденцы покупали — ты помнишь, Аня?»

— Он сделал так,— сказала Анна Андреевна,— женился на второй жене мужа моей покойной сестры. И овладел моими письмами и дневником сестры *.

Потом они вспоминали извозчика в Царском, который обернулся и что-то сказал им смешное **, потом — няню Валерии Сергеевны, которая чудесно говорила порусски, носила власяницу и дружила со скопцом Федькой; потом — мать Анны Андреевны.

— Твоя няня,— сказала Анна Андреевна,— все удивлялась, как это Коля на мне женился: горбоносая, худая, ничего в ней нет. А Коля — первый жених в Царском. Это понятно. Она ведь, как и все они там, сильно почитала Колину мать. Анна Ивановна была хозяйкой, не то что наши мамы.

«Да уж, твоя мама совсем ничего не умела в жизни. Представьте, Лидия Корнеевна, из старой дворянской семьи, а уехала на курсы. Как она собиралась жить — непонятно».

— Не только на курсы,— поправила Анна Андреевна,— она стала членом народовольческого кружка. Уж куда революционнее.

«Представьте, Лидия Корнеевна, маленькая женщина, розовая, с исключительным цветом лица, светловолосая, с исключительными руками».

— Чудные белые ручки! — вставила Анна Андреевна.

«Необыкновенный французский язык,— продолжала Срезневская,— вечно падающее пенсне, и ничего, ну ровно ничего не умела... А твой отец! Красивый, высокий, стройный, одет всегда с иголочки, цилиндр слегка на бок, как носили при Наполеоне III, и говорил про жену Наполеона: „Евгения была недурна"»...

— Он видел ее в Константинополе,— вставила Анна Андреевна,— и находил, что она — самая красивая женщина в мире.

Потом речь зашла почему-то о руках Николая Степановича — «бессмертные руки!»,— сказала Валерия Сергеевна.

Заговорили о деревне, потом о крестьянах, украинских и русских.

— Униженно держались только украинские крестьяне,— сказала Анна Андреевна.— Они были развращены польскими помещиками. Я сама видела там, как едет управляющий в красных перчатках и семидесятилетние старухи его в эти перчатки целуют. Омерзительно! А в Тверской губернии совсем не то — полное достоинство.

И осуждающие взоры
Спокойных загорелых баб,—

произнесла Валерия Сергеевна ***.

* Речь идет о письмах Анны Ахматовой к С. В. Штейну. Впервые они были напечатаны за границей в 1977 г.— см. «Ахматова. Ардис». В Советском Союзе — в журнале «Новый мир», 1986, № 9. Публикация Э. Г. Герштейн.— Прим. 1987 г.

** Извозчик сказал: «Ревнивая обида у вас, барышни» (сообщила мне, со слов Анны Андреевны, М. С. Петровых в 1968 г.).

*** Строки из стихотворения «Ты знаешь, я томлюсь в неволе» — БВ, «Четки».

Опять вернулись к воспоминаниям и к будущей биографии.

«Я знаю одну даму, которая, в подтверждение легенды о твоем романе с Блоком, ссылалась на строчки: „Ты письмо мое, милый, не комкай, /До конца его, друг, прочти./Надоело мне быть незнакомкой, /Быть чужой на твоем пути"*».

Валерия Сергеевна не удержалась и со вздохом добавила:

«Вот так будут писаться *наши* биографии».

Я глянула на часы — оказалось два. Мы вышли вместе. Пока мы шли через двор, Валерия Сергеевна продолжала говорить о воспоминаниях и биографиях.

— Голлербах что-то пишет, а обо мне и понятия не имеет,— какой у меня материал. Ведь мы учились вместе с Аней в гимназии — у меня она жила, когда ушла от Коли... Ах, какая у меня была исключительная, совершенно особенная дружба с Колей... Но я ни для кого не доступна, Голлербаху до меня не добраться. Я ни для кого не доступна, кроме самых первоклассных людей.

Мы простились.

17 октября 40.

Вчера вечером Анна Андреевна пришла ко мне в гости. В черном шелковом платье, в белом ожерелье, нарядная. Но грустная и очень рассеянная.

У меня была Муся **. Анна Андреевна сидела очень прямо на краю дивана, не усаживаясь, как обычно, поглубже, молча курила и молча пила чай.

Высмотрела на полке книжечку стихов Симонова и попросила меня почитать вслух. Я прочитала два стихотворения: «Транссибирский экспресс» и «Чемодан». Я спросила у нее, почему вот в «Экспрессе» все как будто есть, а тем не менее — плохие стихи. Она поморщилась:

— Мелко... мелко... и какую обильную дань он собрал с Пастернака!

Я прочитала вслух «Историю болезни» Зощенко. Она, к моему удивлению, не смеялась, но когда я окончила, сказала:

— Очень хорошо. Отлично.

Я попросила ее объяснить, почему она не любит Чехова.

— Прежде всего я не люблю его драматургию. Театр — это зрелище. А драмы Чехова — это совершенное разложение театра. Но не в этом дело. Я не люблю его потому, что все люди у него жалкие, не знающие подвига. И положение у всех безвыходное. Я не люблю такой литературы. Я понимаю, что эти черты чеховского творчества обусловлены временем, но все равно — не люблю.

И Художественный театр — тоже. Особенно когда они ставят Шекспира. Им Шекспира совсем трогать нельзя. Они не понимают, как к нему подойти, он не для них. Даже Михаил Чехов, гениальный актер,— я не могу забыть Эрика — в «Гамлете» плох... Я никогда Художественного театра не любила. Один раз пошли мы с Володей Шилейко на какой-то чеховский спектакль. Он мне в антракте говорит: «Ты видела? Там мышка на сцену выскочила. Интересно, это она случайно или так требуется по режиссерскому замыслу?»

Анна Андреевна была в этот вечер опять неразговорчивая. Говорила, только отвечая на вопрос. Я спросила, правда ли, что, как мне рассказывал Корней Иванович, в молодости она занималась гимнастикой.

— Нет, гимнастикой я не занималась. Это, наверное, К. И. имеет в виду фокусы, которые я показывала. Я могла, изогнувшись, коснуться затылком пола. Могла лечь на живот и прислонить голову к ногам. Безо всякой тренировки мне давались такие вещи, которые обычно достигаются только упорной, ежедневной тренировкой. Циркачи говорили, что, если бы я с детства пошла учиться в цирк,— у меня было бы мировое имя.

Опять замолчали. Потом Муся призналась, что пробует читать «Улисса», но не понимает его.

— Изумительная книга. Великая книга,— сказала Анна Андреевна.— Вы не понимаете ее потому, что у вас времени нет. А у меня было много времени, я читала по пять часов в день и прочла шесть раз. Сначала у меня тоже было такое чувство, будто я не понимаю, а потом все постепенно проступало,— знаете, как фотография, которую проявляют. Хемингуэй, Дос Пассос вышли из него. Они все питаются крохами с его стола.

— А Хемингуэя вы любите? — спросила Муся.

— Очень. Лучшая его вещь — «В снегах Килиманджаро».

Она поднялась, вышла в переднюю, надела пальто — и тут обнаружила, обыскав карманы, что оставила дома ключи от квартиры и от комнаты. Позвонила Николаю Николаевичу («говорит Ахматова») и попросила его открыть ей входную дверь.

* БВ, «Четки».

** Муся — Мария Яковлевна Варшавская. См. *прим. 84*.

Я отправилась ее провожать, проводила до верху и подождала, пока ей открыли. Вернувшись домой, позвонила ей по телефону, чтобы узнать, удалось ли ей попасть к себе в комнату? Удалось; дверь открыли с помощью отмычки.

В ответ она спросила, не оставила ли она ключи у меня на диване.

Так и оказалось.

Сегодня около часу дня я отправилась отнести ей ключи.

Лежит; растрепанные волосы; толстое одеяло без простыни — все как всегда. Но сегодня она живее, бодрее, чем была вчера. Скинула со стула охапку белья и предложила мне сесть.

— Вы вчера были чем-то дополнительно огорчены? — спросила я.

— Да,— ответила она, не объясняя.

Предложила мне посмотреть пушкинские тетради, только что ею полученные. Красивый футляр, потом почерк Пушкина. Перелистывая тетрадь комментариев, я наткнулась на ее заметку.

— Надо ее прочесть,— сказала я.

— Нет, нет, совсем не надо! — закричала Анна Андреевна.— Это собачий бред, мура! (Я ужасно люблю слышать из ее уст такие словечки.) Чудаки пушкинисты! Вот Бонди построил весь свой комментарий на полемике с Измайловым. Ну, кому это надо? Они так вгрызлись друг в друга, что совсем уже ничего не понимают.

Потом она рассказала мне о посещении Пуц *. Действительно, по-видимому, пренеприятный господин.

— Сегодня он должен звонить,— продолжала Анна Андреевна.— Я скажу ему, что позировать раздумала. Скажу ему, что друзья не советуют: очень уж старая стала.

— Но тогда он будет галантно возражать.

— Ничего он не будет. Я повешу трубку.

Я сказала, что слава имеет, видно, свои худые стороны.

— О, да! — весело подтвердила Анна Андреевна,— когда едешь в мягком ландо, под маленьким зонтиком, с большой собакой рядом на сиденье и все говорят: «вот Ахматова» — это одно. Но когда стоишь во дворе, под мокрым снегом, в очереди за селедками и пахнет селедками так пронзительно, что и туфли, и пальто будут пахнуть еще десять дней, и вдруг сзади кто-то произносит: «Свежо и остро пахли морем на блюде устрицы во льду» — это совсем, совсем другое. Меня такое зло взяло, что я даже не оглянулась.

Я спросила, выздоровел ли Баранов и смотрел ли ее. (Она ведь собралась лечиться, лечь в больницу.)

— Не знаю. Но лечиться я больше не стану. Это слишком большого напряжения требует.

— Но вы же сами, Анна Андреевна, бранили меня и уверяли, что лежать в больнице даже приятно!

— А теперь я лечиться не буду. После отказа я решила не лечиться.

22 октября 40.

Вечер. Анна Андреевна выглядит чуть получше и лежит в белом платье на своем диване. Встретила меня ласково, радостно. Показала мне неизданного Хлебникова, полученного ею только что в подарок от Николая Ивановича.

— Прекрасная работа, блестящая. Но знаете что: я прихожу к убеждению, все более и более, что история литературы — это такие все мнимости! Вот даже тут, в прекрасной работе Николая Ивановича, это видно. Хлебников поносит Сологуба, Арцыбашева, Блока. Николай Иванович разъясняет, что это, мол, была борьба с символистами. Вздор! Какой же Арцыбашев символист? И никакой осознанной борьбы с символизмом у Хлебникова вовсе не было. Они боролись со всеми известными тогда людьми, чтобы место расчистить... Тут от Хлебникова и Корнею Ивановичу достается. И это, конечно, тоже в плане борьбы с известностью. Возьмите Маяковского. Теперь вот говорят и пишут, что он любил мои стихи. А публично он всегда ругал меня... Им надо было вырубить лес, и они вырубали вершинки повыше.

Рассказала, возмущаясь, о домысле Максимова [85].

— Собачий бред! Мура! И это говорит специалист. Нет, в пушкинизме такого уже не может быть. Пушкинизм — это действительно точное знание. У Пушкина, например, есть письмо к Дмитриеву, очень учтивое. Но мы уже поняли, что значит эта учтивость, пушкинисты осведомлены прекрасно, что для Пушкина Дмитриев был падалью.

Я часто жаловалась ей на свою неспособность понять прелесть Хлебникова. Она вспомнила об этом, изогнулась, добыла со стула очки и старый том Хлебникова и, строгая, в очках, облокотясь на подушку, медленно прочитала два стихотворения: «Правителем не буду» и «А пение и слезы». Потом дала мне самой прочитать вслух третье: о горах, о поездке, о проводнике [86].

* ?

— Поняли?

— Да,— ответила я неуверенно и решилась заметить, что моему уху мешает отсутствие определенного ритма, что чередование слов и движение стиха представляется мне произвольным, я не чувствую в них обязательности, что, мне кажется, будто это заготовки для стихов, еще не написанных, и что, по-моему,— или стихи Жуковского стихи, или это стихи.

— Ну что вы! Ну как можно так говорить! Это все увидено как бы в первый раз, первоначально. Поэты знают, до чего это трудно: писать, как говорит Борис Леонидович, «без поэтической грязи»...

— Я очень люблю Хлебникова,— продолжала она,— но не во все периоды его. У него ведь много периодов, не то что у Пастернака. Я терпеть не могу раннего Хлебникова, славянского. Вы Ремизова любите? Нет? Я тоже. Что за безвкусица, что за чепуха! Я как прочту «Лель» — так мне тошно станет. Какой Лель, откуда? Вот и у Хлебникова есть период Леля, который я не люблю.

Мы сели пить чай. Разговор зашел о Крыме, о море. Анна Андреевна сказала:

— Я недавно перечла «У самого моря» и подумала: понятно ли, что героиня не девушка, а девочка?

— Я думала — девушка шестнадцати-семнадцати лет.

— Нет, именно девочка, лет тринадцати... Вы не можете себе представить, каким чудовищем я была в те годы. Вы знаете, в каком виде тогда барышни ездили на пляж? Корсет, сверху лиф, две юбки — одна из них крахмальная — и шелковое платье. Наденет резиновую туфельку и особую шапочку, войдет в воду, плеснет на себя — и на берег. И тут появлялось чудовище — я — в платье на голом теле, босая. Я прыгала в море и уплывала часа на два. Возвращалась, надевала платье на мокрое тело — платье от соли торчало на мне колом... И так, кудлатая, мокрая, бежала домой.

— Вы, наверное, очень скучаете без моря?

— Нет. Я его помню. Оно всегда со мной... У меня и тогда уже был очень скверный характер. Мама часто посылала нас, детей, в Херсонес, на базар, за арбузами и дынями. В сущности, это было рискованно: мы выходили в открытое море. И вот однажды, на обратном пути, дети стали настаивать, чтобы я тоже гребла. А я была очень ленива и грести не хотела. Отказалась. Они меня бранили, а потом начали смеяться надо мной — говорили друг другу: вот везем арбузы и Аню. Я обиделась. Я стала на борт и выпрыгнула в море. Они даже не оглянулись, поехали дальше. Мама спросила их: «А где же Аня»? — «Выбросилась». А я доплыла, хотя все это случилось очень далеко от берега...

27 октября 40.

Анна Андреевна просила зайти ее навестить. Я отправилась с Люшей. Она спала, но Николай Николаевич, открывший нам дверь, сказал, что она просила непременно разбудить ее, когда мы придем.

Она была очень приветлива, ласкова, хотя, мне кажется, не совсем проснулась.

Осведомилась о Люшиных отметках в четверти, потом, что она читает. Люшенька перечитывает «Хижину дяди Тома». Я спросила у Анны Андреевны, любит ли она эту книгу.

— Я не могла ее прочесть,— серьезно ответила Анна Андреевна.— Мне было слишком жалко негров.

Я спросила ее, что она читает теперь.

— «Деяния»,— как-то неохотно ответила она.

Я спросила ее, решилась ли она переехать ко мне *.

— Нет, Николай Николаевич сейчас очень определенно напомнил мне мое обещание не передавать комнату людям, ему неизвестным.

Настаивать я не стала. Мы ушли.

7 ноября 40.

У Анны Андреевны бронхит, насморк, а ночью был сердечный приступ. Я пошла ее навещать. Она ровна, спокойна, грустна. Таня, которая собиралась менять свою комнату, остается; Анна Андреевна рада, что не увозят детей. Попросила меня принести для Вовочки «Мойдодыра».

Я осведомилась, что она читает.

— Хлебникова,— ответила она.— Знаете, поразительна в нем его наивность. Ведь

* В это время в комнате Матвея Петровича жил уже не Катышев (НКВД), жили обыкновенные студенты, с которыми можно было обменяться законным порядком.

он был уверен, что чуть только люди прочтут его стихи — сразу все всё поймут и сразу всё изменится. Поэтому он очень стремился печататься.

Мы заговорили о мемуарах Белого. Она отозвалась о них — уже не впервые — с негодованием:

— Лживые, сознательно лживые мемуары, в которых все искажено — и роли людей, и события.

Я сказала, что мне всегда неприятно все, написанное Белым о Блоке: будто бы благоговеет, а на самом деле осуждает. Она ответила:

— Прежде считалось неприличным писать о ком-либо, находясь в том положении относительно Блока, в каком находился Белый... Ведь не стали бы печатать мемуаров Дантеса о Пушкине, не правда ли?

(Я не сразу поняла ее замечание. Поняла только по дороге домой.)

Она прочитала мне три стихотворения, из них два маленькие и страшные: «Но я предупреждаю вас», «Нет, это не я страдаю» *, а третье — это «Так отлетают темные души» уже без пропусков.

Я включила чайник. Кроме чаю нет ничего — совсем ничего. «Таня хворает и не ходит покупать»,— объяснила Анна Андреевна. Пили мы пустой чай.

13 ноября 40.

Я застала Анну Андреевну на ногах. Она осунувшаяся, постаревшая. Левая нога заметно отекла. Покашливает.

За столом сидел Валя и отыскивал по карте реку Индигирку.

Анна Андреевна стояла у жарко натопленной печки. Валя скоро ушел. Иногда Анна Андреевна усаживалась на диван, ближе ко мне.

— Я сейчас много перечитываю Пастернака,— сказала Анна Андреевна.— И, мне кажется, я наконец нашла то, чего так долго искала: периоды. Они есть. Сначала он писал без оглядки, бродил, пенился, кипел, переливался через край. А потом стал сужаться, будто задумываться. Его стихотворение, посвященное мне, да и Марине Цветаевой, это все написано с какой-то сдержанностью, а дальше у́же пошло́.

Я сказала, что в детстве никак не могла понять, что означает стихотворение Блока, посвященное ей.

— А я и сейчас не понимаю. И никто не понимает. Одно ясно, что оно написано вот так — она сделала ладонями отстраняющее движение — «не тронь меня».

— Вы любите «Возмездие»?

— Терпеть не могу первую главу. Вообще все не люблю, кроме Вступления и Варшавы. Великолепная Варшава, пан Мороз... Вот у кого были отчетливые периоды — это у Блока. «Нечаянная радость» и «Снежная маска» — это ведь было совсем новое. В 16-м году он перестал писать. Потом «Двенадцать», «Скифы» — и конец. То, что он писал для «Всемирной литературы» и Большого драматического,— это уже не блоковские вещи.

Она подошла к комоду и вытащила из ящика конверт.

— Я не читала вам письма Бориса Леонидовича? Садитесь сюда. Я вам прочту.

Мы сели рядом на диване.

— Хвостатый почерк,— сказала я, рассматривая адрес на конверте.

— Не хвостатый, крылатый,— поправила меня Анна Андреевна.— Летучий.

Она читала мне вслух, далеко отстранив бумагу от лица и иногда показывая мне мизинцем слово, которое не могла разобрать. Письмо великолепное, пастернаковское, и очень трогательное — особенно одно место, где он говорит ей, что она — создатель того, что делает жизнь ценной для других, и потому не может быть и не должно быть, чтобы она не любила жизнь.

— Какой он добрый, милый, как он хочет мне помочь,— сказала Анна Андреевна.— Но какой он дикий! Во-первых, он компрометирует меня как женщину. Да, да! — Она засмеялась.— Я так и вижу дурацкую морду комментатора, который выводит из этого письма Бог знает что. Нет, вы не смейтесь, а слушайте: «Своим приездом Вы так категорически напомнили мне, как Вы мне дороги» и дальше объясняет, почему он не мог проводить со мной целые дни и т. д. Непременно выведет. Мы же видим, что́ комментаторы из других писем выводят [87].

Она припомнила, как, в один из ее приездов в Москву, Борис Леонидович навещал ее у Нины Антоновны.

— Нина Антоновна мне потом говорит: «Вы провожали его до дверей, а он застрял в передней. Вы подталкиваете его к дверям, а он все не уходит и продолжает произносить гениальное».

— Вы любите «Девятьсот пятый год»? — спросила она, помолчав.

---

* «Но я предупреждаю вас» — БВ, «Седьмая книга»; № 52. «Нет, это не я, это кто-то другой страдает» — «Реквием», 3; № 53.

— Да.

— Всё любите?

Я сказала, что люблю все, кроме, пожалуй, «Мужиков и фабричных».

— А я очень не люблю Шмидта, кроме отдельных небольших кусков. Ведь он там, в сущности, ни о чем, кроме погоды, не пишет. Что я люблю, это «Отцы». Ах, до чего это хорошо!

Я сказала, что очень люблю «Детство». Она согласилась.

Она взяла с кресла какой-то конверт.

— Я вам хочу показать стихи и письмо двух барышень, которые я вчера получила. Они просят моего мнения. Владимир Георгиевич послал им открытку от моего имени, чтобы они пришли в воскресенье. Напрасно, по-моему. Прочтите и скажите, что вы думаете.

Я прочла. Письмо бесцветное. У одной стихи гладенькие, у другой поугловатей и получше. Мы стали гадать, которая из них как выглядит, и Анна Андреевна высказала предположение, что та, у которой стихи погрустнее и поугловатей,— некрасивая.

Анна Андреевна включила чайник, потом вдруг, будто припомнив что-то, остановилась передо мной, подойдя почти вплотную.

— Знаете, я за эти дни поняла, что я сама во всем виновата. Во всем, что случилось с книгой. ЦК совершенно прав, а я виновата. Да, да. Они хотели напечатать мои стихи. Издательство отобрало стихи и отвезло в Москву. Там утвердили. Тогда я самовольно включила туда новые, да еще поставила на первый план самое грустное стихотворение *, да еще назвала его именем весь отдел. Потом редактор включил еще около 30 старых стихотворений. И получилась книга, вовсе не похожая на ту, которую разрешили и хотели видеть. Не спорьте, пожалуйста. Все было именно так.

Тщетно я напоминала ей, что новые стихи включала не она, что их у нее редакция выпрашивала, вымаливала, что никто не знал, какую именно книгу *хотели* видеть, что все жили слухами и т. д.,— она стояла на своем и сердилась. Тут я столкнулась вплотную с той железной логикой, развернутой на основе неизвестного или даже небывшего факта, о которой говорил мне Владимир Георгиевич.

— И если бы я этого не сделала,— закончила Анна Андреевна,— Лева был бы дома.

Я смолкла.

Мы сели пить чай. Я кляла себя, что не умею ее разубеждать.

Анна Андреевна заговорила о другом.

— Каждый раз, как Л.** приходит, она непременно что-нибудь не то скажет. Она была вчера. Заговорили о стихотворении «Побег» ***. Л. сказала, что стихотворение это очень петербургское. И вдруг добавила: «Впрочем, про ваши стихи давно говорят, что они скорее царскосельские, чем петербургские». И из того, что она не пожелала назвать имя человека, который говорит это,— ясно: кто-то знакомый мне. Я думаю — Р.**** Маленький сноб из салона Кузмина. Там еще и не такое говорили... Впрочем, это мнение не литературного, а близлитературного круга. Я узнаю по запаху.

Она произнесла все это очень сердито.

— Они этим хотят сказать, что стихи провинциальные. Они не знают, что жить в Царском Селе считалось гораздо столичнее, чем в Ротах или на Васильевском острове. Но не в этом дело.

Потом она из ящика достала пачку бумаг и попросила меня сесть рядом с ней на диван.

— Я вам этого не читала, потому что оно казалось мне недостаточно внятным. Оно не кончено. А написано мною давно — 3 сентября.

Прочитала о Достоевском.

— Скажите, а это не похоже на «Отцы»?

— Нет. Совсем другой звук,— ответила я.

— Это самое главное, чтобы был другой звук,— сказала Анна Андреевна *****.

Потом прочла о кукле и Пьеро. Я рот открыла от изумления, до того это на нее не похоже.

---

* «Ива», № 10. В сборнике «Из шести книг» существовал отдел «Ива», открывавшийся этим стихотворением. Впоследствии (в БВ) тот же отдел получил название «Тростник».

** По-видимому, Лотта.

*** «Побег» — ББП, с. 100.

**** Р.— ?

***** По-видимому, начало той элегии — «России Достоевского. Луна...», которая впоследствии обрела название «Предыстория». Хотя элегия в БВ помечена 1945 годом («Седьмая книга»), но начата в Ленинграде до войны и окончена в Ташкенте.

«Отцы» — название одной из глав поэмы Б. Пастернака «Девятьсот пятый год». Недаром она в поэме первая — в ней говорится не о 1905 годе, а как и в «Предыстории» Ахматовой, об эпохе 70—80-х годов — эпохе, предшествующей рождению и Ахматовой и Пастернака, совпадающей с молодостью их отцов и матерей.

— А между этими двумя будут «Пятнадцатилетние руки»,— объяснила Анна Андреевна:

— Это у вас какой-то совсем новый период,— сказала я.*

Она сидела уже не на диване, а в своем ободранном кресле, грустно и трогательно раскинув руки. Заговорили почему-то о Мицкевиче. Я сказала, что гневные стихи Мицкевича против Пушкина, в сущности, справедливы, и Пушкину, чтобы ответить с достоинством, только и оставалось, что отвечать с надзвездной высоты.

— Вы не правы,— сказала Анна Андреевна.— Пушкин вел себя гораздо лучше, чем Мицкевич. Пушкин писал, как русский, а Мицкевич звал поляков на бой, а сам сидел в Германии и разводил романы с немочками. Это во время восстания!

Я сказала, что передовые русские люди не сочувствовали все-таки стихам Пушкина о Варшаве. Например, Вяземский.

— Я и сама в этом деле скорее на стороне поляков, чем Пушкина,— ответила Анна Андреевна,— но Пушкин со своей точки зрения был прав. А Вяземский не пример, Вяземский вообще втайне не любил Пушкина. Вот и записал потихоньку в старую записную книжку — для потомков.

Я поднялась.

Провожая меня, Анна Андреевна говорила:

— Мною написана целая работа о Мицкевиче, о том, что Пушкин изобразил в «Египетских ночах», в импровизаторе — его. Это, безусловно, так. Пушкин ведь никогда не описывал внешности своих героев. «Офицер с черными усами» — и все. Только Пугачеву и Хлопуше он дал внешность — подлинную, историческую. И вот

* В действительности то, что обозначено мною здесь как «кукла и Пьеро», было первым ростком грядущей «Поэмы без героя».

Позднее, в предисловии к «Поэме», Ахматова сообщила: «Первый раз она пришла ко мне в ночь на 27 декабря 1940 года, прислав мне, *как вестника, еще осенью один небольшой отрывок*» (курсив мой.— *Л. Ч.*). На основании своей записи о «кукле и Пьеро», сделанной 13.XI.40 года, полагаю, что услышанный мною тогда отрывок и был этим осенним «вестником».

В окончательном тексте «Поэмы» отрывок претерпел некоторые изменения. В первом же варианте «Поэмы», в рукописи, подаренной мне Анной Андреевной в Ташкенте осенью 1942 г., он вполне соответствовал услышанному мною 13 ноября в Ленинграде. Привожу его:

Ты в Россию пришла ниоткуда,
О, мое белокурое чудо,
Коломбина десятых годов!
Что глядишь ты так смутно и зорко? —
Петербургская кукла, актерка,
Ты, один из моих двойников.
К прочим титулам надо и этот
Приписать. О, подруга поэтов!
Я — наследница славы твоей.
Здесь под музыку дивного мэтра,
Ленинградского дикого ветра,
Вижу танец придворных костей.

* * *

Оплывают венчальные свечи,
Под фатой поцелуйные плечи,
Храм гремел: «Голубица, гряди!»
Горы пармских фиалок в апреле
И свиданье в Мальтийской Капелле,
Как отрава в твоей груди.
Дом пестрей комедьянской фуры,
Облупившиеся амуры
Охраняют Венерин алтарь.
Спальню ты убрала, как беседку.
Деревенскую девку — соседку —
Не узнает веселый скобарь...
И подсвечники золотые,
И на стенах лазурных святые —
Полукрадено это добро.
Вся в цветах, как «Весна» Ботичелли,
Ты друзей принимала в постели
И томился дежурный Пьеро.

Из текста моей записи явствует: говоря со мною 13 ноября 40 г. о будущем цикле и указывая предполагаемую последовательность стихотворений, А. А. сама еще не знала, что продолжает работать над «Северными элегиями» и начинает — над «Поэмой».

(В подаренной мне тетради, после многих перечеркиваний, зачеркиваний и стираний резинкой, написано «Храм грем*ел*». Думаю, это описка; следует «гремит».)

импровизатору — внешность Мицкевича. И третья тема на вечере, малопонятная, предложена им самим — импровизатором, Мицкевичем *.

Я спросила, почему она не печатает эту работу.

— Сейчас не время обижать поляков. И тогда, когда я написала ее, тоже было не время.

22 ноября 40.

— Валя сошла с ума. Я дежурила там три дня,— такими словами встретила меня вчера Анна Андреевна, открыв мне дверь. И у себя в комнате, не садясь, продолжала.— Мы отправили ее в больницу.

Анна Андреевна подробно изложила мне бред Валерии Сергеевны и все перипетии болезни.

— Лежит на кровати голая, в порванной рубашке и со слипшимися волосами. Я теперь поняла, почему на средневековых картинах сумасшедших изображали такими всклокоченными. Она была в бане, не промыла волос, потом вымазала их вазелином. Она мне говорит: «Знаешь, Аня, Гитлер это Фейхтвангер, а Риббентроп это тот господин, который, помнишь, в Царском за мной ухаживал. Ты вглядись, и ты сама увидишь». Я знаю Валю с двенадцати лет, но только теперь поняла всю ее. Это женщина силы необыкновенной, инфернальной, и страшной гордости. Я поняла из нескольких слов ее бреда, что она всю жизнь мучилась гордостью. Как она сопротивлялась! Приходили врачи и уходили, обманутые ею. При них — светская дама. Никакого бреда: спокойный, светский, колкий разговор. Одной докторше она сказала: «Вам, как женщине, следовало бы больше ухаживать за собой». Когда к ней вошли братья милосердия, она говорила с ними металлическим голосом: «Я никого не искусала. Вы не имеете права увозить меня из постели». Бедная, бедная! Я перед этим простилась с ней и ушла. Она не знала, что будет с ней через минуту. Теперь она считает меня предательницей.

Анна Андреевна взяла со шкапчика маленький томик «Божественной комедии» и протянула мне:

— Это она подарила мне недавно. Посмотрите надпись.

Я прочитала:

«Милой Ане на пороге ада. В. С.»

Чтобы отвлечь Анну Андреевну от несчастья с Валерией Сергеевной, я спросила у нее, прочитала ли она книжку переводов Пастернака? (Я на днях занесла ей, поднявшись на минуту из Дома Занимательной Науки.)[88]

Анна Андреевна взяла с кресла две одинаковые книжки, и мы сели на диван.

— Возвращаю вам с благодарностью ваш экземпляр. Борис Леонидович прислал мне книгу в подарок. Посмотрите: надпись наклеена на особой бумажке — и не плотно — чтобы я могла отклеить, если она мне не понравится. Вы только подумайте! Ну что с этим человеком делать?

Я прочла: «Дорогой Анне Андреевне, которая столько простила людям, что, может быть, простит и эту книгу».

— Это мне напоминает мой приезд в Вильно,— сказала Анна Андреевна.— Я ездила туда провожать Колю на фронт. Утром подхожу к окошку гостиницы и вижу: вся улица на коленях. Все люди ползут на коленях в гору. Оказалось, это у них такой обычай: на коленях ползти к иконе в день святого этой иконы... Когда я увидела эту наполовину вклеенную надпись и прочла ее,— я сразу вспомнила Вильно.

Я осведомилась, были ли у нее в воскресенье те барышни со стихами.

— Да, были,— ответила она со смехом.— И знаете, Л. К., мы с вами совершенно опрохвостились (sic!). Та, о которой мы думали, что она некрасива,— хороша, как божий ангел. Беленькая, румяная, с черными глазами, тоненькая, и смеется, как маленькая девочка,— я их чем-то очень рассмешила.

Пришла Лидия Яковлевна. За чаем Анна Андреевна хвалила ее книгу о Лермонтове, особенно те места, где говорится о разнице между пушкинским и лермонтовским словом[89]. Потом Анна Андреевна показывала ей какие-то рисунки для детей 1837 года, среди которых она обнаружила русского Маёшку[90].

Пили водку. Стол был, против обыкновения, изобилен: хлеб, масло, сахар и даже колбаса.

Анна Андреевна снова взяла в руки книгу Пастернака и прочитала вслух то, что ей наиболее понравилось: «Музыку», «Зиму» Шекспира, «Море» Китса. О переводе «Стансов к Августе» она отозвалась неодобрительно — «лысый горб» — это уж совсем

* Окончательный вариант статьи Ахматовой «Пушкин и Мицкевич» пропал во время блокады. Работая над статьей «Две новые повести Пушкина», Ахматова включила в нее свои заметки о польском и русском поэте. Подробнее см. комментарий Э. Г. Герштейн в кн.: Анна Ахматова. О Пушкине. Л.: Сов. писатель, 1977, с. 265.

не по-байроновски, о переводах Верлена — равнодушно. Зато о «Море» Китса сказала:

— Байроновская интонация вся воплощена в русской поэзии и без Пастернака. А вот этот звук — звук Китса — он впервые прозвучал по-русски,— и она еще раз прочла вслух первую строфу «Моря».

Я позволила себе заметить, что «дребедень» в последней строфе — это уж чистый Пастернак, а совсем не Китс. Анна Андреевна нашла оригинал, мы прочли стихотворение по-английски. Вышло по-моему.

В ПРОМЕЖУТКЕ

Июнь 1967.

На предыдущей странице обрывается Дневник 1940 года. Последняя его тетрадка утрачена. Дальнейшие записи об Анне Ахматовой обнаружены мною лишь в тетрадях военного времени.

Потеря досадная. Именно осенью 1940 года Анна Андреевна начала работать над «Поэмой без героя». В утраченной тетради моего Дневника несомненно содержались записи о «Поэме».

Быть может, тетрадь еще и найдется, если только я не уничтожила ее в припадке очередного страха: как раз в конце 1940 г. начался тот настойчивый сыск, который вынудил меня весной 41-го покинуть Ленинград, а перед отъездом, зимою, несколько месяцев не прикасаться к Дневнику.

Прочитав «Софью Петровну» Анне Андреевне, я, приблизительно в то же время, прочитала повесть своим друзьям. Я пригласила к себе восемь человек; девятый явился незваный, почти против моей воли. Нет, он не был предателем и не побежал в Большой дом докладывать. Но он был болтлив. Он рассказал кому-то интересную новость, а кто-то еще кому-то, и в конце 40 года новость, в искаженном виде, «по цепочке» проникла *туда;* там стало известно, что у меня хранится некий «документ о тридцать седьмом»,— как именовал «Софью Петровну» следователь, вызывавший на допросы далеких и близких.

Даже сейчас, через 30 лет после ежовщины, когда я пишу эти строки, власти не терпят упоминания о тридцать седьмом. Боятся памяти. Это сейчас. А что же было тогда? Преступления еще были свежи; кровь в кабинетах следователей и в подвалах Большого дома еще не просохла; кровь требовала слова, застенок — молчания. Где вы — журавли Ивика, где ты — говорящий тростник?

Я до сих пор не постигаю, почему, прослышав о моей повести, меня сразу же не арестовали и не убили. А начали вести предварительное расследование. (Анна Андреевна сказала мне однажды: «Вы — как стакан, закатившийся под скамью во время взрыва в посудной лавке».)

Разумеется, дома у меня ни «Софьи Петровны», ни Дневников давно уже не было. Прочитав повесть друзьям, я отдала свой единственный экземпляр — толстую школьную тетрадь, с перенумерованными Люшей страницами — в надежные руки.

Анне Андреевне о своей новой беде я не сообщила ничего. Она и без моих бед была истерзана тревогой за Леву, за себя, изнурена трудом: снова писала ночи напролет и каждый раз, как мы встречались, читала мне новые куски «Поэмы».

(Первым был создан кусок «Ты в Россию пришла ниоткуда», оканчивавшийся такой строкой «И томился дежурный Пьеро». Далее порядка я не помню. Помню, что как-то раз Анна Андреевна прочитала «Поэму» у меня дома — Александре Иосифовне, Тамаре Григорьевне и мне.

Тамара Григорьевна сказала:

— Когда слушаешь эту вещь, такое чувство, словно вы поднялись на высокую башню и с высоты поглядели назад...

Эти слова впоследствии вызвали к жизни строки во «Вступлении» к «Поэме»:

Из года сорокового,
Как с башни, на все гляжу.

Я продолжала иногда встречаться с Анной Андреевной и слушать «Поэму». Но чем явственнее становился интерес ко мне Большого дома, тем реже, под разными предлогами, старалась я видеться с ней.

Пристальные поиски «документа о тридцать седьмом» начались так.

Однажды днем к нам на квартиру явился милиционер: Иду — Люшину няню — срочно вызывали в милицию. Там в это время шел обмен паспортов, и мы обе решили, что Иду вызывают по этому поводу.

Однако она вернулась только через сутки и в состоянии полувменяемом.

Оказалось, из милиции ее срочно переправили в Большой дом, где и допрашивали шесть часов подряд.

Речь шла обо мне и о моих друзьях. Кто у меня бывает? О чем говорим? Громко говорим или шепотом? Какие и где я храню документы?

Плача, Ида рассказала мне, что следователь дал ей кличку «Петрова» и на прощание распорядился:

— Отведешь, Петрова, во вторник девочку в школу и на обратном пути встретишься со мной у трамвайной остановки. Доложишь, кто был у твоей хозяйки в последние дни.

И вот потекла наша поднадзорная жизнь. В то время вместе с друзьями я составляла хрестоматию для детей младших классов. Работали мы главным образом по вечерам, у меня,— подбирая и редактируя сказки, маленькие рассказы, стихи. Пока мы возились со сказками, внизу в парадном дежурили «агенты». На утро следователь, встретясь с Идой в назначенном месте, спрашивал ее:

— Кто был вчера у твоей хозяйки?
— Такая-то и такая-то.
— Что делали?
— Сказки читали.
— Когда ушли?
— В одиннадцать.
— Неправда,— говорил следователь, заглянув в записную книжку,— в 11 часов 20 минут.

Об Анне Андреевне, к счастью, следователь не спрашивал. Я солгала ей, что у меня ремонт, и она ко мне не приходила.

Не ограничиваясь встречами у трамвайной остановки, следователь, раза три в месяц, вызывал Иду к себе. Вопросы становились все более увлекательными и приобретали, к моему удивлению, все более семейный характер:

— Говорит ли твоя хозяйка кому-нибудь, что муж ее не был ни в чем виноват? Стоит ли у нее на столе его фотография? Кем она хочет, чтобы сделалась девочка, когда вырастет?

Последний вопрос удивлял меня безмерно, и я много раз переспрашивала Иду. Люше было тогда девять лет. Что они имели в виду? Хочу ли я, чтобы она стала инженером, врачом или учительницей? А почему это их занимает?

Я еще не знала тогда и узнала гораздо позднее, что по плану, разработанному НКВД, семьи «врагов народа» должны были в своих недрах выращивать «мстителей»; дети в этих семьях брались на учет заблаговременно; не профессией будущей Люшиной интересовался следователь; нет, он интересовался памятью о Матвее Петровиче; он был бы рад услышать от Иды такое признание: «Моя хозяйка желает, чтобы ее дочь, когда вырастет, отомстила за ее мужа».

«Мстители»!.. Расстреляв отцов, застенок мстил за свое злодейство детям убитых.

Идино смятение росло; дома она плакала, не осушая глаз, уверенная, что и меня и ее скоро арестуют.

Чтобы дать ей передышку, я в середине февраля 41 года уехала под Москву, в санаторий «Узкое». Действительно, Иду на время перестали таскать. И на меня в Москве никто не обращал никакого внимания. Но стоило мне воротиться домой — все началось сначала и притом в удесятеренной степени. Иде грозили, если она не найдет «документ», тяжелыми карами. Обещали также прийти днем, когда меня и Люши не будет дома, и произвести обыск.

Компрометирующего у меня ничего не было, но обыска я боялась: они могли сами принести, сами положить и сами найти что угодно.

Друзья советовали мне уехать — уехать надолго. Лечь в больницу. Сделать операцию, на которой давно уже настаивали врачи.

10 мая 1941 года, за полтора месяца до начала войны, я взяла самые необходимые вещи, заперла квартиру на ключ и вместе с Идой и Люшей выехала в Москву.

Через неделю я лежала уже в больнице при Институте эндокринологии. Дней через десять меня оперировали. А еще через неделю, в новой московской квартире Корнея Ивановича, куда я была перевезена из больницы, меня навестила приехавшая из Ленинграда в Москву по делам Анна Андреевна.

Мы почти не разговаривали: у меня не было сил ни говорить, ни слушать. Анна Андреевна около часа просидела у моей постели. Помню ее жалостливое, участливое, склоненное надо мною лицо со скорбно приподнятыми бровями. «Вы были как с креста снятая»,— сказала она мне через несколько месяцев об этом нашем свидании.

Она собиралась домой, в Ленинград. Мне же предстояло ехать на дачу, в Переделкино: рана еще не зажила, я еще не умела ходить, и мне надлежало лечиться.

Первые бомбежки застали меня на даче — слабую, с забинтованным горлом. Пробираться в таком состоянии в Ленинград нечего было и думать.

28 июля 41 года, вместе с семьями московских писателей, вместе с Люшей, Идой

и четырехлетним племянником Женей, меня отправили на пароходе в Чистополь *.

Там я пережила газетную передовую: «Враг у ворот Ленинграда»; встречу с Цветаевой и гибель Цветаевой.

И туда, в октябре 1941 года, приехала ко мне, эвакуированная самолетом из Ленинграда в Москву, Анна Андреевна. Оттуда мы вместе совершили поездку в Ташкент.

О приезде Анны Андреевны в Чистополь и о нашем совместном путешествии у меня в Дневнике сохранились лишь редкие и короткие записи.

Вот они:

1941

15 октября 41. Чистополь **.

Сейчас получила телеграмму от Корнея Ивановича: «Чистополь выехали Пастернак Федин Анна Андреевна...» Дальше про деньги и шубу.

Итак, мне суждено увидеть Анну Андреевну опять. Если только она не останется в Казани.

Ахматова в Чистополе! Это так же невообразимо, как Адмиралтейская игла или Арка Главного Штаба в Чистополе.

Октябрь 41 ***.

Вечером, когда мы уже легли, стук в ворота нашей избы. Хозяйка, бранясь, пошла отворять с фонарем. Я за ней.

Анна Андреевна стояла у ворот с кем-то, кого я не разглядела в темноте. Свет фонаря упал на ее лицо: оно было отчаянное. Словно она стоит посреди Невского и не может перейти. В чужой распахнутой шубе, в белом шерстяном платке; судорожно прижимает к груди узел.

Вот-вот упадет или закричит.

Я выхватила узел, взяла ее за руку и по доске через грязь провела к дому.

Вскипятить чай было не на чем. Я накормила ее всухомятку.

Потом уложила в свою постель, а сама легла на пол, на тюфячок.

Сначала мы говорили как-то обо всем сразу. Я пыталась подробнее узнать что-нибудь о Тусе и Шуре (Анна Андреевна привезла мне письмо от них).

Потом я спросила:

— Боятся в Ленинграде немцев? Может так быть, что они ворвутся?

Анна Андреевна приподнялась на локте.

— Что вы, Л. К., какие немцы? О немцах никто и не думает. В городе голод, уже едят собак и кошек. Там будет мор, город вымрет. Никому не до немцев.

19 октября 41.

Анна Андреевна прочитала мне стихи о Ленинграде. Об артиллерийском обстреле ****.

20 октября 41.

Сегодня Анна Андреевна сказала мне:

— Я решила. Я поеду с вами *****.

Ида уже покупает на дорогу мясо, яйца, мед, хлеб... Хотелось бы знать, сколько времени наша дорога продлится? И — осилим ли мы ее?

21 октября 41.

Анна Андреевна расспрашивает меня о Цветаевой.

Я прочла ей то, что записала 4.IX, сразу после известия о самоубийстве.

Сегодня мы шли с Анной Андреевной вдоль Камы, я переводила ее по жердочке через ту самую лужу-океан, через которую немногим более пятидесяти дней назад помогала пройти Марине Ивановне, когда вела ее к Шнейдерам [91].

---

* Женя (р. 1937) — сын моего младшего брата Бориса, инженера-гидростроителя. В первый месяц войны Борис Корнеевич ушел в Московское ополчение и осенью 1941 года убит в боях под Москвой.

** Ул. Розы Люксембург, 20.

*** Оригинал поврежден.

**** «Первый дальнобойный в Ленинграде».— БВ, «Седьмая книга»; № 54.

***** Я получила от Корнея Ивановича бумаги, деньги и просьбу немедленно ехать с детьми в Ташкент, куда из Москвы уже уехал он сам.

— Странно очень,— сказала я,— та же река, и лужа, и досточка та же. Два месяца тому назад на этом самом месте, через эту самую лужу я переводила Марину Ивановну. И говорили мы о вас. А теперь ее нету и говорим мы с вами о ней. На том же месте!

Анна Андреевна ничего не ответила, только поглядела на меня со вниманием.

Но я не пересказала ей наш тогдашний разговор *.

28 октября 41. Эшелон «Казань — Ташкент».

Анна Андреевна не отходит от окна.

— Я рада, что вижу так много России.

В Казани все было очень мучительно. Если бы не Ида, нам вряд ли удалось бы сойти с парохода на пристань, а потом, сквозь толпу, пробиться в город. Мы отправились в Дом печати. Расспрашивали прохожих. Татарин сказал мне: «За то, что ты молодая, а седая, я тебя провожу». Огромный зал Дома печати набит беженцами из Москвы. Спят на стульях — стулья стоят спинками друг к другу. Пустых мест нет. Мы с Идой уложили Анну Андреевну на стол, Люшу и Женю под стол, а сами сели на подоконник. Анна Андреевна лежала прямая, вытянувшаяся, с запавшими глазами и ртом, словно мертвая. Мне под утро какой-то военный уступил место на стульях. Я легла, но не спала. Когда рассвело, оказалось, что бок о бок со мной, за спинками стульев, спит Фадеев.

Я знала казанский адрес Самуила Яковлевича ** и утром, взяв детей, отправилась искать его. Нашла, но дома его не оказалось. Оставила ему записку. Вечером он пришел к нам в Дом печати, сказал, что в эшелоне, отправляемом в Среднюю Азию, ему, Маршаку, предоставляют для писателей два вагона и что он постарается взять нас. На другой день нас навестил Л. М. Квитко и на мой вопрос, возьмут ли нас в эшелон ответил:

— Если будет мало мест, я с семьей останусь, а вы поедете. Внуки Чуковского должны к нему приехать [92].

К счастью, поместились все.

Посадка была трудная. Часа четыре мы сидели в полной тьме на платформе, на своих вещах, ожидая состава, который могли подать каждую минуту. Анна Андреевна все время молчала — тяжело молчала, как в тюремной очереди. Нас часто навещал Самуил Яковлевич. Видя нашу слабосильную команду, он предложил, что внесет в вагон Женю. Ида должна была внести вещи, а я — помочь Люшеньке и Анне Андреевне. Ожидая поезда, Самуил Яковлевич ходил с Женей на руках по платформе. Я спросила Женю:

— Ты знаешь, кто это? Это — Маршак... «Пожар», «Почта»... Ведь ты помнишь эти книги?

— Что ты, Лида, с ума сошла? — ответил мне очень отчетливо Женя. И прокартаил: — Магшак давно умег!

Когда подали, наконец, состав, первая вошла Ида с вещами. Потом я, держа за руку Люшу. Ида ее схватила, а я помогла войти Анне Андреевне. Потом С. Я. подал мне Женю и побежал к своему вагону (мы едем в разных).

Наш вагон переполнен.

Трясет, писать трудно.

Я прочла Анне Андреевне привезенные ею письма моих ленинградцев. Читала, плача. Анна Андреевна молчала. Обе мы глядели назад, туда, в наш родной город.***

«26.IX.[41 г.]

Дорогая Лидочка, сейчас я узнала, что Анна Андреевна едет в Чистополь.

Мне очень трудно писать, и уже давно я никому не пишу ни одной строки. Но сейчас мне захотелось послать Вам хоть несколько строк.

Может быть, мой друг, мы больше не увидимся с Вами. Спасибо Вам за долгие

---

* Я высказала Марине Ивановне свою радость: А. А. не здесь, не в Чистополе, не в этой, утопающей в грязи, отторгнутой от мира, чужой полутатарской деревне. «Здесь она непременно погибла бы... Здешний быт убил бы ее... Она ведь ничего не может».

«— А вы думаете, я — могу?» — резко перебила меня Марина Ивановна.

(В 1981 году я описала подробно свою чистопольскую встречу с Цветаевой в очерке «Предсмертие». См. журнал «Время и мы», 1982, № 66. Теперь, в 1988-м, очерк напечатан в Москве, в № 3 журнала «Собеседник» (изд-во «Моск. рабочий»).

** Маршака.

*** Письмо А. И. Любарской мною утрачено. Письмо Т. Г. Габбе, привезенное мне Анной Андреевной, в виде исключения ввожу в текст: тут и осажденный Ленинград, и тюрьмы, и завещание на будущее.— Прим. 1975 г.

годы дружбы. Спасибо за то, что сейчас я живу среди хороших, дорогих и высоких воспоминаний.

Не думайте, что мне сейчас очень плохо. Я не позволяю себе думать о себе, и поэтому мне не только не плохо, а даже часто хорошо.

Вот только письма нельзя писать — очень уж больно.

Друг мой, самое большое горе моих дней — это Иосиф. Я сейчас ничего не могу сделать для него и так боюсь предоставить его своей судьбе.

Вот о чем я хочу просить Вас: если мне не доведется найти и позаботиться о нем, попробуйте — может быть, Вам удастся это. Хоть не теперь, а позже, когда это станет возможным.

На всякий случай — вот необходимые сведения для наведения справки. Год рождения — 1901. Место рождения — местечко Маяты. Место работы (последней) — Архитектурная мастерская КЭУ (квартирно-эксплуатационного управления Красной Армии). Последний день работы — 22 мая 1941. Находился он в Лефортове. Там у меня приняли вещи и деньги. Деньги, посланные мною из Ленинграда в июле, очевидно дошли (ко мне они не возвратились). Деньги, отправленные мною 4 августа, вернулись 4-го сентября с пометкой на переводе «возвращаются, как не относящемуся к данному адресу». А посылала я на почтовый ящик 686 в Главный почтамт, как мне указали на Кузнецком, в приемной.

Пометка, как Вы сами видите, не слишком вразумительна.

В прокуратуре мне сказали, что дело его находится в III Управлении НКО.

Заявления и запросы, посланные мною в Наркомат, остались без ответа.

Кажется, это все, что может быть нужно для справки.

Дорогая Лидочка, я надеюсь, что у Вас хватит сил, чтобы еще долго жить, я надеюсь, что Люшка вырастет большая и когда-нибудь люди будут знать, как жили мы.

Если сможете и захотите писать, напишите мне о себе. О здоровье, о том, устроилась ли работа, о том, как живете Вы каждый день — Вы и дочка.

Мне будет большой радостью узнать о Вас что-нибудь прямо, а не из чужих писем.

Я и сама попробую ответить, хоть это мне труднее всего.

Целую Вас крепко.

Туся» [93].

Будьте счастливы.

30 октября 41.

На одной станции, где поезд стоял долго, к нам пришли Маршак и Квитко. Предложили переселить Анну Андреевну к ним в вагон — там и теплее, и мягче, и просторней *.

— Капитан?! — жалобно спросила меня Анна Андреевна.

— Ну, конечно!

И я выскочила их проводить.

Теперь хожу туда раза два в день. Иногда, если поезд стоит долго и перебегать безопасно, беру с собой Люшу или Женю — погреться.

Она упорно называет меня — «мой капитан» **.

Ношу Анне Андреевне еду.

Перечитывает: «Alice through the looking-glass» — книжку, которую дал мне в дорогу К. И., чтобы я читала детям.

— Вы не думаете,— спросила меня Анна Андреевна,— что мы сейчас в Зазеркалье?

2 ноября 41. Новосибирск.

Синенькие вагоны московского метро, заваленные снегом.

На них указала мне зоркая Анна Андреевна.

3 ноября 41.

Снова разговор с Анной Андреевной о конце Марины Ивановны. Между прочим, Анна Андреевна сказала мне, что стихотворение Мандельштама «Не веря воскресенья чуду» посвящено Цветаевой.

Потом:

— Осип два раза пробовал и в меня влюбиться, но оба раза это казалось мне таким оскорблением нашей дружбы, что я немедленно прекращала.

---

* В международный — где ехали в Алма-Ату с семьями С. Маршак, М. Ильин, Кукрыниксы, Л. Квитко, а также Лина Штерн. Когда они прибыли в Алма-Ату, Анна Андреевна вернулась к нам.

** Впоследствии одну из своих ташкентских фотографий А. А., в память нашего путешествия, надписала так: «Моему капитану».

5 ноября 41.

Эшелон с немцами Поволжья. Ему негде пристать. Теплушки; двери раздвинуты; видны дети, женщины, белье на веревках. Говорят, они уже больше месяца в пути и их никакой город не принимает.

На станциях, на перронах, вповалку женщины, дети, узлы. Глаза, глаза... Когда Анна Андреевна глядит на этих детей и женщин, ее лицо становится чем-то похожим на их лица. Крестьянка, беженка... Глядя на них, она замолкает.

Я сказала ей, что сегодня, когда шла к ней через воинский вагон, услышала с верхней полки:

— Я бы тех жидов Гитлеру оставил, нехай он их всех в землю закопает живыми!

— Таких надо убивать! — быстро сказала Анна Андреевна.

8 ноября 41.

Пустыня.

Мы стоим очень долго между двумя станциями.

Верблюды вдали. Я впервые понимаю, что они не уроды, а красавцы: стройным, величавым движением колышется караван.

Анна Андреевна оживлена, заинтересована, видит гораздо больше, чем я. Каждую минуту показывает мне что-нибудь.

— Орел! — говорит она.— Опустился вон на ту гору! Река — смотрите — желтая!

Не верит, что я не вижу. Перестала читать, разговаривать — смотрит, смотрит.

9 ноября 41.

Я оттолкнула Анну Андреевну от окна — мальчики-узбеки швыряют камни в наш поезд с криками: «Вот вам бомбежка!»

Камень ударился в стенку вагона.

Мы где-то совсем близко от Ташкента. Все цветет. Окна открыты.

9 ноября. Ташкент, гостиница.

На вокзале нас встретил К. И. с машиной. Иду и детей он отвез к себе, а меня и Анну Андреевну в гостиницу.

СТИХОТВОРЕНИЯ АННЫ АХМАТОВОЙ

(те, без которых понимание моих записей затруднено)

№ 34
к стр. 100

Все души милых на высоких звездах.
Как хорошо, что некого терять
И можно плакать. Царскосельский воздух
Был создан, чтобы песни повторять.

У берега серебряная ива
Касается сентябрьских ярких вод.
Из прошлого восставши, молчаливо
Ко мне навстречу тень моя идет.

Здесь столько лир повешено на ветки,
Но и моей как будто место есть.
А этот дождик, солнечный и редкий,
Мне утешенье и благая весть.

[*1921*]

№ 35
к стр. 100

Пятым действием драмы
Веет воздух осенний,
Каждая клумба в парке
Кажется свежей могилой.
Справлена чистая тризна,
И больше нечего делать.
Что же я медлю, словно
Скоро свершится чудо?
Так тяжелую лодку долго
У пристани слабой рукою
Удерживать можно, прощаясь
С тем, кто остался на суше.

[*1921*]

№ 36
к стр. 100

В том доме было очень страшно жить,
И ни камина жар патриархальный,
Ни колыбелька нашего ребенка,
Ни то, что оба молоды мы были
И замыслов исполнены . . . .
. . . . и удача
От нашего порога ни на шаг
За все семь лет не смела отойти,—
Не уменьшали это чувство страха.
И я над ним смеяться научилась
И оставляла капельку вина
И крошки хлеба для того, кто ночью
Собакою царапался у двери
Иль в низкое заглядывал окошко
В то время как мы заполночь старались
Не видеть, что творится в зазеркалье,
Под чьими тяжеленными шагами
Стонали темной лестницы ступеньки,
Как о пощаде жалостно моля.
И говорил ты, странно улыбаясь:
«Кого *они* по лестнице несут?»

Теперь ты там, где знают всё,— скажи:
Что в этом доме жило кроме нас?

1921 Ц. С.

№ 37
к стр. 103

Смеркается, и в небе темно-синем,
Где так недавно храм Ерусалимский
Таинственным сиял великолепьем,
Лишь две звезды над путаницей веток,
И снег летит откуда-то не сверху,
А словно подымается с земли,
Ленивый, ласковый и осторожный.
Мне странною в тот день была прогулка.
Когда я вышла, ослепил меня
Прозрачный отблеск на вещах и лицах,
Как будто всюду лепестки лежали
Тех желто-розовых некрупных роз,
Название которых я забыла.
Безветренный, сухой, морозный воздух
Так каждый звук лелеял и хранил,
Что мнилось мне: молчанья не бывает.
И на мосту, сквозь ржавые перила
Просовывая руки в рукавичках,
Кормили дети пестрых жадных уток,
Что кувыркались в проруби чернильной.
И я подумала: не может быть,
Чтоб я когда-нибудь забыла это.
И если трудный путь мне предстоит,
Вот легкий груз, который мне под силу
С собою взять, чтоб в старости, в болезни,
Быть может, в нищете — припоминать
Закат неистовый, и полноту
Душевных сил, и прелесть милой жизни.

1914—1916; [1940]

№ 38
К стр. 105

Подушка уже горяча
С обеих сторон.
Вот и вторая свеча
Гаснет, и крик ворон
Становится все слышней.
Я эту ночь не спала,
Поздно думать о сне...
Как нестерпимо бела
Штора на белом окне.
Здравствуй!

1909

Песенка

№ 39
к стр. 105

Я на солнечном восходе
Про любовь пою,
На коленях в огороде
Лебеду полю.

Вырываю и бросаю —
Пусть простит меня.
Вижу, девочка босая
Плачет у плетня.

Страшно мне от звонких воплей
Голоса беды,
Все сильнее запах теплый
Мертвой лебеды.

Будет камень вместо хлеба
Мне наградой злой.
Надо мною только небо,
А со мною голос твой.

1911

№ 40
к стр. 108

Наталии Рыковой

Все расхищено, предано, продано,
Черной смерти мелькало крыло,
Все голодной тоскою изглодано,
Отчего же нам стало светло?

Днем дыханьями веет вишневыми
Небывалый под городом лес,
Ночью блещет созвездьями новыми
Глубь прозрачных июльских небес,—

И так близко подходит чудесное
К развалившимся грязным домам...
Никому, никому неизвестное,
Но от века желанное нам.

1921

№ 41
к стр. 108

Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.

Но вечно жалок мне изгнанник,
Как заключенный, как больной.
Темна твоя дорога, странник,
Полынью пахнет хлеб чужой.

А здесь, в глухом чаду пожара
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя

И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час...
Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.

1922

Воронеж

№ 42
к стр. 108

О. М.

И город весь стоит оледенелый.
Как под стеклом деревья, стены, снег.
По хрусталям я прохожу несмело.
Узорных санок так неверен бег.
А над Петром воронежским — вороны,
Да тополя, и свод светло-зеленый,
Размытый, мутный, в солнечной пыли,
И Куликовской битвой веют склоны
Могучей, победительной земли.
И тополя, как сдвинутые чаши,
Над нами сразу зазвенят сильней,
Как будто пьют за ликованье наше
На брачном пире тысячи гостей.

А в комнате опального поэта
Дежурят страх и Муза в свой черед.
И ночь идет,
Которая не ведает рассвета.

[4 марта 1936]

[В зеркале]

№ 43
к стр 108

На шее мелких четок ряд,
В широкой муфте руки прячу,
Глаза рассеянно глядят
И больше никогда не плачут.

И кажется лицо бледней
От лиловеющего шелка,
Почти доходит до бровей
Моя незавитая челка.

И непохожа на полет
Походка медленная эта,
Как будто под ногами плот,
А не квадратики паркета.

А бледный рот слегка разжат,
Неровно трудное дыханье,
И на груди моей дрожат
Цветы небывшего свиданья.

1913

Третий Зачатьевский

№ 44
к стр. 113

Переулочек, переул...
Горло петелькой затянул.

Тянет свежесть с Москва-реки.
В окнах теплятся огоньки.

Покосился гнилой фонарь —
С колокольни идет звонарь...

Как по левой руке — пустырь,
А по правой руке — монастырь,

А напротив — высокий клен,
Красным заревом обагрен.

А напротив — высокий клен
Ночью слушает долгий стон.

Мне бы тот найти образок,
Оттого что мой близок срок,

Мне бы снова мой черный платок,
Мне бы невской воды глоток.

[1940]

№ 45
к стр. 113

Уложила сыночка кудрявого
И пошла на озеро по воду,
Песни пела, была веселая,
Зачерпнула воды и слушаю:
Мне знакомый голос прислышался,
Колокольный звон
Из-под синих волн,
Так у нас звонили в граде Китеже.
Вот большие бьют у Егория,
А меньшие с башни Благовещенской,
Говорят они грозным голосом:
«Ах, одна ты ушла от приступа,
Стона нашего ты не слышала,
Нашей горькой гибели не видела.
Но светла свеча негасимая
За тебя у престола Божьего.
Что же ты на земле замешкалась
И венец надеть не торопишься?
Распустился твой крин во полунощи,
И фата до пят тебе соткана.
Что ж печалишь ты брата-воина
И сестру-голубицу схимницу,
Своего печалишь ребеночка?..»
Как последнее слово услышала,
Света я пред собой не взвидела,
Оглянулась, а дом в огне горит.

Март, 1940

№ 46
к стр. 115

Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом не звучит,
Крапиве, чертополоху
Украсить ее предстоит.
И только могильщики лихо
Работают. Дело не ждет!
И тихо, так, Господи, тихо,
Что слышно, как время идет.
А после она выплывает,
Как труп на весенней реке,—
Но матери сын не узнает,
И внук отвернется в тоске.
И клонятся головы ниже,
Как маятник, ходит луна.

Так вот — над погибшим Парижем
Такая теперь тишина.

[5 августа 1940]

Колыбельная

№ 47
к стр. 115

Далеко в лесу огромном,
Возле синих рек,
Жил с детьми в избушке темной
Бедный дровосек.

Младший сын был ростом с пальчик,—
Как тебя унять,
Спи, мой тихий, спи, мой мальчик,
Я дурная мать.

Долетают редко вести
К нашему крыльцу,
Подарили белый крестик
Твоему отцу.

Было горе, будет горе,
Горю нет конца,
Да хранит святой Егорий
Твоего отца.

№ 48
к стр. 116

И мальчик, что играет на волынке,
И девочка, что свой плетет венок,
И две в лесу скрестившихся тропинки,
И в дальнем поле дальний огонек,—

Я вижу все. Я все запоминаю.
Любовно-кротко в сердце берегу.
Лишь одного я никогда не знаю
И даже вспомнить больше не могу.

Я не прошу ни мудрости, ни силы.
О, только дайте греться у огня!
Мне холодно... Крылатый иль бескрылый
Веселый бог не посетит меня.

1911

Тень

№ 49
к стр. 117

Что знает женщина одна о смертном часе?
О. Мандельштам

Всегда нарядней всех, всех розовей и выше,
Зачем всплываешь ты со дна погибших лет
И память хищная передо мной колышет
Прозрачный профиль твой за стеклами карет?
Как спорили тогда — ты ангел или птица!
Соломинкой тебя назвал поэт.
Равно на всех сквозь черные ресницы
Дарьяльских глаз струился нежный свет.
О тень! Прости меня, но ясная погода,
Флобер, бессонница и поздняя сирень
Тебя — красавицу тринадцатого года —
И твой безоблачный и равнодушный день
Напомнили... А мне такого рода
Воспоминанья не к лицу. О тень!

[9 августа 1940]

№ 50
к стр. 121

Покорно мне воображенье
В изображенья серых глаз.
В моем тверском уединенье
Я горько вспоминаю вас.

Прекрасных рук счастливый пленник
На левом берегу Невы,
Мой знаменитый современник,
Случилось, как хотели вы,

Вы, приказавший мне: довольно,
Поди, убей свою любовь!
И вот я таю, я безвольна,
Но все сильней скучает кровь.

И если я умру, то кто же
Мои стихи напишет вам,
Кто стать звенящими поможет
Еще не сказанным словам?

Слепнево 1913

Лондонцам

№ 51
к стр. 128

Двадцать четвертую драму Шекспира
Пишет время бесстрастной рукой.
Сами участники грозного пира,
Лучше мы Гамлета, Цезаря, Лира
Будем читать над свинцовой рекой;
Лучше сегодня голубку Джульетту
С пеньем и факелом в гроб провожать,
Лучше заглядывать в окна к Макбету,
Вместе с наемным убийцей дрожать,—
Только не эту, не эту, не эту,
Эту уже мы не в силах читать!

1940

№ 52
к стр. 134

Но я предупреждаю вас,
Что я живу в последний раз.
Ни ласточкой, ни кленом,
Ни тростником и ни звездой,
Ни родниковою водой,
Ни колокольным звоном —
Не буду я людей смущать
И сны чужие навещать
Неутоленным стоном.

1940

№ 53
к стр. 134

Нет, это не я, это кто-то другой страдает.
Я бы так не могла, а то, что случилось,
Пусть черные сукна покроют,
И пусть унесут фонари... Ночь.

Первый дальнобойный в Ленинграде

№ 54
к стр. 140

И в пестрой суете людской
Все изменилось вдруг.
Но это был не городской,
Да и не сельский звук.
На грома дальнего раскат
Он, правда, был похож, как брат,
Но в громе влажность есть
Высоких свежих облаков
И вожделение лугов —
Веселых ливней весть.
А этот был, как пекло, сух,
И не хотел смятенный слух
Поверить — по тому,
Как расширялся он и рос,
Как равнодушно гибель нес
Ребенку моему.

[сентябрь 1941]

ЗА СЦЕНОЙ

(факты, люди, книги, документы)

3 июня

61 *Кате статья нравится... женщины, если у них есть профессия, служба, превращают ее для себя в настоящие шоры.*— Мне неизвестно, в редакции какого журнала работала в ту пору Е. Р. Малкина и какой работой она была столь увлечена; знаю, что у нее были близкие друзья в редакции журнала «Литературный критик». Ахматову же Екатерина Романовна могла ознакомить с готовящейся статьей неофициально, просто по просьбе автора. Круг ее литературных знакомств был очень обширен.

Екатерина Романовна Малкина (1899—1945) — по образованию филолог-классик, специалистка по русской литературе, а также переводчица. В юности — на моей памяти — она посещала переводческую студию «Всемирной Литературы» и «Дома Искусств», где, в частности, преподавал Гумилев; была дружна с Михаилом Леонидовичем Лозинским; перевела для издательства «Всемирная Литература» пьесу Грильпарцера «Горе лжецу» и благодаря этому переводу познакомилась с Блоком; с 1924-го по начало 30-х работала в Эрмитаже в эллино-скифском отделе; в Эрмитаже познакомилась с Пуниным и через него с Анной Андреевной. В начале сороковых годов Екатерина Романовна работала в Пушкинском Доме.

Годы войны и блокады она провела в Ленинграде. За неделю до защиты докторской диссертации, в январе 1945 года, она была убита мальчишками-ремесленниками, чинившими электричество у нее в квартире. Ныне архив Е. Р. Малкиной хранится в рукописном отделе Пушкинского Дома.

О ее судьбе и литературном наследии подробно рассказано в некрологе, появившемся 27 января 45 года в «Литературной газете». Подписан он многими, в частности, Анной Ахматовой, М. Л. Лозинским, Ольгой Форш и Ольгой Берггольц. Привожу его:

«В Ленинграде трагически погибла Екатерина Романовна Малкина. Ее хорошо знали в литературных и литературоведческих кругах как талантливого ученого и критика, как активного члена Союза писателей и замечательного человека.

Всю блокаду Е. Р. прожила в Ленинграде, и тут вполне раскрылась сила и чистота ее души. Ее поведение было поистине героическим. Самоотверженно и просто, без всякой аффектации, переносила она все лишения, опасности и тяжелые личные утраты. Она непрерывно работала: вела большую литературную и редакторскую работу в Ленинградском радиокомитете, работала в Союзе писателей, читала лекции в лектории и госпиталях. В годы блокады она закончила большую научную работу — книгу „Драматургия А. Блока“. В 1938 году она защитила диссертацию на степень кандидата филологических наук: „А. Блок в первые годы реакции“. Новую свою книгу она должна была защищать в качестве докторской диссертации.

Мы никогда не забудем светлый образ Е. Р. Малкиной — Кати Малкиной, как все называли ее. И надо позаботиться о том, чтобы была издана ее прекрасная работа о Блоке».

62 Эльга Моисеевна Каминская (1894—1975) — актриса; читала с эстрады произведения русской поэзии — классической и современной. Состоялся ли вечер поэзии Блока и Ахматовой, мне неизвестно; полагаю — нет.

63 *Якубович... всю жизнь обожал Томашевского.*— Дмитрий Петрович Якубович (1897—1940), историк литературы, пушкинист, занимавшийся главным образом изучением прозы Пушкина, а также связями пушкинского творчества с античной литературой, с Овидием, с литературой английской — Шекспиром и Вальтером Скоттом. Он работал над составлением словаря античной терминологии у Пушкина, над монографией «Пушкин и Вальтер Скотт» и принимал участие в подготовке к изданию Полного академического собрания сочинений Пушкина (эта работа и сблизила его с Б. В. Томашевским).

В 1933 году Дмитрий Петрович стал ученым секретарем Пушкинской комиссии, а с 1936 года — ее председателем. Комиссия начала издавать «Временник», и Якубович вскоре сделался ответственным редактором этого специального издания.

Когда, 30 мая 1940 года, Якубович скончался,— Томашевский на его похоронах выступил с той речью, о которой говорит мне Ахматова, а затем опубликовал во «Временнике» обширную статью, где подробно проанализировал пушкиноведческую деятельность Д. П. Якубовича во всем ее объеме. Этот (6-й) том «Временника» открывается портретом Дмитрия Петровича, и там же помещен полный список его работ.

Напоминаю читателям, что А. А. была членом Пушкинской комиссии и постоянно общалась с Б. В. Томашевским и другими пушкинистами.

8 июня

64 *...видела его году в 22-м у Блоха.*— то есть у владельца издательства «Петрополис», Якова Ноевича Блоха (1892—1968). Издательство просуществовало в Петрограде с 1918-го по 1922-й и за это время выпустило немало стихотворных сборников: Блох напечатал Гумилева, Ахматову, Мандельштама, Кузмина. Вышли ли в «Петрополисе» стихи Сологуба — мне неизвестно.

30 июня

65 Мнение Ахматовой о том огромном значении, какое имеет для русской поэзии XX века творчество Анненского, было непоколебимо устойчивым. Она повторила его и через четверть столетия, в 1965 году: в Москве, в беседе с критиком Е. Осетровым, и в Париже, в беседе с литературоведом Н. А. Струве. Вот отрывок из беседы с Е. Осетровым:

«— В последнее время [пересказывает Осетров слова Ахматовой.— *Л. Ч.*] как-то особенно сильно зазвучала поэзия Иннокентия Анненского. Я нахожу это вполне естественным. Вспомним, что́ Александр Блок писал автору „Кипарисового ларца“, цитируя строки из „Тихих песен“: „*Это* навсегда в памяти. Часть души осталась в этом“. Убеждена, что Анненский должен занять в нашей поэзии такое же почетное место, как Баратынский, Тютчев и Фет.

— Вы считаете Анненского своим учителем?

— И не только я. Иннокентий Анненский не потому учитель Пастернака, Мандельштама и Гумилева, что они ему подражали,— нет, о подражании не может идти речи. Но названные поэты уже „содержались“ в Анненском. Вспомним, например, стихи Анненского из „Трилистника балаганного“:

> Покупайте, сударики, шарики!
> Эй, лисья шуба, коли есть лишни,
> Не пожалей пятишни:
> Запущу под самое не́бо —
> Два часа потом глазей, да в оба!

Сопоставьте „Шарики детские“ со стихами молодого Маяковского, с его выступлениями в „Сатириконе“, насыщенными подчеркнуто простонародной лексикой...

Если неискушенному человеку прочесть:

> Колоко́лы-балабо́лы
> Колоко́лы-балабо́лы...

то он подумет, что это стихи Велимира Хлебникова. Между тем, я прочитала „Колокольчики“ Анненского. Мы не ошибемся, если скажем, что в „Колокольчиках“ брошено зерно, из которого затем выросла хлебниковская поэзия.

Щедрые пастернаковские ливни уже хлещут на страницах „Кипарисового ларца“. Истоки поэзии Николая Гумилева не в стихах французских парнасцев, как это принято считать, а в Анненском.

Я веду свое начало от стихов Анненского. Его творчество, на мой взгляд, отмечено трагизмом, искренностью и художественной целостностью...» (Е. Осетров. Грядущее, созревшее в прошедшем. «Вопросы литературы», 1965, № 4, с. 186—187).

Те же мысли о тех же поэтах А. А. высказала в беседе с Н. А. Струве. (См. Никита Струве. Восемь часов с Анной Ахматовой.— «Сочинения», т. 2, с. 339).

Примечательно, что еще в 1910 г., в одной из своих рецензий, помещенных в майско-июньском номере журнала «Аполлон», Гумилев называет поэзию Иннокентия Анненского «знаменем» для «искателей новых путей».

В своем стихотворении памяти Анненского (1945), озаглавленном «Учитель», Ахматова писала:

> А тот, кого учителем считаю,
> Как тень прошел и тени не оставил,
> Весь яд впитал, всю эту одурь выпил,
> И славы ждал, и славы не дождался,
> Кто был предвестьем, предзнаменованьем,
> Всех пожалел, во всех вдохнул томленье —
> И задохнулся...
>
> *(БВ, «Седьмая книга»)*

Ахматова, по-видимому, считала Анненского явлением пророческим не только в поэзии. Вот строка, опущенная в беловике БВ и ББП:

> Кто был предвестьем, предзнаменованьем,—
> *Всего, что с нами после совершилось...*

Это «всего» относится уже не только к поэзии.

«Кипарисовый ларец» Ахматова помнит в «Царскосельской оде» (БВ, «Седьмая книга») и, безусловно, имеет в виду Анненского (хоть и не называет его по имени) в строках о Царском Селе: «Здесь столько лир повешено на ветки...» (См. заключительное четверостишие стихотворения «Все души милых на высоких звездах», № 34 — БВ, «Седьмая книга»).

5 июля

66 Всеволод Николаевич Петров (1912—1978) — искусствовед, знаток русского искусства конца XVIII — середины XIX века, автор исследовательских работ, «охватывающих — по его собственным словам в автобиографической справке — всю историю русской скульптуры классицизма, с последней четверти XVIII столетия до 1850-х годов — от Козловского до Клодта». (Автобиографию см. в кн. «Очерки и исследования», М.: Сов. художник, 1978, с. 291). Занимался Вс. Н. Петров и художниками «Мира искусства» и советскими мастерами: писал об Н. Альтмане, Н. Тырсе, В. Конашевиче, А. Пахомове, В. Курдове, Ю. Васнецове, Т. Шишмаревой.

С 1934-го по 1949-й Всеволод Николаевич был сотрудником Русского Музея: сначала отдела графики, потом скульптуры. В пятидесятые годы Петров принимал участие в подготовке издания «Истории русского искусства» (АН СССР, т. 6, 8 и 10).

Петров считал себя учеником Пунина. Познакомился он с Анной Андреевной через Николая Николаевича. В 1953 году Н. Н. Пунин погиб в лагере, а после XX съезда был реабилитирован, и в 1976-м изд-во «Советский художник» выпустило его книгу,— там была помещена и статья Вс. Н. Петрова: «Н. Н. Пунин и его искусствоведческие работы». См. *прим. 1.*

67 Рыбаковы — Лидия Яковлевна (1885—1953) и дочь ее, Ольга,— давние знакомые Анны Андреевны, семья юриста И. И. Рыбакова, погибшего в 1938 г. В кругу художников и литераторов Иосиф Израилевич Рыбаков (1880—1938) известен был как собиратель произведений искусства: живописи, скульптуры, старинных икон, фарфора, старинного и современного, редких книг и рукописей. Хранились в этой коллекции и дары Анны Ахматовой.

Познакомилась А. А. с Рыбаковым в конце 1922-го или в начале 1923 года, когда была замужем за В. К. Шилейко и жила в Мраморном.

9 июля

68 Весною 1914 года Ахматова написала стихотворение «Ответ», начинающееся строками «Какие странные слова / Принес мне тихий день апреля» (БВ, «Белая стая»). Это был ответ на стихотворение гр. В. А. Комаровского, обращенное к Ахматовой. Кончалось оно так:

Вот славы день. Искусно или больно
Перед людьми разбито на куски,
И что взято рукою богомольно,
И что дано бесчувствием руки.

Василий Алексеевич покончил с собою 21 сентября 1914 года. Оба стихотворения — и Комаровского к Ахматовой и Ахматовой к Комаровскому — были опубликованы уже после его смерти, оба в журнале «Аполлон» в 1916 году — первое в № 4—5, второе в № 8.

Гр. Василий Алексеевич Комаровский (1881—1914) — поэт; с конца девяностых годов жил в Царском Селе; печататься начал в 1912 году; в 1913-м вышла в свет книжка его стихов «Первая пристань», оказавшаяся последней. На этот сборник в следующем году с горячей симпатией (и с упреками по адресу критиков) отозвался Н. Гумилев. Он назвал «Первую пристань» книгой «достижений десятилетней творческой работы несомненного поэта». «Под многими стихотворениями,— писал Гумилев,— стоит подпись «Царское Село», под другими она угадывается. 〈...〉 Маленький городок, 〈...〉 освященный памятью Пушкина, Жуковского и за последнее время Иннокентия Анненского, захватил поэта, и он нам дал не только специально царскосельский пейзаж, но и царскосельский круг идей». Характеризуя поэзию Комаровского, Гумилев сопоставляет ее — с одной стороны с поэзией Иннокентия Анненского, с другой — Анри де Ренье. (См.: Н. Гумилев. Письма о русской поэзии. Пг.: Мысль. 1923, с. 180—181.)

В. Н. Топоров, автор статьи о Комаровском в КЛЭ (т. 9), находит, что «предакмеистические черты» поэзии Комаровского оказали влияние на Ахматову и Мандельштама: «Сочетание спокойных, «взвешенных» классических форм (культ А. С. Пушкина, александрийский стих) с внутренним трагизмом содержания, исторического — с личным и биографическим...»

8 августа

[69] Упомянутые в разговоре стихотворные сборники М. Кузмина, это: «Форель разбивает лед», Л., 1929; «Сети», М., 1908; «Вожатый», СПб, 1918. Отдельные стихотворения, о которых речь («Царевич Димитрий» и «Озерный ветер пронзителен») напечатаны в сборнике «Вожатый» (см. с. 5 и с. 41).

[70] Н. Гумилев. Письма о русской поэзии. Пг.: Мысль, 1923, с. 157.

«Поэзия М. Кузмина, „салонная“ поэзия по преимуществу,— не то, чтобы она не была поэзией подлинной или прекрасной, наоборот, „салонность“ дана ей, как некоторое добавление, делающее ее непохожей на других».

«Осенние озера» — вторая книга стихов М. Кузмина вышла в Москве, в изд-ве «Скорпион» в 1912 году.

[71] В «Литературном современнике» 1940 года, в № 5—6 напечатаны три стихотворения К. Симонова: «Родина», «Москвич», «Дружба» и пять стихотворений Н. Брауна: «Ирпень», «Мать», «Овраг», «Расипрощаемся, разойдемся», «Как трудно сердцу не любя!».

[72] О мистификации, разыгранной Максимилианом Волошиным и Елизаветой Васильевой (они сочинили стихи от имени несуществующей поэтессы Черубины де Габриак); о переписке по этому поводу между редактором журнала «Аполлон» Сергеем Маковским и Иннокентием Анненским (чьи стихи Маковский отложил, чтобы срочно напечатать стихи Черубины); о стихотворении Анненского «Моя тоска» — см. публикацию А. В. Лаврова и Р. Д. Тименчика в «Ежегоднике рукописного отдела Пушкинского Дома на 1976 год» (Л., 1978, с. 240).

Я же приведу из этой публикации лишь начало того письма Анненского, о котором говорит мне Ахматова:

«12 ноября 1909 г.

Дорогой Сергей Константинович,

Я был, конечно, очень огорчен тем, что мои стихи не пойдут в „Аполлоне“. Из Вашего письма я понял, что на это были серьезные причины. Жаль только, что Вы хотите видеть в моем желании, чтобы стихи были напечатаны именно во 2-м №,— каприз. Не отказываюсь и от этого мотива моих действий и желаний вообще. Но в данном случае были разные другие причины, и мне очень, очень досадно, что печатание расстроилось. Ну, да не будем об этом говорить и постараемся не думать...»

В тот же день Анненским было написано и *«страшное стихотворение о тоске»* — «Моя тоска». Это стихотворение оказалось последним. (См. сб. «Кипарисовый ларец», вышедший в 1910 году в изд-ве «Гриф» уже после смерти И. Анненского).

В публикации А. Лаврова и Р. Тименчика говорится, что в тридцатые годы Ахматова написала целую статью об эпизоде, рассказанном выше; статья называлась — «Последняя трагедия Анненского».— Прим. 1978 г.

В 1988 году в № 12 журнала «Новый мир» опубликована капитальная работа Владимира Глоцера «Елис. Васильева...». Тут помещены стихи поэтессы и ее письма; подробно рассказана ее биография; в частности, сообщено много нового о дуэли между Н. Гумилевым и М. Волошиным, а также о редакторе журнала «Аполлон» С. Маковском.— Прим. 1989 г.

19 августа

[73] «К синей звезде» — цикл стихотворений Гумилева, вписанный им в альбом молодой девушки, Елены Дюбуше, которую он встретил в Париже в 1917 году. Это стихи

О любви несчастной Гумилева
В год последний мировой войны.

Многие стихотворения этого цикла опубликованы среди других посмертно, в сборнике «К синей звезде» (Берлин: Petropolis, 1923). Там же «Эзбекие» (в действительности не «о лесе», как сказано у меня, а — о саде в Каире); к «синей звезде» оно не имеет касательства, оно — воспоминание об Ахматовой.

Начальная строка второй строфы:

Я женщиною был тогда измучен.

[74] А. А. цитирует совершенно точно. См.: Ал. Блок. Собр. соч. В 8 т. Т. 8, 1963, с. 328.

[75] Речь идет о строчках из двух стихотворений Блока: «Черная кровь» (1) и «Своими горькими слезами».

[76] Вопреки суровому отзыву о «Снежной маске», А. А. в начале двадцатых годов совместно с композитором А. С. Лурье писала по мотивам этой вещи либретто. Эта работа упомянута Ахматовой в перечне «утраченных». Между тем, судя по записи в Дневнике К. Чуковского от 24 декабря 1921 года, сделано Ахматовой было уже к тому времени немало. Корней Иванович записывает:

«...Она [Ахматова] лежала на кровати в пальто — сунула руку под плед и вытащила оттуда свернутые в трубочку большие листы бумаги.— Это балет „Снежная маска“ по Блоку. Слушайте и не придирайтесь к стилю. Я не умею писать прозой.— И она стала читать сочиненное ею либретто, которое было дорого мне, как дивный тонкий комментарий к „Снежной маске“. Не знаю, хороший ли это балет, но разбор „Снежной маски“ отличный.— Я еще не придумала сцену гибели в третьей картине. Этот балет я пишу для Артура Сергеевича. Он попросил. Может быть, Дягилев поставит в Париже». («Литературное Наследство», т. 92 в 4-х книгах. Александр Блок. Новые материалы и исследования. М.: Наука, 1981, кн. 2, с. 258).

Напоминаю читателям строки в черновиках «Поэмы без героя»: «А во сне все казалось, что это / Я пишу для Артура либретто».

О композиторе Артуре Сергеевиче Лурье (1893—1966), близком друге Ахматовой и Глебовой-Судейкиной, о его музыке, о его отношениях с петербургскими поэтами — Мандельштамом, Кузминым, Блоком, Ахматовой — в настоящее время ведутся специальные литературоведческие изыскания. Пока же отсылаю читателя к тем скудным сведениям о Лурье, которые даны в ББП на с. 475; к воспоминаниям Ахматовой о Мандельштаме («Сочинения», т. 2, с. 187) и к двум статьям самого А. С. Лурье — см. «Воздушные пути» на 1965-й и 1967 год.

Предполагаю, что кроме перечисленных в ББП на с. 475, Ахматова посвятила А. С. Лурье еще два стихотворения: «При непосылке поэмы» (БВ, «Седьмая книга») и «Прав, что не взял меня с собой» (напечатано с ошибкой на с. 305 в ББП: следует «сквозной» бессонницей, а не «ночной»).

5 сентября

[77] Татьяна Александровна Богданович (1872—1942) — писательница, автор исторических книг для детей; моя крестная мать.

10 сентября

[78] Владимир Степанович Чернявский (1879—1948) — мастер художественного чтения. Исполнял он произведения Чехова, Блока, Ромена Роллана, но главным образом Пушкина. Читая с эстрады пушкинские стихи, Чернявский разработал несколько специальных программ: цикл «Дружество», цикл «Южный», цикл «Сельский» и т. д. Исполнял он и «Евгения Онегина», и «Моцарта и Сальери», и «Выстрел». Есть у Чернявского и теоретическая статья о методах исполнения с эстрады прозы и поэзии Пушкина: см. сб.: Пушкин в звучащем слове. Л., 1936, с. 45.

Исполнял ли Чернявский стихотворения Анны Ахматовой — я не знаю.

1 октября

[79] Анна Андреевна имеет в виду статью С. Нагорного под заглавием «Следующий номер». Статья посвящена разбору восьмого-девятого номера журнала «Литературный современник» за 1940 год. В своей статье, помещенной в этом номере, критик И. Гринберг справедливо писал: «...„камерность“ Ахматовой не так-то уж проста ... в стихах, казалось бы, совсем „камерных“ присутствует чувство времени, присутствует память о широком мире. Вот эта память о мире, это чувство эпохи и придает такую мощь лирическим стихам больших поэтов, делает эти стихи напряженными, способными увлечь, покорить читателя» (с. 214). С. Нагорный возразил ему: «...стихи Ахматовой глубоко чужды самому духу советского общества» («Лит. газета», 1940, 29 сент.).

3 октября

[80] Неоконченная поэма «Февраль» (1933) помещена в отделе «Посмертные стихи» на с. 290—312 сборника: Э. Багрицкий. Стихотворения. Вступительная статья И. Гринберга. Л.: Сов. писатель, 1940. Б-ка поэта. Малая серия.

[81] Статья «Зощенко для детей» была мною написана и отправлена в редакцию журнала «Детская литература». Редакция ее потеряла. Впоследствии некоторые мысли из этой статьи я использовала в своей книге «В лаборатории редактора» (см. 2-е изд. М.: Искусство, 1963).

13 октября

[82] Валерия Сергеевна Срезневская (урожд. Тюльпанова; ок. 1887—1964) — жена психиатра Вяч. Вяч. Срезневского, старшего врача психиатрической лечебницы на Выборгской стороне в Петербурге.

Валерия Сергеевна — «Валя» — гимназическая подруга Ахматовой; познакомились они еще в детстве, в 1896 г., а через несколько лет, когда семья Тюльпановых сняла этаж в одном доме с семьей Горенко (в доме Е. И. Шухардиной, близ вокзала, на улице Широкой), девочки стали подругами: вместе ходили в гимназию, вместе купались, читали книги, катались на коньках и т. д. Через Валю Тюльпанову «Аня Горенко» познакомилась с «Колей Гумилевым».

В. С. Срезневская — автор воспоминаний об Анне Андреевне.

Ахматова посвятила ей два стихотворения: «Вместо мудрости — опытность...» (БВ, «Белая стая») и «Памяти В. С. Срезневской» (БВ, «Седьмая книга»).

[83] Эрих Федорович Голлербах (1895—1942) — искусствовед, поэт и литературовед; библиофил, библиограф; автор книг «В. В. Розанов. Жизнь и творчество» (1922); «Портретная живопись в России» (1923); «История гравюры и литографии в России» (1923) и многих других.

Большое место в искусствоведческо-литературоведческих работах Э. Голлербаха (уроженца Царского Села) занимают портреты и биографии поэтов, чье творчество связано с Царским — например, книга «Город муз», где он говорит не только о Пушкине, Жуковском, Вяземском, но и об Иннокентии Анненском, Н. Гумилеве, В. А. Комаровском, Анне Ахматовой; или книга «Образ Ахматовой» — сбор-

ник, где представлены стихи, посвященные ей современниками — Блоком, Гумилевым, Комаровским, Мандельштамом, Сологубом, Кузминым — и фотография статуэтки, исполненной Натальей Данько; им также опубликована книга «Царское Село в поэзии», где, в частности, перепечатаны ахматовские стихи о Царском.

По-видимому, Ахматову раздражала попытка Э. Голлербаха популяризировать, сделать общедоступной дорогую ей тему — память о юности, о Пушкине, о гибели Гумилева, о ее любви к Недоброво,— словом, ту, очень лично пережитую ею царскосельскую тему, которая звучит со столь изысканной строгостью в ее стихах.

17 октября

84 Мария Яковлевна Варшавская (1905—1983) — сотрудница Эрмитажа, автор многочисленных научных работ, одно время заведующая сектором живописи в Отделе Западноевропейского искусства; в течение многих лет — хранитель экспозиции фламандской живописи. Основные труды М. Я. Варшавской посвящены двум художникам: «Ван Дейк. Картины в Эрмитаже» (Л., 1963) и «Картины Рубенса в Эрмитаже» (Л., 1975).

22 октября

85 *Рассказала, возмущаясь, о домысле Максимова.*— А. А. имела в виду страницы из книги «Поэзия Валерия Брюсова», вышедшей в 1940 г. Дмитрий Евгеньевич Максимов (1904—1987) профессор Ленинградского университета, историк русской поэзии; в 1966 году вышла его книга «Поэзия Лермонтова», а в 1975-м — «Поэзия и проза Ал. Блока». Возмущение Анны Андреевны вызвано было одной из ранних работ Д. Е. Максимова: в названной книге о Брюсове он утверждал, что Гумилев относился к Брюсову, как «почтительный ученик». Основывал он свои убеждения, ссылаясь на статьи Гумилева (см., например, рецензию Н. Гумилева в газете «Речь» 29 мая 1908 г.) и на те надписи, с которыми Николай Степанович преподносил Брюсову свои стихотворные сборники. (Напоминаю также, что 1-е издание сборника «Жемчуга» Гумилева прямо посвящено «моему учителю Валерию Брюсову».)

Прочитав в моих «Записках» сердитую реплику Анны Андреевны, Д. Е. Максимов в 1978 году написал мне: «В Ваших воспоминаниях... упоминается фамилия „Максимов", которого А. А. выругала за слишком прямолинейное понимание каких-то писем... Очевидно или вероятно. „Максимов" это — я, а речь шла о почтительнейших письмах Николая Степановича к Брюсову. Если память мне не изменяет, эту почтительность я принял за чистую монету (это был *очень молодой* Гумилев, и такое его отношение было вполне возможно). А. А. со мною не согласилась. Ей естественно не хотелось даже молодого Н[иколая] С[тепановича] признавать поклонником В. Я. Брюсова».

О неудовольствии Анны Андреевны Д. Е. Максимов сообщает:

«Это было — самое *начало* моего давнего и доброго знакомства с Анной Андреевной».

Далее Д. Е. Максимов пишет мне, что в последующие годы А. А. относилась к нему и к его работам дружески и сочувственно: «Об этом свидетельствуют и ее надписи на подаренных мне книгах, и многие-многие звонки по телефону, и просьба выступить в Союзе писателей со вступительным словом перед чтением „Поэмы без героя" (чтение не состоялось) и т. д.».

В 1969 г., т. е. уже после смерти Ахматовой, вышла книжка Д. Максимова «Брюсов. Поэзия и позиция» (Л.: Сов. писатель). Там, на с. 119 читаем: «...меру сближения поэзии Брюсова с лирикой акмеистов не следует преувеличивать... Брюсов не сошелся с акмеистами и почеловечески, резко критиковал их теоретическую программу, а вскоре я совсем с ними разошелся».

Об отношении Гумилева к Брюсову см. интервью Ахматовой Никите Струве («Сочинения», т. 2, с. 341), а об отношении самой Анны Андреевны к Брюсову см. «Нева», № 6.

86 Речь идет о трех стихотворениях В. Хлебникова: «Отказ», «Одинокий лицедей» — см. «Собрание сочинений Велимира Хлебникова», 1928—1933, т. 3 и «А я...» — то же собрание, т. 5.

13 ноября

87 Не комментируя письмо Пастернака к Ахматовой, привожу из него отрывок, на который Анна Андреевна обратила мое внимание:

«[1 ноября 1940]

Дорогая, дорогая Анна Андреевна!

Могу ли я что-нибудь сделать, чтобы хоть немного развеселить Вас и заинтересовать существованьем в этом снова надвинувшемся мраке, тень которого с дрожью чувствую ежедневно и на себе. Как Вам напомнить с достаточностью, что жить и хотеть жить (не по какому-нибудь еще, а только по-Вашему) Ваш долг перед живущими, потому что представления о жизни легко разрушаются и редко кем поддерживаются, а Вы их главный создатель.

Дорогой друг и недостижимый пример, все это я Вам должен был бы сказать тем серым днем августа, когда мы последний раз видались и Вы мне напомнили, как категорически Вы мне дороги. А между тем я пренебрегал возможностями встречи с Вами, уезжал на целые дни в Москву, в день встречи поезда для учащихся, шедшего вне графика и не по расписанью из Крыма, с Зиною и ее больным сыном, которого надо было устроить в больницу и даже *день* приезда которого был неизвестен...» (Литературное наследство. Из истории советской литературы 1920—1930-х годов, т. 93, М.: Наука, 1983, с. 662—664).

22 ноября

88 Борис Пастернак. Избранные переводы. М.: Сов. писатель, 1940.

89 Л. Гинзбург. Творческий путь Лермонтова. Л.: ГИХЛ, 1940.

90 *Маёшка* — фольклорный герой, нечто вроде русского Петрушки, пришедший в Россию из Франции. «Майё» (по-французски «Mayeux») — озлобленный горбун, умный остряк, влюбчивый циник, популярный герой бесчисленных карикатур, главным образом, работы Шарля Травье, и целой цепи французских романов 1830—1848 годов. В тридцатые годы XIX века прозвище это насмешниками дано было Лермонтову: шутники высмеивали малый рост поэта и большую его голову, находя внешнее сходство между ним и французским Mayeux. (См.: М. Ю. Лермонтов. Полн. собр. соч. В 5-ти т. Ред. и коммент. Б. М. Эйхенбаума. М., Л.: Academia, 1935—1937. Т. 3)

1941

21 октября

91 С супругами Шнейдер, Михаилом Яковлевичем Шнейдером и Татьяной Алексеевной Арбузовой, я приехала в Чистополь на одном пароходе, в один день — 6 августа 1941 года. В Чистополе мы оказались соседями. Михаила Яковлевича я знала и прежде; с Татьяной Алексеевной познакомилась и сразу подружилась на пароходе, в пути. Михаил Яковлевич был тогда в последней стадии туберкулеза, Татьяна Алексеевна с большой самоотверженностью боролись за его жизнь. Я знала (испытав на себе), что оба они доброжелательные, хорошие люди.

Михаил Яковлевич Шнейдер (1891—1945) — специалист по кинодраматургии, автор критических статей о сценариях и составитель сценарных сборников; жена его, Татьяна Алексеевна Арбузова (1903—1978) — в юности ученица студии Мейерхольда. (После кончины Шнейдера она вышла замуж за К. Г. Паустовского.)

Шнейдеры дружески встретили у себя в комнатушке Марину Ивановну. Они сразу начали приискивать комнату для нее неподалеку от своей.— Прим. 1980 г.

28 октября

92 Лев Моисеевич Квитко (ок. 1890—1952) — еврейский поэт, писавший на идиш; в русскую поэзию вошел благодаря выступлениям Корнея Чуковского, а главное, переводам С. Маршака, Е. Благининой, М. Светлова, а впоследствии и Анны Ахматовой. Во время войны Квитко был членом Еврейского антифашистского комитета. В пору «борьбы с космополитизмом» он был арестован и расстрелян вместе с другими деятелями еврейской литературы: И. Фефером, Д. Бергельсоном и Перецем Маркишем.

93 *...самое большое горе моих дней — это Иосиф.*— Иосиф Израилевич Гинзбург (1901—1945) — инженер, муж Тамары Григорьевны, был арестован за то, что в присутствии сослуживцев возмущался пактом СССР с фашистской Германией. Это было до нападения Гитлера на Советский Союз. Но в судьбе человека, арестованного за антифашизм, нападение фашистов на СССР не изменило ничего. Он остался в лагере и погиб под Карагандой, работая во время наводнения на плотине.

От редакции: **в ближайшее время «Записки об Анне Ахматовой» Л. К. Чуковской выйдут в свет в издательстве «Книга».**

Галина
СКЛЯРЕВСКАЯ



Зеркала

О как мы любим в зеркала старинные
Напольные, настенные, каминные,
Смотреть, придя в музей или в театр,
Где комплексуем, может быть, не меньше мы,
Но эти победительные женщины! —
Ни дать ни взять — собранье Клеопатр.

И я как все. И я в такое зеркало
Глядела пристально или украдкой зыркала,
Хватая отражение свое,
И в этот миг закладывала душу я:
Я своего стыдилась малодушия,
Но принимала льстивое вранье.

Про взгляд, не замутненный недосыпами,
Про цвет лица, нагулянный под липами
Я вместе с ним сама себе лгала,
Забыв на миг, что после все отменится,—
Мы этим зеркалам не современницы
И нам другие служат зеркала.

Но эту ложь еще сильнее ценим мы,
Когда под лампами люминисцентными,
Смотря сквозь кривизну и зеленцу,
На службе, в учреждении ли, дома ли
Без жалости к себе (а вы как думали!)
Перед собой стоим лицом к лицу

И в каждой черточке, и в каждой малости
Разглядываем оползни усталости
(Покоя нет. И снится — беготня),
Рубцы былых сражений — и заметьте-ка,
Их маскирует вовсе не косметика,
Когда привычно среди бела дня

С невидимого зеркальца из сумочки
Смахнем свой взгляд, нахмуренный и сумрачный,
И снова мы — в пожизненном бою:
Давно забыв первичные причины, мы
Сражаемся за равенство с мужчинами,
За женственность бессмертную свою.

◆◆◆

Над лесом, крапленным рябиной,
В неверной и зыбкой дали
Колышется клин журавлиный,
Едва различимый с земли.

А здесь, на земле, огороды
Убрали. И жухнет ботва.

Ну, что же ты, право, ну, что ты
Все ищешь да ищешь слова?

Какое бы слово ни всплыло,
Итог, как известно, один:
Все сказано прежде. Все было.
И лес. И рябина. И клин.

Стихи о диалектологической экспедиции

Где Руднúца Чудскáя —
деревня псковскáя
и река Самолвá,
без цены, без оплаты
незарытые клады —
самоцветы-слова.
Знак времен с них не смылся,
в них глубинные смыслы,
как подземный ручей,
отсвет пашни лиловой,
отзвук битвы ледовой —
брезжит скрежет мечей.
Там таит в себе слово
плеск у города *Пльскова,*
цепкий цокот цепов;
это — песенный солод,
это — Пушкин и Сороть,
это — память веков.
Для меня — ленинградки
с речью, пресной и гладкой —
эта речь так сладка.
О земля, словно плугом,
обведенная кругом
Своего языка!

◆◆◆ *С. Н. Кириенко*

И было мне не встать из-за стола
с набором яств домашних, за которым
в движенье непазойливом и спором
чужая мать владычицей была.
Салат, еще салат, за ними борщ, а тут
(когда успела!) подаст второе.
Волнующей, забытою игрою
мне показалась эта смена блюд.
Но вот она склонилась над едой —
и разговора ниточка провисла.
О боже, сколько важности и смысла
в том, что такой казалось ерундой!
Моя подруга и не видит мать,
не замечает, как свою одежду:
что может быть естественней, чем между
отцом и матерью сидеть. А мне не встать.
До ужина останусь, напрошусь,
прилипну здесь, тоской своей ведома,
и воздухом родительского дома —
пускай чужого — вдоволь надышусь.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ
КЛУБ
«АЛЬТЕРНАТИВА»

Л. ГОЗМАН
А. ЭТКИНД

ОТ КУЛЬТА ВЛАСТИ К ВЛАСТИ ЛЮДЕЙ [1]

Психология политического сознания

Ужасное требует объяснений. Сталин и Пол Пот. «Зиг Хайль» и «Смерть троцкистско-зиновьевским убийцам». Гром оваций в стране, превращенной в филиал НКВД. Миллионы жизней, утративших смысл и цену. И смерть, ставшая обыденностью, универсальным способом решения проблем между человеком и властью.

Был ли смысл в этих кровавых спектаклях? Почему они пользовались таким успехом у современников? Есть ли граница террора, зайдя за которую, тиран перестает привлекать сограждан, или у геноцида, как у совершенства, нет пределов? О чем думали, что чувствовали те, кто голосовал за диктатора, не зная — или зная? — что завтра окажутся в камере пыток? Во что верили десятки миллионов, которые ждали своей участи в то время, когда миллионы уже были уничтожены на глазах у всех? Мыслим ли другой конец диктатуры, кроме смерти самого диктатора? И, наконец, самый важный и самый трудный вопрос: где искать гарантии, что все это не повторится вновь?

Споры сегодня идут о средствах, цели кажутся достаточно ясными. Экономика должна функционировать так, чтобы не было очередей и хорошие товары можно было купить за доступную цену. Политические институты должны обеспечить обратные связи и защищать права человека. Значительно хуже представляем мы себе, что этого недостаточно, что без серьезных изменений в психологии, в сознании большинства людей перестройка не будет ни успешной, ни необратимой.

Никакой режим, даже такой варварский, как сталинский, не стоит только на штыках. Не в меньшей мере, чем на силу, он опирается на психологические особенности подданных. Внутреннюю устойчивость системы обеспечивает соответствие массового сознания базовым особенностям организации общества. Тоталитарное государство опирается на людей с вполне определенным типом сознания, поддерживает и поощряет их. В то же самое время оно выявляет и уничтожает тех, чьи личностные структуры противоречат желаемой модели. Если мы действительно хотим демократии, мы должны дать себе отчет в том, что для достижения ее необходимы радикальные изменения сознания.

Выяснение закономерностей и путей этого перехода является основной нашей задачей. Тоталитарный тип сознания нельзя путать с его неразвитостью или незрелостью — это целостная, непротиворечивая и устойчивая система, со своей внутренней логикой и стабилизирующими механизмами. Чтобы понять, как такая система может меняться, надо прежде всего понять и описать ее саму.

Мысль, пытающаяся понять, что случилось с нашей (да и не только нашей) страной, как завороженная, застывает перед подробностями кровавого террора, многозначными цифрами потерь и зловещими фигурами убийц. Гнев и страх парализует нас, и вместо анализа мы слышим проклятия. Здесь нужна не наука, здесь нужен Нюрнберг. Но осудить террор и поставить памятники его противникам и жертвам недостаточно. Памятники можно уничтожить, можно забыть, кому они поставлены. Только анализ и понимание могут сорвать с тоталитарной власти ее мистический покров и дать если не гарантию, то шанс на то, что прошлое не вернется.

Любая стабильная власть потому и стабильна, что психологически она устраивает многих. Чтобы понять власть, а не только обвинять ее, необходимо осознать, какие наши потребности удовлетворялись столь патологическим образом. Без этого какой-нибудь новый энтузиаст тоталитаризма сможет воскресить его под непривычным обличьем. Безусловно, важно понять, что «Сталин умер вчера», но еще важнее распознать Сталина сегодня.

Абсолютная ценность

Официальная версия советской истории была выработана на XX съезде КПСС и в общих чертах остается в силе сегодня. Культ личности — так была охарактеризована суть политической системы 30—50-х годов. Н. С. Хрущев и его коллеги видели в обожествлении руководителя не только

[1] Расширенный вариант статьи готовится к публикации в издательстве «Прогресс».

идеологическое обоснование террора, но и прямую его причину. Исторические события были объяснены психологическим феноменом. Сейчас многие исследователи пытаются найти ответ на вопрос, были ли у этих процессов хоть какие-то объективные социально-экономические причины. Ученому, а тем более марксисту, трудно поверить в то, что механизм гибели миллионов, источник неисчислимых материальных потерь был сугубо духовным, произвольным и субъективным, как культ личности, созданный по желанию этой личности... Но так или иначе, слово было сказано и оказалось удачной идеологической находкой. «Культ» — это значит миф, мистификация, нечто вроде «опиума для народа». «Культ» — это что-то варварское, языческое, нехристианское. Культ затмевает реальность. Это ставит простую и ясную задачу — рассказать народу все как есть, разоблачить миф, разобрать культ личности на кирпичи, построив на его месте светлое здание коллективного руководства. Но личность Сталина оказалась лишь частным предметом культа, имеющего куда более широкую природу.

Политическая система сталинизма действительно создала культ, и любая тоталитарная система создает этот культ. Подлинным и главным объектом его выступает не человек по фамилии Джугашвили или Шикльгрубер, а власть, как таковая. *Культ власти* — в этом состоит сущность сталинизма, как, впрочем, и других авторских версий тоталитарной системы.

В условиях тоталитарного режима власть оказывается сверхценностью — ценностью абсолютного, высшего порядка. Кто имеет власть — имеет все: роскошную жизнь и подобострастие окружающих, лучших женщин и свободу делать с ними что хочешь, право высказывать суждения по любому поводу, удовлетворить каждую причуду, защитить себя от врагов и от подозрений... А кто не имеет власти, не имеет ничего — ни денег, ни безопасности, ни уважения, ни права на свое мнение, вкусы, чувства. Все, чего может достичь человек, он достигает, получая это от власти и в виде власти. Талантливый ученый может делать свое дело, лишь став заведующим лабораторией или директором института. Хороший рабочий, врач, учитель может заработать немного больше среднего только по особому разрешению начальства, а много больше — только если сам станет начальством. Работник партаппарата и сейчас знает: чтобы лучше жить, надо не просто лучше работать — надо суметь занять место своего начальника. Любое другое перемещение будет означать падение жизненного уровня и самоуважения.

Заботы власти о собственном могуществе до сих пор превышают пределы разумного. Зачастую складывается впечатление, что носителей власти волнуют не столько результаты их деятельности, сколько доказательство ее вездесущности. Поныне здравствует бессмысленная паспортная система, самим своим существованием нарушающая права человека. Многие экономические начинания были погублены просто потому, что сопутствующие службы не могли гарантировать стопроцентный контроль, существование же чего-то неконтролируемого или контролируемого лишь частично является само по себе оскорблением власти.

Субъекты стремления к абсолютному контролю никак не поймут, что их цель недостижима. Примеры тому — неудачи госприемки и недавних сеансов борьбы с алкоголизмом и нетрудовыми доходами. Расходы на тотальный контроль с удручающей неизменностью превышают потенциальные выгоды от такого контроля. Сама необходимость в нем порождается теми самыми процессами, которые он же и вызывает к жизни. Отлично сформулировал эту непростую мысль полтора века назад М. С. Лунин: «Народ мыслит, несмотря на глубокое молчание. Миллионы издерживают на то, чтоб подслушивать мысли, которые запрещают ему выражать». Контроль, в каких-то пределах безусловно необходимый, оказывается самоценной манифестацией власти.

Определяющим признаком тоталитарного общества является контроль над всеми — всеми без исключения — областями социальной жизни. Ни одна сфера жизни не остается непрозрачной для власти. Все просвечено ее лучами и охвачено щупальцами. Блокируется любая возможность ухода человека от контроля государства, будь то семейные или сексуальные отношения, личные вкусы, мнения и привычки. В утопии Замятина человек живет за прозрачными стенами, занавешивая их лишь на время одобренных властью свиданий. Подавляющая человеческую сексуальность практика коммунальных квартир и общежитий, раздельного обучения в школах и запретов на аборты, доносов и персональных дел за аморалку лишь технически отличается от кошмара Замятина. Действуя на пределе своих технических возможностей, власть вторгается и в детско-родительские отношения. Доносы членов семьи друг на друга лишь один из множества примеров такого вмешательства. Сохраняющееся и сегодня доминирование школы над семьей, отсутствие института экстернатуры, лишение ребенка и родителей права выбора — ходить или не ходить в школу, в какую школу ходить, какие предметы учить, у какого учителя учиться — продолжает практику тоталитарного вмешательства в частную жизнь. Вмешательство государства ограничивается только

техническими возможностями, юридических или этических норм для тоталитарного контроля не существует. Скажем, прослушивать телефонные разговоры можно, но не все — для этого не хватит слушателей. Можно регулярно промывать мозги советским писателям, но делать это на столь же высоком уровне для советских колхозников затруднительно. Тут в дело идет другое — продразверстка, паспортная (или беспаспортная) система, алкоголь.

Один из многих парадоксов тоталитаризма состоит в том, что, имея все, носитель власти не имеет ничего,— по крайней мере, ничего своего. Роскошные дом, машина, дача, паек принадлежат не ему, а власти, и лишаясь власти, он лишается всех значимых для него ценностей. У него нет друзей, близких — любые межличностные связи опасны для вышестоящего начальства и от них следует отказаться. Возможно, по этой же причине у него нет семьи — супруги многих сталинских сатрапов, в том числе главы советского государства, были в лагерях. Ну а семьи тех, кого обошла профилактическая забота органов, скорее напоминали партячейку по месту жительства. Все, что только может быть дорого человеку, эти люди обменяли на власть.

Власть оказалась универсальным эквивалентом, источником и носителем всех жизненных благ. Те немногие ценности, которые даже в тоталитарной системе власть не может дать человеку — здоровье, талант, счастье,— обесцениваются, лишаются смысла и привлекательности. Власть может дать все, а то, что она не может дать,— и не нужно. Власть — это и есть жизнь. Отстранение от власти равносильно смерти, оно и возможно чаще всего только через смерть.

Власть мистификаций

Создавая свой культ, тоталитарная власть мистифицирует все властные функции, безгранично преувеличивая их значение, засекречивая обеспечивающие их огромные средства и отрицая роль объективных обстоятельств. Так и сегодня иной партийный функционер приписывает своему умелому руководству аграрные достижения региона, в котором по сравнению с промышленными областями страны лучше климат или больше пашни. Для него, а точнее для власти, не существует ничего объективного, ничего, что происходит само собой, без ее руководства, вмешательства и контроля.

Поэтому тоталитарная власть столь враждебна науке — физике, географии, биологии, не говоря уже о психологии и социологии. Нормальная наука ведь говорит о том, каковы явления и люди сами по себе, а власти нужно описание того, какими они могут стать благодаря ее вмешательству. Так вместо науки о сущем появляются «учения» о должном — неповторимая смесь народных суеверий, хозяйственных навыков, утопических мечтаний и особых, вызывающих почтение слов, бывших раньше терминами нормальной науки. Примерно такой же характер имела алхимия — не наука о веществах какие они есть, а учение о том, как сделать из них золото. Генетика, наука о наследственности, отрицается, а на ее месте расцветает учение о переделке наследственности — агробиология. Психология становится в 1936 году первой жертвой произвола, обращенного на целую науку, а вместо нее активно и успешно институционализируется педагогика, которая только в СССР рассматривается как самостоятельная наука, а в странах Запада отсутствует за ненадобностью: дело науки — изучать реальность, а не учить практиков их делу. Социология, безусловно, противопоказанная любому тоталитарному режиму, исчезает под бременем научного коммунизма или учения о расах. Даже физика может оказаться партийной или буржуазной, арийской и неарийской.

Насилие над человеком плавно переходит в насилие над природой. Любые явления рассматриваются как успех лидера или сознательно нанесенный ему вред, вредительство. Говорят, Берия накануне испытаний первой ядерной бомбы «инструктировал» Курчатова: если эта штука не взорвется, я тебе сам голову оторву. Безусловно, он верил, что таким способом он влияет на ход испытаний, а может, и на процессы в самой этой «штуке». Бесконечные реорганизации сельского хозяйства основаны на той же самой вере, что власть может непосредственно влиять на объективные процессы, происходящие между людьми и природой. Бесплодность этих реорганизаций так же мало действовала на власть, как неудачи очередного опыта по перевоспитанию овощей действовала на агробиологию: любой неуспех можно снова объяснить субъективными факторами — вредительством, плохой организацией, недостатком энтузиазма и, как это с замечательной проницательностью делал Лысенко, слабой верой в успех.

Тоталитарная власть сочетает уверенность в безграничности своего могущества с отрицанием всего, что от нее не зависит. Еще де Кюстин, описывая Россию времен Николая I, обратил внимание на удивительное для европейца и столь знакомое нам явление — цензура не пропускает в печать сообщения о катастрофах и стихийных бедствиях на территории империи. Взяв на себя абсолютную власть,

царь принял и абсолютную ответственность, в том числе и за наводнения, землетрясения и тому подобное. Подданным надлежит знать лишь две причины любых явлений — воля государя и, в некоторых случаях, козни его врагов. Поскольку ураган не может считаться результатом заговора темных сил, лучше считать, что никакого урагана не было. В противном случае ответственность за него может лечь на самого монарха.

Мистика власти является неотъемлемым элементом тоталитарного режима. Но даже тогда, когда режим рухнул, те же шаманские приемы продолжали и продолжают применяться для его объяснения. Говорить, что миллионы погибли вследствие дурного характера или фаз болезни Сталина,— значит предаваться точно такому же культу его личности, как и объявлять его гением всех времен и народов. Гораздо важнее, но и труднее понять, что он не был гением — ни добрым, ни злым.

Тоталитарный режим представляется естественным явлением в жизни общества, естественным точно в такой же степени, в какой естественна болезнь организма. Болезнь надо лечить не изгнанием злых духов, а терпеливым исследованием и точным и аккуратным лечением ее причин. Причин, а не симптомов. Это не такая болезнь, как чума, которой заражаются извне, а такая, как рак, который является нарушением внутреннего развития организма. Хирургическое вмешательство может быть полезным, но недостаточным. Никакой гениальный хирург не избавит общество от моральной ответственности. Не избавит от нее и вера в безграничную способность верхов или чужаков навязать народу свои порядки, которая выражает лишь в новой форме старые предрассудки культа власти.

Тоталитарный режим, способный к навязчивой пропаганде своего культа и полному контролю над всеми без исключения подданными, невозможен без высокого технического развития средств массовой коммуникации, армии и транспорта. Поэтому, хотя идеология и эстетика тоталитаризма существовали с незапамятных времен, последовательная его реализация стала возможной лишь в XX веке. Сталин и здесь шел неизведанным путем. Его предшественники могли лишь создавать отдельные тоталитарные анклавы — императорский двор, военные поселения, католические монастыри,— но не могли распространять свою систему на всю страну.

Культ власти оказался гораздо жизненнее культа личности. Мы давно уже научились критически относиться к самовосхвалениям власти, понимая незначительность или относительность ее реальных успехов. Но считать, что наши беды объясняются только тем, что руководство недоглядело, ошиблось, виновно или даже преступно,— значит все еще оставаться в плену культа власти. В этом, собственно, и состоят иллюзии XX съезда: власть была плохой, теперь власть будет хорошей, но она как была, так и останется всесильной. Избавление от тоталитарной мифологии в другом — в понимании ничтожности реального значения власти в сравнении с процессами самоорганизации общества. В доверии к этим стихийным, но разумным и подлинно человеческим процессам и в принятии личной ответственности за эти процессы видится психологическая альтернатива культу власти.

Мифология тоталитаризма

Объективно жизнь в тоталитарном обществе тяжела и опасна. Человека пугают внешними и внутренними врагами, ему действительно угрожают голод и внезапный арест. У него нет дома, имущество его сведено к минимуму, его связи с миром от него не зависят и ничто в его жизни не гарантировано от вмешательства государства.

Осознать мир тоталитарной системы таким, каков он есть на самом деле, означает навсегда потерять спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Конечно, несмотря на глобальную ложь пропаганды, наиболее интеллигентные и внутренне не зависимые люди сохраняют собственную точку зрения на общество и свою судьбу в нем. Как сказал О. Мандельштам: «Я не смолчу, не заглушу боли, но начерчу то, что чертить волен». Сознание людей бесконечно труднее сделать одноукладным, чем их бытие. Несогласные есть при любой диктатуре. Перед ними два пути — героический путь борьбы с системой и своего рода аутизм, когда человек, вполне понимая, с кем имеет дело, старается уйти от любых контактов с обществом. Путь Солженицына и путь его героя Ивана Денисовича.

Но большинство избирает иной путь защиты — психологический. Чтобы избегнуть страха и боли, достичь внутреннего равновесия, человек готов идти на глубокие и радикальные искажения реальности. Разделив с властью ее картину мира, человек обретает не только надежду на выживание, но, что гораздо более важно, возможность счастья. Такой человек способен увидеть себя столь же абсолютным и всемогущим, как сама власть, частицей которой он себя чувствует: «я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть». Этот специфический опыт восторженного слияния с властью является, видимо, столь ценным и неповторимым, что и спустя десятилетия людям, его ис-

пытавшим, трудно отстраниться от этого переживания и отнестись к нему с критикой. Извне радостный энтузиазм тоталитарной личности кажется слепым и неразумным. Изнутри же он совершенен, полон смысла и не нуждается ни в каком рациональном обосновании и, тем более, в критике. Точно в такой же степени не нуждается в них детская игра.

Действительно, тоталитарное сознание, позволяющее человеку не видеть очевидного и верить в невероятное, во многом напоминает сознание ребенка. Фиксация чувств на родительских фигурах и неустойчивость эмоциональных оценок всего остального мира, некритичная зависимость симпатий и антипатий к людям от отношения к ним родителей — все это вполне естественно для маленьких детей. Собачка хорошая, пока не укусила; укусила — и стала плохой. Мальчик плохой, потому что дерется. Перестал драться, дал конфету и стал хорошим. У взрослых этого быть не должно. Но подданные тоталитарных империй с легкостью и частично искренне проклинают как заклятого врага того, кто еще вчера был сторонником и соратником вождя. Они готовы видеть друга в том, от кого вчера ожидали нападения, и врага в потенциальном союзнике, как это случилось в СССР и в Германии в 1939 году.

Однако сводить тоталитарное сознание к отсталости и инфантилизму, как это порой делается, было бы слишком большим упрощением. В отличие от инфантильного сознания, которое постепенно выходит на реальность и потому со временем становится взрослым, тоталитарное сознание с реальностью не связано вовсе и, следовательно, не несет внутри себя возможности к изменению. Ребенок, которого пугают собаками, боится их не потому, что собака его когда-то покусала, а потому, что верит маме. Но, приобретя свой опыт общения с животными, он может выработать собственную оценку, независимую от отношения родителей. У взрослых, живущих при тоталитарном режиме, такой возможности нет: с объектами своей любви и ненависти — с вождями и врагами народа — они практически не соприкасаются. Серьезным исключением является война. Во время войны тоталитарное сознание волей-неволей становится более реалистичным и потому частично разрушается. Не пониманием ли опасности этого процесса для власти была вызвана послевоенная волна сталинских репрессий?

Картина мира тоталитарного сознания включает в себя своеобразные представления о причинности, о природе вещей, о времени, о человеке... Обеспечивая существенную психологическую выгоду, будучи кратчайшим путем к счастью в наличных условиях существования, тоталитарная мифология принимается добровольно и с благодарностью. Более того, даже когда от нее отказывается сама власть, носители мифологии, подобно наркоману, который уже не может жить без наркотика, держатся за привычные представления о мире.

Никакая мифология не имеет конкретного творца. Картина мира тоталитарного сознания тоже не имеет автора. Тираны не могут претендовать на это авторство. Скорее наоборот, сами они, какими мы их знаем, являются ее порождением. Являясь самой простой картиной мира из всех возможных, тоталитарная мифология не нуждается для своего создания ни в таланте, ни в специальной работе. Ее носители воспроизводят ее каждый для себя. По отношению к более развитым идеологиям — авторитарным, либеральным, демократическим — она как эмбриональная поза, которую мы иногда принимаем во сне. И при столкновении с неопределенностью или опасностью любое общество рискует регрессировать до этого уровня подобно тому, как каждый из нас, столкнувшись с трудностями жизни, не прочь снова оказаться маленьким мальчиком, о котором позаботятся отец и мать.

Вера в простой мир

Центральной характеристикой тоталитарного сознания представляется вера в простоту мира, в то, что любое явление может быть сведено к легкоописываемому, наглядному сочетанию нескольких первичных феноменов. В психологии личности есть понятие когнитивной комплексности. Это мерность той системы координат, в которой человек описывает для себя других людей и все окружающее. Чем больше осей в этой системе, тем более сложную, противоречивую (а значит — тем более реалистичную) картину мира способен отразить субъект. Простая, одно-, двухмерная модель приводит к тому, что случайные и многозначные связи между явлениями произвольно закрепляются, один вариант их объявляется правильным, все остальные — девиациями. Классическим следствием веры в простой мир являются национальные предрассудки, очень, кстати, характерные для тоталитарного сознания. Стереотипы могут быть позитивными или негативными, но они всегда представляют собой фатальное обеднение реального многообразия мира, в том числе — любого этноса. Вера в простой мир не позволяет почувствовать ни собственную индивидуальность, ни индивидуальность близкого человека, сами отношения между людьми сводятся к реализации простейших схем. Однако упрощение мира имеет не только очевидные нравственные, но и, может быть менее очевидные, политические последствия.

Вера в простой мир ответственна за принятие катастрофических по своим результатам управленческих решений. Носители этой веры не способны увидеть явление в единстве его положительных (например, полезных для человека) и отрицательных черт и тяготеют к однозначным оценкам, которые далеко не всегда уместны. Если уж что-то плохо, то оно во всем плохо, если хорошо — то тоже во всем. А следовательно, любое социальное событие или природный феномен должен быть объектом всемерной поддержки либо бескомпромиссной борьбы. Так, сторонники ленинградской дамбы не хотят видеть в столь многомерном явлении, как периодический подъем невской воды, ничего положительного, а в прекращении его — ничего отрицательного. Отсюда и вывод о борьбе с наводнениями любой ценой, причем борьба эта, как и во многих других ситуациях, видится не в поиске своего рода компромисса, возможности компенсации негативных последствий позитивными (например, ленинградские наводнения могли бы стать уникальными туристскими шоу, приносящими огромный доход), а в уничтожении явления, как такового.

Если мир прост, то действия, направленные на его улучшения, должны быть так же просты, если и не технически, то по идее. Нехватка воды решается поворотом рек, недостаток денег — печатанием новых, демографические проблемы — запрещением абортов, распространение инакомыслия — переполнением психбольниц.

Из всех возможных решений тоталитарная власть с завидным постоянством выбирает наихудшие. Здесь, конечно, нет злого умысла — критерием выбора, наряду со стремлением еще раз подтвердить величие власти, была ориентация на простой вариант, не превышающий по степени сложности сложность картины мира тех, кто принимает решение. За простыми решениями стоит примитивное представление как о причинах проблем, так и о последствиях действий властей. Взаимосвязанность и взаимозависимость мира практически во всех его природных и социальных проявлениях игнорируется.

Иллюзия простоты создает и иллюзию всемогущества — любая проблема может быть решена, достаточно лишь отдать верные приказы. Простая картина мира касается не только природы, но и общества. Она диктует особый способ решения социальных проблем, последовательно разделяя социум на наших и ненаших, хороших и плохих. К бесконечной борьбе между ними сводится, фактически, все историческое развитие. «Кто не с нами, тот против нас» — это не просто фраза, которую хотелось бы оставить в прошлом, это афористическое выражение идеологии простого мира. Если в мире нет ничего, кроме недопускающего полутонов, персонифицированного добра и зла, то неизбежны социальные эксперименты, которыми ужаснул XX век.

Вера в то, что мир в основе своей прост, приводит к распространению характерной для всех тоталитарных режимов негативной установки по отношению к знанию вообще и к интеллигенции, как к его носителю, в частности. Если мир прост и понятен, то вся работа ученых является бессмысленной тратой народных денег, а их открытия и выводы — попыткой заморочить людям голову. В отличие от рационалистической науки, которая отрицает непознаваемость, тоталитарное сознание не приемлет и непознанности. Мир не только прост, но уже понятен. Любое непонятное есть злонамеренное запутывание стройного, не таящего уже никаких существенных тайн мира. Это не только стремление к тотальному контролю, но и своеобразная эстетика. Вспомним навязчивое повторение слова «светлый» в описании новых цехов, городов и т. д. (будто человек не нуждается, помимо света, и в полумраке, да и полной темноте). Кстати, и герой «Приглашения на казнь» был осужден за страшное преступление — непрозрачность.

Ученый, да и любой грамотный человек, самим своим существованием отрицает эту примитивную «победу разума». Даже если он и не является политическим противником режима, к нему все равно относятся как к врагу, к чужому,— он противник в вещах более серьезных, чем сегодняшние политические споры. С ним хоть и приходится сотрудничать, надо всегда быть настороже и никогда нельзя доверять полностью. Да и сотрудничество возможно лишь с теми, кто занимается мелкими подробностями картины мира (такими видятся диктаторам представители технических наук), но никогда — с теми, кто выходит на глобальные вопросы жизни человека и общества. Они — враги не только потенциальные, но реальные, сегодняшние. Недаром Сталин у Искандера презрительно и раздраженно называет Бухарина «нашим грамотеем». Для всех тоталитарных режимов характерна навязчивая апологетика «простого» человека, который в университетах не обучался, но именно поэтому является носителем подлинной нравственности и добра.

Это, надо надеяться, в прошлом. Но и сегодня стремление видеть мир максимально простым деструктивно влияет на общество. Вместо анализа подлинных причин наших трудностей идет активный поиск врагов. Бюрократы и гидростроители, сионисты и кооператоры, масоны и неизвестно кто еще. Мы ни в коем случае не хотим сказать, что у перестройки нет

противников или что они не представляют опасности. Однако возврат к детективно-романтическому способу объяснения социальных процессов не даст ничего, кроме повторения истории, и хорошо еще, если в виде фарса...

Вера в простой мир проявляется и в отношении людей к политической системе, в предпочтении того или иного способа организации общества. Если мир прост, то нет нужды в неизбежно сложных и даже неповоротливых демократических процедурах. Демократия — выборы, голосования, обсуждения — нужна тогда, когда мир сложен, а значит, решение, как минимум, неоднозначно. Политические утописты всех времен предлагали самые простые системы управления обществом. Даже архитектура придуманных ими городов тяготела к простым формам: в центре дом правителя, остальные дома расположены по концентрическим окружностям, пересекаемым радиальными дорогами, и так далее. Эстетика здесь явно подчинена политике — таким городом проще управлять, он доступен тотальному контролю, он красив при взгляде сверху.

Простота власти означает и ее единство. Пропагандистское клише, декларирующее единство народа и власти, столь же обязательно в тоталитарной системе, как портреты диктатора. Принцип разделения властей и прочие сложности чужды носителю тоталитарного сознания; подобно этому для ребенка в детском саду добрая воспитательница есть гарантия от всех неприятностей. Объединение всего и вся представляется универсальным рецептом в лечении любой болезни. Все общественные движения должны объединиться. Писатели, люди, по определению, индивидуального труда, должны стать «заединщиками». Неужели могут объединиться в сознании людей создатель этого термина, находящегося в семантическом пространстве где-то неподалеку от слова «подельники», с тем, кто сказал: «Во всем мне хочется дойти до самой сути»?

Вера в неизменный мир

И власть, и народ тоталитарной системы изменяются, как и весь остальной мир. Социальное, культурное, техническое развитие можно затормозить или ускорить, но в общем оно идет само собой, что бы с ним ни делать. Официальная идеология всех, кажется, тоталитарных обществ ориентируется на бурное развитие экономики, науки и техники. И однако, обиход тоталитарного общества поражает своим консерватизмом. Это хорошо известно на примере советского общества прошлых лет. Все элементы общественной жизни — лидеры, институты, нормы, стили — застыли в неподвижности. Новации быта и культуры игнорируются до тех пор, пока не импортированы в таких количествах, что воспринимаются как давно известные. Изобретения не используются, открытия засекречиваются. Паспортная система привязывает людей к месту жительства, а трудовое законодательство благоприятствует тем, кто всю жизнь провел еще и на одном и том же рабочем месте. Стабильность цен и доходов, вопреки здравому смыслу, преподносится как достижение власти. Нелегко понять, как все это сочеталось с экономикой насильственного рынка и «преобразующей мир» теорией социальной революции.

Явное противоречие между непрестанной борьбой за торможение прогресса и провозглашаемыми целями всестороннего развития убеждает нас в том, что борьбой этой движет глубоко бессознательная, иррациональная система верований, надежд и предпочтений. Вера в то, что власть и общество неизменны, что они были созданы раз и навсегда в нулевой точке великой революции, ведет, естественно, к систематической подчистке истории. Реальные изменения, которые претерпело общество, отрицаются или же объясняются, подобно нэпу, временным отступлением от генеральной линии, которая всегда была одной и той же. В романе Оруэлла Министерство правды занято тем, что изменяет все экземпляры правительственной газеты «Таймс» за все годы выпуска в соответствии с каждым новым изменением политического курса. Когда Истазия из противника стала союзником, а Евразия, наоборот, противником, то газеты прошлых лет стали рассказывать, что всегда было так, как сейчас.

Режим чувствует себя полным хозяином самого времени, хранящего правительственную правду в соответствии с желаниями правительства. Время оказывается иллюзорным, тягучим, обратимым и циклическим, в нем все повторяется, все имеет свои прототипы. Хорошо то, что уже было. Сталин — это Ленин сегодня. Нынешняя «Память» является запоздалым пережитком этого средневекового отношения ко времени, столь отличающегося от динамичного и хорошо организованного, все меняющего, но не спешащего времени постиндустриального общества.

Прошлое в тоталитарном сознании имеет точное начало, отмеченное приходом к власти действующего режима. Будущее, наоборот, неопределенно и отложено в бесконечность. Благодаря отсрочке в будущее далекие цели и несбыточные планы совмещают идеалы общественного прогресса с окостенелой реальностью. Жизнь сегодня объявляется несущественной в сравнении со счастьем будущих поколений.

В 1983 году ленинградский социолог А. Н. Алексеев был исключен из партии за

то, что проводил среди рабочих опрос на тему «Ожидаете ли вы перемен?». Сам вопрос о переменах был недопустимым нарушением молчаливого соглашения между привыкшими друг к другу властью и обществом. Все существующее разумно; как было, так и будет; лучшая новость — отсутствие новостей... Именно такое отношение к переменам, времени, истории было у многих из нас. Даже естественное понимание того, что вожди-долгожители тоже смертны, не связывалось с возможностью изменений. Да и было ли оно, это понимание?

Вожди, видимо, старели, но их портреты не менялись. Фантастическая история Дориана Грея сотни раз осуществлялась в нашей действительности в перевернутом виде. Там портрет, старея, расплачивается за грехи неменяющегося человека; у нас же символ оказывается настолько важнее реальности, что совершается новое чудо и вечным, нестареющим оказывается символ. С Брежневым это не удалось — телевидение помешало; а Сталина люди десятилетиями воспринимали как человека одного и того же, 50-летнего возраста зрелости и мудрости.

Все, что мы знали о вождях, было направлено на то, чтобы внушить нам если не уверенность в их бессмертии, то максимально отсрочить в нашем сознании этот досадный источник нестабильности,— кажется, единственный, который не смогла преодолеть система. Евгения Гинзбург вспоминает, что, услышав по радио бюллетень о состоянии здоровья Сталина, она испытала странное чувство: у Него, оказывается, есть моча... Шок, охвативший тогда страну (сейчас демографы вполне серьезно говорят о том, что спад рождаемости в 1954 году, возможно, объясняется реакцией на смерть отца народов), связан с полной неожиданностью этой смерти после десятилетий правления, казавшегося вечным. В тоталитарном сознании неизменность мира может обеспечить только бессмертие вождя. Эта абсурдная вера лишь продолжает культ власти, доводя до логического предела идеи исключительности и всемогущества первого руководителя. Не исключено, что сами лидеры разделяли эти идеи, хотя никто не узнает о том, до какой степени они осознавали их. Не случайно, наверно, что мало кто из руководителей тоталитарного толка позаботился о преемнике.

Вера в неизменность мира влечет недоверие к переменам. Сейчас мы наблюдаем этот феномен и слева, и справа. Для одних реформы — это иллюзии, кажимость, косметика, а на самом деле все остается по-старому. Для других перемены — искривление все той же линии, и рано или поздно все опять пойдет как было. Психологи знают, что обыденное сознание вообще склонно переоценивать инвариантность и предсказуемость человеческих поступков, недооценивая в то же время влияние ситуации и внутреннюю способность к развитию. Подобные установки действуют и в политике. От человека, бывшего не более чем аппаратным работником и, вероятно, причастного к мерзостям старой власти, ждут повторения того же. Подобные ожидания, являющиеся прямым следствием веры в неизменный мир, повисают тяжелыми гирями на ногах тех, кто пытается изменить его, и могут стать оружием в руках их противников. Дурную службу сослужили они Н. С. Хрущеву, разоблачения которого поневоле ограничивались собственной его причастностью к террору.

Каждый человек имеет право на раскаяние, на изменение самых коренных своих установок, на развитие. Но отказывая в этом праве преступникам, общество тем более не может отказывать в нем политическим деятелям. Путь к социальным переменам лежит через освобождение от прошлого.

Вера в справедливый мир

Вселенная тоталитарной личности подобна яйцу и состоит из двух резко отличных друг от друга частей, вложенных одна в другую[1]. Во внешней царствует первичный хаос: дикость, агрессия, эксплуатация, безработица, стихия конкуренции и чистоган, нищета хороших людей и пороки денежных тузов. Внутренняя часть, наоборот, упорядочена и мудро организована. В ней был бы совсем идеальный порядок, если бы внешнее окружение не нарушало его своими постоянными, но всегда неожиданными вмешательствами. Имен у порядка много: корейские идеи чучхе и мудрость вождей, советская плановая экономика и социальная защищенность, немецкое превосходство расы и Ordnung über Alles.

Интегральным понятием для обозначения этого социального порядка является справедливость. Царство справедливости, бывшее предметом тысячелетних утопических мечтаний, осуществляется в каждом тоталитарном режиме. Коммунизма еще нет, построить его мешает окружение, но социальная справедливость уже достигнута. Справедливость — для всех! Правда, сразу находятся люди, которые по специальным причинам не достойны

[1] Читатель, знакомый со структуралистской мифологией К. Леви-Строса, увидит здесь ассоциацию с характерной для нее оппозицией природы и культуры и с мифом о мировом яйце. Вероятно, в тоталитарном сознании, действительно, всплывает архетипический материал, выполняющий в нем структурообразующую функцию. Более серьезная разработка этих аналогий могла бы составить предмет специальных исследований.

воспользоваться плодами всеобщей справедливости. Их выделяют в особую вакуоль, в которой действуют особые законы и особые совещания. Вакуоль разрастается, все больше подпирает границы самого желтка... Но нас интересуют те, кто живет в пространстве тотальной справедливости, между внешним окружением, где царствует хаос, и ядерной вакуолью, в которой правит закон концлагеря.

Озабоченность людей справедливостью по своей силе и всеобщности трудно сравнить с каким-нибудь другим человеческим мотивом. Как правило, массовое сознание, и не только в тоталитарных системах, рассуждает так: раз человека настигло несчастье, значит, он сам в нем виноват. Для обоснования этого убеждения могут отрицаться очевидные реальности. Вера в справедливый мир — так и назвал этот феномен канадский психолог М. Лернер.

Известно, что в годы фашизма многие немцы либо отрицали факты массовых убийств, либо же верили в то, что люди, которых посылали в лагеря смерти, этого заслуживали. Однако опросы, проводившиеся в те годы в США, показали, что и американцы в определенной степени придерживались сходных оценок, хотя и подвергались противоположной пропагандистской обработке. Так, преследования нацистами евреев породили в США не сочувствие к их жертвам, а определенный рост антисемитизма. Вероятно, подобной же причиной, наряду с другими факторами, объясняется вспышка государственного антисемитизма в СССР после уничтожения гитлеровского нацизма. Как сказал В. Тендряков, «давно замечено — победители подражают побежденному врагу».

Образ справедливого мира неизбежно централизован, он предполагает наличие высшей инстанции, которая осуществляет справедливость независимо от личной воли и усилий конкретных лиц. Идея «справедливости для всех» по логике вещей предполагает разделение общества на мудрых и всесильных субъектов этой справедливости, которым дано ее осуществлять, защищая своих подданных от первичной несправедливости окружающего мира, и рядовых граждан, на долю которых остается вера в идею. Так «справедливость для всех» оборачивается несправедливостью для большинства.

Искусство дает множество примеров того, как в желании достичь нереальной всеобщей справедливости осуществлялись акты конкретной личной несправедливости. В Ветхом Завете друзья Иова в своем желании доказать справедливость Господа были несправедливы к Иову. Сальери отравил Моцарта ради восстановления правды на земле «и выше». Точно такие же, только в сотни и миллионы раз более масштабные действия осуществляли диктатуры всех времен и народов. Как бы ни представляли себе будущее общество тотальной справедливости Робеспьер и Гитлер, Сталин и Пол Пот, для ее достижения все они одинаково считали себя вправе осуществлять «отдельные» ее нарушения. Сегодня даже массовое сознание начинает критически относиться к этому праву власти. «Революция, ты научила нас верить в несправедливость добра»,— поет рок-группа «ДДТ».

И действительно, вера в справедливость — поистине трагическая для человеческой истории особенность массового сознания. Не этой ли верой объясняется непостижимое отсутствие сочувствия к жертвам политических процессов и массовых репрессий 30—50-х годов, которое до сих пор не находит у историков более разумного объяснения, чем «сталинский гипноз»? Вера в доброго царя — политическая разновидность веры в справедливый мир — обостряется тогда, когда власть становится особенно жестокой, политика — непонятной, а жизнь опасной. Для того и завинчивают гайки, чтобы винтики не болтались, а твердо сидели на своих местах. Твердо и — добровольно.

Если моего отца или мою жену, друга или соседа, любимца партии или точно такого же мужика, работягу, студента, как и я сам — если их всех убрали из жизни несправедливо, если они ни в чем не виноваты, то ведь то же самое в любую минуту может случиться со мной! Нет, этого не может быть, они в чем-то виноваты, их наказали справедливо, а это значит, что меня не накажут, потому что я-то знаю, что ни в чем не виноват. Вера в доброго царя тем больше, чем больше страх перед его карающей дланью. Как писал Некрасов: «Люди холопского звания Сущие псы иногда. Чем тяжелей наказанье, Тем им милей господа». Дело здесь не только в страхе, но и в действительной невозможности или крайней трудности любого адекватного действия. Ведь несправедливость, происходящая на моих глазах, призывает вмешаться, помочь страдающему, бороться за справедливость. Восприятие несправедливости — один из важнейших стимулов социальной активности. И наоборот, вера в то, что все происходит правильно, законно, в соответствии с высшими и с моими собственными интересами, освобождает человека от личной ответственности — чувства, которое в условиях тоталитарной власти наказуемо более всех остальных.

Увы, непредсказуемая жестокость может быть надежным способом вызвать веру в справедливость власти. Складывается чудовищный круг, в котором жестокость власти вызывает доверие народа, а всеобщая вера в справедливость репрессий влечет еще большую их жестокость. Чтобы вырваться из него, раз в него попав, нужны необычные мудрость и мужество. Вспомним библейского Иова...

Надеяться на всеобщую справедливость Бога или власти куда проще, чем осознавать личную ответственность за собственную позицию, за то, что происходит в непосредственном окружении каждого из нас, за то многое или немногое, на что мы реально можем влиять. При этом дополнительные «затраты» на то, чтобы видеть жизнь как она есть, вовсе не должны окупаться. Думать, что более трудная жизнь человека, не разделяющего иллюзий большинства (например, веру в справедливость), в конце концов будет вознаграждена, что ему «воздастся сторицей» — значит подпасть под ту же самую ошибку, от которой он хотел бы быть свободен. Мужество и реализм имеют самостоятельную ценность, они не вознаграждаются и не нуждаются в вознаграждении.

Вера в чудесный мир

В наибольшей степени оторванность тоталитарного сознания от реальности проявляется в вере в чудесные свойства мира. Исчерпывающий образ мира, в котором чудеса сбываются наяву, нечто появляется из ничего, а причинно-следственные связи нарушаются, подчиняясь воле энтузиастов, дал А. Платонов в «Ювенильном море». Пастухи в пустыне, не имея даже гвоздей, строят ветряную электростанцию, которая разом решит все их проблемы. Ветряк строится с помощью чуда и должен творить чудеса. Только таким образом можно выполнить план по мясу и молоку, который настолько не связан с реальностью, что сам фактически является планом чудес. Планирование чудес было заурядной практикой сталинских пятилеток. Завышенные планы корректировались в сторону увеличения, и после провала констатировался успех. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью».

Осуществляя индустриализацию, власть была кровно заинтересована в создании культа техники. Чудесам прогресса придавались магические свойства, которые должны были разом оправдать вложенные в них более чем реальные затраты, превосходящие всякие разумные границы. Заурядные для XX века технические явления становились некими сакральными предметами, напрямую связанными с величайшими святынями культа власти. Лампочка Ильича, Беломорканал им. Сталина, самый большой в мире самолет «Максим Горький»... Нужные и ненужные завоевания технического прогресса несли в каждый дом веру во всемогущество власти и должны были восприниматься людьми именно в этом магическом качестве.

Конечно, индустриализация, внедрение невиданной техники при любой системе порождают психологические проблемы. Встречались в истории и страх, и недоверие, и агрессия. Где-то разрушали машины, где-то отказывались от них, видя в технике воплощение сил зла. Однако американский фермер находился в совершенно иных, чем советский колхозник, отношениях с машиной, даже если они оба в равной степени не понимали ее устройства. Фермер сам покупал и распоряжался ею, сам был потребителем произведенных с ее помощью благ. Он был хозяином, у него были свои цели, а машина была всего лишь средством. В таких условиях обожествление техники, а значит, и возлагание на нее неоправданных надежд было маловероятным чудачеством. Русскому же крестьянину предлагалось увидеть в тракторе возмещение всех понесенных им безмерных потерь, а сам он оказывался одушевленной деталью этого трактора. В этой ситуации ему ничего не оставалось делать, как либо сражаться с ним, либо поверить в него.

Однако кредит этой веры небесконечен. Вот уже трактора есть в каждом колхозе, а изобилия не видно. Власти приходится обещать новые чудеса. Электрификация, яровизация, химизация, мелиорация... В значительной части рациональные, вполне оправданные в иных условиях, дела эти неизменно превращались в свою противоположность, когда использовались в качестве средств легитимизации власти.

Власть стимулирует и эксплуатирует веру в чудесный мир, но вера эта существует и вне культа власти, и вне культа техники. Искренний утопизм Циолковского и Федорова, Хлебникова и Филонова, Чаянова и Вернадского стал памятником этой вере, лежащей в самой глубине революционной идеологии и вовсе не чуждой научному взгляду на мир. Фантасмагория Булгакова донесла до нас образ разложения этой мажорной веры. Всемогущество властной силы сопоставлено с беспомощностью реального человека, абсолютно отчужденного от современной ему социальной жизни и надеющегося лишь на вовсе абстрактное, никак не соотнесенное с реальностью чудо: «Рукописи не горят». Удивительное ощущение узнавания, которое пережили в конце шестидесятых годов читатели «Мастера и Маргариты», было связано не с бытовой стороной романа, а с сущностными характеристиками тоталитарной системы, где постоянно происходят чудеса столь страшные, что добра и справедливости можно ждать не от Бога, который, видимо, отвернулся от людей, но от дьявола.

Сами мы застали поздний этап пере-

рождения веры, когда уже и власть, и техника, и официальная культура не только потеряли свою чудотворную силу, но вообще перестали привлекать к себе внимание и надежды. Распад тоталитарного сознания, шедший в брежневскую эпоху, был отмечен необыкновенным расцветом иррациональных верований — йоги, кришнаизма, телекинеза и прочее. Ходили слухи об экстрасенсах, выполняющих функции Распутина при дряхлеющих диктаторах последнего поколения, и все мы верили этим слухам. Разрушение монотеистического культа власти при сохранении инфантильной потребности в чудесах привело к появлению множества самых замысловатых суеверий и легковерий. Охота на масонов представляет собой воспалившийся рудимент этой мифологии.

В своеобразной мистической форме описывалась и роль партии в жизни общества. Постоянное противопоставление ошибок и преступлений руководителей некоей имманентной правоте, присущей линии партии, превращает саму партию из политической организации в магическую силу. Она вездесуща, как божество, анонимна, таинственна и всесильна. Ее вмешательство должно автоматически решать все проблемы. «Советские люди знают: там, где партия, там успех, там победа!»

Но у веры в чудесный мир есть и более тонкие проявления, отнюдь еще не преодоленные. Во многих культурах древности огромное значение придавалось самому имени божества. Некоторые народы верили, что произнесение имени нечистой силы дает власть над ней. Другие, наоборот, считали, что безопасность гарантируется умолчанием, неназыванием определенных имен и слов. За всем этим стоит представление о том, что слово само по себе может изменить реальность. Как это ни удивительно, с чем-то подобным мы то и дело встречаемся в обыденной жизни. Замалчивание одних сюжетов и навязчивое повторение других отражало примитивную веру тех, кто ведал пропагандой, что частота употребления определенных слов влияет на граждан более, чем все остальное, что они знают и видят. Достаточно молчать об Афганистане, и война станет как бы несуществующей. Пожалуй, и некоторые иллюзии всем нам дорогой гласности имеют сходный источник. Рассказать о дурном так же недостаточно для того, чтобы изменить его, как недостаточно молчать о нем для того, чтобы его не стало. Переход от слов к делу требует не магии, а работы.

Вера, надежда, любовь

Вера определяет картину мира — то, каким воспринимается общество, человек, вселенная. Но когда эмпирический мир все же оказывается иным, когда искажать его в соответствии с верой становится уже невозможным, в дело включаются иные механизмы. Вера тоталитарного сознания дополняется и надеждой, и любовью. Если в определенной ситуации мир является человеку пугающе сложным, непонятно меняющимся, несправедливым, не производящим нужных чудес — остается надежда на то, что все это лишь временное и случайное отступление от подлинной сущности бытия. Такая надежда, по известным механизмам избирательного восприятия и субъективного оценивания, осуществляет саму себя. Очевидная несправедливость, допущенная по отношению ко мне или к моим родным, может быть понята как не более чем случайная ошибка, досадное недоразумение, не портящее общей картины. С другой стороны, вере и надежде сопутствует любовь — высокая и пристрастная оценка именно тех вариантов бытия (то есть форм человеческого поведения, общественных институтов, художественных произведений и всего остального вплоть до явлений природы), которые соответствуют первичным верованиям. Простое предпочитается сложному, старое — новому, чудесное — обыденному. В результате действия этих усиливающих друг друга социально-психологических механизмов верования тоталитарного сознания не просто искажают реальность, они преобразуют ее. Считая, что мир должен быть именно таким, каким он видится — простым, справедливым, неизменным и чудесным — и никаким иным, носители тоталитарного сознания подгоняют реальность под свои представления. Система дает для этого массу возможностей.

Легче всего реализуется любовь к простоте. Мир — теперь уже реальный мир, а не представления о нем — катастрофически упрощается. Города, строящиеся по единому плану, похожи друг на друга. Национальное своеобразие подавляется. Сельское хозяйство регионов становится монокультурным.

Осуществить тотальную справедливость разумным управлением обычно не удается. Тут, чтобы подогнать реальность под нормативные представления о ней, власть идет на прямое насилие. Несправедливы увечья и нищета тех, кто стал инвалидом, защищая Родину,— Сталин убирает их с глаз долой в специальные резервации. Несправедливы привилегии начальства в разоренной войной стране — дачи обносятся заборами, само упоминание о пайках и распределителях становится преступлением. В результате таких хирургических операций факты несправедливости в сознание не попадают и эмпирическая реальность в самом деле кажется более справедливой. Сейчас видно, насколько глубоко укоренились подобные

представления. Многие люди даже сообщения о стихийных бедствиях воспринимают как доказательство разрушения царства справедливости, когда поезда с рельс не сходили, а землетрясения и тайфуны обращали свою разрушительную силу исключительно против наших классовых врагов.

Мы уже говорили о том, что вся практика тоталитаризма направлена на превращение динамичного и меняющегося мира в неизменный, застывший. Приходится признать, что в известных пределах это удается — жизнь не меняется, кошмар вечен. Символично, что на бутафорской железнодорожной станции, сооруженной гитлеровцами на въезде в Треблинку, висели бутафорские часы. Нарисованные стрелки всегда показывали одно время — время в Треблинке остановилось!

Однако никакая власть не может отменить законы природы, сделать мир чудесным. Представление о волшебстве мира и о главном волшебнике — власти разрушается при столкновении с действительностью. Чудо есть нарушение законов сохранения, из ничего делается нечто. На какое-то время чудо можно заменить фокусом. Сталин обещал выиграть войну «малой кровью, могучим ударом», то есть чудом. Обман не может быть долговременным — цифры потерь в войне, несмотря на их засекречивание и преуменьшение генералиссимусом, в конце концов обнаруживаются. Чуда не было, была некомпетентность, трагедия, был и есть мир, законы которого сильнее воли любого сверхчеловека.

Конечно, чем более замкнут мир тоталитарного режима, тем дольше можно морочить людям голову. Главное — лишить их возможности проверить то, что им говорит вождь,— соотнести это с реальностью. Там, где есть тайна, возможно чудо. Делая тайну из всего, власть делает чудо возможным всюду. Рудименты этого порядка сегодня, к сожалению, встречаются на каждом шагу. На соках, например, пишут не тот состав витаминов, которые в них есть, а тот, который должен быть в соответствии с инструкциями, едиными для всех заводов всей страны. Это не только обман — лабораторные анализы вообще не делаются, их считают ненужными. Точно так же воспроизводятся без всякой связи с реальностью установленные когда-то курсы валют, которым должно, видимо, верить население. Но оно не верит. Главным врагом тоталитарной власти являются не агрессоры, заговорщики и диссиденты, а сама природа. Природа вещей и природа людей.

Тоталитарная личность

И все же власть меняет и природу, и людей. Избирательные репрессии, подбор и расстановка кадров, воспитание народа ведут к тому, что новая политическая система создает новый психологический тип, который становится доминирующим в обществе [1]. Ключевые посты в партии, в управлении страной, в армии, в органах информации, в школах занимают люди, более всего соответствующие практике тоталитаризма, поддерживающие ее и готовые ее осуществить. Кадровая политика диктатуры способна в исторически короткий период времени сменить людей, стоящих на многочисленных уровнях власти, и привести их типаж в соответствие с идеологией, а в еще большей степени — с практикой руководства в новых условиях. Одновременно наблюдается и обратное влияние — люди, сформированные властью, требуют от властной элиты соответствия тоталитарному канону. В условиях стабильности это влияние вряд ли существенно, но в период социальных изменений, особенно реформы сверху, это консервативное давление может оказаться мощным фактором торможения.

Любовь к власти, столь характерная для тоталитарного сознания, не есть властолюбие. Вообще-то люди, естественно, стремятся к тому, что является для них ценным. Но если бы кадры режима стремились к власти, они извели бы друг друга в конкурентной борьбе. Это характерно для смутных времен начала и конца режима, но не для ясного дня его расцвета. Тут лидер — вне конкуренции. Тоталитарная личность при всей привлекательности, которую имеет для нее власть, к ней не стремится. Режим подбирает и воспитывает такие кадры, которые совмещают страстную любовь к власти с полным отсутствием собственного стремления к ней. Культ власти включает в себя глубокое убеждение подданных, что власть настолько сложная, ответственная и прекрасная вещь, что справиться с ней может только человек необыкновенных, нечеловеческих способностей. Если власть представляет собой сверхценность, то обладать ею достоин только сверхчело-

[1] Вскоре после крушения нацизма группа психологов и социологов, собравшихся вокруг Т. Адорно, ставшая известной под названием франкфуртской школы, ввела в науку понятие авторитарной личности. Характерными для этого типа личности признавались преклонение перед властью, отсутствие сомнений в ее правоте, привычка и любовь к подчинению вышестоящим наряду с жестокостью и нетерпимостью к нижестоящим. В свете того, что мы знаем теперь о тоталитарных режимах Запада и Востока, идеи франкфуртской школы представляются недостаточными. Существующее в политологии различение авторитарной и тоталитарной власти дает возможность более полного понимания психологического, то есть, в конечном счете, кадрового обеспечения режима.

век. Простые же люди, то есть все члены общества, кроме вождя, обязаны отказаться от всяких притязаний и мечтаний о власти. Любые проявления такого рода рассматриваются как карьеризм и амбиции. Они подлежат наказанию и являются безусловным противопоказанием к тому, чтобы проявивший их человек был бы повышен по службе. Преступлением Троцкого были именно притязания на власть, и до сих пор властолюбие ставится ему в вину, хотя, казалось бы, в нормальной политической системе нет ничего естественнее этого для деятеля такого масштаба.

В начале нашего столетия один из первых реформаторов психоанализа А. Адлер признал влечение к власти основной движущей силой человеческого поведения. У тоталитарной личности стремление к власти вытесняется в бессознательное. Тем сильнее ее восторг и вера в божественность тех, кто обладает властью. В этом коренное психологическое отличие тоталитарного режима от других типов власти. Любая политическая система, озабоченная своей эффективностью, позволяет человеку открыто выразить свое стремление к власти и поощряет конкуренцию за нее, основанную на сравнении деловых качеств претендентов. В противоположность этому для кадровой политики тоталитарного режима главным достоинством человека оказывается скромность. Скромность была великолепным штрихом в канонических образах Сталина и Брежнева, она почти неизменно фигурировала в восхвалениях и некрологах больших и малых вождей, путь и образ жизни которых были, конечно, более всего далеки именно от скромности. Культ власти оказывается и культом скромности.

Скромностью, по-видимому, называется поведение, создающее у вышестоящего начальника уверенность в том, что нижестоящий не хочет занять его место. Не просто притворяется, а искренне не хочет, считает себя недостойным. Человеку трудно притворяться, тем более, что начальник не глупее подчиненного, сам был на его месте и имеет богатую информацию о его поведении. Поэтому при прочих равных условиях преимущество получает тот, кто действительно или, по крайней мере, на уровне своего самосознания не желает повышения по службе. У многих, наверно, есть знакомые, сделавшие бесподобную карьеру тем, что упрямо отказывались от каждого предложенного им места; их приходилось уговаривать, слухи об их отказе неизменно распространялись (конечно же, ими самими), в конце концов они соглашались, и этот сценарий, видимо, так нравился начальству, видевшему в них безопасных конкурентов, что очень скоро он повторялся снова уже на более высоком уровне, и скромные люди, пододвинув прежнее начальство, уже отказывались от еще более высоких кресел.

Министерство любви

Любовь к вождю представляется нам наиболее последовательным воплощением тех искажений картины мира, которыми живет тоталитарная личность. Чары еще живы. Немалое число наших современников, несмотря на все разоблачения, продолжают испытывать по отношению к Сталину чувство поклонения и любви. А еще важнее то, что есть люди, равнодушно относящиеся к личности генералиссимуса, но готовые отдать свою преданность новому тирану, под каким бы обличьем он ни появился. Это не просто мечта о сильной власти, это мечта о любви к ней.

Конечно, искать рациональные объяснения любви одного человека к другому бессмысленно, вопрос: «За что ты ее или его любишь?» не имеет ответа. Однако в межличностных отношениях крайне редко встречаются случаи, когда страстную и устойчивую любовь вызывает тот, кто постоянно унижает, грабит, избивает и эксплуатирует тебя. Такого рода случаи скорее относятся к компетенции психиатрии. Любовь же народа к диктатору — явление слишком распространенное, чтобы просто отмахнуться от него, отнеся к «таинственным явлениям человеческой психики» вроде гипноза или массового психоза.

Любовь является исключительно важным механизмом установления и поддержки тирании. Вождя не просто боятся, не просто признают его власть разумной и целесообразной, его любят, боготворят. Если насилие предстает в качестве необходимого условия утверждения диктатуры, то любовь составляет основу ее стабильности. Власть основывается уже не только на развитой системе слежки и подавления, не только на усилиях идеологов. Граждане, несущие на себе весь груз последствий некомпетентной (а в отсутствие обратных связей она неизбежно становится таковой) и жестокой политики диктатора, сами и охраняют его и всю его систему от малейших проявлений недовольства и, тем более, от враждебных действий. Охраняют, фактически, от самих себя. Обеспечив себе любовь народа, вождь получает индульгенцию на любые преступления и ошибки, априорную благодарность за все, что бы он ни совершил. Иными словами, он получает абсолютную власть. Гнев народа может обратиться на внутренних или внешних врагов, на бояр или чиновников, но никогда — на его священную особу. Ему не грозит восстание, ему грозит только дворцовый переворот.

Понимая, что любовь — основа их

власти, диктаторы заботятся об отношении к себе больше, чем об экономике, жизненном уровне населения и даже обороноспособности вместе взятых. Здесь и старательное формирование соответствующего образа — от сусальных рассказов о юношеских годах кровавого палача и его портретов с ребенком на руках до эпических полотен, повествующих о его неустрашимости, гениальности, прозорливости. Здесь и прямые требования любви. Вспомним, что гитлеровские юристы объявили любовь к фюреру юридической категорией. Нелюбовь к нему стала преступлением.

Гигантский аппарат, созданный Сталиным, как к делу государственной важности относился к уничтожению тех, кто, не планируя никаких действий или не имея возможности их совершать, мог просто не любить вождя и созданное им государство. Об этом говорят многочисленные случаи репрессий не только за анекдоты и критические высказывания, но даже и за описки и оговорки типа «Сталингад». Возможно, в этом и впрямь независимо от воли субъекта прорывалось его подлинное, не всегда даже осознанное отношение к окружающему. Объектом «работы» органов, таким образом, было не поведение — с ним в большинстве случаев все было в порядке,— а именно чувства людей, о которых они судили с изощренностью доморощенных психоаналитиков. Собственно, и преступлением жен и детей «врагов народа» было то, что у них были основания не любить лучшего друга всех на свете.

Любовь народа дает власти куда большую уверенность, чем бронированные автомобили и неразвитость политических структур, лишающая людей возможности вмешаться в диалог диктатора с историей. Лившийся на Брежнева поток наград, развлекавший нас в 70-е годы, был, может быть, не только данью его тщеславию, но и наивной и смешной попыткой убедить его и всех нас в том, какой он великий человек, «уговорить» полюбить его. То же требование любви находим мы и на нижних этажах социальной иерархии. Любви добиваются и, главное, карают за нелюбовь декан и бригадир, учитель и зав. булочной — каждый, имеющий власть над людьми.

Любовь, согласие и насилие

Полного успеха в манипуляции сознанием, а значит и всеобщей любви к диктатору, власть добивается далеко не всегда. Люди живут не в инкубаторах, совсем прекратить контакты человека с миром не удается, а значит и веры тоталитарного сознания, в большинстве случаев, не абсолютны. Характерно, что люди физического труда, непосредственно сталкивающиеся с непреложными законами природы, в целом более устойчивы по отношению к тоталитарной демагогии, чем многие интеллигенты, умудрившиеся прожить в мире текстов и без особого стыда говорящие о своей прошлой вере в вождя. Крестьянин поверит в таинственных вредителей на заводах или в правительстве, в хаос, царящий за пределами священных рубежей, но он никогда не согласится с тем, что урожай может удвоиться благодаря мудрым указаниям сверху. Чем больше реальности, тем меньше любви к вождю.

Но и только на силе режим стоять не может,— во всяком случае, не может стоять долго. Недаром Наполеон говорил, что штыки хороши всем, кроме одного — на них нельзя сидеть. Даже оккупационные режимы стремятся создать структуры власти, включающие частичное самоуправление, чтобы хоть немного сузить зону применения прямого насилия. Примером может служить послевоенная ситуация в странах Восточной Европы.

Аппарат насилия может быть задействован в любой момент. Но власть всегда заинтересована в том, чтобы люди не сопротивлялись. Хлебные поставки начала тридцатых годов, разорившие крестьян не меньше продразверстки, осуществлялись в большинстве случаев без использования войск. Любое сопротивление есть сбой механизма функционирования тоталитарной системы. Даже «работа» Треблинки и других лагерей смерти была организована таким образом, чтобы максимально оттянуть момент понимания — люди осознавали, что их ведут на смерть, лишь непосредственно перед дверьми газовых камер. При малейшем сопротивлении, нарушении ритма конвейер уничтожения захлебнулся бы в потоке обреченных. Одного насилия не хватало — оно сочеталось с обманом.

Если цели власти не сводятся к уничтожению, ей необходимо строить и другие механизмы, кроме насилия. В основе государственной власти, мечтал еще Руссо, должно лежать согласие граждан на то, чтобы ими управляли определенным образом. Но для такого согласия нужны аргументы, а аргументы — дело рискованное. Их можно подвергнуть сомнению, оспорить, даже отвергнуть. Тоталитарная власть никогда не вдается в обсуждение своих действий. И все же один довод в ее пользу на всякий случай есть всегда — опасная ситуация, грозящая самому существованию народа и общества: либо внешняя угроза, реальная, вымышленная или спровоцированная; либо тяжесть стоящих перед страной экономических и социальных проблем; либо, наконец, отсталость, неразвитость населения. Все это, с точки зрения сторонника диктатуры, требует бдительности, единства, резких рывков в развитии и безусловного дове-

рия к власти. Нарушения прав человека рассматриваются как неизбежная, соразмерная и чуть ли не справедливая плата за безопасность и прогресс.

Зона согласия распространяется не столько на методы, сколько на провозглашенные властью цели. Для многих жертв тоталитарных режимов цели эти стояли столь высоко, что они готовы были простить власти использование любых средств для их достижения, в том числе и насилие над собой. Такое выделение чего-то одного как сверхценного и объявление всего остального несущественным является одной из форм упрощения мира, характерных для тоталитарного сознания. Выстраивается иерархия ценностей, в которой все, даже и собственная жизнь, стоит ничтожно мало в сравнении с чем-то вроде родового тотема, которым распоряжается власть. Это блестяще описал Артур Кестлер, герой которого, не испытывая никаких теплых чувств по отношению к своим палачам, понимает их, одобряет их действия и, в конечном счете, становится соучастником собственного убийства. Сегодняшние утверждения об объективной необходимости сталинского геноцида для достижения высших целей являются не только оправданием прошлых преступлений, но и идеологическим обоснованием преступлений будущих. Откровенный бред фашиствующих поклонников твердой руки не столь опасен, как эти вполне интеллигентные рассуждения.

Конечно, абсолютно ложные идеи встречаются так же редко, как абсолютно истинные. За рассуждениями идеологов тоталитаризма есть и определенная правота. Даже пацифистски настроенные люди согласны с тем, что уж если армия существует, она должна быть построена по принципу единоначалия. Но польза тоталитарного управления весьма относительна. Боеспособность нашей армии нисколько не пострадала бы, если бы солдаты имели право ходить в увольнительную в гражданской одежде, их тумбочки и личные вещи не подвергались бы регулярному досмотру, а казармы, в которых каждое движение на виду у всех, превратились бы в общежития с отдельными комнатами.

Любая власть, даже основанная на откровенном насилии, стремится легитимизировать себя, убеждая народ в собственной необходимости и оправданности тех жертв, на которые ему приходится идти. Теория обострения классовой борьбы по мере приближения к социализму представляет собой характерную попытку такого самооправдания.

Идеологи тоталитарных режимов потратили массу сил на то, чтобы в каждом конкретном случае доказать, что ситуация является чрезвычайной. Правда, их противники считали и считают, что сами эти чрезвычайные обстоятельства создаются властью в ее собственных интересах. Но и те, и другие согласны, что чрезвычайные ситуации, коль скоро они возникли, требуют чрезвычайных мер. А чрезвычайные меры — это и есть тотальная власть над человеком. Следовательно, есть обстоятельства, в которых тоталитарный режим более эффективен, чем демократический.

Мы считаем, что это представление есть один из тех мифов, которые в изобилии создает тоталитарная система в поисках самооправдания и устрашения. Миф этот нередко разделяют и те, кто стоит вне этой системы и являются ее противниками. По-видимому, вера в эффективность тоталитаризма и страх перед ним объясняет, почему Чемберлен и Даладье, несмотря на имевшиеся в их распоряжении разведданные и донесения послов, поверили гитлеровской пропаганде и катастрофически переоценили военную мощь Германии. Это, как известно, привело к Мюнхенским соглашениям — одной из многих позорных уступок демократии тоталитаризму.

Если авторитарный способ управления, то есть принятие решений без обсуждения с подчиненными, в определенных обстоятельствах является эффективным и потому оправданным, то тоталитарная власть, стремящаяся к полному контролю над всеми сферами человеческой жизни, прагматических обоснований не имеет. Доказательством является судьба тоталитарных режимов во всех частях света, будь то СССР или КНР, или, к примеру, Германия. Чрезвычайные ситуации приходили и уходили, а итогом во всех случаях были упадок культуры, развал экономики и разочарование народа. Последнее представляет самую большую опасность для тоталитарной системы: режим, по видимости игнорирующий чувства и мнения своих подданных, на самом деле более всего опирается не на танки и идеологию, а на любовь и согласие народа.

Правда, бывает, что те, кто захватили власть, удерживают ее оружием и устрашением и являются носителями чуждой населению идеологии и культуры, не стесняются признавать, что их власть навязана народу и держится на силе. Достаточно вспомнить рассуждения Сталина о партии как об ордене меченосцев. Положение вульгарного марксизма, согласно которому всякое государство есть аппарат насилия (а не координации, влияния, согласования интересов и прочее), тоже хорошо поработало на оправдание тоталитарных режимов.

Но признание насилия насилием имеет совершенно иной смысл для его жертв. Вспомним прекрасную фантазию Набокова о том, как рассыпается тоталитарный

мир от того, что один несчастный человек увидел его таким, каков он есть — увидел палача палачом, топор топором и себя — бессмысленной жертвой. Это, к сожалению, лишь мечта; тоталитарное общество пережило поколения несогласных.

Осознание насилия по отношению к себе есть единственно верная картина социальной реальности. Тоталитарная власть день за днем и час за часом творит насилие над человеком. Даже если ты не подвергся аресту или пыткам, твое поведение определяется постоянной их угрозой. Ты никогда не был за границей не потому, что не хотел, а потому, что не пускали. Ты не читал еретических книг потому, что они были недоступны, ты не менял специальность потому, что это было невозможно, и, быть может, не развелся потому, что это отразилось бы на карьере. Ты почти ничего не делал в жизни по своему выбору. Признать то, что ты подчиняешься власти исключительно по физической необходимости,— значит сделать первый и очень трудный шаг на пути к сохранению моральных ценностей, к гражданскому достоинству, а может быть, и к активной борьбе с режимом. Но это означает также потерю спокойствия и счастливого чувства растворения себя среди других таких же как ты. Расплата за реализм, за отказ от тоталитарных верований тяжела: это одиночество, страх и, очень возможно, прямая встреча с насилием. Реалистическое восприятие власти как источника насилия — самый трудный выбор для подданного. Чтобы перерасти и взломать внутренний панцирь тоталитарной личности, нужны мужество и интеллект, доступные немногим.

От тоталитаризма к...

В тоталитарном сознании проблемы «власть и общество» не существует. Инфантильное сознание не различает субъект и объект: полугодовалый ребенок, укусив сам себя, не понимает, отчего ему больно, плачет и продолжает кусать дальше. Подобно этому, власть и народ едины не потому, что они договорились, в конкретном вопросе решив, что их интересы совпадают; в тоталитарном сознании власть и народ едины потому, что они вообще неразличимы, мыслятся как одно нерасчлененное целое, и сам вопрос об их отношениях не возникает. Актуальны иные проблемы: власть и народ против внешнего окружения, власть и народ против внутренних врагов... Но тоталитарное сознание верит в абсолютное единство общества, и оно осуществляет эту веру на деле, убивая или объявляя нелюдьми всех, кто не согласен с властью или хотя бы может быть не согласен. Тоталитарное сознание парадоксально, и при абсолютной отстраненности людей от власти оно поддерживает искреннюю их веру в то, что вождь в каждом своем действии выражает их интересы, который чувствует глубже и мудрее, чем могут они сами. Подобное *слияние с властью* — первый тип отношений власти и общества. Народ не безмолвствует, как в феодальных государствах прошлого,— нет, народ поет, кричит «ура» и рукоплещет казням.

Общество функционирует по принципу «запрещено все, кроме того, что приказано», но принцип этот мешает жить лишь врагам народа, только они хотят чего-то запрещенного и неприказанного. Тоталитарная личность с ее энтузиазмом и скромностью этого не хочет: не ограничивает свои желания, а действительно, искренне не хочет. Все ее отношения с миром развертываются по вертикальной лестнице, восходящей от любого находящегося на свободе члена общества к самому вождю. Соответственно, тоталитарная власть вмешивается и разрушает почти все горизонтальные формы общения людей. Профсоюзы рассматриваются как ненужные и — при власти рабочих! — теряют всякое значение. Выборы депутатов еще при Ленине стали проводиться не по территориальному, а по производственному принципу. Вторжение в семью, религию, культуру не знает границ. В обстановке тревоги и слежки любые объединения по интересам, имеющим сколько-нибудь существенное социальное значение, быстро приобретают вид подпольной организации, вроде описанного в «Белых одеждах» «кубла» генетиков, и в конце концов их члены оказываются за решеткой.

В XX веке не раз создавались ситуации, в которых политическое поведение власти и политическое сознание общества оказывались резко не соответствующими друг другу. Режим действует прежними тоталитарными методами, не замечая, что его рычаги сгнили и общество живет по иным законам. Бескровные революции, которые произошли в Португалии и Испании, отмечают именно такую ситуацию, по-своему развивающуюся сейчас и в Южной Корее, Бирме, Пакистане, Чили... Но «революции гвоздик» предшествовали десятилетия драматического разложения власти. Тоталитарная власть неизбежно входит в противоречие с природой вещей, и рано или поздно — обычно после смерти харизматического лидера — это становится очевидным даже для правящей элиты.

Перед режимами открываются два пути: распад и преобразование. Нам повезло, мы застали и то, и другое. Брежневская эпоха была временем распада, когда лидеры немощными руками цеплялись за последние символы культа власти, а народ смеялся над тем, что для него стало не более чем побрякушками. Но ни власть, ни общество не предлагали политической

альтернативы. Отдельные выступления несогласных при всем их значении не меняли общее представление о том, что имеющаяся власть, при всей ее нелепости, пребудет такой вечно. Ресурсы страны представлялись неисчерпаемыми и, казалось бы, могли бесконечно оплачивать все то, во что бездарная власть обходилась стране.

Власть по-прежнему видела себя тоталитарной, но в разных слоях общества зрели анклавы иных форм политического сознания. Разрушались основы тоталитарной механики, народ и власть больше не были монолитом, а распадались на большие и малые группы, живущие внутренними интересами. Одни пытались игнорировать власть, как интеллигенция. Другие — надо сказать, более успешно — старались освоить и подчинить власть, как деятели теневой экономики.

В последние годы режима Франко в Испании говорили, что положение в стране, как на дороге, когда полиция установила ограничение скорости, но не штрафует за его превышение. Граждане спокойно и привычно нарушают правила. Таким образом все виноваты и в любой момент могут быть наказаны.

Такой способ трансформации режима быстро демонстрирует свою неэффективность. Чувствуя слабость власти, активизируются различные антисоциальные группы, возникает мафия, теневая экономика и так далее. Противоречие между законом, по которому «ничего нельзя», и повседневной практикой, убеждающей, что «все дозволено», провоцирует на проверку реальных границ запретов. Это периодически толкает власть на защиту своего престижа, демонстрацию силы — в сознании власти она еще остается тоталитарной, противодействие ей — оскорбление. Так среди всеобщего послабления возникают призраки суровых времен.

Теряя последние рычаги, власть огрызается непоследовательными, бессмысленными, жестокими мерами, какими были процессы над диссидентами и хозяйственными «преступниками», бросающие сегодня специфический свет на все послесталинские десятилетия. При всем том, что различало, скажем, Иосифа Бродского и Ивана Худенко, оба они, как и тысячи других пострадавших, пытались просто заниматься своим делом, выделить узкую область компетенции, в которой могли бы реализовать себя помимо власти. Курчатову, Королеву, Туполеву это удалось, тут государство признало полезность их профессиональной независимости и пошло на локальные отступления от тоталитарной идеи. Всем тем, кто не претендовал, что его талант даст власти победу в будущей войне, нечего было рассчитывать на признание своего профессионального достоинства.

...к авторитарной власти...

И все же политические процессы уже не смогли помешать личной популярности диссидентов, так же как сусловский контроль над идеологией не смог помешать распространению самиздата и второй культуры. Распоряжения властей систематически не выполнялись, все более широкие области жизни уходили из-под контроля, приказы приходилось повторять, как заклинания, а чудеса все не приходили. Власть теряет магическую силу, за рубежом и у молчаливого большинства внутри страны формируется вполне адекватное представление о реальностях жизни и власти. С уходом прежних верований меняются идеалы политического поведения. Тоталитарная личность с ее энтузиазмом и скромностью уходит в легендарное прошлое. Карьеру делают циничные и безразличные к делу люди, пробивающие свой путь взятками и анонимками. Игра в личную верность начальству сочетается со сложными интригами за его спиной. Защищаясь от нелепости жизни, люди уходят в разные формы «социальной самообороны»: в замкнутую, изолированную от общества семью (мой дом — моя крепость); в хобби и появляющиеся «клубы по интересам», в мафиозные уголовно-экономические структуры, в церковь, в национальные движения. Власть, еще недавно бывшая всемогущей и всепроникающей, сталкивается со своей беспомощностью перед всем тем, что она клеймит как мещанство, местничество, ведомственность, национализм и что на деле является уродливо деформированным, но совершенно естественным процессом самоорганизации общества. Сохраняются, однако, и мощные зоны тоталитарного режима. В армии и партаппарате, школах и тюрьмах поддерживается атмосфера подчинения и единомыслия.

Все это можно описать как процесс постепенного разложения тоталитарной власти и вытеснения его иным типом власти — авторитарным. Нам представляется продуктивным предложенное А. Миграняном разделение авторитарных и тоталитарных систем. Авторитарная система, обеспечивая любым путем, в том числе и прямым насилием, политическую власть и не допуская в сфере политики никакой конкуренции, не вмешивается в те области жизни, которые не связаны с политикой непосредственно. Относительно независимыми могут оставаться экономика, культура, отношения между близкими людьми. Личная независимость в известных пределах не рассматривается как вызов существующей системе правления. Поэтому в авторитарных системах люди в принципе имеют возможность выбирать между различными центрами влияния или конкурирующими друг с другом мафиями. В тоталитарной системе мафии невозможны; или, точнее, вся она представляет из себя одну огромную, победившую конкурентов мафию.

Авторитарное общество в своем доведенном до логического конца варианте построено на принципе «Разрешено все, кроме политики». Власть отказывается от несбыточных претензий на полный контроль и выделяет лишь несколько зон, в которых оставляет управление за собой: это собственная безопасность, оборона, внешняя политика, социальное обеспечение, стратегия развития и прочее. Экономика, культура, религия, частная жизнь остаются без отеческого внимания. Такая организация власти в наиболее чистом виде существует в Южной Корее, Таиланде, Чили, постепенно она устанавливается в Китае. Авторитарные режимы оказываются устойчивыми, им удается сочетать экономическое процветание с политической стабильностью, и на определенном этапе общественного развития сочетание сильной власти со свободной экономикой является наилучшим из возможных.

Отдавая богу богово, а кесарю требуя лишь кесарево, авторитарная власть способна удовлетворить все потребности граждан, кроме одной, но зато ее удовлетворить эта власть не может в принципе. Это — потребность в политике. Она существует у многих, но у сильной власти есть хорошие шансы в борьбе с теми, для кого политическое участие выше личного благополучия. Рецепт давно известен. Булгаковский Понтий Пилат допрашивает Иешуа: занимался ли он политикой, упоминал ли имя великого кесаря, называл ли себя царем иудейским. Если нет — пусть делает что хочет, пусть проповедует что угодно. Прокуратора интересует только политика. Религия и мораль — вопросы не его, а специалистов-жрецов, которые не властны лишить человека жизни и свободы. Для Пилата достаточно, чтобы Иешуа отрицал свою причастность к вопросам власти: политическое участие — дело субъективное. Но раз преступник говорит, что власть кесаря не вечна, приходится умыть руки. Решение Пилата — образец авторитарного управления. Далеко не худший способ применения власти в сравнении с современной Булгакову практикой.

В нашей стране переход от тоталитарного к авторитарному режиму правления постепенно происходил — а кое в чем еще происходит — в течение всех десятилетий после 1953 года, но символом этих изменений стал приход к власти Ю. В. Андропова. Как специалист, он вряд ли заблуждался в истинном отношении народа к власти. Любви нет, и не стоит ее добиваться — достаточно требовать послушания. Тональность идеологии стала меняться. Политическим идеалом власти стал профессионализм. Каждый должен заниматься своим делом. Честное и точное выполнение должностных инструкций лучше всякого энтузиазма поможет подъему страны. Специалисты нужны и в управлении страной, и в писании картин, и в науке, и в разведке. Все наши беды от некомпетентности, коррупции и безделья.

Само по себе признание ценностей профессионализма было шагом вперед по сравнению с орденоносной бездарностью прежнего руководства. Это было понято и с надеждой принято обществом. Хорошая работа стимулировалась, однако, мерами, которые диктовались профессионализмом в области репрессий и полным дилетантизмом в политике. Массовые проверки того, кто чем занимается в рабочее время, стали образцом активной некомпетентности власти.

Авторитарное общество порождает глубокую пропасть между народом и властью, причем любых возможных мостов через эту пропасть чуть ли не в равной мере избегают и государство, и общество. Важнейшим феноменом авторитарного сознания является массовое отчуждение от власти. Для тоталитарного сознания отчуждение не характерно — люди сливаются с властью и идентифицируются с лидерами либо становятся нелюдьми. Вместе с отчуждением авторитарный режим порождает характерные чувства недоверия, тревоги, апатии и даже отвращения к действиям власти. Всякие, даже разумные решения вызывают скепсис и горькую усмешку. Отчуждение от политики связано с подавлением некоторых основных человеческих потребностей и, как таковое, обязательно ведет к компенсаторным действиям. Алкоголизм, ставший образом жизни миллионов, был, как нам представляется, одним из побочных следствий отчуждения от политики.

Авторитарный режим формирует новую интеллигенцию, которая уже не боится заниматься своим делом, но больше всего на свете не любит политику. Политика — грязное дело. Как говорил герой Чехова, порядочные люди в политику не суются. Как писал Мандельштам, «власть отвратительна, как руки брадобрея». Одни интеллигенты, продолжающие сотрудничать с властью, практиковали разлагающее их двоемыслие: лицемерие на собраниях было платой за возможность заниматься своим делом. Другие, имевшие мужество отказаться от сотрудничества, работали дворниками или шоферами и реализовали себя в неофициальных социальных структурах — невидимых колледжах, артистических кафетериях, самиздатовских журналах второй культуры. Всех их объединяло глубо-

кое неприятие политики. Даже диссиденты разделяли это общее чувство. Сергей Королев, проведший 12 лет в лагере и ссылке за редактирование «Хроники текущих событий», важнейшего политического органа эпохи, говорит: «Лично мне и некоторым из хорошо мне известных правозащитников свойственно неистребимое интуитивное отвращение к политике». Лариса Богораз, вышедшая в 1968 году на Красную площадь с протестом против вторжения в Чехословакию, на изумленный вопрос корреспондента: «Разве то, чем вы занимались, не было видом политической деятельности?» — отвечает: «Я искренне надеюсь, что нет».

Политическим идеалом авторитарного сознания являются независимость и профессионализм. Независимость — в пределах существующих норм, узаконивающих бесправие. Профессионализм — не обязательно на работе, в рабочее время надо пить чай и дружить с начальством. Все это ведет к полоанчатости, расщепленности авторитарного сознания, беспомощному стоицизму. Интеллигентский уход от политики в эзотерические проблемы духовной жизни делает интеллигенцию еще более зависимой, а власти — еще менее компетентными. Уклонение обеих сторон от участия в общественном диалоге, шедшее с двух концов разрушение всех формальных и неформальных каналов обратной связи дорого обошлись всем нам. Интеллигенция состоит из людей, обязанных видеть, думать, предупреждать, и она, наряду с властью, несет ответственность за состояние нашего общества. К сожалению, она оказалась подвластна суевериям тоталитаризма и не сумела избавиться от них с переменой режима. Более того, многие из нас даже не почувствовали этой перемены. Некоторые не чувствуют ее и сегодня.

Между тем иллюзии рассыпались быстрее, чем могли ожидать самые свободные от них люди. Одновременно с крушениями слабеющей веры в бессмертие вождей проверке реальностью подверглись и вера в безграничность ресурсов власти, и вера в ее справедливость и могущество, и вера в бесконечное, воистину чудесное терпение народа.

...к либерализму...

В течение нескольких лет произошли серьезные изменения политического сознания. Политика явилась из небытия и сразу стала делом, интересным для всех. Ограничения на подписку в 1988 году взволновали людей больше, чем дефицит продуктов. Расписаться под коллективным письмом в газету или в орган власти из неслыханного и очень рискованного дела стало заурядным событием. Митинги собирают сотни и тысячи людей. Политика заполняет газеты и телепрограммы, отодвинув на десятое место спорт и все то, что раньше было на первом. Политизируется все — экономика, искусство, экология, право. Многолетняя политическая засуха сменилась бурным весенним половодьем. Мы с радостью плывем в нем, но плывем по течению. Мы все еще не определяем наш путь.

Вслед за М. Гельманом договоримся различать два других типа организации власти — либеральный и демократический. Между ними есть и общность и отличия. Два эти типа власти основаны на характерном для них процессе, который отсутствует в других ее типах, авторитарном и тоталитарном. Этот процесс — общественный диалог: такое взаимодействие разных индивидов, групп и институтов в поле общественного сознания, в котором каждый партнер относится к другому как к субъекту, признавая его ценность, право на существование и независимость. Тоталитарная власть, превращающая все вокруг себя в единого субъекта, изъясняется монологами. Диалог здесь просто не с кем вести, он невозможен и ненужен, все равно что игра в шахматы с самим собой. Авторитарная власть тоже не допускает диалог, строя стену между собой и обществом. Дела общества не интересуют власть, дел власти чурается общество.

Либеральное и демократическое общества ведут прямой и непрерывный диалог с властью. В диалоге преодолевается и слияние партнеров, и их отчуждение. Диалог ведут те, кто знает, что партнер — другой, но не чужой. Его позиция важна и заслуживает внимания.

Различия между либеральной и демократической властью кроются в разных способах организации диалога. Либеральная власть позволяет обществу и разным социальным группам *влиять* на принимаемые решения. Демократическое общество само *выбирает* носителей власти и через них — тот или иной вариант решения. Итак, слияние, отчуждение, влияние, выбор — такова эволюция отношений к власти.

Либеральное сознание чрезвычайно активно и критично. Любой вопрос, стоящий перед властью, любая политическая проблема подвергается многократному обсуждению. Это полезно и для общества, осознающего себя и свои позиции, и для власти, которая благодаря этому способна увидеть, наконец, реальную сложность мира и узнать результаты своих решений. Гласность есть безусловное и самоценное благо, и либеральное сознание с восторгом пользуется всеми ее богатствами.

Общественный диалог, как и любые процессы межгруппового общения, ведет к поляризации установок и к развитию групповой идентичности [1]. Формируется множество горизонтальных объединений, складывающихся вокруг самых разных людей, идей и социальных структур. Общество не распадается на клубы, союзы и объединения, а, наоборот, интегрируется на основе диалога между всеми этими коллективными субъектами. Только в таком большом диалоге формируется совершенно неведомая авторитарной власти психологическая ценность — ощущение человеком самого себя как гражданина своего общества. Гражданская идентичность может сложиться только на базе групповой идентичности, ощущения своего участия в деятельности определенных социальных групп и причастности к общению между ними. Не претендуя на власть, эти группы могут оказывать довольно серьезное влияние на общественную и производственную жизнь. Классическим примером являются профсоюзы западного типа, но сегодняшний день дает нам и множество отечественных примеров.

Обсуждение с целью влияния — это тоже политика. Но лидеры либеральной власти, готовые обсуждать с народом свои решения, не готовы отдать свою власть. Принцип общественной жизни оказывается таким: «Позволено все, что не ведет к смене власти». Роль общества ограничена влиянием на принятие решений, сами же решения остаются прерогативой власти. Общество может влиять, но не может выбирать; может советовать, но не может требовать; может думать, но не может решать.

Такое распределение полномочий ведет к соответствующим политическим идеалам. При всей своей активности либеральная личность безответственна. Она предлагает и убеждает, но не отвечает за свои предложения. Принять их или не принять — дело власти, и отвечать за провал или пользоваться плодами успеха будет она.

Либеральное сознание может доверять или не доверять власти, но либеральная личность боится сама занять ее место. Это соотношение ведет к своеобразной конфигурации всей политической жизни. Несмотря на свою активность, либеральное сознание никогда не делает крупных, направленных в будущее предложений. Они остаются делом власти (которая должна бы быть более всего заинтересованной именно в таких раскованных, неожиданных идеях, которые по своей природе не могут созреть внутри аппарата). Либеральное сознание полностью погружено в обсуждение уже принятых решений, в критику уже допущенных властью ошибок. Этот низкий потолок вряд ли кто-то поставил и организовал по своей воле; его существование в очередной раз иллюстрирует наличие неосознаваемых стереотипов или, точнее, суеверий, которые в нужных случаях действуют в нас автоматически и без обсуждения. Когда Д. С. Лихачев предложил строить мегаполис между Москвой и Ленинградом, он вышел за пределы узкого поля либерального сознания, и многие отнеслись к его идее с недобрительной усмешкой: чего надумал... Критика городской застройки вызвала бы куда меньше внутреннего протеста. Стабилизируясь, либеральное сознание обретает собственный консерватизм, оно не хочет выходить из своих границ, боится перейти в другой, более развитый тип политического сознания.

С успехом выполняя очень важную функцию обратной связи, либеральное сознание избегает гражданской инициативы вплоть до явной несправедливости по отношению к ее активистам. Критикуя все и вся, оно боится сделать любой реальный шаг, расходящийся с планами властей. Критиковать — одно, действовать самим — совсем другое. Зачем дразнить гусей, вызывать социальное напряжение, все так неустойчиво, правые воспользуются любым поводом... Активисты сегодняшних демократических движений наизусть знают подобные уговоры. При этом либералы не пользуются даже теми законными средствами демократии — например, правом отзыва депутатов, — которыми мы располагаем. Тем более они не требуют расширения демократических прав. «Литературная газета», без конца обсуждающая на своих страницах повышение цен на телефонные переговоры, метро, колготки и многое другое, ни разу не призвала граждан отозвать или забаллотировать виновного депутата. Ведь министра, необоснованно повысившего цены, выбирали в депутаты читатели «Литературной газеты». Нет, критиковать можно, отзывать нельзя. А министр почитает, даст ответ.

Либеральное сознание преувеличивает роль гласности, просвещения, нравственности и вообще человеческого фактора. Соответственно, недооценивается роль формальных структур власти, правовых и демократических процедур. Главное — убедить власть и воспитать народ, все остальное приложится. И действительно, либеральная власть хороша при умном и нравственном лидере. Со сменой поколений вероятно вырождение власти, прекращение общественного диалога, свертывание политического сознания до авторитарного уровня.

Хотя либеральная власть более прогрессивна, мягка и эффективна, она может вызывать большую ненависть, чем

[1] Феноменология этих процессов, хорошо известных в экспериментальной социальной психологии, смоделирована во многих лабораторных исследованиях.

авторитарная власть. Политическое сознание парадоксально. Так сегодняшний порядок назначения директора в академических институтах, когда кандидатура обсуждается и «выбирается» коллективом, а потом еще раз избирается вышестоящей инстанцией — отделением Академии наук,— вызывает куда большее недовольство, чем прежний порядок, когда директора назначало то же отделение, ни с кем ничего не обсуждая.

В психологическом плане тоталитарный и авторитарный режимы оказываются более сбалансированными, более последовательными, чем либеральный. Они убивают тех, кто хотел бы занять их место. Либеральная власть общается с ними. Пытаясь убедить в своем превосходстве, она демонстрирует все свои слабости. Внутри себя либеральное общество вынашивает широкие анклавы иного, более высокого типа политического сознания. Они созревают везде, куда больше не пытается проникнуть центральная власть — во множестве горизонтальных непроизводственных структур, а кооперативных и других самостоятельных производственных формированиях, в местных органах управления.

Демократические меньшинства начинают искать пути объединения, стремятся стать демократическим большинством. Оказавшись в тепличной обстановке безответственности, по своей социально-психологической атмосфере похожей на обстановку мозгового штурма, демократические меньшинства развиваются гораздо быстрее, чем истаблишмент либерального общества. Все больше людей понимает, что власть не безальтернативна, что доверие ей не бессрочно, а дано в кредит. Если кредит этот не выплачивается, то власть становится банкротом. Спасти власть от банкротства может либо харизма руководителя — выбор соблазнительный, но прямиком ведущий в тоталитарный ад — либо гибкость, чувствительность к переменам, способность и готовность с почетом уйти со сцены.

Либерального лидера, слишком долго державшего власть, ожидает грустная судьба императора Александра. Общество вспомнит — был «век новый, царь младой, прекрасный», было «дней александровских прекрасное начало»... Но с презреньем и ненавистью оценит результаты правления, которое не смогло перерасти само себя: «Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой, над нами царствовал тогда». Искусство либеральной политики в том, чтобы, силой охраняя власть от тоталитарной ностальгии и притязаний авторитаризма, поощрять ростки демократического сознания и, не ошибившись в оценке их зрелости, постепенно и добровольно отдавать власть.

...к демократии...

Демократия, как известно, власть народа, власть большинства. Но народ не может собраться на площади. Референдумами тоже политика не делается, это мера чрезвычайной, а не обычной политической практики. Непосредственная демократия как была, так и остается несбыточной мечтой, осуществимой как система только в небольших коллективах из 10—100 человек. Реальная демократия — это власть людей, избранных народом.

Демократическая власть организует общественный диалог и является его непосредственным партнером. В диалоге общество оценивает действия носителей власти и правомочно сменить их в рамках законных процедур. Сохраняя за собой право влияния, общество приобретает право выбора. Если влияние, будь то предложения или критика в прессе, демонстрация или лоббистская деятельность, неформально и не должно иметь никаких особых процедур, то выбор может осуществляться только в рамках высокоформализованных правовых норм. В процедурах заключается самое очевидное и действительно очень важное отличие демократической власти от либеральной. Демократия — это власть процедуры. Для либерального сознания ключевое значение правовых норм непостижимо, они кажутся ему лишними, мелочными, чуждыми политике. Произошедший накануне XIX партконференции сдвиг в политической мысли, поставившей акцент на сознании правового государства, отражал, видимо, именно этот непростой переход от либерального политического идеала к идеалу демократическому.

Закон защищает не только граждан от власти, но власть — от народа. В пределах выборного срока может быть переизбран только тот, кто нарушил закон. Выбор депутата значит не то, что люди поручают ему то или иное конкретное решение конкретного вопроса, а то, что они делегируют ему право решить любой вопрос, опираясь только на свое собственное мнение. Они доверяют ему как личности, как человеку и гражданину. Если он ошибается — значит, я сам, голосовавший за него, виноват: не понял его, не раскусил, не сумел спросить у него то, что оказалось важным, или, проголосовав «против», я не сумел переубедить тех, кто голосовал «за». В любом случае исправить ошибку я смогу только при следующем голосовании.

Демократическое общество требует для своего функционирования сформированного демократического сознания. Без него самые хорошие законы могут остаться тем же, чем была бухаринская конституция для сталинского общества — словами. Но, конечно, бесполезно и рассчитывать, в

классическом для русских либералов духе, что можно сначала воспитать народ, а потом дать ему конституцию. Правовое государство может развиваться только вместе с гражданским обществом,— вместе и одновременно.

Зрелое демократическое сознание ощущает равную ответственность граждан за действия своего правительства. Это и есть гражданская идентичность — восприятие человеком самого себя как члена общества, выбирающего общий путь вместе с другими людьми. Подданный становится гражданином, население — обществом. Чувство ответственности тем выше и реальнее, чем более непосредственным является волеизъявление граждан при выборе руководителя. Любая непрямая система выборов, по очевидным психологическим законам, снижает чувства ответственности и сопричастности с обеих сторон: граждане отчуждаются от власти, власть в меньшей степени чувствует себя ответственной перед обществом. Посредствующее звено выборщиков, как бы они не назывались, делает возможным давление на них за закрытыми дверьми и манипуляции их голосами или, по крайней мере, подозрения по поводу этих манипуляций. Любые посредники — это проявление недоверия «сверху» и источник недоверия «снизу».

Демократическое сближение народа и власти имеет характер не слияния их в недифференцированное целое, а скорее сотрудничества, объединения усилий в рамках множества самоорганизующихся социальных структур. Каждый из участников общественного диалога ясно чувствует свою идентичность, свои права и интересы, свои обязанности перед партнером. Кто нарушает эти нормы, вредит собственным интересам. Поправить его — дело не власти, а закона. Такое положение резко меняет статус плюралистических общественных организаций. Их горизонтальная структура объединяется с вертикальной структурой власти. Ранее выключенные из политической системы, они оказываются ее реальным базисом.

Политические идеалы требуют всего лишь одного — законности действий граждан, включая и лидеров верхнего эшелона. Оценить их нравственность и эффективность — дело избирателей. Власть требует от граждан только одного — держаться в рамках закона. «Разрешено все, что не запрещено законом»,— такоа принцип демократического общества. Характерный для остальных типов общественного устройства барьер между властью и обществом разрушается, каждый может избирать и быть избранным. Даже в либеральном обществе каста правителей с их необыкновенным образом жизни, особыми правами и ответственностью перестает существовать.

Менее очевидно то, что исчезает и сформированное авторитарным сознанием доверие к профессионалам власти — политикам, аппаратчикам, менеджерам и прочее. Избирателей волнуют только человеческие качества, личная одаренность и гражданский кругозор своего кандидата. Во всем, что действительно важно, может разобраться и неспециалист. Профессионалы полезны как эксперты, не более. Принятие решений нельзя доверять технократам, они будут перетягивать канат на себя. Суд присяжных и парламентские структуры, в которых за неспециалистами остается решающее слово во всех, в том числе и в специальных, делах, реализуют подлинно демократический принцип приоритета гражданского над профессиональным.

Четыре типа и пять признаков

Политическая психология — это огромное и очень плохо структурированное поле. Мы попробовали как-то разметить его, используя для этого не столько наши академические познания — они здесь оказываются плохими гидами,— сколько политический опыт, доступный любому современнику. Прямое применение к нашим сегодняшним проблемам политических представлений западной демократии — дело вряд ли многим более перспективное, чем применение к ним понятий восточной философии. И то, и другое нужно знать, но думать хотелось бы категориями, более близкими к реальной жизни.

Мотивы и формы политического участия, общественный диалог, отчуждение от власти — таким мы видим круг проблем политической психологии. Между какими коллективными субъектами — группами или институтами — развертывается общественный диалог? Участвует ли в нем власть либо стоит над ним? Как она контролирует темы, которые оказываются или, что более важно, не могут оказаться в поле диалога? Каковы формальные и альтернативные механизмы политического участия? В какой степени люди в реальном обществе отчуждены от власти, как они осознают образующуюся «нехватку» причастности и чем ее компенсируют?

Наука начинается с классификаций. Выделенные типы политического сознания — от тоталитарного к демократическому — различаются по пяти основным признакам. Первым является характер и мера осуществления власти. В тоталитарном обществе это всеобщий, не знающий границ контроль и насилие; в авторитарном обществе возникают анклавы, недоступные контролю; в либеральном власть ведет диалог с независимыми группами, созревшими в этих анклавах, и сама

определяет его результаты; в демократическом обществе власть осущесталяется представителями граждан, избраяными в соответствии с законом.

Вторым является отношение людей к власти: не «за» или «против» конкретной власти, а общая характеристика взаимодействий общества с политической властью. Для тоталитарного сознания характерно слияние с властью, для авторитарного — отчуждение от власти, для либерального — влияние на нее и для демократического — выбор конкретных носителей власти.

Статус горизонтальных социальных структур является третьим дифференциальным признаком, различающим разные типы организации власти. Тоталитарный режим разрушает любые горизонтальные структуры. Авторитарный допускает их в той мере, в какой они носят неполитический характер. Либеральный разрешает любые организации, кроме тех, которые претендуют на власть. В демократическом строе структура общественных организаций становится основой политической системы.

В любом обществе есть своя сфера допустимого и запретного, и характер этих запретов является четвертым дифференциальным признаком. В тоталитарном обществе разрешено то, что приказано властью, все остальное запрещено. В авторитарном обществе разрешено то, что не имеет отношения к политике. В либеральном обществе разрешено все, кроме смены власти. В демократическом обществе разрешено все, кроме того, что запрещено законом.

Пятым признаком является характер идеалов политического поведения. Он определяет тот тип личности, который признается наиболее соответствующим целям власти, и тот тип власти, который наиболее соответствует ценностям общества. В тоталитарном обществе от власти требуется всемогущество, от людей — энтузиазм и скромность. В авторитарном обществе от власти требуется компетентность, от людей — профессионализм и послушание. В либеральном обществе от власти требуется нравственность, от людей — активность и безответственность. В демократическом обществе от власти и от граждан требуется одно — соблюдение законов. Как видим, с развитием политического сознания требования к властям и гражданам становятся все более умеренными. Но как же трудно их выполнить...

Варианты пути

Мы уверены, что большинство наших сограждан хочет гарантий того, что прошлое не вернется ни кошмаром лагерей, ни комедией чувства глубокого удовлетворения. Что тот путь, по которому мы идем, пусть иногда и спотыкаясь, будет пройден до конца, что мы не свернем с него в угоду чьей-нибудь глупости, фанатизму или трусости. Но и сегодня разные люди в нашей стране живут в разных мирах — от тоталитарного до демократического. Неравномерность, гетерохронность развития политического сознания столь же велика, как и гетерохронность развития экономических укладов и организационных структур власти.

Призывы к изменению сознания бессмысленны. Важнее увидеть конкретные пути этих изменений. Изменения идут — или хотелось бы, чтобы они шли — не только на уровне государственной власти, но и в управлении цехом, лабораторией, кооперативом.

От литургии к работе. Мы считаем принципиально важным демистификацию любых отправлений власти, превращение ее из священнодействия в обычную квалифицированную работу. Для этого необходимо добиваться гласности осуществления власти на всех уровнях, бороться как с незаконной и противоречащей здравому смыслу секретностью в работе учреждений и ведомств. Нужно добиваться юридической регламентации всех властных функций, составления ясных и проверяемых должностных инструкций для руководства всех уровней. Нужно высмеивать любые торжества и ритуалы, связанные с отправлениями власти. Любые проявления культа власти должны встречать общественное осуждение, а их авторы, будь то писатель, политик или журналист, должны подвергаться остракизму.

От безопасности к ответственности. Власть должна перестать быть источником привилегий как материальных, так и духовных. Последнее особенно важно. До сих пор носитель власти защищен от негативной оценки снизу. Его психологическая безопасность является предпосылкой неэффективности и коррупции. Публичная критика нужна не только для исправления конкретных недостатков. Критика самоценна. Она делает руководителя если не юридически, то морально зависимым от подчиненных и от общества. Возможность гражданина критиковать представителя власти препятствует благоговению перед ней.

От монополии к конкуренции. Личная независимость граждан повышается благодаря самому существованию конкурирующих структур. Если специалист может работать лишь в одном институте, его судьба полностью определяется его отношением с директором и он оказывается

заведомой жертвой культа власти. Возможность выбора места работы ослабляет зависимость от организации, даже если она останется такой же тоталитарной, как была. Поэтому создание альтернативных структур — кооперативов, хозрасчетных фирм, совместных предприятий — важно не только экономически, но и психологически.

От должности к человеку. Необходимо организационно обеспечивать возможности карьеры, не связанные с выполнением властных функций. Верхние ступени социальной лестницы должны перестать ассоциироваться с властью. Академики не обязательно должны быть директорами, знаменитые режиссеры — секретарями союза. Целесообразно законодательно ограничить возможность получения почетных званий, орденов и т. п. во время нахождения на административном посту. Необходимы новые системы статусов, гарантов, премий и просто престижных мест, не связанных с должностью (стипендиаты фондов, почетные советники и прочее).

От вертикали к горизонтали. Исключительно важным является выведение из-под монопольного контроля государственной власти всего того, что не связано с обеспечением безопасности. Первыми шагами на этом пути были бы кооперативные и частные школы, а также университеты и научные учреждения. Нужно наполнить реальной жизнью существующие общественные организации, например профсоюзные комитеты, прежде всего — низовые. Создание новых клубов, гильдий и ассоциаций, вообще любых горизонтальных связей между людьми в демократически управляемых и не связанных с государством организациях способствует сдвигам в политическом сознании.

От вечности к очередности. Культ власти исключает смену вождя, будь то главный фюрер или управдом. Любая регламентация сроков и процедуры смены руководителя разрушает тоталитарное сознание подчиненных. Божество не может быть регулярно сменяемым. Кроме того, чем больше людей побывают в роли руководителя, пусть даже на самых низших уровнях, тем с меньшим почтением будут они относиться к власти, как таковой. Следует приветствовать и освобождать от формализма любые механизмы ротации кадров и работы с резервом руководителей. Регулярная и быстрая сменяемость приведет к тому, что с властью будут связываться только те обременительные функции координации, согласования и прочее, которые она действительно должна выполнять.

От борьбы к сосуществованию. Борьба за смену коррумпированного или не оправдавшего доверия руководителя компетентным и порядочным человеком, безусловно, важна. Но есть и другой путь. Создание любых демократически управляемых организаций или даже подразделений в уже существующих организациях разрушает тоталитарное сознание более эффективно, чем кадровые перестановки. Надеяться на то, что смена руководителя сама по себе приведет к позитивным изменениям,— значит оставаться в плену культа власти. Успешно функционирующие альтернативные организации приводят к перераспределению власти в условиях мирного сосуществования с обветшавшими социальными структурами.

ЛИТЕРАТУРНАЯ
КРИТИКА

Г. ЦУРИКОВА
И. КУЗЬМИЧЕВ

ИЛЛЮЗИИ ОДИНОЧЕСТВА

Одиночество — вечная, всечеловеческая проблема.

Сколько грез и надежд, пророчеств и страхов связывали с ним люди с тех пор, как помнят себя. Текло время, сменялись эпохи, убыстрялся общественный прогресс, все неоспоримей казалась мощь разума, а одиночество... Наедине с собой человек — в сущности, каждый! — никуда не мог уйти от мысли, что единственная данная ему реальность — это его жизнь, короткая и хрупкая, и что одиночество ему, смертному, уготовано изначально. Далеко не всякого смиряла прелесть религиозных утешений, и тогда оставался земной, сугубо личный выбор: замкнутому в себе самосознанию противопоставить — как нечто высшее! — отношение к другому человеку.

В литературе эта тема звучала во все времена. То глухо и отдаленно, то с жертвенной жаждой самозабвения, а порой и просто отчаянно — в ужасе от захлестнувшего мир фарисейства. Она и сегодня звучит, нарастающе и все более напряженно.

Мы коснемся этой темы, обратившись к трем современным повестям, где тревожащий нас вопрос поставлен, как говорится, в лоб. И ответ на него будем связывать с духовным наследием человека, от литературы, собственно, далеко,— с именем нашего выдающегося физиолога Алексея Алексеевича Ухтомского, чьи этические воззрения, при всей их злободневности, пока еще мало известны.

Важнейшей из бесчисленных доминант, организующих сознание и нравственный облик человека, Ухтомский считал «доминанту на лицо другого». Стать личностью, утверждал он,— значит почувствовать живую взаимосвязанность каждого с каждым в нашем трагически неустойчивом мире. Лишь постоянным движением вперед, безостановочной инерцией движения можно удержать равновесие,— и тем ответственнее всякое приближение к другому человеку, тем острее всеобщая потребность в истинной любви. Основная нравственная болезнь нашего века, по словам Ухтомского,— «нечувствие» людей друг к другу, невнимание их к тому, чем живет «ближайший сосед и товарищ по жизненному труду». В этом усматривал он причину духовного измельчания личности, порождающую массовую безликость.

«Удивительно ли,— писал Ухтомский в 1923 году в одном (еще не опубликованном) письме,— что маленькие и слабые человечки, которыми переполнены города, могут прожить всю жизнь, зная о лице человеческом только понаслышке, никогда не ощутив, что значит „лицо человеческое“! Они могут даже писать философские книжки, что лицá и личной жизни в другом человеке и знать-то вообще нельзя! Это не помешает им, маленьким и слабеньким, творить свои маленькие делишки с их случайными знакомыми и сожителями. Возможно, что они даже возвысятся в своем маленьком сентиментализме до мысли устраивать счастие людское такою „организацией“, в которой было бы все учтено за исключением „лица человеческого“! Нужды нет, что „маленькие недостатки организации“ больно ущемляют при этом человеческое лицо, прольют его кровь! Это не будет беспокоить, ибо самое-то лицо человеческое вне меня не почувствовано и не признано! А пока оно реально не почувствовано, есть ведь только „вещи“, но не „лица“! А с вещами всякое поведение допустимо! Беда только в том, что пока реально не откроет человек равноценного себе человека вне себя, сам он не будет человеком; и пребывает, несмотря на возможный лоск, культурность, науку все еще антропоидом!»

Выясняя диагноз хронической болезни нашего «нечувствия» друг к другу, причины появления современных «антропоидов», Ухтомский как физиолог констатировал: человек видит в мире и в людях то, что предопределено его деятельностью, то есть так или иначе самого себя. Это естественно. И вместе с тем такой исходный момент существования человека таит в себе и «величайшее его наказание», ибо отсюда же берут начало и зачатки аутизма, явления не только физиологического, а и социального.

Кто такой аутист?

Это человек, полностью погруженный в мир своих внутренних переживаний,— а им может оказаться и кабинетный ученый, погрязший в тине привычных догм, и «самозамкнутый» философ; утративший контакт с реальностью, и всякая самодовольная натура вообще, и как предел деградации — параноик, уверенный, что его кто-то преследует и что он ужасно велик. Бремя аутизма тяжко и многолико. Попросту, это и есть бремя одиночества,— проблема, которую акаде-

мик Ухтомский понимал широко: и как этическую, и, если угодно, как эстетическую, по праву бытующую в искусстве. В свои размышления об этом он вносил и элемент личной вины за всеобщее горе,— такое «лирическое» восприятие научной проблемы сближало его искания с художественными поисками писателей.

Ухтомский не раз вспоминал Достоевского, говоря, что его господин Голядкин (а позже «человек из подполья») являет собой типичного аутиста, который весьма распространен и может быть воистину грандиозен. Этот литературный персонаж, открытый великим писателем, воспринимался Ухтомским и как предостережение человеку, и как некое обещание будущего торжества человека в извечной борьбе с самим собой, поскольку Голядкин, по мнению ученого, не только усматривал во всех своего «двойника», но и поднимался до святой ненависти к этому „двойнику“ — к своему «самоутверждающемуся, самооправдывающемуся „Я“. А уже это,— радовался Ухтомский,— начало выхода! Один шаг еще, и цыпленок пробил бы свою скорлупу к новой правде!»

Освободиться от «двойника» — иначе говоря, преодолеть одиночество — вот, по Ухтомскому, необыкновенно трудная и необходимейшая задача человека. Совершив в себе такой перелом, человек «впервые открывает *лица* помимо себя» и сам приобретает то, что можно назвать «лицом», находя свое подлинное предназначение в любви к людям.

В наше время положение мало изменилось. Аутизм бытует как явление заурядное. Более того, современные аутисты нередко претендуют на то, чтобы считать свою мораль едва ли не нормой. Признаки застарелой болезни «нечувствия» друг к другу сегодня каждый может ощутить и в себе самом,— так что давно пора изучать социальные корни этой болезни и ту атмосферу, которая способствует ее развитию.

Мы привыкли с нотами горечи и сочувствия рассуждать об одиночестве, но ведь одиночество — это следствие, знак неблагополучия; суть же проблемы сложнее и шире.

На каких путях ищут спасения от одиночества герои современной прозы? Да и действительно ли они жаждут спасения?

Обратимся к примечательной, хотя и оставшейся почти незамеченной повести Николая Плотникова «Маршрут Эдуарда Райнера», которая была опубликована в «Новом мире» в 1983 году, а в 1988 году напечатана в первой книге ее автора.

...Жил в наши дни в Москве некто Райнер, инженер-энергетик, никогда не работавший по специальности. Вольный путешественник с фотокамерой, чьи снимки попадали даже в заграничные журналы. В кругу посвященных Райнер был известен тем, что снимал — не без риска! — извержения вулканов, наблюдал в природе редких животных и птиц; бродил одиноко в далеких и диких местах: зимовал на Подкаменной Тунгуске, два года провел на Командорских островах. Сам Райнер никогда о себе не рассказывал, о нем рассказывали его почитатели. Про то, например, как он спускался по таежной реке на плоту: «потерял в реке напарника, но перекрыл план по соболю». Или про то, как с такими же заядлыми рыцарями риска искал тела пропавших в горах альпинистов. Молчаливый, ироничный, спокойно-равнодушный даже в «своей компании», плотный сутуловатый блондин, похожий на полковника в отставке. Загадочный и легендарный. Человек стальной породы. Таким, во всяком случае, Райнер виделся поначалу другому герою повести — студенту-историку Диме.

Дима — наивный турист-любитель, которому довелось провести летний месяц на Севере бок о бок с Райнером. С тем самым! Димина роль в этом маршруте — беспрекословно повиноваться уверенному в своей непогрешимости старшему партнеру. Райнер однозначно и недвусмысленно обозначил характер их отношений: партнерство и никаких эмоций. Поставил барьер, не допускавший и тени человеческого участия друг к другу.

Райнер вообще считал ниже своего достоинства снисходить до какого-либо сочувствия к кому бы то ни было. Жалкое состояние Димы в первые дни похода «патрона» не заботило. «Тебе холодно, противно или больно, ты, может быть, заболел или еще хуже, но никто не должен этого знать. Это никого не касается. Таков был закон Райнера и ему подобных, и они презирали тех, кто жил не так...»

Превосходство сильного человека Райнер исповедывал откровенно и прямо, ни а чем не сомневаясь и не думая о том, как это воспринимают другие. Автора повести не смущает банальность заявленной позиции. Он намеренно, в предельных параметрах моделирует общеизвестный тип «сильного человека» — принципиально одинокого, замкнутого в себе, подчеркнуто декларирующего свою автономность в мире человеческих отношений: ему не нужен никто и никто не должен на него рассчитывать. Предлагаемые в повести обстоятельства максимально выявляют эту жизненную позицию, оставляя все происходящее в рамках житейской реальности. Поведение Райнера не только психологически достоверно, но и предельно современно. Он дьявольски самоуверен, он опытен, он все делает тщательно, хотя

эта его умелость и похожа на умелость робота, не знающего ошибок и не выходящего из заданной программы.

В самом ли деле Райнер лишен эмоций? Едва ли. Он искренне привязан к своей собаке, старой, больной. Он любит природу и ненавидит браконьеров, уверен — их «надо убивать». А вот сочувствовать другому человеку действительно не способен. Педантично честный Райнер велит Диме вернуть случайным попутчикам предложенный ими хлеб: «чем расплатимся? Денег они не возьмут». Он ни в чем не хочет зависеть от других, но и другие не вправе претендовать хотя бы на его уважение. Весь обращенный внутрь самого себя, Райнер, если пользоваться определением А. А. Ухтомского, чистой воды аутист.

Диме Райнер сначала кажется скрытным и непонятным. Потом рождается подозрение: может быть, тот «просто примитивен»? Ведь эгоисты «всегда туполобы»! По-настоящему разобраться в Райнере Дима не в силах — не хватает житейского опыта,— и тем не менее он интуитивно чувствует, насколько этот человек ему чужд и почти враждебен. «Некая надоевшая неудобная тяжесть» постоянно гнетет Диму в его присутствии.

В финале повести Райнера настигает возмездие. В одиночку пустившись в свой последний маршрут и переоценив свои силы, он сваливается с инфарктом среди неприступных скал. Правда, и тут остается верен себе: не надеется ни на чью помощь и, презирая немощь, не желая превратиться в отработанный шлак — в жалкого старикашку из тех, что «только мешают жить другим своими аптеками, жалобами, „неотложками" и скучными воспоминаниями», хочет встретить смерть, как лисица, попавшая в капкан,— глядя в глаза ей с зеленой ненавистью. Он пробует покончить с собой, чтобы не длить агонию, «не лежать в моче, в сырости еще день, неделю», однако на это ему не хватает духа. Тут-то иллюзии одиночества и терпят крах: Райнера отыскивают среди скал те самые люди, которых он сторонился, и вывозят на вертолете.

Можно сказать, что именно этот принципиальный, без камуфляжа аутизм и привлек в первую очередь наше внимание к повести Н. Плотникова. Хотя и не в нем, пожалуй, здесь самое существенное.

Да, люди, подобные Райнеру, осуществляют на практике способы существования, давным-давно развенчанные жизнью и искусством. Автор повести этим в глубине души, разумеется, возмущен и вместе с Димой пытается отыскать убедительный духовный противовес райнеровской жизненной программе.

Сперва, как легко догадаться, Дима, угнетенный соседством и «неудобной тяжестью» угрюмого партнера, пытался обрести спасение в природе, безраздельно отдавался окружающей его первозданной стихии. «Огромный покой» заполнял его сознание; он подолгу смотрел на бескрайний лес, на синее безмолвное небо, на ржавые скалы. «Машин, денег, газет, кино, секса, водки — всего этого не только здесь, но и вообще не существовало». Отступала житейская суета. Привычная, налаженная городская жизнь выглядела отсюда искусственной и надуманной. Жизнь настоящая, думал Дима, это «вечная жизнь зверей, птиц, рыб, елей, гранитов, облаков. Такой она была от века и всегда будет такой».

Полное слияние с природой современного горожанина — тоже, конечно, иллюзия — мнимое спасение от одиночества, от толпы равнодушных друг к другу людей. И все-таки природа не просто располагает к созерцательности, она стимулирует мысль и возрождает потребность веры. Дима чувствует, как сквозь пятна лишайников на граните проглядывает «лицо древности, мудрое и жестокое»; вспоминает — ведь он историк! — бродивших тут смуглых кочевников, которые верили «в мертвых родичей, в крик ворона, в радугу, в сотни примет», молились своим божкам из кости и камня. Никто теперь не знает толком, во что они верили, но вера была непременным слагаемым их душевного мира.

Логику поведения Райнера Дима теперь пытается объяснить с позиций историка. Он считает своего гордого спутника выходцем с Севера — «норманном», потомком бродячих викингов, не боявшихся крови. Себя он причисляет к потомкам «ушкуйников» — тех новгородских рабят, что взымали с корелов дань и могли, коль требовалось, последнюю рубаху отдать. А Райнер не отдаст! Не потому ли он стал в итоге Диме враждебен? А повстречавшиеся им в заброшенном лесном поселке Нина и дядя Миша оказались свои, близкие люди — единого с Димой корня.

Опознать себя в исторической мгле прошлого, постичь извечное родство для Димы не менее важно, чем разобраться в Райнере. Райнер же не ищет родства, он резко настороженко всему постороннему; он и к новым знакомым высокомерно недобр, чем ставит Диму перед необходимостью предрешенного, в сущности, выбора.

Правда, рассуждения Димы в связи с этим путаны и невнятны. «Вот рядом спят двое,— размышляет он ночью,— а где-то миллиарды других, и все чем-то сходны, но нет ни одного абсолютно одинакового, как отпечатки пальцев ⟨...⟩ Может быть, генетика откроет историю? Наличник с резьбой. В резьбе крошечка истории, нашей, моей? Да, но — крошечка. Гораздо больше ее в моей, в Нининой крови. Но кто прочтет?.. Наличник, храм Спаса на бору, гроб Ярослава Владимировича, Остромирово евангелие. История? Да, но только крошечка, капелька. Где же она, в чем?»

Почему Дима чувствует незнакомых людей родными, почему им хорошо друг с другом, а Райнеру становится хорошо, когда он бросает их? Причиной тому — голос крови? Это нелегкий вопрос. Только ведь поставить его можно иначе. Не упростить, а взглянуть как бы с другой стороны.

Допустим, с Райнером ясно: он подозрителен, он не верит в истинное сочувствие, более того — он способен (и такое мерещится ему в смертельном бреду) выстрелить в незнакомца, который ночью рискнул приблизиться к его одинокому таежному костру, привлеченный запахом каши. Вероятно, и тот (во сне) — бродяга, беглый зэк — опасен. В тайге — волчий закон! Но почему дядя Миша, бывший учитель математики и, похоже, ровесник Райнера, имеющий опыт жизни наверняка не менее суровый, почему он, не раздумывая, отправляется искать в лесу не вернувшегося к ночлегу чужого и неприятного ему человека? Отчего дядя Миша и Нина так стараются спасти безнадежно больного Райнера, не удостоившего их даже совместной трапезы? Похоже, они попросту не могут иначе. Почему?

Таким вопросом Дима не задается, хотя сам он — по собственной инициативе! — скорее всего не решился бы идти отыскивать Райнера. Он действует заодно с людьми, которым поверил. Он на перепутье, и жизнь покажет: победит ли в нем непонятное чувство ответственности за другого — за всякого другого человека! — или верх возьмет спокойная, твердеющая с годами уверенность, что ты никому ничего не должен, и каждый сам за себя.

А. А. Ухтомский в уже цитированном письме 1923 года размышляет, между прочим, о том, что великая Гераклитова истина — все течет и проходит — может иметь еще и такой смысл: «Если все безвозвратно проходит, если ни одно мгновение бытия в жизни никогда не повторится, если проходящий мимо тебя человек дан тебе однажды, чтобы никогда и ничем не замениться и не повториться для тебя,— то какова же *страшная ответственность человека перед каждым моментом жизни, перед каждым соприкосновением с другим человеческим лицом, перед утекающей перед ним драгоценностью бытия!*»

В повести остается неясным, что за прошлое у дяди Миши и Нины, и что это за мертвый поселок с догнивающими бараками, и что, собственно, влечет их туда? Но по тому, как они относятся к жизни, к любой встрече с человеком, создается ощущение: эта «страшная ответственность» за каждый момент утекающей драгоценности бытия им понятна.

«Для того, кто видит в мире одни лишь более или менее повторяющиеся „вещи" и связи между „вещами",— писал Ухтомский,— истина есть удобная для меня, моя собственная абстракция, которая меня успокаивает, удовлетворяет и вооружает для новых побед над „вещами". Для тех же, кто однажды учуял в мире *лицо*, истина есть страшно важная и обязывающая задача жизни, все отодвигающая в истории вперед, драгоценная и любимая, как любимое человеческое лицо, и дающая предвкушать свои решения не абстрактному *рацио*, а лишь той собранности и целокупности живых сил человеческого лица, которую мы называем *совестью*. Не *рацио* — этот рассудительный и спокойный мещанин, всегда самодовольный и ищущий своего успокоения, а горячая совесть и любовь к человеческим лицам — вот кто наш надежный руководитель и строитель жизни!»

Для Ухтомского личное восприятие истины — фактор основополагающий, коренной, вне которого всякие рассуждения о нравственности остаются пустопорожним морализаторством. Собственный опыт дает ему подтверждение беспредельной ценности любой частицы жизни и каждого человеческого лица. Однажды погрешив в отношении одного человеческого лица, считал Ухтомский, человек не может быть цельным и чистым ни в отношении «новых задач жизни, ни в отношении новых человеческих лиц, которые он встретит».

Отметим, что поиск райнеровских корней — истока его «нечувствия» к людям — автор повести, в отличие от Димы, ведет в этом же направлении: в бреду Райнер вспоминает своего отца, погрешившего, может быть, только раз против близкого человека (против матери Райнера) и этим убившего в сыне веру в чистоту нравственных побуждений. Не «голос крови», а конкретный жизненный опыт крепит или рвет те тонкие нити, что тянутся не вообще к людям, но к каждому человеку — к *лицу другого*.

В повести Владимира Маканина «Один и одна» проблема одиночества и опознания себя в историческом времени уже не просто конкретизирована — она возведена в иную, высшую степень и окрашена в гражданственные тона. Здесь имеет место явление социальное, принципиально сегодняшнее. Исследуется одиночество человека общественного — смолоду энергичного, с идеалами, да только где-то спасовавшего и сошедшего, скажем так, с дистанции.

В своих размышлениях об истоках общественной нравственности А. А. Ухтом-

ский в свое время подчеркивал взаимосвязанность личного и общественного самоощущения человека: *«Ни общее и социальное не может быть поставлено выше лица,*— писал он,— *ибо только из лиц и ради лиц существует; ни лицо не может быть противопоставлено общему и социальному, ибо лицом человек становится поистине постольку, поскольку отдается другим лицам и их обществу»*.

В повести В. Маканина рассказано о судьбе поколения, еще и ныне активного, поколения «шестидесятников», которому автор выносит своего рода приговор. Хотя при этом не может отделаться и от сострадания, едва ли не от чувства вины...

Как представляет себе писатель следующей когорты, «сорокалетних», метаморфозу своих предшественников — «шестидесятников», не сумевших реализовать их потенциала, обреченных одиночеству вследствие собственной слабости? Погрешивших, может быть, против самих себя и трагически отброшенных на обочину...

Герой повести «Один и одна» Геннадий Голощеков принадлежал к числу блестящих московских студентов начала шестидесятых годов. Он был из тех, кто прекрасно учился, посещал вечера поэзии, спорил о «физиках» и «лириках», бойко витийствовал в пору «больших разговоров» обо всем, что объединялось тогда единым и готовым, как казалось, восторжествовать понятием справедливости.

И столь же активна, всецело погружена в стихию общественности, коллективности, совместности организованного и целеустремленного отдыха, споров и турпоходов, была героиня повести — «она» — Нинель Николаевна.

Потом, когда время переменилось, для них по-прежнему «не существовало своей жизни вне жизни общей, что было закваской все той же их молодости». А в юности это были зачинщики, заводилы... Или только казались такими? «Людьми с взрывчатым, опасным характером», в которых «погибли общественные реформаторы, беспрестанно готовые предлагать вместо плохого хорошее, вместо хорошего лучшее». В сущности автор и не ставит себе задачи понять: были они такими или только казались? Вероятно, казались. Во всяком случае, оглядываясь, видят в прошлом только иллюзии.

Тогда в водовороте событий создались обстоятельства, способствовавшие небывалому человеческому общению — общению единомышленников. Оно пьянило новизной и широтой открывшихся горизонтов. И возможностями искусства — оно приобщало к себе всех мыслящих; и эта «сопричастность была огромна». «Даже любовь — святое юных — была окрашена общечеловеческой сопричастностью». Расставались, не разделив убеждений, не сойдясь во взглядах на современную поэзию или на Пикассо.

Казалось бы, сама действительность учила их «воспринимать мир личностно». А стало быть, и понимать друг друга. Но так ли было на деле? Они ли чего-то из преподанных им уроков недоусвоили, или реальность слишком круто переменилась?

Два десятилетия спустя они уже общались и между собой и с новой порослью «просто как в театре» — холодно, ощущая себя всюду лишними, отжившими свое. Третий герой повести, рассказчик, персонаж не адекватный автору, хотя тоже писатель, «из следующих», всматривающийся в этих двух, подчеркивает характерную черту интеллекта Геннадия Павловича, заключавшуюся «как раз в том, что воспринимать мир личностно он не способен», что его слова — «зеркало», а люди вокруг — это люди вообще. И судит Голощеков о «них», о «теперешних», разговаривая с единственным постоянным собеседником. Но даже этот единственный собеседник для него «никто».

Впрочем, сам рассказчик признается: «Я ведь тоже умею смотреть на него не личностно. Он мне — никто». И «она», с которой рассказчик общается столь же наблюдательно и терпеливо, ему тоже «никто». Нинель Николаевна знает это. Знает, что и она везде лишняя.

Как же это случилось?

Была молодость, ставшая «сезоном» его и ее души. Были разговоры, в которых юные их души выразились. Взлет, пережитый в студенчестве, так и остался вершиной — ярким пятном в сознании Геннадия Павловича и Нинель Николаевны, той доминантой, что и определила их дальнейшее существование.

Нинель Николаевна с тех пор безуспешно ищет и не теряет надежды найти кого-нибудь из «их выводка» — благородного незнакомца. А Геннадий Павлович с его «нероевым сознанием» одержим идеей «роя», в котором не может быть лишних.

В свое время Голощекову грезилась незаурядная карьера, хотя к ней он как бы и не стремился, ненавидя бюрократию и желая лишь бескорыстного служения людям, своей стране. После института он лет семь или восемь «держался на волне своего яркого импульсивного дара», и вокруг его экономических идей, казалось, не утихали страсти; но постепенно стал замечать, как его выверенные вроде бы планы при публичных обсуждениях превращались в легкомысленные фантазии. Ссылки на исторические примеры и на свежие выступления Хрущева уже не вызывали споров; словом, «подступила иная пора». «Стайка» ушла в область воспоминаний, прежняя питательная среда выветрилась, близких по духу друзей с их безусловной поддержкой сменили чужие люди,— но Голощеков, даже чувствуя, что «прогорает», не придал этому должного значения, закусил удила и — окончательно «ляпнулся», предложил что-то совсем уж не то, и его уволили из института; правда, без скандала, тихо.

Жизненный пик был пройден, когда Геннадию Голощекову едва перевалило за тридцать.

Личное и вдохновенное не состыковалось с действительностью, и творец отличных идей, не успев созреть и перейти от слов к делу, начал планомерное отступление в одиночество.

В. Маканина больше всего, пожалуй, и занимает психология этого отступления.

Подавив обиду, Голощеков замкнулся, застыдился своей былой говорливости — «дутых идей», которые «лопнули мыльным пузырем»; он стал сдерживать откровенность в общении, отказывался от участия во всякого рода «круглых столах и открытых вечерах». Он теперь любил повторять с улыбкой: «Я уже не боец».

А еще лет через пять выяснилось, что сверстники и приятели Голощекова, немногим пережив его «звездный» период, тоже «потускнели и прогорели». Они, как считает рассказчик, «растворились в пространстве и во времени, а думали, что растворились в людях. Потускнев, каждый из них словно бы поспешил остаться один. Как и он...»

Остыли мифы и легенды молодости. Геннадий Голощеков превратился в убежденного аутиста. И даже когда возникал у него теперь внезапный порыв помочь другому человеку, кого-то выручить, это ни к чему, кроме неловкости и конфуза, не приводило. Его побуждения больше не вызывали отклика ни в ком, да и в нем самом тоже никто другой «личностно» не откликался. Даже воспоминания о девушках, которым он некогда нравился, сделались странно безличны: ему помнилась «стайка», конкретные лица в ней едва-едва прорисовывались. Встретив Нинель Николаевну, Голощеков — ее ровесник, того же «выводка» — лица и в ней не ощутил, как и она в нем; друг друга они «не узнали». Похоже, утратили и самую способность «узнавать».

Такова предложенная В. Маканиным схема «выветривания» поколения. Впрочем, о поколении в целом говорить не будем. Оно еще здравствует и не сдало позиций; в пору новых веяний оно воспрянуло, дохнув тем же воздухом, что в молодые годы. Горько не то, что в известный период поколение это как бы разоружилось, да и не его в том вина,— больно, что многие не дождались перемен во всеоружии таланта, энтузиазма. Разговор о поколении — особый и непростой. Нас же, вслед за писателем, интересуют причины и следствия душевного увядания Голощекова, степень его опускания. Интересует ответ на поставленный ранее вопрос: точно ли хочет герой В. Маканина преодолеть свое одиночество и какие пути возможного преодоления видятся ему самому?

Что касается причин его духовного падения, Голощекову, может быть, более всего помешало то, что, восприняв горячо общественные настроения 1956—1962 годов, воодушевившись на борьбу с ретроградами, не желавшими признавать исторических ошибок недавнего прошлого, он в значительной мере остался все же в плену скомпрометировавшей себя психологии «лидера» и «толпы», и не случайно «культ своей юности» виделся ему неким немеркнущим идеалом. Голощекову не дано было преодолеть эту «культовую закваску», и в этом исток его драмы.

Перестав быть «лидером», он утратил и свой общественный кругозор. Отныне «грубость практической правды» жестоко опрокидывала все его бессильные благие порывы послужить «святому, напоминающему о юности делу» — абстрактные, в сущности, желания, вроде попытки устроить в свой институт незадачливого товарища студенческих лет. Неуспех этого предприятия вызвал у Голощекова и неподдельную досаду, и недоумение. *«Чтобы помочь, надо что-то собой значить,*— думал он.— И быть может, этого *что-то* добиваться в течение жизни?.. Неужели же помощь, бескорыстие, искренний отклик души удаются как раз тем, кто только и может обеспечить эту помощь своим чином, весом? И что же: Геннадий Голощеков должен был не философов читать и не размышлять о человечестве в упоении собственным интеллектом, а добиваться для себя высокого места, должности, значения и уже в связи с этим местом, должностью и значением — власти?.. Но какова банальность! Он наслаждался познанием, а необходимо было одновременно с этим лезть по лестнице вверх — неужели так?»

Тут, как пишет автор, перед Голощековым «восстало нечто нехорошее, нелюбимое издавна, встала некая пелена, за пеленой — нечто пугающее». Мысль об иных путях Голощекова не посещала, а если и возникала — сердца не трогала.

«Малые дела», от которых «невыносимо несет ведомственной фальшью», и прочие нехитрые попытки наладить контакт с миром не устраивают маканинского героя. Добрый по натуре, интеллигентный, порядочный человек — уж не современный ли Обломов, прочно приросший к дивану? — Голощеков остается всецело во власти неведомого ему «заклятья, ворожбы, приковавшей его после ослепительной юности к судьбе одиночки».

Не только общественная карьера Голо-

щекову не удалась. Невозможной оказалась и обычная любовь к другому человеку, к женщине. Мучений и переживаний в связи с этим было у него хоть отбавляй! Побеждала, однако же, сердечная глухота. «Он» и «она» не поняли, «кто есть кто». Люди одной судьбы и одних вкусов, одних идеалов, они друг другом не «заболели», что-то помешало им сблизиться. И любовь для обоих осталась иллюзией.

...Тут-то Нинель Николаевна и взлелеяла в мечтах некий образ мифического незнакомца, живущего рядом.

А Геннадий Павлович согревался мечтой о некой «преданной молодой жене», появление которой ему самому не представлялось реальным. Реальность же пугала. «Если мысль о молодой жене была ему теперь словно бы кем-то подсказана, была свежа и определенна, мысль о будущем ребенке оставалась глуха, умозрительна». Геннадий Павлович «попросту подавил этот наметившийся вздох неготовности, вздох неотцовства, бесследности на земле». Снова дала себя знать «грубость практической правды», которой Голощеков так боялся.

В мечтах Голощекова многое выглядит великолепно; есть и спасительные идеи, должные охранить его от одиночества, однако над этими идеями он сам все чаще иронизирует.

С особой настойчивостью Голощеков «копает и копает идею роя», которая «из ведомой (поначалу) стала для него ведущей — идею необходимо совместного бытия людей». Эта идея стара, как мир, но для Голощекова и она злободневна, насущна — изнанка его боязни подступающего одиночества.

Обдумывая эту идею, Голощеков хотел бы получить что-то вроде моральной компенсации за те неудобства судьбы, какими его наградили обстоятельства; он хотел, следуя этой идее, спасти себя как личность. Побуждение хоть и оправданное, только, увы, головное, подсказанное изобретательным разумом, а потому опять же снабженное щедрой долей скепсиса и рефлексии.

Примеривая на себя модель «роя», Голощеков берет ее напрокат у более молодого поколения, оставив на его совести все издержки «идеи»; сам он хотел бы ее использовать в чистом виде. Он и принимает и не принимает эту достойную, как ему кажется, внимания мысль, разграничивая ее глубинное и сугубо житейское понимание. Истинное, глубинное он готов взять себе, а житейское, пошлое — адресует другим.

«Роен ты или не роен? — вот в чем вопрос, в чем *для вас* вся истина,— рассуждает он, намекая, что *для него* «вся истина» неизмеримо богаче —...вы, Игорь,— обращается он к рассказчику,— сильны ройностью. Иметь деловых и помогающих друзей, жену с детьми, иметь ненавязчивую родню, иметь во всякой сфере умного своего человека — вот в чем постижение жизни, ее смысл...»

Идеей «роя» он подменяет потребность личностных отношений: любви или хотя бы простого внимания к лицу другого. Роевые отношения по существу безличны, абстрактны; точнее сказать, они сводятся к известному принципу «ты мне, я тебе», за которым кроется отнюдь не любовь и признание в другом личности равной и достойной, а подчас и презрение, ненависть. Здесь люди «никто» друг другу — вне своей общественной функции. Идея роя кажется Голощекову спасительной, но она нивелирует личность и требует той «родственности» с людьми, которая ему недоступна. Как умный человек он понимает это, и потому все его «проработки» идеи роя — не более чем очередной мыслительный эксперимент, игра страдающего ума.

«Рой» — это, пожалуй, и есть общение в той широко распространившейся системе «нечувствия», которую А. А. Ухтомский именует «нравственною болезнью века». Отношения «мнимые», механические, в рамках инстинкта, за пределом душевной жизни.

Голощеков, ощутивший смолоду иное — коснувшийся мира личностных проявлений, все-таки не мог «прилепиться» к рою; он — вне этой «общей лимфатической системы». И чем больше идея роя подчиняет себе его сознание, приобретая едва ли не маниакальный характер, тем дальше от него возможность ее реализовать.

И даже готовность к последней жертве (он говорил, что «хочет слиться с людской массой», «настолько слиться и раствориться, чтобы совсем лишиться индивидуальности», чтобы не стало его «я») уже не могла спасти его от безысходного одиночества. Умом Голощеков пытался искать выход, но сердцем оставался холоден, равнодушен к людским бедам и радостям.

После того, как его однажды избили в электричке незнакомые парни, он стал подозревать в заговоре против себя всех, кого знал, даже и тех, кто никак не мог быть причастен к этому избиению. Голощеков «предъявлял счет окружающим и людям вообще», уверовав, что люди всегда понимали его неправильно, «с самой юности».

Такая же невозможность выйти из тупика непонимания и неприятия со стороны окружающих ее людей заставляет Нинель Николаевну думать о сведении счетов с жизнью: она видит себя беспредельно униженной, оскорбленной, растоптанной.

Оказываясь в полной душевной изоляции, маканинские герои и в окружающих

видят лишь отражение собственного душевного краха; «он» и «она» не в состоянии возненавидеть своего «двойника» — сделать необходимый шаг к «новой правде». Им не вырваться из железных объятий аутизма.

Следует еще раз подчеркнуть: это не судьба поколения, это — жертвы своего времени. Грустный феномен одаренного и умного человека, который испытал в молодости вдохновение романтических надежд, но не одолел инерции застойного, как теперь говорится, общественного сознания.

Речь идет, таким образом, о социально обусловленном одиночестве, о нарушении общественной нормы. Источник бедствий персонажей Маканина не столько в их индивидуальных свойствах или недостатках характера, сколько в специфике общественных обстоятельств, отразившихся в личных судьбах.

Писатель исследует определенный и достаточно распространенный общественный тип; или, как писал А. А. Ухтомский, «склад восприятия действительности», который, с одной стороны, «довольно легко передается по преданию от других, поддерживается привычкою и традицией данной общественной группы», а с другой — может быть и весьма различен у людей одного и того же круга. Традиционное, общественно обусловленное и личное образуют в таком характере — типе — своего рода единство. Устойчивое, но не застывшее, ибо природа человека бесконечно подвижна. *«В сущности,—* писал Ухтомский,*— после каждого более или менее крутого перелома жизни склад дальнейшего восприятия и опыта уже не тот, что был до сих пор!»*

И если иметь в виду героев Владимира Маканина, вопрос, может быть, лишь в том: успеют ли такой Голощеков и такая Нинель Николаевна вписаться в припоздавший лично для них крутой общественный поворот, или жизнь совсем отодвинет их с исторической дороги?

Были, однако, в этом поколении иные судьбы. Были и другие ответы на старинный вопрос — как превозмочь одиночество?

Повесть Андрея Битова «Человек в пейзаже», аккумулируя в себе духовный опыт именно того поколения, к которому принадлежит маканинский Голощеков, ставит проблему одиночества в ином и, пожалуй, неожиданном аспекте.

А. Битов избирает в своей повести странноватую на первый взгляд ситуацию — надбытовую, если угодно, инфернальную и одновременно отягченную самым что ни на есть низким бытом. Ни с того, ни с сего, по его признанию, писатель-рассказчик вместе со своим героем-художником, реставратором, «вываливается из своей обыденности и серости в *настоящее*, в такую внезапную дыру». И судить о повести можно только согласившись с предложенными автором правилами игры, воспринимая как неизбежную данность «восхитительный и страшный эпизод» — жестокое опьянение собеседников, которое служит условием их откровений, а вместе с тем, вероятно, и оправданием их возможных заблуждений. Форма повести «Человек в пейзаже» — своего рода философский диалог (с оглядкой на обстоятельства). А может быть, было бы правильнее сказать: персонифицированный — «раздвоенный» — монолог писателя, где и герой и рассказчик, каждый в своей роли, взаимно уточняют и дополняют друг друга. Монолог, где оба они вместе служат писателю динамичной духовной моделью, которая нуждается в нравственной оценке.

О чем в повести разговор?

Рассказчик застает художника за мольбертом на натуре — в той, как оба они самостоятельно открывают, «единственной точке», откуда можно не просто созерцать прекрасный вид на округу, а разглядеть и нечто большее: проникнуть в глубину пейзажа, чего, как выясняется, и добиваются и художник, и писатель.

Рассказчик и его собеседник, настойчиво, многократно пишущий пейзаж с той же самой точки, жаждут постичь нечто скрытое наслоениями веков. За многими незримыми стыками: «дикой природы с одичавшей культурой, одичавшей культуры — с культурным пространством, культурного пространства — с разрушением, разрухи — с одичанием, одичания — с дикостью» — мечтают они в момент духовного озарения постичь «все как было». Поймать тот таинственный луч, который позволил бы им распознать отведенную человеку роль на Земле.

«Где человек? кто человек? и зачем человек?» — добиваясь ответа на эти вопросы, они хотят «выйти на контакт», расценивая мир как чье-то творение, не имеющее себе аналогий, возникшее не столь важно — как, но — зачем?

Не был ли творец мира величайшим художником?

И здесь еще раз обратимся к Алексею Алексеевичу Ухтомскому, теперь — к его письму от 18 июля 1929 года, где звучит мысль о том, что очевидность и правда могут очень расходиться между собой. Мы живем и строим свои близорукие планы в сутолоке очевидного. «Близорукая очевидность застилает от людей, сплошь и рядом, подлинный смысл и правду событий, их перспективу, красоту и значение...»,— пишет Ухтомский. И только большой художник или поэт помогают нам видеть мир в истинном свете и красоте. «Отчего мы так ценим

поэтов и больших художников? Кто такой для нас поэт, пророк и художник, этот „чудак" и „странный" посреди обыденного нашего общежития? Это тот, кто умеет и силен раскрыть нам забываемую правду и красоту бытия, которая застилается для нас шумом обыденной очевидности. Очевидность доступна нам всегда и везде; правда — в редкие минуты душевной ясности...»

Художник для Ухтомского — еще и пророк. Ему доступны те минуты душевной ясности, когда правда сияет сквозь очевидность.

Эта идея пронизывает и повесть А. Битова. Идея, позволяющая в непривычном ракурсе высветить и проблему людского одиночества в земном «пейзаже».

Человеку пора понять: он не сотворил пейзажа, «мир был окончательно готов, когда в нем появился человек»; своей деятельностью он нарушил внутренние связи, что-то непоправимо испортил; разрушенное им «единство пейзажа» оказалось брешью для действия законов единства, «не им основоположенных». И потому теперь задача человека: дать себе ясный отчет в том, что «жизнь, бытие» сами по себе — язык, который ему наконец нужно понять. Не ради спасения мира — мир бессмертен, а ради спасения себя самого как частицы этого мира. Человек должен осознать не только свои силы, но и свою ограниченность, относительность возможного для себя знания.

Так рассуждает герой А. Битова, излагая вслед за тем свою «теорию слоя». «То, в чем мы живем, то, что мы видим, воспринимаем и постигаем,— размышляет он,— то, что мы называем реальностью,— тоже диапазон, за пределами которого мы также гибнем, как замерзаем и задыхаемся. Мы думаем, что реальность наша беспредельна, только, видите ли, мы ее еще пока не всю познали; на самом же деле наша реальность — тот же диапазон, отнюдь не шире того, что мы слышим и видим. Мы живы лишь в этом диапазоне. И мы живем лишь в нем, мы живем совсем не в реальности, а лишь в *слое* реальности, которая, по сути, если бы мы были способны вообразить реальные соотношения, не толще живописного слоя. Вот в этом масляном слое мы и живем, на котором нас нарисовали. И живопись эта прекрасна, ибо какой художник ее написал! Какой Художник!..»

Слой, о котором толкует битовский реставратор, имеет свои пределы. Люди, пытаясь проникнуть «вглубь», за этот слой, не хотят согласиться с тем, что «там, вглуби, совсем уже не наша реальность», что «устройство нашей жизни имеет еще свое устройство, отнюдь не внутри нашей жизни расположенное»; и когда человек, упорствуя, считает, что в своем постижении мира он идет «вглубь»,— на самом деле он идет лишь «поперек слоя», а за этим слоем — «пропасть, дыра, рваные края», неподвластная человеку сфера. Здесь человеку следует остановиться в своих притязаниях, не двигаясь «дальше немой догадки», потому что изначально «не было такой задачи, чтобы мы поняли, была задача, чтобы мы жили!»

Мысль битовского героя прихотлива, он не раз как бы оступается и поднимается вновь, нащупывая ее ускользающую нить. Тем не менее, его речь о трагических для человечества устремлениях к «пониманию» того, что за «слоем», все-таки, вопреки всеобщему скепсису, зовет нас приблизиться к неотложному решению единственной насущной теперь задачи: как нам вести себя, как относиться сейчас к природному миру — «чтобы мы жили».

Собственно, ради решения этой задачи и возникает в повести А. Битова развернутая метафора о мире как творении гениального Художника и о человеке, призванном уразуметь мир как гениальное творение, как воплощенный образ.

Попросту — «художник нуждался в другом художнике», «художник не может быть один». «Понимание, неодиночество — в этом смысл творения, как и художественного создания,— рассуждает битовский реставратор...— Все жаждут понимания, кто создает».

Неизбежность противостояния одиночеству и на уровне «смысла творения» в данном случае более чем очевидна. Не призывая мудрствовать над «заслойной» тайной мироздания, над феноменом нашего космического одиночества во Вселенной, А. Битов своей повестью как бы подталкивает читателя к осознанию истинного предназначения человека в окружающем его прекрасно созданном мире. Призвание, предназначение человека сегодня, как и тысячу лет назад,— созидательное «неодиночество» и ничто другое! Справиться с глобальной задачей — «чтобы мы жили» — человек сможет лишь не теряя веры в это свое предназначение.

...Иллюзии одиночества. Как бы ни терзали они человеческое сознание, почва под ними зыбка, они не обещают людям никакой утешительной перспективы. Что и говорить, проклятие индивидуалистического отношения к жизни продолжает уродовать человека,— но, в чем не сомневался А. А. Ухтомский, «естество наше делаемо есть», и потому человек способен сбросить с себя этот унизительный гнет. «Спасение здесь,— писал А. А. Ухтомский,— исключительно в любви, в одной только ней, открывающей человеку, что центр жизни не в нем, а в человеческих лицах и лице вне его! Так что, когда все оскудеет и все пройдет, останется любовь, и она искупит всё!». Не в этом ли и ответ? И решение нашей проблемы...

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДНЕВНИК

М. АМУСИН

ФАНТАСТИКА НА РАНДЕВУ СО ВРЕМЕНЕМ

На улице любителей фантастики праздник. Три ленинградских издательства выпустили почти одновременно довольно объемистые сборники фантастической литературы: «Эстафета разума» (Ленинградское отделение «Детской литературы»), «Меньше — больше» (Лениздат) и «День свершений» («Советский писатель»). В последней книге представлены произведения участников семинара фантастики при Ленинградской писательской организации.

Произведения, вошедшие в эти сборники, очень не схожи по стилю и тематике. И в то же время каждый из них имеет свой колорит, определяемый, видимо, принципами и пристрастиями составителей. «Эстафета разума», например,— книга, предназначенная «для среднего и старшего школьного возраста». Должен ли такой возрастной «адрес» влиять на характер сборника? Ведь эта пора жизни — самая благодарная для усвоения важнейшего постулата фантастики: представления о неизмеримой сложности, драматичности мира, в котором мы живем. И все же сборник (кстати, хорошо иллюстрированный) слишком уж тщательно сориентирован на восприятие если не детское, то, скажем, облегченное.

В чем это проявляется? Больше половины произведений принадлежат к фантастике юмористической. Сюда относятся рассказы И. Варшавского (родоначальника и классика этого поджанра), А. Балабухи, О. Ларионовой. Любители оценят и размашисто-пародийный космический детектив А. Кужелы «Криминалистическая хроника с Иакинфом страшенным и его робстрзаками», на котором лежит отблеск «Звездных дневников Йона Тихого»; и сказово-зубоскальную миниатюру А. Щербакова «Третий модификат» — о дублировании интеллектуального начала личности и вытекающих отсюда парадоксальных возможностях; и озорную юмореску О. Тарутина «Вот хоть убей — не знаю», остроумно варьирующую тему необъяснимых природных явлений.

Что ж — проветривание мозгов принципиально несерьезными, немыслимо-забавными ситуациями, безусловно, входит в «функциональный спектр» фантастики. Однако — не гипертрофировано ли смеховое начало в книге «Эстафета разума»? Или мир вокруг нас стал безоблачным, или будущее нынче представляется более беспроблемным, чем лет двадцать назад, когда подростки зачитывались книгами Ефремова и Стругацких, Брэдбери и Лема, блистательно трактовавших вовсе не шуточные темы? Мне кажется, составители отдали чрезмерную дань духу «праздничности», пронизывающему сегодняшнюю молодежную культуру и теснящему склонность к сосредоточенному размышлению.

Есть, конечно, тут и вполне серьезные произведения — в первую очередь, повести А. Шалимова «Эстафета разума» и Б. Романовского «Преступление в Медовом Раю». В рассказанной Шалимовым истории исследования Марса советской и американской экспедициями возникает, наряду с известной уже гипотезой о фаэтонцах — родоначальниках разумной жизни в Солнечной системе, и вполне свежая, «модная» фантастическая идея «информационного поля», незримо присутствующего в природной среде и аккумулирующего знания, опыт поколений предков. К сожалению, повесть несколько портит приверженность автора к анахроничным идеологическим клише: наши космонавты как на подбор храбры, благородны, отзывчивы, а их американские коллеги замкнуты, недоброжелательны и вообще все время балансируют на грани превращения в сотрудников ЦРУ.

В повести Б. Романовского переплетаются два мотива, популярных в социальной фантастике: угрозы тотальной сытости, уничтожающей стимулы духовного развития цивилизации, и необходимости каждому человеку противиться соблазнам деградации, низшим началам своей природы. Участники экспедиции на далекую планету для лучшего постижения форм тамошней жизни снабжены Биотрансформатором — устройством, способным преобразовывать организм человека в биологическую оболочку любого другого существа. Это помогает землянам проникнуть в секреты эволюции разума на планете. Исконные ее обитатели, синие лебеди, наследники высокоразвитой цивилизации, остановились в своем движении и даже деградировали, ибо оказались в сверхблагоприятных жизненных условиях, не требовавших борьбы и созидания. И такой «райский» способ существования оказывается весьма привлекательным для одно-

го из участников экспедиции. Антуан Пуйярд, полностью перевоплотившись в аборигена-хищника, убивает одного из своих товарищей. К сожалению, неопровержимо верная идея, определяющая замысел, воплощается здесь довольно прямолинейно и схематично. В повести господствует несколько комичный рационализм скрупулезного доказательства истины, давно уже ставшей аксиомой.

Общим местом звучит нынче утверждение, что без чудесного нет фантастики. Но вот что считать чудесным? Сами по себе традиционные атрибуты фантастической литературы, служившие на заре ее возникновения могучими магнитами для читательского воображения — космические путешествия, контакты с иными мирами, перемещения во времени — стали черным хлебом современной фантастики и никак не могут претендовать на статус чудесного. Тем ценнее оказывается сегодня оригинальный и неожиданный ход, бросающий новый свет на привычную уже ситуацию. Такой сюжетно-смысловой вираж присутствует в рассказе В. Рыбакова «Домоседы». Молодой автор (известность ему принесло участие в создании фильма «Письма мертвого человека») нестандартно решает тему космического путешествия на саерхдальние расстояния, продолжающегося десятки лет. Небольшая колония «домоседов» — художников, писателей, музыкантов, во имя своего творчества отгородившихся на острове от суеты и шума технической цивилизации,— оказывается на деле экипажем космического корабля, людьми, вызвавшимися участвовать в жестоком эксперименте. Они пошли на то, чтобы жить в иллюзорном мире, смоделированном компьютером на борту космолета, согласились на психообработку, лишившую их памяти. Осваивать незнакомую планету предстоит их детям, родившимся уже в космосе. В рассказе Рыбакова не просто найден острый, оригинальный сюжетный ход — в нем воплощена мысль о неизбежности драматических коллизий на пути, ведущем человечество а космические дали.

Сборник «Меньше — больше», адресованный взрослым любителям фантастики, тематически гораздо шире, чем «Эстафета разума». При его составлении, наверное, господствовал критерий максимального разнообразия, представления всего спектра смысловых и жанровых поисков писателей-фантастов (в данном случае — ленинградских). Проходит ли здесь магистральная дорога, или ценность фантастики — в множестве извилистых тропинок, обещающих новое и неожиданное за каждым поворотом? Пожалуй, вернее второе. Но вот обещания сбываются далеко не всегда.

Взять хотя бы жанр «твердой» научной фантастики, в последние годы явно потесненный на второй план. В сборнике он представлен несколькими произведениями. Рассказ В. Жилина «Проблема Соколовского», увы, не ярок уже по замыслу, в нем без особой изобретательности разрабатывается мотив овладения человеком потаенными ресурсами своего организма. В рассказе А. Смирнова «Энергия протеста» исходная коллизия своеобразна и актуальна. Природа, натерпевшаяся от варварского обращения со стороны людей, восстает против обидчиков. Но здесь идее недостает сюжетной «плоти», прописанности, которые превращают замысел в художественную реальность.

За честь научной фантастики постоял опытнейший С. Снегов своей повестью «Право на поиск». Писатель увлечен идеей изменения хода времени на атомарном уровне и «отливает» ее а форму остропсихологического повествования, причем психологизм здесь вовсе не в ущерб интеллектуальной и сюжетной напряженности. Оказывается, старая, добрая, уэллсовской традиции логика фантастической условности еще сохраняет права гражданства. Конечно, мы понимаем, что все обстоятельные рассуждения персонажей повести о способах изменения течения аремени паранаучны, а все же подкупают изящество логических выкладок автора, скрупулезность анализа всех следствий, вытекающих из принятого фантастического допущения. Остроумен предлагаемый Снеговым способ стабилизации колебаний атомного времени организма у людей, связанных между собой влечением любого рода (дружбой, любовью, даже ревностью). «Психодиполь» как обозначает это явление душевной связанности автор, способен продлить человеческую жизнь. Так писатель с едва заметной улыбкой подводит теоретическую базу под хорошо известный эмпирический закон: любовь делает жизнь богаче и длиннее (вспомним Филимона и Бавкиду).

В сборнике широко предстаалена «остраненная проза», лежащая в пограничье между собственно фантастикой и литературой нравственно-психологической темы. И здесь, конечно, залог успеха автора — в отыскании незаемного изобразительного ракурса, «пера жар-птицы», освещающего изображение светом необычного. А. Хлебников в повести «Отблеск грядущего» использует идею путешествия во времени для добросовестного воссоздания страшных картин ленинградской блокады. Однако что прибавляет к ним присутствие в городе «гостьи из будущего», сотрудницы института Активной Связи Времен? Стоило ли тревожить трагическую тему ради иллюстрации и без того очевидных нравственных истин?

В рассказе В. Рыбакова «Свое оружие» дается едва ли не образцовое решение

задачи использования фантастического допущения для создания нетривиальной этической коллизии. Главное здесь для писателя — взорвать кажущуюся самоочевидность расхожих моральных заповедей, воззвать к «нравственному воображению» читателя. Что значит быть самим собой? Как влияет совесть на успех в жизненной борьбе? Является ли нравственным поведение, которое может обречь тебя на поражение и принести вред тем, за кого ты отвечаешь? Такими вот непростыми вопросами задается Рыбаков в своей миниатюре, выполненной с суховатой интеллектуальной виртуозностью.

Но самая яркая удача сборника — это, на мой взгляд, повесть О. Ларионовой «Чакра Кентавра». Смелое и пластически продуктивное воображение — очень важное для фантаста качество — в высокой степени присуще автору. И в этой повести на редкость ярко и выразительно выполнена картина мира дряхлой планеты с некогда высочайшей технической цивилизацией, ныне костенеющей под игом традиций и ритуалов. Но это еще не все. В фантастике воистину «полцарства» можно отдать за то, что я бы назвал идеей-образом, конкретным, пластически оформленным источником смыслового напряжения. Такие находки нечасты: Океан в лемовском «Солярисе», Зона в «Пикнике на обочине» Стругацких, Вечность в романе Азимова «Конец вечности». К таким смыслонаполненным и зримым символам можно отнести и образ обитателя планеты Джаспер, человека с птицей-крэгом, сидящей на его плечах. Каждый джасперянин — слепой от рождения, он видит мир только глазами крэга, с которым связан пожизненными узами. Эта острая, по-настоящему фантастическая ситуация служит в повести источником самых неожиданных сюжетных поворотов и коллизий. Правда, ближе к концу повествования, на мой взгляд, излишне приближается к жанру «космической оперы» с «аэлитным» мотивом любви землянина и красавицы-инопланетянки.

«День свершений», несмотря на то, что и в нем представлены произведения очень разных авторов, больше, чем другие сборники, проникнут неким объединяющим началом. Возможно, им является воспринятый участниками семинара от его руководителя, Б. Стругацкого, дух проблемности, стремление к масштабному осмыслению тенденций развития цивилизации.

Эмблематична для книги небольшая повесть А. Зинчука «Не хочу быть двоечником». Молодой писатель берет стократно использованную ситуацию робинзонады: братья-близнецы, почти подростки, решают провести каникулы на необитаемом острове. Легко представить себе, как эта ситуация разворачивалась бы в педагогически ориентированной юношеской фантастике: испытав свои силы и закалив волю в столкновении с трудностями и необычными явлениями, герои возвращаются домой повзрослевшими, возмужавшими.

Не то у Зинчука. Тревожная, фантасмагорическая реальность острова, где необъяснимо исчезают и появляются предметы, где сознание братьев раздваивается, где внезапно начинают зaучать голоса умерших, подвергает суровому испытанию не находчивость и волю героев, а их разум, сталкивает их лицом к лицу с неуютным, жестким миром, не дающим гарантий счастливого финала. Мы вместе с героями повести так и не узнаем, в каком эксперименте им выпало участвовать, что за сила его организовала. А может быть, ситуация, в которой очутились подростки,— метафорическое выражение состояния человечества, пробуждающегося от золотого сна социальных утопий, технократических иллюзий, наивной веры в линейный прогресс?

О грозных последствиях пляски ядерного джинна, вырвавшегося из бутылки, предупреждают повести В. Жилина «День свершений» и В. Рыбакова «Первый день спасения». У Жилина — добротно написанная, динамичная, в меру загадочная история о том, как несколько «десантников» из большого мира проникают в страну, отгородившуюся от челоаечества непроницаемым сферическим куполом. Посланцам человечества приходится разрушать не только этот купол, но и напластования невежества, суеверий, ожесточенности а умах и душах «аборигенов».

Гораздо сложнее по смысловому составу повесть «Первый день спасения». В ней страшные картины существования горстки людей, выживших после ядерной катастрофы, эпизоды грызни за власть различных групп военных соседствуют с размышлениями о сущности человека и природе зла, о путях его преодоления. Перенасыщенная порой апокалиптическими деталями повесть проникнута и одухотворена пронзительной мыслью: борьбу за спасение человечества каждый должен начать с себя, с преодоления собственного страха, эгоизма, апатии.

«Третий Вавилон» А. Столярова сочетает научно-фантастическую гипотезу (это, кстати, редкость в сборнике «День свершений») с тугой закрученностью сюжета, с хемингуэевской лапидарностью, жесткостью повествовательной манеры. Динамика погонь, схваток, критических ситуаций, загадочная терминология и атрибутика — родная стихия автора. Речь идет о человеке, овладевшем способностью ясновидения, познания будущего. И он, назвавший себя Нострадамусом, старается предупредить самые страшные преступления и катастрофы, сообщая о

них миру. Таинственного предсказателя, естественно, ищут, за ним охотятся спецслужбы разных стран. Ход этих поисков и образует фабулу повести. Результирующая же мысль ее — всезнание преждевременно, оно убивает своего обладателя, погружая его в бездонный поток мировой боли.

На противоположном краю тематико-стилистического спектра сборника — спокойные, прозрачные рассказы С. Логинова, работающего в редком жанре исторической фантастики. Изящно построена новелла «Цирюльник», в основе которой лежит столкновение средневекового ученого-медика с невесть как попавшим в его эпоху врачом из далекого будущего. Логинов не довольствуется простой демонстрацией «эффекта положения». В рассказе есть движение мысли, и траектория этого движения непредсказуема. Настоящим ученым оказывается мэтр Юстус, ибо он, пусть на ощупь, ищет и находит новое, шаг за шагом продвигаясь в пространстве, окутанном мглой незнания. Господин же Анатоль пользуется готовым, он видит далеко только потому, что стоит на плечах предшественников, образующих гигантскую пирамиду. Собственный его рост вполне зауряден и явно не высок.

И еще об одном произведении сборника хочется сказать несколько слов — о повести А. Измайлова «Счастливо оставаться». Жанр ее я бы определил как бытовую фантасмагорию. История о том, как молодой человек, с головой погруженный в семейные и служебные заботы, вдруг получает возможность улететь на Луну в порядке эксперимента по нуль-транспортировке, оборачивается хлесткой, богатой сатирическими штрихами зарисовкой нашей повседневной жизни с ее поветриями, модой, жаргоном, с неистребимым бытом и желанием прорваться сквозь его завесу в какое-то иное измерение. И эфемерность этого стремления, которое не воплощается в усилие души, передана здесь иронично и остро.

На дворе у нас — сложное, переломное время, «время жестоких чудес», говоря словами Станислава Лема. Разумеется, это не значит, что фантастика обязана целиком предаться мрачным пророчествам, созданию картин конца света. У ее поклонников всегда будут в цене яркая игра ума, невероятная ситуация, сотканная из невесомой ткани авторского вымысла. Но именно сейчас на первый план выходит специфическая функция фантастической литературы — ее способность настраивать сознание читателей на волну перемен, вынашиваемых в недрах времени. И лучшие произведения сборников, о которых здесь шла речь, вполне отвечают этому современному назначению фантастики.



Л. ШАПИРО

НОВОЙ ГОЛЛАНДИИ — НОВУЮ ЖИЗНЬ

Надлежит вам беречь остатки кораблей, яхт и галеры, а буде опустите, то взыскано будет на вас и на потомков ваших...

Из указа Петра I от 7 апреля 1722 года переяславским воеводам

В развитии регулярного военно-морского флота городу на Неве принадлежит особая роль. На его верфях строились корабли, отсюда уходили в неизведанное экспедиции, руководимые талантливыми флотоводцами. В Петербурге появились и первые в России научно-просветительские учреждения флота, известные теперь как Центральный военно-морской музей (ЦВММ) и Центральная военно-морская библиотека (ЦВМБ).

Свое начало ЦВММ берет от основанной по указу Петра I в январе 1709 года «модель-каморы» — хранилища моделей кораблей. Она была построена перед входом в Адмиралтейство, на том месте, где сегодня находится фонтан. Вскоре это здание передали под временную церковь, а на территории Адмиралтейства возвели новое (оно было заменено в 1714 году строением, выполненным по чертежам, разработанным собственноручно Петром I).

В 1805 году на базе модель-каморы был учрежден «музеум» с библиотекой и чертежной. К этому времени здание, построенное по петровским чертежам, обветшало, и его снесли, а музеум разместили на втором этаже Адмиралтейства. В 1808 году он получил название «Морской музей имени императора Петра Великого».

В 40-х годах XIX века, когда было решено прекратить строительство кораблей в Адмиралтействе, а здание перестроить под Морское министерство и учреждения Петербургского порта, часть помещений, занимаемых музеем, понадобилась для других целей. Поэтому Николай I распорядился оставить в нем лишь модели кораблей, а остальные экспонаты раздать учреждениям и частным лицам. Но уже полтора-два десятилетия спустя оставшаяся часть музея начала бурно возрождаться: моряки, возвращавшиеся из дальних странствий, считали своим долгом преподнести в дар детищу Петра Великого какую-нибудь диковину. В отдельные годы поступления достигали двух-трех тысяч единиц. Однако экспонаты, надо сказать, располагались бессистемно, единой экспозиции в музее не было.

В таком виде «музеум» просуществовал до февраля 1919 года. Но уже два месяца спустя Совет Народных Комиссаров сумел изыскать средства для Комиссариата по морским делам «на приведение в порядок» Центрального морского музея в Петрограде. Надо ли объяснять, какое значение Советское государство с начала своего существования придавало пропаганде истории отечественного флота!

По мере пополнения коллекций ЦВММ все острее ощущалась нехватка экспозиционной площади, и в 1939 году в соответствии с решением правительства музей перевели в здание бывшей Фондовой биржи на Стрелке Васильевского острова. Это было равносильно тому, как если бы какой-нибудь бедолага, потерявший уже всякую надежду, переселился вдруг из тесной коммуналки в благоустроенную квартиру, да еще с видом на Неву и Петропавловскую крепость! Но все же... Проведи те, кто готовил решение, достаточно глубокий анализ фондов музея да прими во внимание тенденцию к их быстрому пополнению, уже тогда стало бы ясно, что здания Биржи общей площадью около десяти тысяч квадратных метров для ЦВММ мало и он обречен на хронический, все усугубляющийся дефицит экспозиционной площади. Положение осложнилось год спустя, когда туда же перевели и ЦВМБ.

Недальновидность принятого решения особенно проявилась в годы Великой Отечественной войны и позднее, когда кораблестроение и боевые средства флота стали быстро совершенствоваться. Разумеется, это не могло не отразиться на пополнении коллекции. Переселение в 1957 году ЦВМБ в Инженерный замок проблему не решило.

Фонды музея росли стремительно. Если в 1979 году в них насчитывалось шестьсот сорок четыре с половиной тысячи экспонатов, в том числе около тысячи семисот моделей кораблей и свыше тысячи четырехсот живописных полотен, то к 1 января 1988 года эти цифры выросли примерно в полтора раза.

Громадное большинство этих памятников истории для обозрения недоступно, так как экспозиционная площадь ЦВММ и его четырех филиалов (крейсер «Аврора» и музеи «Кронштадтская крепость», «Чесменская победа», «Дорога жизни») позволяет представить лишь около двух (!) процентов единиц хранения от почти восьмисот тысяч, которыми располагает музей. И это в условиях повышенного интереса к флотской тематике (почти миллион посетителей ежегодно — тому свидетельство). Едва ли ведь можно считать всерьез, что решить эту задачу способны постоянно действующие передвижные выставки. К тому же всякий вывоз экспонатов за пределы музея сопряжен с опасностью их порчи и утраты, чему есть примеры.

Сотни тысяч экспонатов, скрытых от глаз посетителей, таят в себе запасники в разных местах города (используются даже коридоры административной части здания ЦВММ, плотно заставленные моделями). Нехватка площадей и объемов, нарушение элементарных требований хранения, отсутствие системы поддержания микроклимата, крайне необходимого для сбережения памятников истории — все это мало способствует развитию музейного дела. Так, например, торпеды хранятся в штабелях, и к ним нет постоянного доступа для периодических осмотров и переконсерваций. А это редчайшие, практически невосполнимые образцы снятой с вооружения техники!

Теснота вынуждает и к сужению тематики экспозиций. Так, во всех авторитетных морских музеях за рубежом существуют разделы по истории иностранных флотов, в ЦВММ же их нет. Нет здесь и столь важных разделов, как «Научные основы кораблестроения», «Организации — разработчики оружия», «Морская авиация», «Корабельная энергетика», «Поисково-спасательная служба», «Проектные, судостроительные и судоремонтные организации». Отдельные, случайные экспонаты, представленные без соблюдения хронологической последовательности, не в счет.

Посетители не могут удовлетворить здесь и интерес к истории торгового флота, Великих географических открытий, подводной археологии, маячного дела. Можно лишь с грустью вспомнить о ленинградском Музее торгоаого мореплавания и портов, размещавшемся в довоенные годы на Мойке, 108 — в бывшем дворце великого князя Александра Михайловича — и позднее ликвидированном (см.: «Нева», 1986, № 7).

Не в столь критическом, но достаточно сложном положении находится и ЦВМБ, выросшая из книжного собрания Адмиралтейств-коллегии, насчитывавшего всего двести пятнадцать томов, в 1923 году переименованная из Библиотеки Морского министерства в Главную морскую библиотеку, а в 1938-м — в ЦВМБ. В 1917 году в ее фондах было около восьмидесяти тысяч печатных изданий, теперь их количество приближается к миллиону, и ежегодные поступления превышают двадцать тысяч единиц. Старые фонды ее — бесценны! Тут и первые русские книги по военно-морской тематике, и печатные труды флотоводцев, мореплавателей и кораблестроителей разных стран, изданные в XVII — XIX веках, и книги из личных библиотек, например адмирала И. Ф. Крузенштерна...

Можно было бы долго перечислять все беды и проблемы библиотеки — их ничуть не меньше, чем у музея. Но каковы же пути решения? Ведь исходить-то нужно из того, что возможности для расширения нынешних помещений ЦВММ и ЦВМБ отсутствуют. Следовательно, нужно изыскивать другие, бо́льшие по площади сооружения, и при этом — в черте городского исторического центра.

Место такое есть...

Когда в начале XVIII века выяснилось, что петербургское Адмиралтейство не справляется с пополнением флота на Балтике крупными кораблями, решено было строительство небольших скампавей и галер сосредоточить в другом месте. И вот в 1712 году в нижнем течении реки Мьи (Мойки) возникла верфь, названная Скампавейским двором, затем, в 1714 году, переименованная в Галерный двор. В 1717 году для связи Адмиралтейства с новой верфью от него по трассе нынешнего бульвара Профсоюзов начали рыть канал, позже названный Адмиралтейским, и почти под прямым углом к нему — другой, Крюков [1].

Так между Мойкой и пересекающими ее двумя каналами образовался островок треугольной формы площадью около шести гектаров. Петр I разместил там одну из своих резиденций: и каналы, и расположенная рядом верфь напоминали о столь любимой им Голландии. Этим, вероятно, и объясняется название «Новая Голландия», закрепившееся за островком.

Для строительства кораблей в Адмиралтействе и Галерном дворе необходим был лес, в ту пору хранившийся преимущественно на плаву, в воде. Бревна при этом набухали и перед использованием требовали длительной просушки. Поэтому в 1731 году

[1] В 40-х годах XIX века часть Адмиралтейского и Крюкова каналов была засыпана.

Сенат предписал корабельный лес «содержать под сараями, а не под водой». В Новой Голландии соорудили лесные склады, а саму ее вывели из ведения Дворцовой конторы и подчинили Адмиралтейств-коллегии. В 60-х годах того же столетия было решено также организовать там постройку и ремонт небольших кораблей. Островок полностью освободили от стоявшего на корню леса, подсыпали землей с последующей утрамбовкой, окончательно обветшавшие сараи снесли, а взамен их возвели кирпичные здания для складов леса и мастерских. Разработал проект и возглавил строительные работы известный архитектор С. И. Чевакинский. В 1765—1770 годах на берегах Мойки и Крюкова канала поднялись высокие здания с длинными фасадами. Для погрузки-выгрузки барж в Новой Голландии был вырыт обширный бассейн с двумя протоками в Мойку и Крюков канал. Над первым из них к 1779 году по проекту архитектора Ж. Б. Валлен-Деламота возвели редкую по красоте классическую портал-арку.

Застройка островка продолжалась и в XIX веке. В северо-западной его части в 1829 году начала функционировать Морская исправительная тюрьма — трехэтажное кольцеобразное в плане здание с внутренним круглым двором. На углу Новой Голландии, обращенном к Благовещенской площади (ныне площадь Труда), появился еще один кирпичный корпус, внешне повторяющий построенные ранее, а в противоположной стороне островка у берега Мойки — здание коменданта. Со временем склады переоборудовали в магазины для хранения различного имущества Морского ведомства. В конце XIX века в Новой Голландии разместились различные учреждения Петербургского порта. В 1892—1894 годах там вдоль берега Адмиралтейского канала (ныне канал Круштейна) построили первый русский опытовый бассейн, а несколько позже — станцию испытания углей, сразу же вызвавшую нарекания окрестных жителей, так как она загрязняла воздух в центре города...

В первые дни Советской власти радиостанция Новой Голландии, размещавшаяся во флигеле у протока из бассейна в Крюков канал, передавала декреты Второго Всероссийского съезда Советов. Рано утром 9 (22) ноября 1917 года ее посетил В. И. Ленин. Здесь он написал обращение к солдатам и матросам о смещении генерала Духонина с поста Верховного главнокомандующего (за его отказ выполнить предложение Советского правительства немедленно начать переговоры о перемирии со всеми воюющими странами) и о назначении на его место Н. В. Крыленко.

С этого времени сооружения Новой Голландии в основном использовались под различные склады ВМФ, а опытовый бассейн положил начало Центральному научно-исследовательскому институту имени академика А. Н. Крылова.

Такова вкратце история этого уголка Ленинграда, теснейше связанного с флотом на протяжении столетий и сохранившего до наших дней романтический внешний вид и аромат далекого прошлого. С прошлым связано и окружение Новой Голландии. В нескольких минутах ходьбы на восток — Адмиралтейство. На противоположном берегу Крюкова канала — здание 2-го Балтийского флотского экипажа, где в дни Октябрьского вооруженного восстания размещался штаб левого фланга революционных войск, штурмовавших Зимний дворец. Неподалеку, фасадом на канал Грибоедова (бывший Екатерининский) — казармы Гвардейского экипажа, а рядом, за Крюковым каналом — Морской Николо-Богоявленский собор, в просторечии Никола Морской. В соборном сквере высится памятник морякам Гвардейского экипажа, погибшим в русско-японскую войну; установлен он на добровольные пожертвования. С запада Новая Голландия соседствует с одним из старейших отечественных судостроительных заводов — бывшим Новым Адмиралтейством (ныне Ленинградское Адмиралтейское объединение).

Где еще в Ленинграде можно найти место, более подходящее для размещения ЦВММ и ЦВМБ! Вот лишь две цифры: сорок пять тысяч квадратных метров (площадь сооружений Новой Голландии, используемых ВМФ) и двенадцать тысяч или даже меньше (суммарная площадь помещений, занимаемых сегодня ЦВММ и ЦВМБ). Какова разница! А еще — здания института имени Крылова, среди которых четырех- и пятиэтажные, и опытовый бассейн, и обширная внутридворовая территория, позволяющая вынести часть предметов для экспонирования и хранения на открытые площадки, как это сделано, например, в ленинградском Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи...

На территории Новой Голландии можно не только разместить ЦВММ и ЦВМБ, но и организовать морской научно-просветительный центр, возродить Музей торгового мореплавания и портов, разместить клубы молодежи, увлекающейся морским делом и судомоделизмом. Их соседство с музеями и ЦВМБ было бы весьма полезным, не говоря уже о возможности использовать закрытый и открытый бассейны. Туда же можно перевести и Научно-техническое общество имени академика А. Н. Крылова. Обстановка явно будет располагать для проведения встреч ветеранов флота и общения их с молодежью. Бассейн с протоками позволит организовать для детей прогулки на гребных судах, стилизованных под XVIII век. Легко вообразить восторг малышей, принимаемых на борт матросами в форме петровского флота!

Интерес в таком проекте обоюдный: город, остро нуждающийся в музейных помещениях, получит приспособленное для этой цели здание Биржи; наконец-то будет решена и проблема расселения Инженерного замка, где после ремонта и реставрации намечено разместить филиал Музея истории Ленинграда.

Конечно, ничто не дается даром. Перепрофилирование Новой Голландии потребует решения серьезных организационных вопросов и затраты средств. Не обойтись и без фундаментального переоборудования или ремонта некоторых сооружений.

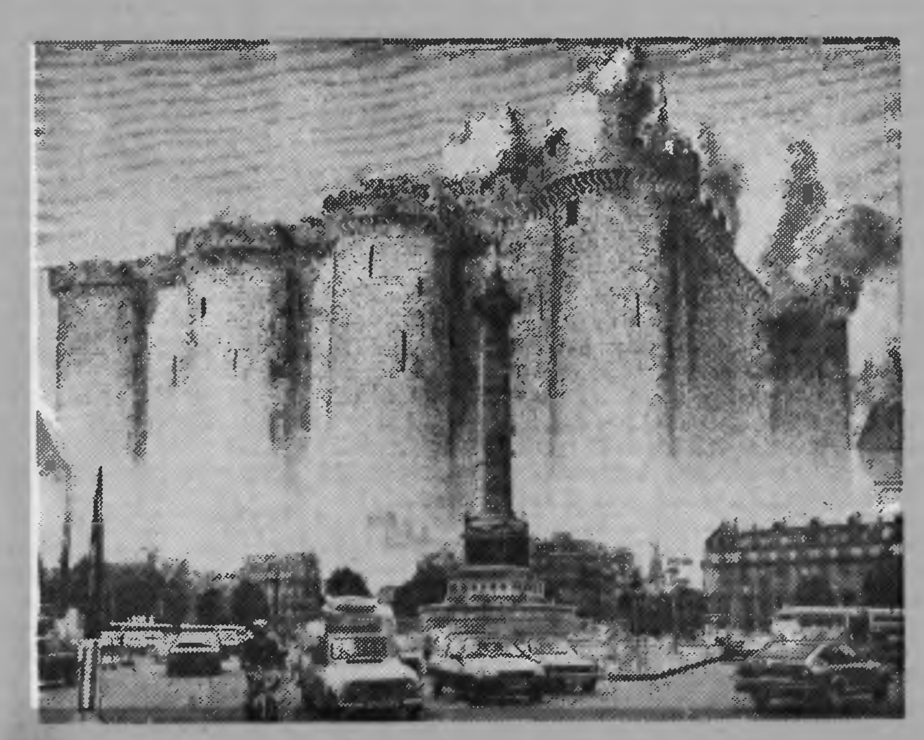
Могут возникнуть и трудности иного характера. Не исключено, что некоторые заинтересованные организации, особенно их местное и вышестоящее руководство, не желая утруждать себя хлопотами и заботами, отнесутся к «великому переселению», мягко говоря, без энтузиазма (чего греха таить, все мы десятилетиями отвыкали жертвовать личным покоем ради пользы дела). Возможно, не все высказанные суждения покажутся бесспорными. Но главное сомнения не вызывает: проблемы ЦВММ и ЦВМБ требуют безотлагательного вмешательства. И хотя оба эти учреждения подведомственны Министерству обороны СССР, но в первую очередь они принадлежат Ленинграду, его истории. А потому прежде всего ленинградцы, в лице своего полномочного представителя — Ленсовета, и общественные организации города не должны оставаться в стороне. Кардинально распутать этот клубок проблем позволит Новая Голландия, если дать ей новую жизнь.

Фототека «СТ»

ПАРИЖ — ЭТО ПРАЗДНИК

Именно так! Даже если и не удалось побродить по его улицам, все равно он с тобой. Он есть — и ничего тут не поделаешь.

Лувр, Гранд-Опера, Эйфелева башня, Триумфальная арка, Нотр-Дам... Боже мой! Все так сущно и зримо — стоит только закрыть глаза, и он немедленно явится, этот город на Сене... Он вторгся в твою судьбу помимо твоей воли. Когда? Ты даже и не заметил. Кажется, знал его всю свою жизнь. Сегодня мы говорим о Париже, отмечающем 200-летие Великой Французской революции. Это — Событие. Накануне ленинградский фотомастер побывал в Париже. Ему слово.



Бастилия, фотомонтаж

— Меня пригласил Андре Фаж, директор Музея французской фотографии, в связи с открытием моей персональной фотовыставки, посвященной Ленинграду. Она проходила в самом центре города — в галерее Дагерра при фотоклубе «Валь де Бьевра». Я мог бы бесконечно долго рассквзывать о своих парижских впечатлениях, но, думаю, лучше всего о них поведают снимки — те сотни фотографий, которые я сделал в замечательном городе. К сожалению, журнал из этого обилия смог отобрать лишь очень малую часть, однако и по ней можно составить некоторое представление о современном Париже.

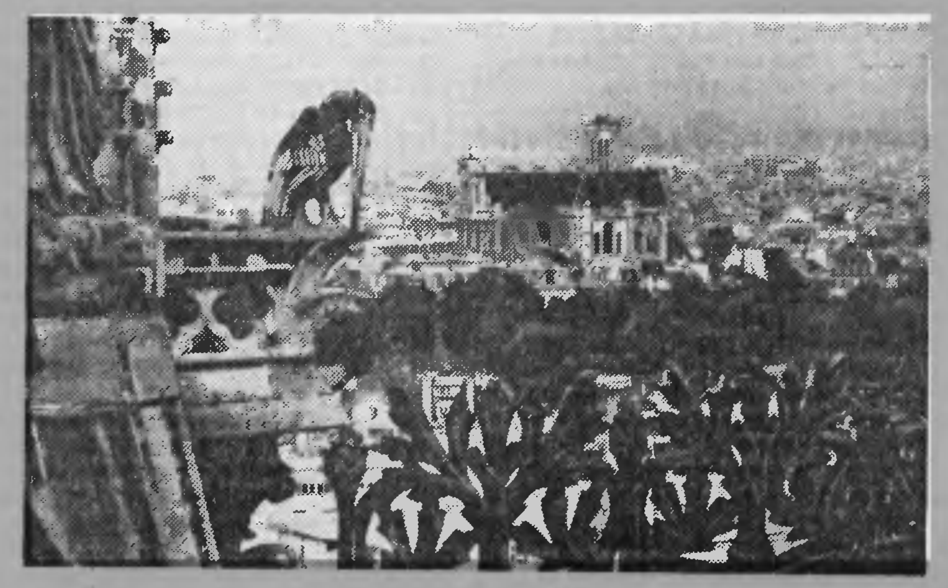
Когда я там был, Музей, руководимый Андре Фажем, готовился к еще одному юбилею — 150-летию фотографии. Надо сказать, что экспозиция самого Музея (такого у нас, увы, нет) — нечто особенно примечательное. В девяти его залах выставлено три тысячи действующих фотоаппаратов, в том числе и с ленинградской маркой. В фондах же их около пятнадцати тысяч, да еще полтора миллиона снимков.

Что еще сказать о Париже?



Парижанка

Я попытался средствами фотомонтажа воссоздать разрушенную восставшим народом Бастилию, «вписав» ее в нынешний облик города,— пусть напоминает о юбилее Великой Французской революции... «Нева» еще не придет к подписчикам, а там, на площади Бастилии, в новом здании Оперы, начнутся праздничные торжества. Думаю, для наших соотече-



Вид на Париж с Нотр-Дам де Пари

ственников, которые окажутся в Париже, это будет двойной праздник.

Да, Париж есть Париж. В том громадном количестве фотографий, что предложил редакции Вадим Ситников, можно было в буквальном смысле слова потонуть. Париж нахлынул волною неожиданной радости, и долго еще потом чудились его улицы, его элегантные новостройки, совсем не лишние среди домов старинной архитектуры. И думалось почему-то о Ленинграде: это имя в любом перечислении красивейших городов мира соседствует с именем Париж...



Эйфелева башня

Но думалось как-то не очень весело, и знаменитые ленинградские пейзажи начинали вдруг тускнеть в воображении, и поднимались в нем «во всей красе» неуклюжие громады новостроек — серой фата-морганой...

Впрочем, если кто в этом сомневается, может справиться у посетителей выставки парижских фотографий Вадима Ситникова — она развернута на Фонтанке, в Доме дружбы и мира с народами зарубежных стран.

Хранится в Ленинграде

Д. АЛЬ

ДОПЕТРОВСКАЯ РУСЬ В ГРАДЕ ПЕТРА

«Золотой петушок» Ивана Грозного

...Итак, однажды я раскрыл шкаф, в котором хранятся рукописи Эрмитажного собрания, и взял с полки для описания в каталоге очередную рукопись. Я нес к своему рабочему месту этот тяжелый фолиант, не догадываясь о том, что держу на руках нечто совершенно исключительное, как, скажем, кормилица, держащая на руках младенца, не догадывается, что из него вырастет Пушкин или Бетховен... Не испытал я особого потрясения и после того, как раскрыл эту изрядно толстую — более двух тысяч листов, исписанных мелкой, но четкой скорописью XVII века, рукопись. Вверху первой страницы я прочел заголовок: «Книга розрядная великих князей и государей царей московских и всеа Руси».

В такие книги в XVI и XVII веках записывали назначения на службу воевод, командовавших полками русского войска, и другие военные, а также административные назначения.

Разрядных книг в наших фондах немало. В одном только Эрмитажном собрании, к научному описанию которого я тогда приступил, их насчитывалось не меньше пятидесяти. Разрядные книги много раз исследовались историками, все, что было в них сколько-нибудь интересного для истории, давно изучено. Беда, правда, состояла в том, что «интересного» в каждой из них было, порой, даже слишком много, зато достоверного — куда меньше.

Как известно, в древние времена служилых людей, начиная от князей, кончая рядовыми дворянами, назначали на должность в строгом соответствии с прежними службами их отцов, дедов и прадедов, высчитывая эти прежние службы, как говорится, до десятого колена. Единственным «справочником», на основании которого можно было эти «старинные службы» отцов и дедов представить и подтвердить, были книги, куда эти службы записывались, то есть — разрядные книги. У многих представителей дворянских родов возникало естественное искушение завести свою собственную, «домашнюю» разрядную книгу и записывать в нее вымышленные задним числом высокие назначения своих предков. При этом выдумывали не только назначения их на должности, которые те в действительности никогда не получали, но и целые походы, которых никогда не бывало, сражения, которые вовсе не происходили, и прочее и прочее. Разобраться в этом потоке сочинительства, порой весьма хитроумно смешанного с правдой, искажающего тем самым подлинную картину событий, невозможно. Вот почему историки всегда стремились разыскать среди множества всех этих малодостоверных, так называемых «частных» разрядных книг Официальную, государственную разрядную книгу, которую вели в государевом, то есть царском Разрядном приказе, или, как бы мы сказали сейчас,— в военном министерстве. Официальная разрядная книга, свободная от «частного» сочинительства, отражающая подлинную картину военной истории Московской Руси, была бы ценнейшим историческим источником.

Усилиями историков нескольких поколений были обнаружены следы Официальной разрядной книги — ее краткие списки, отдельные фрагменты из нее. Однако обнаружить ее в полном и подлинном виде не удавалось...

И вот у меня в руках список одной из разрядных книг. Как и все прочие рукописи Эрмитажного собрания, она была не однажды описана в прежних его описях, однако внимания к себе не привлекала. Невольно думалось — «а вдруг это то, что и я упорно ищу — Официальная разрядная книга? Вот было бы здорово! Какой солдат не хочет быть генералом?!».

Кстати сказать, эта дерзкая мысль явилась не на пустом месте. На нее в какой-то степени наталкивал заголовок — «Книга розрядная великих князей и государей царей московских...». Впрочем, сам по себе заголовок еще ничего не доказывал. Владельцы и составители своих родовых, «частных», разрядных книг, в целях придания большей правдоподобности своим «самодельным» разрядным записям, нередко «брали за основу» официальный разрядный текст. Поэтому сохранение официального заглавия в «частной» разрядной книге — дело тоже обычное.

Так, вполне буднично, без торжествующих кликов вроде — «Эврика!» или «Вижу землю!», а, напротив, как и полагается, с достаточно серьезных сомнений началось исследование списка разрядной книги — эрмитажный номер 390.

Сегодня можно считать вполне доказанным и общепризнанным, что это и есть Официальная разрядная книга. Именно эту книгу составили и вели в разрядном приказе Ивана Грозного и продолжали в царствование Годунова.

Сегодня нельзя себе представить работу по истории той эпохи, не опирающуюся на богатейшие сведения Официальной разрядной книги. Это и неудивительно. В руках ученых оказался несравненный по богатству сведений источник для изучения истории Московского государства более чем за столетний период. При этом источник предельно надежный. В отличие от летописей того же XVI века, отразивших острейшую политическую борьбу, происходившую в царствование Грозного, и соответственно полных тенденциозных рассказов, Официальная книга — источник деловой и документально-объективный. Более того, специальные исследования показали, что авторы и составители летописных рассказов, в том числе и сам царь Иван Васильевич Грозный, держали перед собой записи Официальной разрядной книги, используя ее материалы как документальную основу своих повествований.

Заглянем и мы в эту замечательную рукопись.

Кому не знакомы с детства строки пушкинской сказки «Золотой петушок», в которых говорится о тревогах царя Додона:

...Чтоб концы своих владений
Охранять от нападений,
Должен был он содержать
Многочисленную рать.
Воеводы не дремали,
Но никак не успевали:
Ждут, бывало, с юга — глядь,—
Ан, с востока лезет рать.
Справят здесь — лихие гости
Идут с моря...

Обстановка, обрисованная в этих скупых словах, отнюдь не сказочная. Пушкин гениально передал в них мотивы народных преданий, порожденных многими десятилетиями тревожной действительности. Такова была жизнь молодого Русского государства, сложившегося к началу XVI века вокруг Москвы.

В непрерывной борьбе приходилось народу отстаивать свое единство и независимость, государственность и культуру. Не было мирных годов, не было месяца без сражений, не было дня без угрозы нападения, не было часа, когда бы не ездили вдоль всей бескрайней «украинной полосы» сторожевые заставы, когда бы не стояли «на годовании» (то есть посменно по году) в опорных пунктах полки первой очереди. И со всех концов и днем, и ночью «пригоняли» в Москву гонцы с тревожными вестями.

«Многочисленная рать» и в самом деле не смогла бы обеспечить безопасность страны и столицы, если бы не «Золотой петушок», своевременно извещавший о нападении врагов,— служба разведки и оповещения.

«Ждут, бывало, с юга...», и действительно, дьяки Разрядного приказа записывают: «Крымский хан с царевичи и со всеми мурзы идет на русские украины».

«То с востока лезет рать...». И снова в Разрядный приказ пришла весть: «Казанские и Астраханские ханы перелезли через Оку и идут к Москве».

«Справят здесь — лихие гости идут с моря» — это «свидские немцы (шведы) на многих кораблях подошли под Орешек».

То литовские, то польские паны «пришли на русские грады».

А вот и «ливонские немцы в Псковской земле государевых людей побили», позабыв уроки, преподанные их предкам Александром Невским...

Так изо дня в день, из года в год, из века в век. По всем этим вестям собираются войска, создается походный запас, снаряжается «пушечный наряд», назначаются воеводы и головы...

В целях выяснения замыслов врагов изучаются данные о положении на его территории. Например, сообщение о грабеже русских купцов в Казани свидетельствовало о готовящемся новом нападении казанцев на Русь. Малейшие изменения на границе доставляют в Москву «вестовщики», которые по заранее подготовленным маршрутам, эстафетным порядком передают вести. Полученные сообщения незамедлительно рассматриваются царем и Боярской думой. Интересно, что разрядная книга за сто лет зафиксировала всего один-единственный случай, когда Дума признала ошибочным сообщение пограничной службы. В 1570 году поступило сообщение о готовящемся наступлении на Русь крымского хана. К несчастью, ошиблась не разведка, а не поверившая ее предупреждению Боярская дума. В этом году, именно с указанного направления начался знаменитый набег Девлет-Гирея, закончившийся сожжением Москвы.

Разрядная книга дает лаконичное, но яркое описание этого события: «...и крымский царь посады на Москве зажег, и от того огня грех ради наших оба городы выгорели, не осталось ни единые храмины, а горела всего три часа. А затхнулся в городе боярин Иван Дмитриевич Бельской, а был он ранен, да боярин Михайло Иванович Воронова (сын) Волынской и дворян много и народу безчисленно. А затхнулся от пожарного зною. И царь крымской пошел от Москвы в субботу... А государь был и царевич в ту пору в Ростове. И прииде государь к Москве, и видя ту великую беду, излил многие слезы и повеле град прятати (хоронить, убирать разрушения.— *Д. А.*) и мертвых людей...». Так бывало редко. Обычно русские воины давали врагам решительный отпор. Сохранился великолепный, поэтически звучащий отклик на обстановку непрерывной боевой обороны русской земли. В «Казанской истории», написанной в честь взятия войсками Ивана Грозного Казани, читаем: «Воеводы же московские, где убо ощутивше варвар, и на кою украину пришедших и тако там собравшихся, прогоняху их и, как мышей давяху и побиваху. То бо есть от века... дело варварское и ремество — кормиться войною».

Из Официальной разрядной книги мы впервые узнаем и о том, как в Московской Руси награждались за одержанные победы воины и военачальники. Сначала присланный от царя боярин говорил: «Государь царь и великий князь велел вам поклониться, и велел вас о здоровье спросить». Затем следовали различные награды. Многих награждали монетами различного достоинства: «Золотой Притугальский» (португальский), «Золотой Корабленный» (то есть с изображением кораблика), «Золотой Московский» и другими. Размер награды зависел не столько от конкретных боевых заслуг, сколько от служебного положения данного лица — «по человеку смотря». Награды вручались непосредственно в военном стане, возле шатра самого царя или присланного от царя боярина. Кроме того, составлялась «роспись, что дать боярам и воеводам и головам государева жалованья за службу». Главноначальствующим в данном походе воеводам давали за победу высшую награду — «Из большие казны по шубе да по кубку». Именно такая шуба и называлась — «с царского плеча». Другим, в зависимости от служилого достоинства, давались шубы ценой в 100, 60, 50, 35, 20 и 15 рублей, серебряные кубки, ковши, чарки.

В разрядной книге находим и такую редкую запись, которая, надо полагать, не прошла бы мимо внимания пушкинистов, изучающих родословную поэта, если бы они заинтересовались такими материалами: «Григорию Григорьеву сыну Сулейше Пушкину шуба 20 рублев, да чарка 2 гривенки, да ему ж пять рублев за рану».

Торжества награждений, а то и царские пиры в честь тех или иных побед, то и дело омрачались ожесточенными местническими распрями.

Картина печально знаменитого местничества и решительная борьба против него Ивана Грозного впервые предстает перед нами в таком полном виде на страницах разрядной книги.

«Поруха государеву делу» от местничества была огромной. Тяжелые поражения, затянувшиеся осады городов, задержка снабжения войск — все это зачастую являлось прямым следствием местнических неурядиц.

Правительство и царь вынуждены были без конца копаться в родословных, руководствоватьси ими при назначениях и разбирать местнические споры. Для разбора этих дел во время походов при войске находился специальный дьяк «у челобитных». В ряде случаев из Москвы приходилось запрашивать родословные справки.

Иван Грозный ограничивал местничество в законодательном порядке и сурово наказывал злостных «местников».

Многие документы местнических дел передают живой язык их авторов. То и дело раздаются грозные окрики царя Ивана Васильевича против заместничавшихся военачальников, вроде: «местничаешься бездельем!». На непокорных сыпались наказания: «Бить батоги и списки (порученного ему полка.— *Д. А.*) отдать!» — приказывал царь, и родовитого боярина секли специальными тонкими палками — батогами. Бывало и более страшное наказание: «Будет поруха государеву делу и ему от государя быть казнену смертью!».

Разрядная книга зарегистрировала даже факт ссылки в Сибирь не пожелавшего подчиниться ни кнуту, ни тюрьме упрямого местника князя Петра Барятинского. Похоже, что перед нами здесь предстает имя первого ссыльнопоселенца Сибири.

После смерти Грозного, в расчете на мягкость царя Федора Ивановича, бояре и воеводы открыли энергичную местническую кампанию. Ни один разряд не проходил без самых настоящих воеводских «стачек». Однако эти расчеты на мягкость нового царя не оправдались. Царь Федор, вернее, его именем Борис Годунов, быстро дал почувствовать распоясавшимся «местникам» достаточно твердую руку. Отказывающихся «брать списки» князей тотчас сажали в тюрьму и держали, пока не одумаются. В царствование Бориса строгости еще больше усилились. Князя Федора Романова (отца будущего царя Михаила, основателя династии Романовых) царь Борис приказал сковать и вывезти к месту службы на телеге.

Дело доходило до смешного. Так, например, знаменитый воевода Петр Басманов и князь Михаил Кашин, получившие на общее имя царскую грамоту, и не желая ехать один к другому, назначили друг другу свидание па улице, так сказать, на нейтральной полосе, для совместного слушания царского указа.

Надо сказать, что герои всех этих споров и обид тяжело переживали несправедливые, по их мнению, назначения. Тот же воевода Петр Басманов буквально накануне своего перехода на сторону самозванца лже-Дмитрия, прочитав указ о новом назначении, «патчи на стол, плакал, с час лежа на столе». Почем знать — возможно, несправедливость именно этого назначения вызвала его переход со службы царю Борису к самозванцу.

Но вернемся к Ивану Грозному. Большую часть разрядной книги занимают записи, сделанные в его время.

Исключительный интерес представляют впервые ставшие нам известными из разрядной книги подлинные грамоты, написанные или продиктованные несомненно самим Грозным. Об этом свидетельствует их своеобразный стиль, присущий сочинениям Грозного и даже самый тон державного окрика, обращенного к воеводам.

Перед тем, как привести здесь целиком один из этих интереснейших документов, необходимо дать некоторые пояснения.

В 1571 году над Русью повеяли отравленные ветры чумы. Смертоносное поветрие накатывалось одновременно с юга — из Персии и с запада — из Германии.

На Руси того времени, вопреки ошибочным представлениям некоторых историков, хорошо понимали, что чума — это вовсе не «божье посещение грех ради наших», против которого бессмысленно и невозможно бороться, а эпидемическая болезнь, которую можно остановить, осилить и изгнать. Правда, об этом свидетельствовали до сих пор лишь редкие, отрывочные известия.

Найденная царская грамота наглядно показывает, что борьба с эпидемиями на Руси того времени носила вполне осознанный характер, проводилась как важнейшее государственное мероприятие, направлялась и строго контролировалась из центра.

Вот запись разрядной книги, в которой воспроизведена грамота Грозного.

«Лета 7080 (1571) году, на Костроме были для поветрия моровова на заставе князь Михайло Федорович Гвоздев-Ростовской, за Дмитрей, на Данило Борисовичи Салтыковы. А с Костромы были в Свияжском. И от государя грамоты посланы на Кострому.

Список з грамоты от царя и великагo князя Ивана Васильевича всеа Русии на Кострому князю Михаилу Федоровичу Гвоздеву, да Дмитрею, да Данилу Борисовичам Салтыковым:

„Приехали, есте, на Кострому сентября в 26 день. И того месяца преставилось на Костроме семьдесят три человека до двадцать осьмого числа. А того, есте, к нам не отписали подлинно: на Костроме ли, на посаде, или в Костромском уезде; и какою болезнью умерли — знаменем ли, или без знамяни (есть ли внешние признаки чумы.— *Д. А.*). А ты, князь Михайло, почему к нам о поветрии не пишешь! А послан ты на Кострому беречь для поветрея напеpед Дмитрея и Данила Салтыковых. И ты для которово нашего дела послан, а то забываешь, большоя бражничаешь, и ты то воруешь! И как к вам ся наша грамота придет и вы б отписали подлинно, на борзе: уж ли на Костроме, на посаде и в уезде от поветрея тишает, и сколь давно, и с которова дни перестало тишеть? А буде от поветрея не тишеять, и вы б однолично поветреныя места велели крепить засеками и сторожами частыми, по первому нашему указу. И сами бы, естя, обереглись того накрепко, чтобы из поветреных мест в неповетреные места не ездили нихто, никаков человек, никоторыми делы. Чтоб вам однолично из поветреных мест на здоровые места поветрея не навезти — розни бы у вас в нашем деле однолично не было ни которые. А бу-

дет в вашем небрежении и розныю ис поветреных мест на здоровые места нанесет поветрия и вам быть от нас самим сожжеными.

Писано в Слободе, лета 7080 году, октября в 4 день“».

Вот и еще одна грамота, несомненно, передающая живую речь Грозного:

«Список з государевы грамоты: „От царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии в Свияской дьяку нашему Грязному Ивашеву. Писал к нам и (з) Свияского воевода наш князь Петр Буйносов Ростовской, что писали к нему с Федором Трубниковым, а велели дать воеводе князю Ивану Гагину детей боярских, и князь Петр Буйносов списки почел отдавать, и князь Иван-де у нево почел просить всех свияжских служивых тотар, и он-де, князь Петр, без нашего указу не дал ему тотар, и князь Иван-де ево лаел и безчестил и хотел ево ножницами в горло толкнуть; а то делолось перед вами на съезде, и ты б про то сыскал, каким обычаем меж них делолось. А ты б еси князю Ивану перед князь Петром и перед головами стрелецкими имéнно (то есть нашим именем.— *Д. А.*) от нас говорил: про что князь Иван воруят, а наше дело портит и теряет, перед нами измену делает?!“ Писано на Москве, лета 7091-го (1583 г.), майя в 20 день».

Как видим, Иван Грозный держал своих бояр и прочих «разных чинов людишек» в ежовых рукавицах. «Хочешь не боятися власти,— говорил царь своим подданным,— благое твори. Если же злое творишь — бойся. Власть не зря мечь носит, а в наказание злодеям и в похвалу добродеям». При этом царь был отлично осведомлен обо всем, что делается в самых отдаленных уголках государства и в полках его войска. Он знал о всех проступках и прегрешениях воевод, вплоть до того, кто, когда и зачем отлучался со службы.

Пешком по старому Петербургу

Д. ЗАСОСОВ, В. ПЫЗИН

ВРЕМЯ СПОРОВ, БРАНИ БУРНОЙ

Один из нас поступил в Санкт-Петербургский императорский университет, другой — в Институт инженеров путей сообщения императора Александра Первого.

Старинное здание петровских Коллегий со знаменитым коридором, колонным залом с хорами, с весьма невзрачными аудиториями, с конференц-залом и помещениями ректората, конечно, производило большое впечатление на студента, впервые переступившего порог храма науки. Жаль, что оно постоянно перестраивается: часть коридора отошла под деканат, противоположная его сторона — под библиотеку. В наше время коридор был заставлен всякими шкафами, стены завешаны объявлениями, расписаниями лекций. Даже во время занятий там бродили густые и невероятно шумные толпы студентов. На лекцию хочешь — иди, не хочешь — не ходи. Захотел — пошел послушать лекцию другого факультета или другого курса. Никто за порядком не наблюдал, никто ничего не требовал. Новичка все это поражало. Было непонятно, почему вчерашнему гимназисту, облаченному теперь уже в другую форму, сразу предоставлена такая свобода. Подобные перемены на многих действовали отрицательно. Происходил большой отсев, легендарным стал тип «вечного студента». Такой, проучившись год-два и не сдав установленного минимума, переходил на другой факультет, потом еще и еще. В бороде у него появлялась проседь, он был уже дедушка, а все продолжал носить студенческую фуражку, прикрывая плешь и седые космы. Значит, у него были средства платить за учение: или давал уроки, или имел богатого родственника-мецената. Были «вечные студенты» и другого рода. Они кончали по два, по три факультета. Смотришь — два университетских значка об окончании, а ведь если вдуматься, такие только брали от науки, обществу же ничего не давали.

Профессура, надо сказать, тоже не блистала дисциплиной. Как правило, осенью некоторые преподаватели начинали читать с большим запозданием. Да и на лекции приходили минут на пятнадцать позже, а то и вовсе пропускали занятия. Бывало, стоит первокурсник, еще несмышленыш, у запертой двери аудитории, дожидается, когда отопрут. Проходит сторож, студентик спрашивает, почему закрыто. Сторож осведомляется: «Кто должен читать?». — «По расписанию — профессор Н. Н. Бывалый». Сторож отвечает: «Н. Н. раньше декабря лекций не начинает». В полное смущение приходит новичок, видя в расписании: «Лекцию читает *экстраординарный* профессор К. К.». Он и вообще-то никакого профессора еще в глаза не видел. К тому же против знаменитых имен значилось просто — профессор. Что же такое тогда экстраординарный? Как у него держать экзамен? Холод пробегал по спине, сердце сжималось от страха. А означало это слово — внештатный.

По нижней галерее в виде открытой аркады под университетским коридором размещались квартиры обслуживающего персонала и разные служебные помещения, о чем оповещали старинные вывески: «Экзекутор», «Регистратор», «Квартирмейстер». По-видимому, их прикрепили чуть ли не в год основания университета.

Вся студенческая жизнь была сосредоточена в коридоре. До прихода профессора в аудиторию не заходили, а толпились около дверей, вели разговоры. Завидя его, заходили в аудиторию и рассаживались на скамьях с узкими пюпитрами. Профессор, обычно в штатском сюртуке, с бородой, почтенного возраста, всходил на кафедру. Некоторые вели предмет очень скучно, и народу к ним ходило мало. Другие читали так, что на их лекции валом валили даже с других факультетов. Привлекали лекции Ковалевского, Туган-Барановского, Ивановского и некоторых других, интересно ставивших изучавшиеся проблемы, связывая их с современностью. Молодежь всегда провожала их аплодисментами. Третьи злоупотребляли ученой терминологией, начинающие студенты плохо их понимали. Профессор Петражицкий, читавший историю права, на просьбу меньше употреблять научных терминов и иностранных слов, весьма остроумно ответил: «„Вы студенты второго курса юридического факультета Санкт-Петербургского императорского университета“. В этой фразе только одно слово русское, а вы хотите, чтобы я говорил по-другому».

Экзамены происходили в тех же аудиториях. По каждому предмету продавалась подробная программа за десять копеек. Как именно студент изучал этот предмет, никого не интересовало, требовалось одно — знания в объеме программы. Студент подходил к экзаменатору, выкладывал свой матрикул — одновременно и зачетную книжку, и пропуск в университет. Профессор предлагал взять билет. Отвечать полагалось сидя. Ответ длился минут сорок: кроме билета, предлагались и другие вопросы, требования были серьезные, оценок только две — «удовлетворительно» и «весьма удовлетворительно». Если студент проваливался, экзаменатор заявлял: «Коллега, вам придется прийти в следующий раз», или еще более деликатно, но с оттенком ехидства: «Коллега, на „удовлетворительно“ вы знаете, но хотелось бы поставить вам в следующий раз „весьма“, возьмите ваш матрикул». Споры в таких случаях были редки и ни к чему не приводили. Раскрасневшемуся и смущенному студенту ничего иного не оставалось, как откланяться и уйти. В году обычно было три экзаменационных сессии: рождественская, осенняя и весенняя. Никаких пометок о несданном предмете в матрикуле не делалось, можно было экзаменоваться несколько раз. Мы наблюдали такую сцену: студент довольно бойко отвечает по билету, пофессор смотрит на него через очки и изредка как бы одобрительно кивает. Тот становится еще бойчее, и так — с полчаса. Наконец профессор берет матрикул и передает своему визави со словами: «Вы, коллега, понятия не имеете о предмете». Сказано это было спокойно, но веско. Сидевшие в аудитории, как и сам отвечавший, были ошеломлены поворотом дела: все думали, что уж «удовлетворительно»-то точно будет. Большинство студентов, дожидавшихся очереди, тихо выскользнули из аудитории, чтобы записаться на другое число и к другому профессору.

Государственные экзамены проходили в более торжественной обстановке. Под наблюдением профессора писали сочинение на выбранную тему. Если оно вносило нечто новое в науку, советом университета присуждалась золотая медаль с надписью «преуспевшему». (Кстати, за окончание гимназии с отличными отметками по всем предметам выдавалась золотая медаль меньшего размера с надписью «преуспевающему». В ювелирном магазине ее можно было продать за сорок-пятьдесят рублей.) Тем, кто оканчивал с отличием, по первому разряду, присваивали звание кандидата наук.

Толпа студентов была разношерстной, от богатых щеголей, приезжавших в университет в собственных экипажах (таких, правда, было мало), и до бедняков, живших впроголодь. Основная же масса состояла из скромных и трудолюбивых молодых людей весьма ограниченных средств, считавших обязательным хотя бы частично содержать себя самим, а не сидеть на шее у родителей. Значительная часть их подрабатывала репетиторством. Иногородние жили в общежитиях или снимали вдвоем комнату за двенадцать-пятнадцать рублей. Бюджет такого студента не превышал тридцати рублей в месяц. На эти деньги надо было и кормиться, и одеться, и купить необходимые книги. Своего рода комиссионерами в этом деле были сторожа университетских шинельных. У каждого имелась стопка учебников, пособий, конспектов, и они продавали их по поручению бывших студентов, конечно, с большой скидкой. Они же торговали тужурками и ши-

Окончание. Начало см.: «Нева», 1989, № 5, 6.

нелями окончивших. Сюртук имели далеко не все, большинство ходило в форменных черных тужурках с синим кантом и петлицами и с золотыми орлеными пуговицами. На улицу надевали шинель, тоже черную, двубортную, и фуражку с синим околышем и темно-зеленой тульей. Форма была не обязательна, носили ее в основном по двум причинам: во-первых, сразу видно, что студент, а это обеспечивало известное положение в обществе; во-вторых, так было дешевле — потрепанная студенческая форма не считалась чем-то неприличным, а старая штатская «тройка» — считалась. Существовал, по слухам, какой-то университетский мундир с золотым шитьем, треуголкой и шпагой, но мы на студентах такого не встречали. Шпагу, правда, кое-кто носил при сюртуке. У некоторых сюртук был на белой подкладке, откуда и пошло «белоподкладочники». Эти молодые люди, как правило из зажиточных семей, держались обособленно, называли себя «академистами», желая подчеркнуть, что они пришли в университет учиться, а не заниматься политикой. На самом деле это была реакционная группировка, твердо проводившая свою политику.

Были и студенты, умышленно небрежно одетые, отпустившие волосы до плеч, нечесаную кудлатую бороду и усы. Они носили большие очки с синими стеклами и всем своим видом показывали, что для них существует только наука и они в ближайшее же время облагодетельствуют человечество открытиями и изобретениями. Разговаривали они только о науке, делая лицо таинственное и как бы чего-то недосказывая. Забавно было их видеть в кабинете естественного отделения физико-математического факультета, где изучали кости человеческого скелета. Небольшой, плохо освещенный кабинет. Все кости, чтобы их не растащили, прикреплены на длинных цепях. И вот сидят эти «ученые мужи», в руках у каждого большая кость, гремят цепями и шепотом переговариваются: «Коллега, у вас освободилась малая берцовая?». — «Нет, коллега, ребра мне не нужны, возьмите». И опять звон цепей и бормотание латинских терминов. Другой разглядывает кость и никак не может отыскать какого-то отростка. Напрасный труд: костям этим чуть ли не сотня лет, они перебывали в тысячах рук, все бугорки давно поистерлись... Тогда они начинают исследовать самих себя и часто благодаря худобе, обычной для студентов, нащупывают сей отросток на собственном костяке.

Питались студенты по-разному, как по-разному и жили. В общежитии всегда был кипяток, приходил булочник, по пути с занятий покупали полфунта дешевой колбасы. Кто жил у хозяек — кипятком тоже был обеспечен, иногда их брали и на полный пансион: завтрак, обед, вечером чай с закуской. Цены были разнообразные, полный пансион вместе с комнатой дешевле двадцати рублей было не найти. Мы знавали хозяйку, сдававшую с полным «коштом» две комнаты трехкомнатной квартиры, выходившей во двор, на Четвертой роте Измайловского полка (ныне 4-я Красноармейская улица). Сама она ютилась в одной комнате с тремя детьми. Муж этой женщины куда-то сбежал, оставив ее без всяких средств, вот она и держала студенческий пансион. В каждой комнате жили по двое, а столоваться приходили и еще несколько, так что кормила она человек десять. Эта энергичная маленькая женщина хорошо воспитала своих детей, сын впоследствии окончил университет, дочери после гимназии поступили на службу.

Университетская столовая, где обедало множество студентов, помещалась за северными воротами — там же, где и теперь. Обстановка ее была скромной: длинные столы, покрытые клеенкой, на них большие корзины с черным и серым хлебом, в дешевом буфете — кисели, простокваша. Было самообслуживание, цены бросовые: обед без мяса — восемь копеек, с мясом — двенадцать, стакан чаю — копейка, бутылка пива — девять. Конечно, подавались обеды и подороже. Столовая с самого утра была переполнена. Шум стоял необыкновенный: спорили, смеялись. Некоторые любители проводили в ней больше времени, чем на лекциях: их интересовало дешевое пиво. Кое-кто, выбившись из бюджета, ограничивался чаем и бесплатным хлебом, несколько кусков его еще и прихватывали в карман. На это никто не обращал внимания, наоборот, относились даже сочувственно. Иной студент, совершенно незнакомый, скажет: «Коллега, я вам куплю обед, у меня хватит на двоих». Администрация столовой иногда предлагала бесплатно тарелку щей без мяса. Это очень выручало бедных студентов. В пользу «недостаточных», как и в гимназии, устраивались в Белом университетском зале балы и концерты. Бывали и вечера землячеств — поскромнее, но тоже с участием артистов. Землячествами назывались организации экономического порядка, действовавшие в университете легально и, как и кассы взаимопомощи, существовавшие на добровольные взносы. Были и спортивные объединения — яхт-клуб, атлетическое общество. Большинство студентов живо реагировало на все события жизни России, они посещали научные доклады, ходили на выступления лидеров разных партий, на заседания Государственной думы, где можно было находиться на хорах, посещали театры и концерты, участвовали в политических сходках, а некоторые — уже и в подпольной работе.

По праву памяти

Николай КРЫЩУК

ИМЕНЕМ МИЛЛИОНОВ

Молодые люди, вероятно, не знают, что память о последней войне долгие годы пробивала себе путь к сердцу государственных чиновников. Безногие инвалиды, передвигаясь на шарикоподшипниковых досках, собирали милостыню у церквей и просто на улицах, слепые гармонисты надрывали душу железнодорожным пассажирам, а власти через средства массовой информации продолжали насаждать безудержный оптимизм. Трагическая память о войне в этой широкомасштабной игре была не ко двору. Это потом уже фронтовики надели ордена, и пионеры стали приглашать на свои сборы ветеранов, зажегся огонь на могиле Неизвестного солдата, и День Победы был объявлен общенародным праздником.

Мне вспомнился первый такой праздник, когда я был в Москве, на «Неделе совести», посвященной памяти жертв сталинских репрессий. Так же плакали и обнимались люди, так же выкликали из толпы — тогда: кто служил в такой-то гвардейской дивизии? — теперь: кто из Колымлага?

И — минута молчания.

Но есть, конечно, и разница. Людям, выкликавшим своих товарищей по беде, было на четверть века больше. Слезы их ни разу не скрасила улыбка. И песен они не пели — спорили, резко, порой ожесточенно, важнее истины была для них разве что справедливость. И... и это был не праздник.

Когда мы готовились к проведению «Дня Ленинграда» в рамках «Недели совести», многие выражали сомнение: не превратится ли это в еще одно заорганизованное мероприятие, с помощью которых мы научились хоронить самые светлые начинания, и зачем оно в таком случае нужно? В Москве я уже твердо знал, зачем.

Это была своего рода шоковая терапия. Представьте: открывается занавес, и перед вами предстает в полном составе сталинское Политбюро на трибуне Мавзолея. С сановной небрежностью демонстрируют они отдание чести, расслабленные ладони дрожат у гражданских шапок и фуражек. Сталин, Берия, Ворошилов, Маленков — они не просто смотрят на вас. Они вас видят. Никому не приходит в голову приветствовать находку художника. Шок.

В фойе — огромные фотографии. Грузинский городок Гори. Дом-музей Сталина. Толпы посетителей. Памятник вождю, до половины закрытый живыми цветами. Это не документы из прошлого, это кадры из дней перестройки.

Молодой, внимающий Сталину Хрущев. Хрущев и Брежнев. Те же ликующие толпы трудящихся на Красной площади. Дату съемки можно определить только по портретам вождей. Непрерывная линия.

А в другом фойе — проекты мемориалов. Не думаю, чтобы какой-нибудь из них был воплощен в камне и металле — трудная тема. Но кое-что запомнилось. Человек, распятый на звезде. Помпезное, отделенное мрамором здание — образец сталинской архитектуры. А внутри — тюремный двор.

Время на наших глазах демонстративно заплетается в тугой исторический узел. И мы все зажаты в этом узле. И только мы можем его распутать. Распутать, потому что по живому рубить нельзя. Вот почему встречи с ленинградскими историками и писателями в малых залах плохо походили на литературные салоны, но превращались в затянувшиеся на многие часы дискуссии. Временны́е рамки разговора не ограничивались мраком сталинского правления, говорили о революции, о послесталинских репрессиях. Девизом Дня было: «Ленинград — город репрессированный». Вечерняя программа называлась «Рассерженные ленинградцы».

Одно из писем, пришедшее в адрес организаторов «Дня Ленинграда», заканчивалось так: «Долго колебалась, стоит ли писать вам — до сих пор сковы-



вает страх. Он уже в крови и наверное — до самой смерти». Нам нужен шок, чтобы окончательно избавиться от страха, шок, чтобы пробудить мысль.

И еще — память должна быть подробной, память не может быть безымянной. «Стена памяти» — одно из сильнейших впечатлений для всех, кто посетил в те ноябрьские дни прошлого года Дворец культуры «МЭЛЗ».

Она была сделана наподобие колумбария. Только фотографии, только документы, листки писем.

На кирпичную карту страны, встречающую вас у входа, некоторые тут же вписывали названия недостающих лагерей. Строительная тачка несколько раз за день наполнялась добровольными пожертвованиями в фонд «Мемориала». Все вместе это было настоящим народным действом, из тех, что остаются в истории.

Ленинградка Мария Дмитриевна Арбатская написала: «20 ноября — день Ленинграда в „Неделе совести". Вероятно, эта дата выбрана не случайно? 47 лет назад в этот день, день моего двадцатилетия, была объявлена самая низкая норма на хлеб. Грустная дата». Да, исторические даты умеют разговаривать. Надо только *сделать* так, чтобы они заговорили.

Между прочим, возвращение памяти о войне ознаменовалось не только возгоранием вечного огня на могиле Неизвестного солдата, но и социальной заботой о миллионах оставшихся в живых. Необходимо, чтобы то же самое было сделано сегодня в отношении ныне живущих жертв сталинских преступлений. Выступления ленинградских писателей, историков, кинематографистов, композиторов, актеров нередко перерастали в стихийные митинги. Люди требовали от слов перейти к делу: обеспечить материальную компенсацию, улучшить жилищные условия, повысить пенсии, срочно построить дома призрения для одиноких и больных. Если государство не может взять это на себя, отдадим на это деньги, присланные в «Мемориал». Памятники подождут.

Не могу перечислить всех, принимавших участие в «Дне Ленинграда», но считаю своим долгом назвать его основных организаторов. Кроме журнала «Нева» и творческих союзов это: Дворец культуры железнодорожников, общество «Мемориал», клуб «Друзья „Огонька"» ленинградское телевидение и еще сотни добровольцев, откликнувшихся на наш призыв.

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

Мой отец Александр Павлович Константинов по необоснованному обвинению в государственной измене был несправедливо осужден и приговорен к расстрелу 25 мая 1937 года. В ответе Генерального прокурора СССР, к которому я обращалась с вопросами, сообщалось, что по имеющимся данным приговор был приведен в исполнение 26 мая 1937 года. (После посмертной реабилитации отца в 1956 году ЗАГС г. Ленинграда выдал свидетельство о том, что отец умер 17 декабря 45 г. от упадка сердечной деятельности.)

12 мая 1988 года я обратилась с письмом к Михаилу Сергеевичу Горбачеву с просьбой оказать содействие в моем стремлении добиться предания гласности «дела» моего отца и группы ленинградских ученых, уничтоженных вместе с ним. 20 мая мое письмо было передано в Комиссию при ЦК партии.

Мой отец Александр Павлович Константинов родился 21 ноября 1895 года в Петербурге. Учился в Технологическом институте. По специальности радиофизик. Принадлежал к плеяде ученых, прошедших «школу папы Иоффе». Занимался изобретательской деятельностью. Изобретения А. П. Константинова дали основания к официальному признанию его одним из основоположников отечественного телевидения (см. БСЭ: персональная статья и статья «Телевидение»)

Арестовали отца в одно время с его сослуживцами по физическому факультету ЛГУ и по Пулковской обсерватории. Можно составить предположительный список этих людей, но мне это сделать трудно: тогда я была ребенком.

В 1936 году А. П. Константинов готовился к командировке в США. 23 октября приказом по Всесоюзному Институту телевидения, в котором он работал начальником отдела, Александра Павловича назначили Научным руководителем работ по организации телецентра в Ленинграде. Ну, а потом произошла эта трагедия.

В 1937 году, к осени (т. е., как нам теперь стало известно, после гибели отца) началась расправа с семьей: мать арестовали и на восемь лет направили на Колыму без права, как потом стало ясно, дальнейшего проживания в больших городах. Нас с сестрой воспитывала бабушка, высланная из Ленинграда.

Я и моя восьмидесятипятилетняя мать просим оказать поддержку в нашем стремлении добиться гласности подробностей трагической судьбы ленинградских ученых, уничтоженных в 1937 году.

Н. А. КОНСТАНТИНОВА

Обратная связь

ИСТИНА ОБ «ИСТИНЕ...»

Мы, ветераны битвы за Ленинград и однополчане бывшего 106-го отдельного моторизованного инженерного Кингисеппского ордена Красного Знамени батальона Ленинградского флота, участники штурма Безымянной (Чертовой) высоты в ночь с 11 на 12 августа 1943 года, прочитали статью Г. Рогачева «Истина о Безымянной» во втором номере «Невы» за 1988 год.

Трудно подобрать слова, чтобы выразить степень удивления и возмущения, возникших при ее чтении.

Особую горечь вызвало у нас упоминание об установленном на высоте в 1968 году памятнике, где перечислены более шестидесяти воинов 106-го инженерного батальона, погибших при штурме и главным образом при отражении вражеских контратак на Безымянной.

Автор статьи явно не в ладах с элементарными понятиями топографии, с основами военного дела, со здравым смыслом.

Утверждая, что стрелковые роты его полка спускались к Безымянной по северному склону высоты 43,3 да еще в сопровождении автоматчиков и пулеметчиков, он перепутал стороны света, так как в этом случае они оказались бы в тылах своего же полка.

Для Рогачева нет разницы между рубежом и позицией. Он утверждает, что фашисты вели артиллерийский огонь прямой наводкой с Безымянной по сухопутным коммуникациям, проложенным после прорыва блокады и проходящим по залесенной территории на удалении шести-восьми километров от Безымянной. Свидетельствуем, что на этой высоте вражеских орудий не было. Артиллерийские позиции гитлеровцев располагались на расстоянии свыше одного километра от переднего края их обороны.

Несостоятельны и домыслы о «долгожданной облачности», якобы предопределившей условия, необходимые для атаки. В данной ситуации облачность была бы как раз нежелательна, и, к нашему удовлетворению, с 10 по 12 августа ее не было, так что «небесные тихоходы» в течение всей ночи содействовали воинам нашего инженерного батальона.

В статье Рогачева гитлеровцы, обороняющие Безымянную, представлены смиренными агнцами, ожидавшими своего заклания в первой траншее. Они безнаказанно допустили стрелковые роты, усиленные пулеметчиками и автоматчиками, на склон Безымянной, на «исходные позиции» в сорока метрах от себя, при этом не видели «обозначенных флажками» проходов.

Статья не выдерживает элементарной критики. Для сведения ее автора и читателей сообщаем следующее.

Наш 106-й Отдельный моторизованный инженерный батальон (ОМИБ) был фронтовой частью, непосредственно подчиненной заместителю командующего войсками Ленинградского фронта — начальнику инженерных войск, и никогда не придавался 128-й стрелковой дивизии, тем более ее полку. В ночь с 11 на 12 августа он успешно решил уникальную по замыслу и осуществлению боевую задачу: ночным штурмом овладел самой важной в системе гитлеровской обороны на синявинской гряде высотой — Безымянной, которую в течение лета 1943 года безуспешно пытались взять четыре стрелковых дивизии (11, 43, 124 и 123-я), сменяя друг друга.

Эта задача была поставлена командующим войсками Ленфронта генералом Л. А. Говоровым, после того как он тщательно рассмотрел все детали предстоящего штурма и убедился в его реальности, наблюдая тренировки батальона — важный этап подготовки личного состава к штурму. Эти тренировки проводились в районе Колтушей у деревни Бор, где на основе дешифровок аэрофотосъемки была оборудована модель Безымянной высоты, известной среди солдат и под названием Чертовой. На модели была воспроизведена вся сложная система вражеских траншей и укреплений, и ее участки заранее были распределены между подразделениями и саперами батальона. Их предстояло внезапным налетом захватить и удерживать до прихода пехоты. Одновременно выявлялись и решались многочисленные вопросы и детали, связанные с боем, в том числе и время, потребное на преодоление четырехсотметровой нейтральной полосы между передним краем обороны дивизии (нашей исходной позицией) и северным скатом Безымянной. Это время определилось равным трем часам.

По утвержденному плану боя командиру 128-й стрелковой дивизии полковнику П. А. Потапову предписывалось немедленно принять от саперов захваченную ими Безымянную высоту и стойко оборонять позиции на ней. В этом же плане

были поставлены также задачи авиации и артиллерии, сводившиеся к оказанию содействия 106-му ОМИБ. Открытый левый фланг прикрывала рота минеров из 2-й инженерной бригады, приданная нашему батальону.

В ночь с 11 на 12 августа нам удалось успешно преодолеть заболоченную, изрытую воронками нейтральную полосу, ликвидировать минные поля противника и внезапным броском в скоротечном бою захватить весь вражеский опорный пункт на Безымянной, истребив около двух рот гитлеровцев, в большинстве своем еще спавших в блиндажах. Все траншеи на Безымянной были очищены от гитлеровцев к 3 часам 15 минутам 12 августа.

Роты 128-й стрелковой дивизии не «пожелали» воспользоваться образовавшейся удобной паузой и на Безымянную не прибыли. С большим трудом, после вмешательства Говорова, их удалось буквально затащить на высоту только к 16 часам. А до этого саперам пришлось перестроить свои боевые порядки и в крайне тяжелых условиях, при весьма ограниченных средствах, отразить свыше десяти упорных контратак. При этом 106-й ОМИБ и приданная ему рота минеров понесли большие потери, нераненых не оставалось. И лишь отбив очередную контратаку, мы передали позиции на высоте, приспособленные для обороны, стрелковым подразделениям 128-й дивизии.

Беспредельным горем мы встретили утром 13 августа сообщение о том, что ночью пехота самовольно оставила Безымянную высоту.

Такова незавидная страница в истории 128-й стрелковой дивизии.

Рогачев же, именующий себя руководителем «операции», предпочел умолчать об этом позорном факте, подменив его вымыслом о том, что якобы в течение 13 августа продолжался бой на высоте и что к исходу того дня все траншеи на Безымянной стали нашими.

За разработку и блестящее выполнение боевой задачи по штурму Безымянной высоты командир 106-го ОМИБ майор И. И. Соломахин 12 августа был награжден орденом Суворова III степени, а 13-го фронтовая газета «На страже Родины» опубликоаала приказ аойскам Ленинградского фронта об этом награждении и короткую справку своего корреспондента майора Карпа о ночном штурме. Командиры инженерных рот батальона были награждены орденами Красного Знамени, а почти все участники штурма — другими боевыми орденами и медалями.

Здесь нет необходимости подробно описывать подготовку и осуществление нами ночного штурма Безымянной: они освещены на страницах многих газет, журналов и книг. С 1960 года в музее А. В. Суворова экспонируются диорама и ряд документов, освещающих беспримерный штурм Чертовой высоты, причем соаданию диорамы и экспозиции предшествовали широкие обсуждения в Военно-научном обществе и на художественном совете музея при активном участии командира 43-го стрелкового корпуса генерал-майора А. И. Андреева: именно в полосе его обороны осуществлялся штурм, и генерал знал о нем в деталях.

Отметим, что с августа 1943 года и по сей день со стороны командования, политотдела 128-й стрелковой дивизии и коголибо другого не было никаких опровержений и никаких публикаций именно о подвиге саперов 106-го ОМИБ. И вот теперь, сорок пять лет спустя, объявился Рогачев.

Закономерен вопрос: где он был до сего времени? Почему молчал?

И. И. СОЛОМАХИН,
командир батальона
Г. А. ТАРАСОВ,
зам. командира батальона по политчасти
Н. Н. БОГАЕВ,
командир 2-й инженерной роты
С. С. КУПРИН,
командир инженерного взвода
Ю. С. СИЛИН,
пом. начальника штаба
Л. Н. СОЛОВЬЕВ,
пом. командира взвода, парторг роты
Н. В. ЛАСКИНА,
санинструктор 3-й инженерной роты

Сдано в набор 27.03.89. Подписано к печати 15.05.89. М-25010. Формат бумаги 70×108[1]/16. Бумага тип. № 1. Печать высокая. 18,2+2 вкл.=18,55 усл. печ. л. 20,56 усл. кр.-отт. 23,57+2 вкл.=23,89 уч.-изд. л. **Тираж 675 000 экз.** Заказ 1982. Цена 95 коп.

Адрес редакции: 191065, Ленинград, Д-65, Невский пр., 3
Телефоны: главный редактор, заведующая редакцией — 312-65-37, перный заместитель главного редактора — 312-64-78, заместитель главного редактора — 312-70-35, ответственный секретарь — 312-61-18, отдвл прозы — 312-65-95, отдел поэзии — 312-65-85. «Седьмая тетрадь» — 312-65-78, отдел публицистики — 315-84-72, отдел критики и искусства — 312-70-96, технический редактор и корректоры — 312-65-59

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомиздате СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15